Томъ второй

Изъ жизни идей.

Ѳ. Зѣлинскаго

Древній міръ и мы. Изданіе второе. Спб. 1905.

ИЗЪ ЖИЗНИ ИДЕЙ.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЯ СТАТЬИ

ПРОФ. С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ѳ. ЗѢЛИНСКАГО.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

ДРЕВНІЙ МІРЪ И МЫ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. Остр., 5 лин., 28.
1905.

ДРЕВНІЙ МІРЪ

И

МЫ.

ЛЕКЦІИ

ЧИТАННЫЯ УЧЕНИКАМЪ ВЫПУСКНЫХЪ КЛАССОВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ГИМНАЗІЙ И РЕАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ ВЕСНОЙ 1903 Г.

ПРОФЕССОРОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ѳ. ЗѢЛИНСКИМЪ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

ДОПОЛНЕННОЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ ЭКСКУРСАМИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1905.

Типографія М. Стасюлевича В. О. 5 л. 28
3449

ПРЕДИСЛОВІЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Лекціи о древнемъ мірѣ, составляющія ядро настоящей книги, были мною прочитаны, по приглашенію начальства С.-Петербургскаго учебнаго округа, ученикамъ выпускныхъ классовъ С.-Петербургскихъ гимназій и реальныхъ училищъ весной 1903 г.; въ теченіе лѣта того же года онѣ были напечатаны въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, а осенью появились и отдѣльнымъ изданіемъ. Несмотря на тяжелыя времена, наступившія вскорѣ затѣмъ для всей Россіи, несмотря на крайне враждебное отношеніе къ моей книгѣ, съ одной стороны, большинства органовъ печати, а съ другой— Ученаго Комитета, признавшаго ее не заслуживающей допущенія въ библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній:—несмотря на всѣ эти неблагопріятныя обстоятельства, книга въ теченіе года почти разошлась. Этимъ было доказано, что общество вовсе не такъ несочувственно относится къ тому, что было ея руководящей идеей; я счелъ, поэтому, своимъ долгомъ позаботиться о новомъ ея изданіи.

Въ этомъ второмъ изданіи книга назначена уже непосредственно для общества. Форма обращенія къ выпускнымъ учени-

камъ, правда, удержана; она никому не мѣшаетъ, и мнѣ не хотѣлось, разрушая ее, разрушить память о часахъ, которые я причисляю къ лучшимъ въ моей жизни. Но при всемъ томъ я повторяю: книга назначается для общества. Я глубоко убѣжденъ, что *возрожденіе русской классической школы, необходимое въ интересахъ русской культуры, наступитъ тогда, когда само общество убѣдится въ его необходимости.* Близокъ ли этотъ часъ? Я не знаю. Но этотъ вопросъ и его возможное рѣшеніе не могли и не должны были вліять на мое отношеніе къ моей задачѣ. Возвращеніе общества къ классической школѣ будетъ результатомъ пробужденія истины; а ея пробужденію нельзя содѣйствовать разсчетами политики, тѣми самыми, которыми она была погружена въ сонъ. Въ противоположность къ нимъ я рѣшилъ неукоснительно слѣдовать истинѣ, нимало не заботясь объ успѣхѣ моей книги въ цѣломъ или въ частяхъ.

Семь экскурсовъ, которыми я дополнилъ настоящее второе изданіе—очень разнородные по формѣ и содержанію—отчасти уже были раньше мною напечатаны, а именно:

экск. IV—въ „Сѣверномъ Курьерѣ" 26/XI, 1900 г.,

„ V—въ „Филологическомъ Обозрѣніи" VII (1894),

„ VI—въ „Трудахъ Высочайше учрежденной Коммиссіи по вопросу объ улучшеніяхъ въ средней общеобразовательной школѣ" VI.

Относительно пятаго (о чтеніи судебныхъ рѣчей Цицерона въ гимназіи) замѣчу, что онъ имѣетъ значеніе лишь образца—образца того, какъ слѣдуетъ одухотворять чтеніе авторовъ въ гимназіи сообразно со сказаннымъ на стр. 64 сл. объ универсализмѣ занятій античностью. Принципы, развитые мною въ этомъ экскурсѣ въ области чтенія судебныхъ рѣчей, я примѣнилъ на дѣлѣ въ своемъ изданіи „рѣчи Цицерона за Верреса" (5 кн.), появившемся въ собраніи Л. А. Георгіевскаго и

С. А. Манштейна (2-е изд. 1896). Ту же цѣль, въ области чтенія историковъ и трагиковъ, преслѣдуютъ мои изданія 21-й книги Ливія (4-е изд. 1904) „царя Эдипа“ (2-е изд. 1896) и „Трахинянокъ“ Софокла (1898 тамъ же). Вмѣстѣ взятыя, эти четыре изданія составляютъ мой посильный вкладъ въ то, что я называю въ своихъ лекціяхъ „школьною античностью“; могу ли я надѣяться что тѣ, которые отнеслись скептически къ моимъ разсужденіямъ объ универсализмѣ этой школьной античности, сочтутъ своимъ долгомъ хоть самымъ поверхностнымъ образомъ ознакомиться съ этими изданіями?

Первые три экскурса, объединенные своей полемической формой, составляютъ и по содержанію одно цѣлое; особенно это касается второго и третьяго. Только вмѣстѣ взятые они, подобно парнымъ стереоскопическимъ снимкамъ, даютъ правильное и выпуклое представленіе о воззрѣніяхъ автора—о той „серединной тропѣ“ правды и разума, которой онъ по мѣрѣ своихъ силъ старается слѣдовать. Смѣю, однако, увѣрить что ихъ полемическая форма является именно только формой; по содержанію они столь же положительны, какъ и всѣ прочія составныя части настоящей книги.

Особнякомъ стоитъ седьмой и послѣдній экскурсъ: я хотѣлъ въ немъ представить синтезъ того, что я, какъ истолкователь древняго міра, имѣю передать тѣмъ, для кого я работаю. Я хотѣлъ его первоначально озаглавить „моимъ друзьямъ“, разумѣя подъ послѣдними не одниxъ только моихъ личныхъ друзей, но и всѣхъ тѣхъ, кто, подобно мнѣ, признаетъ обязательнымъ для себя „кодексъ чести мыслителя“ (см. стр. 91). Послѣ нѣсколькихъ метаморфозъ онъ вылился, въ силу художественныхъ соображеній, въ настоящую свою форму. Такъ то я лишній разъ убѣдился, что отъ автора зачастую зависитъ только рѣшеніе, писать ли книгу или не писать ея; разъ рѣшеніе принято — она пишется сама и принимаетъ ту форму,

которую должна принять по внутренней необходимости. Въ этомъ—особый смыслъ извѣстной поговорки habent sua fata libelli; и, пожалуй, самый глубокій и „роковой“ ея смыслъ.

Со всѣмъ тѣмъ, я сознаю, что этотъ экскурсъ—для очень немногихъ; но эти немногіе — въ то же время тѣ, которые мнѣ дороже всѣхъ. Знай я, кто они и гдѣ они — я бы имъ прямо послалъ его, „на правахъ рукописи“; но нѣтъ — мнѣ приходится искать ихъ между многими. Прошу, поэтому, остальныхъ поступить съ нимъ точно такъ же, какъ они поступаютъ съ письмами, не имъ написанными и случайно и ненарокомъ попавшими къ нимъ въ руки: т.-е., убѣдившись въ непринадлежности, прекратить чтеніе и забыть о содержаніи прочитаннаго. Для того этотъ экскурсъ и напечатанъ послѣднимъ, съ нечетной страницы, чтобы его можно было отрѣзать, не портя книги.

Впрочемъ, сказанное только что объ этомъ экскурсѣ—что онъ долженъ искать своихъ читателей — относится въ значительной степени и ко всей книгѣ. Скажу напрямикъ: моя книга — книга ищущая. Я знаю, она найдетъ тѣхъ, кого ищетъ; въ этомъ меня убѣждаетъ нежданный успѣхъ ея перваго изданія. Но гдѣ она ихъ найдетъ? Одно ясно: не среди направленцевъ, не среди готовыхъ и непереубѣдимыхъ, не среди тѣхъ, къ которымъ направленская ливрея прилипла, какъ Нессовъ плащъ; о нѣтъ—на нихъ я давно махнулъ рукой, какъ и они на меня. Но гдѣ же? Отвѣчу: среди тѣхъ, которые ищутъ сами; моя книга—книга для ищущихъ.

Ѳ. Зѣлинскій.

С.-Петербургъ, Апрѣль 1905.

ЛЕКЦІЯ ПЕРВАЯ.

Введеніе: Постановка задачи.—Три антитезы.—Vox populi—vox Dei.—Большое и малое «я» общества.—Общественное мнѣніе и соціологическій подборъ.—*Первая антитеза:* образовательное значеніе античности.—Данныя историческаго опыта.—Зацѣпки.—Гетерогенія цѣлей.—Эволюція классическаго образованія.—Критеріи образовательной силы предметовъ: психологія и психологическое науковѣдѣніе.—Смыслъ сочетанія: «образовательное значеніе». — Принципъ профессіональный и принципъ образовательный.—Назначеніе средней образовательной школы.

Моя задача — выяснить вамъ, насколько это позволятъ время и силы, значеніе той области знанія, представителемъ которой я состою при нашемъ университетѣ и которую я, ради краткости, буду просто называть *античностью.* Задачу эту можно рѣшить въ трояком направленіи, соотвѣтственно троякому значенію самой античности. Она, во-первыхъ, является предметомъ науки, которую принято—несовсѣмъ правильно—называть классической филологіей; она, во-вторыхъ, представляетъ изъ себя элементъ современной умственной и нравственной культуры европейскаго общества; она, въ-третьихъ—и это ея значеніе для васъ самое близкое—входитъ въ составъ учебныхъ предметовъ привилегированнаго типа средней школы, такъ называемой классической гимназіи. Каждая изъ этихъ трехъ точекъ зрѣнія открываетъ намъ новую сторону античности; но по отношенію къ каждой изъ нихъ посвященный въ дѣло человѣкъ бываетъ вынужденъ отстаивать мнѣніе, діаметрально противоположное тому, которое стало ходячей

монетой въ современномъ и спеціально въ русскомъ интеллигентномъ обществѣ. Дѣйствительно, о классической филологіи общество привыкло думать, что она—наука вдоль и поперекъ изслѣдованная, не представляющая болѣе интересныхъ задачъ для творческой работы; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что теперь она интереснѣе, чѣмъ когда-либо, что вся работа предыдущихъ поколѣній была лишь подготовительной, была лишь фундаментомъ, на которомъ мы только теперь начинаемъ возводить настоящее зданіе нашей науки, что новыя проблемы, манящія къ изслѣдованію и рѣшенію, намъ встрѣчаются на каждомъ шагу нашего научнаго поприща. Затѣмъ, по отношенію къ античности, какъ элементу современной культуры, общество усвоило мнѣніе, что она играетъ въ ней ничтожную роль, будучи давнымъ давно превзойдена успѣхами новѣйшей мысли; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что мы въ своей умственной и нравственной культурѣ никогда еще не стояли такъ близко къ античности, никогда такъ въ ней не нуждались, но и такъ не были приспособлены понимать и воспринимать ее, какъ именно теперь. Наконецъ, по отношенію къ античности, какъ элементу образованія, большинство общества склонно полагать, что это—какой-то странный пережитокъ, неизвѣстно почему и какимъ образомъ сохраненный въ современной школѣ и подлежащій скорѣйшему и окончательному упраздненію; знатокъ же дѣла, опять-таки, вамъ скажетъ, что античность по самому существу своему, въ силу условій какъ историческаго, такъ и психологическаго характера, является органическимъ элементомъ образованія европейскаго общества, и что окончательно упразднена она будетъ не иначе, какъ съ упраздненіемъ всей современной европейской культуры.

Таковы наши три антитезы; согласитесь, что болѣе рѣзкихъ и представить себѣ нельзя. И я боюсь, что именно наличность этихъ антитезъ можетъ васъ смутить и возбудить ваше недовѣріе къ тому, что я имѣю вамъ сказать; а такъ какъ предвзятое недовѣріе аудиторіи къ лектору заранѣе уничтожаетъ возможное дѣйствіе его словъ, то позвольте мнѣ сдѣлать попытку устранить его, поскольку оно вообще устранимо воздѣйствіемъ разума. Въ самомъ дѣлѣ, я представляю себѣ съ вашей стороны возраженіе въ родѣ слѣдующаго: „да

развѣ уже изъ самаго состава борющихся сторонъ не ясно, кто правъ и кто виноватъ? развѣ можетъ быть правъ вопреки мнѣнію совокупности общества тотъ единоличный „знатокъ дѣла", о которомъ вы говорите и подъ которымъ вы, вѣроятно, разумѣете самого себя, г. лекторъ? Оставимъ въ сторонѣ классическую филологію: она для общества неинтересна, и оно имѣетъ поэтому право ея не знать; но античность, какъ элементъ культуры, античность, какъ факторъ образованія—развѣ можно допустить, чтобы общество ошибалось въ рѣшеніи такихъ насущныхъ, такъ близко его касающихся вопросовъ? Не даромъ же и въ пословицѣ сказано: vox populi—vox Dei!"

Тутъ я могъ бы сдѣлать оговорку—и довольно существенную—по отношенію къ этой „совокупности общества", о которой намъ такъ много говорятъ; но это не такъ важно. Пусть будетъ по вашему: я все-таки не могу согласиться, чтобы вы къ этой дѣйствительной или мнимой совокупности примѣняли пословицу о vox populi, такъ какъ противъ этого примѣненія громогласно протестуетъ исторія всѣхъ временъ. Вспомните о томъ, какъ римское общество требовало на арену первыхъ христіанъ, вспомните объ остервенѣніи общества противъ еретиковъ въ Испаніи или противъ вѣдьмъ въ Германіи, вспомните о той единодушной поддержкѣ, которую долгое время находили въ обществѣ такіе институты, какъ рабство негровъ въ Америкѣ или крѣпостное право у насъ—и вы согласитесь, что очень часто vox populi бываетъ поистинѣ vox diaboli, а не Dei. Мы въ настоящее время не только осуждаемъ такія проявленія общественной воли,—мы, что также не худо, безстрастно ихъ объясняемъ, обнаруживая причины, которыя во всѣхъ указанныхъ случаяхъ заставляли общество неправильно судить о своихъ собственныхъ потребностяхъ. И здѣсь возможно то же самое, и здѣсь мы можемъ — и это войдетъ, если дозволитъ время, въ составъ моей послѣдней лекціи — анализировать смыслъ недоброжелательнаго отношенія современнаго общества къ античности, выдѣлить ту роль, которую въ немъ сыграло добросовѣстное и непроизвольное заблужденіе, отъ той, въ которой мы должны признать проявленіе сознательнаго обмана. Теперь моя цѣль другая: я вѣдь хотѣлъ только расшатать въ васъ увѣренность—если таковая есть — въ непогрѣшимости

общественнаго мнѣнія, хотѣлъ протестовать противъ злоупотребленія поговоркой vox populi—vox Dei.

А каковъ правильный смыслъ этой поговорки, это я разовью вамъ тотчасъ. Не въ оглушительномъ крикѣ, который такъ часто бываетъ выраженіемъ взбудораженныхъ страстей, должны мы признать гласъ Божій, а въ томъ тихомъ и безстрастно повелительномъ голосѣ таинственной воли, который указываетъ человѣчеству пути его культурнаго развитія. Съ незапамятныхъ временъ, когда физіологіи пищеваренія и органической химіи еще и въ поминѣ не было, этотъ голосъ указалъ чоловѣку на хлѣбъ, какъ на ту пищу, пользуясь которой онъ можетъ достигнуть наивысшаго возможнаго для него совершенства. Въ этомъ голосѣ древніе греки, умѣвшіе удивляться тому, что поистинѣ удивительно, признали взаправду голосъ Божій—голосъ своей богини Деметры; современная біологія, не признающая метафизики... или, правильнѣе говоря, вводящая вмѣсто прежней, теологической метафизики, свою собственную, біологическую—видитъ въ немъ дѣйствіе открытаго ею *закона подбора*, совершенно аналогичнаго тому, который и всякой скотинѣ указалъ наиболѣе свойственную ей пищу. Да, господа, законъ подбора—подбора естественнаго, который тамъ, гдѣ его субъектомъ является человѣческое общество,носитъ названіе соціологическаго подбора—вотъ настоящая vox populi, vox Dei.

Теперь спросимъ себя: каково же отношеніе этого подбора къ интересующему насъ вопросу—вопросу о роли античности въ образованіи молодежи, или, короче говоря, къ тому, что мы называемъ классическимъ образованіемъ?—А таково это отношеніе, что вотъ теперь, черезъ полторы почти тысячи лѣтъ послѣ паденія Рима и болѣе чѣмъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ паденія Греціи, мы все еще споримъ о томъ, должны ли ихъ языки занимать центральное мѣсто въ образованіи молодежи или нѣтъ. Согласитесь, господа, что это единодушное свидѣтельство вѣковъ—гораздо болѣе знаменательный фактъ, чѣмъ эфемерный вердиктъ современнаго намъ общества, даже если бы его единодушіе было менѣе фиктивно, чѣмъ оно есть. Вспомните картину, представляемую нашей Невой, когда дуетъ роковой для насъ югозападный вѣтеръ: волны совершенно

явственно направлены на востокъ, кажется, что рѣка вспять потекла, обратно къ Ладожскому озеру—и тѣмъ не менѣе вы знаете, что каждая капля этого озера въ силу незримаго, но очень реальнаго естественнаго теченія рѣки попадетъ въ Финскій заливъ, и что единственнымъ результатомъ того встрѣчнаго теченія, вызваннаго вѣтромъ, будетъ кратковременное наводненіе въ Галерной гавани. То же самое и въ обществѣ и общественномъ мнѣніи: и въ немъ вы имѣете не одно теченіе, а два. Одно—это то, въ которомъ оно отдаетъ себѣ отчетъ, бурное, крикливое, капризное, производящее всякаго рода наводненія и другія бѣдствія; другое—то, существованія котораго оно не подозрѣваетъ—тихое, безмолвное и повелительное. Два теченія—или, если хотите, двѣ души, два *я*; и къ обществу можно примѣнить то разграниченіе, которое Фр. Ницше остроумно установилъ для отдѣльныхъ его единицъ, различая ихъ „малое я“, сознательное и сравнительно легковѣсное, отъ ихъ подсознательнаго, но властно управляющаго ихъ развитіемъ „большого я“. Тотъ неблагопріятный для классическаго образованія вердиктъ современнаго общества, который вы склонны противопоставить моему якобы единоличному мнѣнію—онъ вынесенъ не имъ, этимъ обществомъ, а только его малымъ *я*; конечно, мнѣ, какъ единицѣ, это малое *я* можетъ причинить, и дѣйствительно причиняетъ, не мало непріятностей; но для меня, какъ мыслителя, историка, оно никакого авторитета не имѣетъ. Какъ таковой, я обязанъ прислушиваться не къ его голосу, а къ голосу того таинственнаго большого *я*, которое управляетъ его судьбой. И вотъ тутъ-то я слышу нѣчто совершенно другое. Малое *я* современнаго общества твердитъ на всѣ лады: „долой классическое образованіе!“; большое *я*, напротивъ, говоритъ намъ: „берегите его пуще зѣницы ока!“ Или, вѣрнѣе, оно намъ этого даже и не говоритъ: оно само его бережетъ, вотъ уже 15—20 вѣковъ, несмотря на постоянные протесты своего собственнаго малаго *я*, и сбережетъ его, будьте въ этомъ увѣрены, и впредь.

Впрочемъ, этотъ благопріятный для античности результатъ получился у насъ лишь мимоходомъ, его придется подробнѣе обосновать въ дальнѣйшемъ; не придавайте ему пока значенія и замѣтьте лишь то, что я сказалъ вамъ о двухъ теченіяхъ

общественной жизни и объ ихъ сравнительной цѣнности. А теперь приблизимся къ темѣ. Я выставилъ съ первыхъ словъ положеніе о троякомъ значеніи античности: чисто научномъ, культурномъ и образовательномъ; въ нашей бесѣдѣ, однако, порядокъ будетъ иной: мы начнемъ съ того, что касается васъ всѣхъ, и кончимъ тѣмъ, что непосредственно касается или, вѣрнѣе, коснется лишь немногихъ изъ васъ. Итакъ, *въ чемъ заключается образовательное значеніе античности?*

Допустимъ, прежде всего, что на этотъ вопросъ мнѣ пришлось бы отвѣтить: „не знаю“—или что мой отвѣтъ васъ не удовлетворитъ; что́ бы отсюда слѣдовало?

Еще раньше, развивая вамъ смыслъ закона соціологическаго подбора, я, ради иллюстраціи, указалъ на то замѣчательное его проявленіе, въ силу котораго хлѣбъ сталъ основной пищей культурнаго человѣка; теперь позвольте мнѣ воспользоваться этой иллюстраціей для одной картины или притчи, которая, впрочемъ, уже разъ сослужила мнѣ службу въ сходномъ случаѣ. Представимъ себѣ, что въ тѣ времена, когда склонны были относиться къ организму человѣческаго тѣла, какъ къ механизму, въ эпоху Гельвеція и Ламеттри, была бы созвана комиссія съ цѣлью реформы физическаго питанія человѣка. Ораторы-противники традиціонной системы питанія нарисовали бы, первымъ дѣломъ, мрачную картину физическаго состоянія современнаго человѣка: живетъ онъ много-много 60—70 лѣтъ, между тѣмъ, какъ природа положила ему жить 200 лѣтъ (таково было, къ слову сказать, позднѣе мнѣніе Гуфеланда), да и это незначительное число лѣтъ—какъ онъ ихъ живетъ? Онъ бываетъ, слабъ, некрасивъ, быстро старится; а сколько больныхъ, этихъ „неудачниковъ“ физической жизни! и т. д. Отчего все это? Оттого, что онъ нераціонально питается. Пища должна обновлять человѣческое тѣло; а между тѣмъ въ составъ нашей пищи входятъ большею частію вещества, ненужныя тѣлу и потому имъ, какъ вполнѣ безполезныя, снова выдѣляемыя. Тѣлу нужны: мясо, кровь, жилы, кости, мозгъ и т. д.; между тѣмъ, мы даемъ ему почти исключительно растительную пищу, въ которой главную роль играетъ хлѣбъ. Вредъ хлѣба заключается уже въ томъ, что онъ совершенно заслоняетъ другія, дѣйствительно питательныя вещества; а

чтобы убѣдиться въ его безполезности, достаточно взглянуть на человѣческое тѣло. Развѣ изъ тѣста состоятъ наши руки, ноги, голова, легкія и т. д.? Нѣтъ. А изъ чего же? Изъ крови, мяса, жилъ, костей и т. д. Итакъ, дайте намъ реальное питаніе, которое соотвѣтствовало бы составу нашего тѣла; дайте намъ единую общепитательную пищу, содержащую въ гармонической, уравновѣшенной смѣси все нужное для обновленія нашего физическаго *я*,—кровь, мясо, кости, жилы и т. д. Тогда не будетъ неудачниковъ физической жизни; тогда человѣкъ будетъ жить двѣсти лѣтъ, оставаясь молодымъ долѣе, чѣмъ онъ нынѣ вообще живетъ, и т. д.

Что могъ бы возразить противъ этой рѣчи защитникъ традиціонной системы питанія? Что могъ бы онъ отвѣтить, если бы отъ него потребовали, чтобы онъ доказалъ питательное значеніе хлѣба? Въ настоящее время, разумѣется, возможенъ отвѣтъ, вполнѣ удовлетворительно разрѣшающій всѣ затрудненія: съ одной стороны, физіологія выяснила процессъ пищеваренія во всѣхъ его подробностяхъ; съ другой, — органическая химія анализировала потребляемую нами пищу во всѣхъ ея составныхъ частяхъ. При помощи химіи мы можемъ доказать, что хлѣбъ содержитъ всѣ или почти всѣ нужныя для обновленія нашего тѣла вещества; при помощи физіологіи мы показываемъ, какимъ образомъ нашъ организмъ ихъ ассимилируетъ. Но вѣдь мы предполагаемъ эпоху, когда процессъ пищеваренія былъ извѣстенъ лишь очень несовершенно, органическая же химія вовсе не была извѣстна; итакъ, повторяю, что могъ бы отвѣтить защитникъ традиціонной системы питанія представителю діэтетическаго авантюризма?—Я думаю, вотъ что. „Вы спрашиваете, въ чемъ состоитъ питательное значеніе хлѣба и растительной пищи вообще; я этого не знаю. Но фактъ тотъ, что принявшіе нашу систему питанія народы суть вмѣстѣ съ тѣмъ и народы-носители цивилизаціи, между тѣмъ какъ по вашей теоріи питаются только самые грубые изъ дикарей; фактъ тотъ, далѣе, что цивилизованные народы все размножаются и расширяютъ свои владѣнія, между тѣмъ какъ живущіе мясной пищей дикари численно уменьшаются и отступаютъ; фактъ тотъ, затѣмъ, что цивилизованный человѣкъ, вынужденный внѣшними условіями отказаться отъ хлѣба и

овощей и перейти на исключительно мясную пищу, хирѣетъ и гибнетъ; фактъ тотъ, наконецъ, что вы, изобразивъ вообще правильно недостатки нашей физической жизни, не доказали, однако, ихъ зависимости именно отъ системы питанія и не желаете даже принять въ разсчетъ того обстоятельства, что питающіеся по вашему люди не оказываются ни долговѣчнѣе, ни сильнѣе, ни красивѣе, ни здоровѣе насъ, что является уже прямой насмѣшкой надъ эмпирическимъ методомъ".

Такъ, полагаю я, отвѣтилъ бы защитникъ традиціонной системы питанія, и его выводъ былъ бы, разумѣется, неоспоримъ; теперь перехожу къ себѣ. Вы требуете, чтобы я указалъ вамъ, въ чемъ состоитъ образовательное значеніе античности: я же, первымъ дѣломъ, отвѣчу вопросомъ, обнаружила ли психологія во всѣхъ его деталяхъ процессъ умственнаго пищеваренія, и существуетъ ли такая органическая химія, которая была бы примѣнима къ умственной пищѣ, допуская ея качественный и количественный анализъ? Если же вы сознаетесь, что науки, которыя я имѣю въ виду, суть науки будущаго, извѣстныя намъ въ настоящее время лишь въ своихъ началахъ, то вы этимъ самымъ даете мнѣ право отвѣтить вамъ слѣдующее: „Въ чемъ состоитъ образовательное значеніе античности—этого я не знаю; но фактъ тотъ, что классическая система воспитанія существуетъ испоконъ вѣка, что за время своего существованія она охватила всѣ народы такъ называемой европейской культуры, которые лишь со времени ея принятія и сдѣлались цивилизованными народами; фактъ тотъ, далѣе, что если изобразить, какъ это дѣлаютъ метеорологи, кривою линіей колебанія классической системы образованія въ различныхъ государствахъ за весь періодъ ихъ существованія, то эта кривая будетъ выражать, вмѣстѣ съ тѣмъ, и колебанія умственной культуры въ тѣхъ же государствахъ, ясно доказывая этимъ тѣсную зависимость общей культурности страны отъ уровня ея классическаго образованія; фактъ тотъ, въ-третьихъ, что и въ настоящее время культурная сила народа тѣмъ значительнѣе, чѣмъ серьезнѣе въ немъ поставлено классическое образованіе, между тѣмъ какъ народы, лишенные его (напр., испанцы), не играютъ никакой роли въ мірѣ идей, несмотря на свою численность и славу своего прошлаго; фактъ тотъ, затѣмъ, что и

у насъ въ Россіи ударъ, нанесенный классическому образованію въ гимназіяхъ реформою 1890 г., имѣлъ послѣдствіемъ общее паденіе уровня образованія кончающей гимназію молодежи, удостовѣренное отзывами самихъ противниковъ классической системы; фактъ тотъ, наконецъ, что тѣ, кто рисуетъ такую мрачную картину недостатковъ нашей гимназіи, не доказали, однако, зависимости этихъ недостатковъ отъ классическаго образованія и упорно отказываются принять въ разсчетъ то обстоятельство, что воспитывающіеся въ неклассической средней школѣ ученики оказываются страдающими тѣми же недостатками".

Выводъ отсюда неоспоримый: въ интересахъ умственной культуры русскаго народа мы должны желать возможно высокаго уровня классическаго образованія въ нашихъ гимназіяхъ, независимо отъ того, удастся ли намъ дать удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ объ образовательномъ значеніи античности или нѣтъ.

А теперь, прежде чѣмъ идти дальше, оглянемся назадъ. На основаніи культурно-историческихъ соображеній мы вывели заключеніе, что античность представляетъ изъ себя нормальную пищу развивающихся поколѣній. Это заключеніе я назвалъ неоспоримымъ; дѣйствительно, человѣкъ, привыкшій взвѣшивать то, что онъ говоритъ, и подчинять въ научныхъ вопросахъ (а съ таковымъ мы имѣемъ дѣло и здѣсь) свои чувства своему разуму, обязательно признаетъ его таковымъ. Но, къ сожалѣнію, такіе люди составляютъ рѣдкость; люди обыкновеннаго типа, наоборотъ, свой разумъ подчиняютъ своимъ чувствамъ: если то, что имъ доказываютъ, имъ не нравится, они стараются отыскать въ вашихъ словахъ какую-нибудь зацѣпку для возраженія, и если имъ удалось сказать нѣчто, имѣющее хоть внѣшнее подобіе логическаго разсужденія, то они говорятъ, а часто и воображаютъ сами, что они васъ опровергли. Такія опроверженія, конечно, предусмотрѣть невозможно: путь истины вездѣ одинъ, но путей заблужденія безчисленное множество. Все же, будучи знакомъ со многимъ изъ того, что писалось по вопросу о средней школѣ, я могу себѣ представить, что въ моихъ словахъ противники найдутъ двѣ зацѣпки.

Первая зацѣпка. Я только что сказалъ: „въ интересахъ умственной культуры русскаго народа...", принимая за несо-

мнѣнное, что выводы, добытые на основаніи культурныхъ колебаній во всей Европѣ, примѣнимы также и къ Россіи. Правильно ли это? Въ числѣ моихъ противниковъ не мало такихъ, которые этого сближенія не признаютъ: „классическая школа“, говорятъ они, „не имѣетъ опоры въ исторіи Россіи“. Упразднивъ на этомъ основаніи классическую школу, они затѣмъ предлагаютъ проекты собственной школы, относительно которой они, однако, исправно забываютъ ставить вопросъ, имѣетъ ли она опору въ исторіи Россіи или нѣтъ. Въ дѣйствительности же дѣло обстоитъ такъ: классическая школа имѣетъ, быть можетъ. и не очень сильную опору въ исторіи Россіи; но всѣ остальные типы школъ, существующіе и предполагаемые, не имѣютъ никакой. Но для насъ вовсе не это важно, а вотъ что: Россія долгое время не имѣла классической школы — но за все это время она и не была культурной страной; она стала таковой лишь съ тѣхъ поръ, какъ завела у себя классическую школу. Это фактъ, и притомъ фактъ, вполнѣ подтверждающій нашъ выводъ.

Второе возраженіе параллельно первому, относясь къ нему, какъ время къ пространству: противники этого лагеря стараются создать для современности такое же исключительное положеніе, какъ тѣ для Россіи. Античность, говорятъ они, прежде дѣйствительно составляла важный предметъ обученія, такъ какъ было чему у нея поучиться; но теперь мы ее настолько опередили, что учиться намъ у нея болѣе нечему. Этихъ противниковъ очень легко опровергнуть: для этого имъ стоитъ задать вопросъ, когда приблизительно мы, по ихъ мнѣнію, опередили античность—этого они не знаютъ. Дѣло же обстоитъ слѣдующимъ образомъ. Классическое образованіе, какъ мы уже видѣли, есть дѣло соціологическаго подбора; дѣйствіе же этого подбора опредѣляется такъ называемой „*гетерогеніей цѣлей*“, т.-е. несоотвѣтствіемъ дѣйствительной, несознаваемой цѣли—кажущейся и сознаваемой. Такъ, кажущаяся и сознаваемая пчелой цѣль, заманивающая ее во внутреннюю часть цвѣтка—это возможность полакомиться его сладкимъ сокомъ; дѣйствительная же и несознаваемая ею цѣль—растормошить тычинки цвѣтка и этимъ произвести его оплодотвореніе. То же самое и здѣсь. Дѣйствительная цѣль соціологическаго подбора (вы, ко-

нечно, понимаете, что я употребляю слово „цѣль" здѣсь въ томъ условномъ смыслѣ, въ которомъ его вообще признаетъ современная біологія) — итакъ, его дѣйствительная цѣль при сохраненіи классическаго образованія была во всѣ времена одна и та же: умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества; кажущіяся же и сознаваемыя обществомъ цѣли были другія, въ различныя времена различныя, при чемъ интересно прослѣдить: 1) какъ каждый разъ съ отживаніемъ, такъ сказать, одной кажущейся цѣли выдвигается на ея мѣсто другая, и 2) какъ тѣ народы, которые, принимая кажущуюся цѣль за дѣйствительную, стремились къ ней не по тому пути, который имъ предначерталъ законъ подбора, а по другому, болѣе краткому и удобному,—были за это умничанье жестоко наказаны исторіей, точно такъ же, какъ это наблюдается и въ біологіи.— Прежде всего, еще въ ранній періодъ среднихъ вѣковъ кажущейся цѣлью классическаго образованія было усвоеніе Священнаго Писанія и литургіи, затѣмъ твореній отцовъ церкви и житій святыхъ и т. д. Конечно, для этого былъ другой способъ, болѣе простой и удобный—переводъ всего этого на родной языкъ; такъ поступили народы христіанскаго востока, и послѣдствіемъ было то, что они остались въ сторонѣ отъ культурнаго движенія. Затѣмъ, во вторую половину средневѣковья эта цѣль отошла на задній планъ, выдвинулась вторая: усвоеніе античной науки, изложенной, разумѣется, на древнихъ языкахъ. И здѣсь къ услугамъ желающихъ былъ другой путь, болѣе краткій и удобный: перевести научныя сочиненія древнихъ на свой родной языкъ. Этимъ путемъ воспользовались арабы, и результатомъ было, послѣ краткаго расцвѣта, быстрое и окончательное уничтоженіе мусульманской культуры—вполнѣ естественно, такъ какъ арабы пересадили къ себѣ одни только цвѣты античности, оторвавъ ихъ отъ ихъ корней, древнихъ языковъ. Далѣе, къ исходу среднихъ вѣковъ и эта цѣль отошла на задній планъ: усвоивъ античную науку, новая Европа ее превзошла... Дѣйствительно, на поставленный выше вопросъ, когда мы опередили античность въ области науки, придется отвѣтить: отчасти уже въ средніе вѣка; тогда были открыты неизвѣстныя или почти неизвѣстныя древнимъ науки, какъ алгебра, тригонометрія, химія и др., а извѣстныя были под-

няты на болѣе высокую ступень. Казалось бы, можно съ античностью и покончить; и дѣйствительно, классическое образованіе стало въ XIV вѣкѣ приходить въ упадокъ. Но именно въ этомъ вѣкѣ оно быстро и ярко расцвѣло вновь — наступилъ періодъ Возрожденія. Было открыто античное искусство, не только изобразительное (архитектура, ваяніе, живопись), но и искусство рѣчи; латинскому языку стали учиться ради его формальныхъ красотъ, стали ихъ воспроизводить и въ прозѣ, и въ стихахъ; это—такъ называемое старогуманистическое направленіе. Вторично латинскій языкъ сталъ языкомъ-воспитателемъ языковъ новой Европы; результатомъ этого воспитанія были современные языки съ ихъ гибкостью и силой, съ ихъ художественной прозой и художественной поэзіей. Но вотъ этотъ результатъ былъ достигнутъ; казалось бы, можно сдать античность въ архивъ. Но нѣтъ: едва только эта цѣль стала отступать на задній планъ, какъ на смѣну ей явилась новая, числомъ четвертая, преходящая цѣль. Былъ открытъ интеллектуалистическій характеръ древней литературы, вѣнцомъ котораго была древняя философія: какъ раньше учились по-латыни, чтобы хорошо говорить и писать, такъ теперь стали ей учиться, чтобы хорошо мыслить и разсуждать, pour bien raisonner. Таковъ былъ девизъ „просвѣтительной“ эпохи, начавшейся въ Англіи 17 в., продолжавшейся во Франціи 18 в. и отразившейся на культурѣ прочей Европы того времени, эпохи Ньютона, Вольтера, Фридриха Великаго и Екатерины. Но уже въ томъ же XVIII в. односторонній интеллектуализмъ просвѣтительной эпохи вызвалъ реакцію, начавшуюся въ Англіи и Франціи (Руссо) и достигшую особенной силы въ Германіи Винкельмана и Гете; лозунгомъ стало гармоническое развитіе человѣка въ указанномъ природой направленіи—и средствомъ къ достиженію этого идеала стала опять античность, за изученіе которой въ гимназіяхъ принялись съ особенной силой. Это было неогуманистическое направленіе; тогда впервые греческій языкъ и греческая литература заняли мѣсто наравнѣ съ латинскими, такъ какъ дѣятели этой эпохи совершенно основательно полагали, что къ ихъ идеалу греческая жизнь стоитъ ближе, чѣмъ римская. — Теперь опять настало переходное время, и уже ясно обрисовывается новая точка зрѣнія, которая обусловитъ изу-

ченіе античности въ наступающемъ столѣтіи: развитіе естественныхъ наукъ выдвинуло принципъ эволюціонизма, античность стала намъ вдвойнѣ дорога, какъ родоначальница всѣхъ безъ исключенія идей, которыми мы живемъ понынѣ. И вотъ мы видимъ, какъ и въ вопросахъ классическаго образованія гуманизмъ борется съ историзмомъ, причемъ послѣдній, повидимому, беретъ верхъ. Конечно, мы къ этой въ высшей степени важной точкѣ зрѣнія еще вернемся; теперь же достаточно будетъ удостовѣрить, что это—числомъ уже шестая сознаваемая точка зрѣнія на важность изученія античности, явившаяся какъ разъ во-время на смѣну пятой, неогуманистической.

И любопытно прослѣдить, какъ съ измѣненіемъ взгляда на цѣль изученія античности происходитъ измѣненіе также и метода ея изученія; я этого подробно развить не могу, ограничусь указаніемъ на самую осязательную метаморфозу,—на первенствующихъ въ каждомъ данномъ случаѣ авторовъ. Первый періодъ—изученія латыни ради спасенія души—естественно ставилъ въ центръ преподаванія христіанскія сочиненія; второй, научный, такъ сказать, періодъ—соотвѣтственныя руководства, латинскаго Аристотеля и такъ называемыя artes, т.-е. учебники математики, астрономіи, затѣмъ медицины, права и т. д.; третій, старогуманистическій—Цицерона, какъ мастера латинской рѣчи; четвертый, просвѣтительный, тоже Цицерона, но уже Цицерона-философа; пятый, неогуманистическій—Гомера, трагиковъ, Горація. Его традиціями мы живемъ и понынѣ, но уже нарождается потребность создать такую выборку изъ античной литературы, которая представила бы ученикамъ античность именно, какъ родоначальницу нашихъ идей; не такъ давно въ Германіи Виламовицъ попытался удовлетворить этой потребности составленіемъ греческой „книги для чтенія“, въ высшей степени заинтересовавшей тамъ весь педагогическій міръ. Нѣтъ сомнѣнія, что со временемъ это движеніе коснется и насъ; очень вѣроятно, что о немъ была бы рѣчь уже теперь, если бы не школьная смута, въ которой мы живемъ.

Какъ бы то ни было, таково чередованіе преходящихъ точекъ зрѣнія на античность въ различные періоды исторіи нашей культуры; и таковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, нашъ отвѣтъ на невѣжественное возраженіе, будто теперь намъ у античности

учиться нечему, такъ какъ мы ее опередили,—и на не менѣе невѣжественный упрекъ, будто классическая школа неподвижна и не прогрессируетъ со временемъ. Но, повторяю, то были все преходящія цѣли,—такія, которыя сознавались обществомъ въ каждую изъ упомянутыхъ эпохъ,—такія, въ которыхъ общество отдавало отчетъ себѣ и намъ; несознаваемой и въ то же время наиболѣе важной цѣлью была та, которая вообще преслѣдуется всякимъ подборомъ: совершенствованіе,—въ данномъ случаѣ, конечно, культурное, т.-е. умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества... Спѣшу тутъ оговориться, чтобы не подать повода къ недоразумѣніямъ; дѣйствительно, можетъ показаться страннымъ, что я, указывая вамъ цѣль классическаго образованія, называю эту цѣль въ то же время „несознаваемой"; да развѣ можно сознавать несознаваемое? Нѣтъ, конечно; но знать несознаваемое можно—этому учитъ методъ современной біологіи, который одинаково примѣнимъ и къ жизни единицъ, и къ жизни народовъ и человѣчества—и къ онтогеніи, и къ филогеніи.

Но, спрашивается, какимъ же образомъ достигается умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества путемъ классическаго образованія? Этотъ вопросъ самъ собою сводится къ другому вопросу: въ чемъ же заключается образовательное значеніе античности? Его мы поставили еще раньше, и прежде чѣмъ отвѣтить на него, я вамъ доказалъ, что каковъ бы ни былъ нашъ отвѣтъ—удачный или неудачный—самый фактъ образовательнаго значенія античности остается фактомъ, будучи добытъ совершенно независимо отъ этого отвѣта, путемъ культурно-историческихъ соображеній. Эту оговорку я прошу васъ твердо запомнить—я придаю ей огромное значеніе; такъ точно вѣдь и фактъ питательнаго значенія хлѣба былъ фактомъ много раньше, чѣмъ физіологія и органическая химія доказали его намъ вполнѣ наглядномъ образомъ. Что такое физіологія въ данномъ случаѣ? Анализъ воспринимающаго организма. А что такое химія? Анализъ воспринимаемаго вещества. Переходимъ отъ тѣла къ душѣ, отъ питанія къ образованію, отъ хлѣба къ античности; существуютъ ли здѣсь науки, параллельныя физіологіи и органической химіи, т.-е. учащія насъ про-

изводить анализъ и воспринимающему организму, и воспринимаемому веществу? Посмотримъ.

Воспримающій организмъ—это, въ данномъ случаѣ, человѣческій умъ; анализъ ума составляетъ содержаніе *психологіи*, а эта наука существуетъ еще только въ зародышевомъ видѣ. Она не можетъ еще отвѣтить на всѣ вопросы, съ которыми къ ней обращаются... положимъ, и физіологія этого не можетъ, все же она гораздо болѣе изслѣдована, много старше и годами, и опытомъ, чѣмъ та. Затѣмъ—анализъ воспринимаемаго вещества. т.-е. античности; самъ по себѣ онъ не очень труденъ, но вѣдь здѣсь требуется изученіе ея элементовъ въ ихъ дѣйствіи на психическую натуру человѣка, т.-е. своего рода *психологическое науковѣдѣніе*... тутъ уже самое сочетаніе словъ вамъ доказываетъ, что соотвѣтственной науки еще не существуетъ. Итакъ, господа, не будьте слишкомъ требовательны. Я обѣщалъ дать вамъ отвѣтъ на поставленный вопросъ и дамъ его, поскольку этотъ отвѣтъ возможенъ по нынѣшнему состоянію психологическихъ наукъ;—хотя это, повторяю, науки будущаго, все же кое-что въ нихъ установлено довольно прочно, методъ опредѣляется все точнѣе и точнѣе, и мы видимъ, по крайней мѣрѣ, какъ и въ какомъ направленіи искать отвѣтовъ на тревожащіе насъ вопросы. Кое-что я смогу вамъ сказать — да; но при всемъ томъ прошу васъ помнить, что это будетъ лишь предварительный отвѣтъ, и что наши потомки дадутъ его въ гораздо болѣе полной и убѣдительной формѣ. Но, прежде чѣмъ исполнить это свое обѣщаніе, я долженъ васъ просить выслушать нѣсколько замѣчаній, касающихся самаго смысла слова „образовательное значеніе“. Я не желаю, чтобы вы принимали отъ меня что бы то ни было безъ надлежащаго, такъ сказать, таможеннаго осмотра; онъ насъ задержитъ на нѣсколько минутъ, но зато потомъ довѣрія будетъ больше.

Итакъ, ставлю вопросъ: какъ понимать слово „образовательное значеніе“?

Начнемъ съ самаго конкретнаго. У отца, столяра, есть сынъ; онъ хочетъ обучить его своему, столярному ремеслу. Тутъ дѣло обстоитъ просто, для всѣхъ понятно: школа непосредственно „готовитъ къ жизни“, всѣ пріемы, усвоиваемые

мальчикомъ, пригодятся ему именно въ этомъ видѣ въ его будущей дѣятельности. Мы можемъ себѣ прекрасно представить столярную школу—это будетъ одна изъ такъ называемыхъ профессіональныхъ школъ. Имѣетъ ли она право на существованіе? Безусловно да, если допустить, что столь раннее опредѣленіе призванія мальчика вообще возможно или желательно. Но возможно ли распространеніе принципа *профессіональнаго утилитаризма* также и на область умственнаго труда? Отчасти да, какъ это вамъ доказываютъ духовныя семинаріи, военныя училища и нѣкоторые другіе такіе же типы среднихъ школъ; но именно только отчасти. Для большинства относящихся сюда профессій такихъ школъ не существуетъ, да и только что упомянутыя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе стремятся оставить свой узко-профессіональный характеръ и усилить на его счетъ свой характеръ какъ общеобразовательныя заведенія, и вообще замѣчается потребность въ такихъ школахъ, которыя не предрѣшали бы будущей профессіи учениковъ. Но какъ такія школы устроить съ тѣмъ, чтобы онѣ, тѣмъ не менѣе, „готовили къ жизни", т.-е. къ будущей профессіи учениковъ?— Вотъ это-то и есть та педагогическая квадратура круга, надъ рѣшеніемъ которой современное общество бьется съ такимъ же успѣхомъ, какъ раньше надъ знаменитой, геометрической.

Укажу вамъ нѣкоторые изъ путей къ ея рѣшенію, представляющихся уму неподготовленнаго человѣка.

Первый путь. Требуется школа, которая готовила бы будущихъ юристовъ, медиковъ, натуралистовъ, математиковъ, техниковъ, филологовъ и т. д. Прекрасно; пусть же въ ея программу войдутъ тѣ предметы, которые являются общими для всѣхъ этихъ областей дѣятельности.—Неправильность этого рѣшенія очевидна: вѣдь въ томъ-то и дѣло, что такихъ предметовъ нѣтъ или почти нѣтъ. Сравните обозрѣніе преподаванія на юридическомъ и на естественномъ факультетахъ, въ историко-филологическомъ и въ технологическомъ институтахъ—и вы въ этомъ убѣдитесь.

Второй путь. Возьмите по равной порціи изъ числа юридическихъ, медицинскихъ, физико-математическихъ, историко-филологическихъ и другихъ предметовъ и составьте изъ нихъ программу средней школы. — Нѣкоторые, дѣйствительно, такъ

полагаютъ; тѣмъ не менѣе, это явная несообразность. Во-первыхъ, получится ошеломляющая и притупляющая многопредметность; а во-вторыхъ, принципъ утилитаризма все-таки не будетъ соблюденъ, такъ какъ каждому ученику въ отдѣльности такая школа дастъ не болѣе $^1/_{10}$ того, что ему нужно. Теперь спрашивается: какая же это школа, которая на $^1/_{10}$ полезнаго учебнаго матеріала содержитъ $^9/_{10}$ балласта?

Третій путь. Въ виду несостоятельности первыхъ двухъ рѣшеній предлагается оставить въ сторонѣ будущую дѣятельность питомцевъ средней школы и требовать отъ послѣдней только того, чтобы она выпускала образованныхъ людей. Это значитъ: *устраняется профессіонально-утилитарный принципъ, вводится принципъ образовательный.* Прекрасно; но что же это такое: образованный человѣкъ? Опредѣлить это можно: вѣдь есть же образованные люди. Итакъ, что нужно знать для того, чтобы быть образованнымъ человѣкомъ? Одинъ изъ публицистовъ, подвизающихся на педагогическомъ поприщѣ, предложилъ для рѣшенія этого вопроса радикальную мѣру. А именно: путемъ опроса (т.-е. экзамена) образованныхъ людей установить уровень знаній, необходимыхъ для образованнаго человѣка, и эти-то знанія сдѣлать предметомъ школьнаго преподаванія.—Эту мѣру стоило бы осуществить: выводъ получился бы утѣшительный. Вы, разумѣется, понимаете, что по этому рецепту тѣ знанія, которыми обладаетъ одинъ образованный человѣкъ, все-таки не попадутъ въ общеобразовательную программу, коль скоро есть другой образованный человѣкъ, который ими не обладаетъ,—такъ какъ это доказываетъ, что можно, и не обладая ими, быть образованнымъ человѣкомъ. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, если бы оказалось, что иной чудакъ можетъ назвать 30 патагонскихъ деревень, то это его личное дѣло; въ программу мы включили бы только то, что все образованное общество, или его большинство знаетъ о Патагоніи—т.-е. ничего. И такъ по всѣмъ предметамъ; въ результатѣ бы вышло: по ариѳметикѣ—четыре дѣйствія надъ цѣлыми числами съ общимъ понятіемъ о дробяхъ, по геометріи—общія представленія о фигурахъ и тѣлахъ, по алгебрѣ—ничего, по тригонометріи—ничего и т. д.; въ общей сложности—программа,

для усвоенія которой вполнѣ достаточно одного или двухъ гимназическихъ классовъ.

Очевидно, и этотъ путь не ведетъ къ цѣли. Въ чемъ же заключается наша ошибка? Въ томъ, что мы *образованіе ставимъ въ зависимость отъ наличности знаній.* Знанія забываются, но образованность не утрачивается — образованный человѣкъ, даже забывъ все, чему онъ учился, остается образованнымъ человѣкомъ. Этимъ я вовсе не намѣренъ умалить значеніе знаній; совершенно напротивъ—человѣкъ постольку годенъ, поскольку онъ что-нибудь знаетъ. Но, господа, различнымъ людямъ нужны различныя знанія; это и теперь такъ, это и подавно будетъ такъ въ будущемъ—знанія, вѣдь, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе специализируются. Объемъ одинаково нужныхъ всѣмъ людямъ, или даже всѣмъ интеллигентнымъ людямъ знаній и теперь уже очень невеликъ, и будетъ еще уменьшаться съ каждымъ поколѣніемъ, соотвѣтственно росту и, стало быть, специализаціи самихъ знаній; на немъ, значитъ, строить программу средней школы нельзя. А между тѣмъ, средняя школа для всѣхъ будущихъ интеллигентовъ—должна дать имъ именно то, что одинаково пригодится имъ всѣмъ; въ этомъ весь ея смыслъ. Что же это будетъ? Это будетъ, разумѣется, *такая подготовка ума, которая приспособитъ его съ наименьшей затратой силъ и времени и съ наибольшей пользой воспринимать тѣ знанія, которыя ему понадобятся впослѣдствіи.* Истина старая, избитая, если хотите, но никѣмъ не опровергнутая и неопровержимая.

Если бы моей задачей было составлять программу средней школы, то я, на основаніи сказаннаго, постарался бы вамъ выяснить, что она должна обнимать: 1) предметы общаго знанія и 2) предметы общаго образованія, съ преобладаніемъ, разумѣется, послѣдней группы, и что къ этой группѣ должны принадлежать науки математическія, физическія и филологическія—соотвѣтственно тремъ методамъ человѣческаго мышленія: дедуктивному, индуктивно-экспериментальному и индуктивно-наблюдательному. Но, какъ я сказалъ вначалѣ, моя задача уже: я намѣренъ говорить объ образовательномъ значеніи только моего предмета, т.-е. античности. Впрочемъ, и тутъ я долженъ принять мѣры къ тому, чтобы вы не взвалили на

меня большей отвѣтственности, чѣмъ ту, какую я хочу и могу на себя взять. Я знаю, многіе ораторы и публицисты доказываютъ вамъ, что вы совершенно напрасно потеряли то время, которое у васъ пошло на изученіе древнихъ языковъ, и вы имъ рукоплещете; я, съ своей стороны, намѣренъ вамъ доказать, что вы этого времени не потеряли даромъ, даже рискуя сказать вамъ этимъ непріятное. Но, господа, довольно съ меня одного этого риска; за весь тотъ кругъ представленій и чувствъ, который вы, вѣроятно, соединяете съ понятіями „классицизмъ" и „классическая школа", я отвѣтственности на себя брать не хочу. Я прекрасно знаю, что наша классическая школа страдаетъ многими недостатками—эти недостатки мѣстами больше, мѣстами меньше, въ зависимости отъ состава учащихъ и учащихся (а этотъ элементъ гораздо важнѣе всякихъ программъ и инструкцій); но я знаю также, что если въ Турціи санитарное дѣло плохо поставлено, то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы медицина никуда не годилась. Итакъ, моя задача—выяснить вамъ не превосходство той или другой гимназіи, или даже гимназіи вообще, а, согласно сказанному, образовательное значеніе античности при такой постановкѣ ея преподаванія, которую я считаю желательной и, на основаніи собственнаго и чужого опыта, возможной.

Къ рѣшенію этой задачи я и приступаю теперь; все сказанное до сихъ поръ имѣло цѣлью лишь выясненіе ея смысла и расчистку почвы. Возможно, что я на это употребилъ слишкомъ много времени, слишкомъ мало полагался на ваше собственное вниманіе, сообразительность и безпристрастіе. Въ этомъ случаѣ прошу меня простить; я проученъ горькимъ опытомъ, притомъ на людяхъ, отъ которыхъ съ гораздо большимъ правомъ можно бы было требовать всѣхъ этихъ прекрасныхъ качествъ, чѣмъ отъ васъ.

ЛЕКЦІЯ ВТОРАЯ.

Первая антитеза: продолженіе.—Составъ школьной античности.—Древніе языки какъ таковые.—Ассоціаціонный и апперцепціонный методы усвоенія языковъ.—Относительная цѣнность чужого языка какъ дополненія къ родному.—Абсолютная его цѣнность какъ пищи для ума.—Прозрачность правописанія.—Прозрачность флексіи.—Исключенія.—Закономѣрность лингвистическихъ явленій.

Древній міръ—какъ показываетъ самое слово—представляетъ изъ себя въ высшей степени широкую, богатую и разнообразную область знаній; это дѣйствительно—своеобразный и законченный въ себѣ „міръ", но притомъ такой, съ которымъ нашъ современный міръ соединенъ тысячью, большею частью несознаваемыхъ, нитей. Изслѣдованіе этого міра, использованіе его идей для обогащенія умственной и нравственной культуры современности—а первое безъ послѣдняго безполезно,—составляетъ завидную задачу той семьи ученыхъ, къ которой я имѣю честь и счастье принадлежать; ученикамъ гимназій онъ дѣлается извѣстнымъ лишь въ очень небольшой своей части, путемъ тѣхъ своихъ элементовъ, которые входятъ въ составъ такъ называемаго классическаго образованія. Эти элементы суть слѣдующіе: во-первыхъ, система обоихъ древнихъ языковъ съ ея тремя составными частями, этимологіей, семасіологіей (vulgo „слова") и синтаксисомъ; во-вторыхъ, избранныя части лучшихъ произведеній древнихъ литературъ, читаемыя и толкуемыя въ подлинникѣ; въ-третьихъ, ознакомленіе съ различными сторонами античности путемъ прохожденія

древней исторіи, а также и чтенія образцовъ въ переводѣ, разсказовъ о жизни древнихъ, маленькихъ вступительныхъ лекцій о древней философіи, литературѣ, государственномъ и уголовномъ правѣ, объясненія памятниковъ искусства, рекомендаціи хорошихъ новѣйшихъ романовъ изъ жизни древнихъ, а гдѣ возможно—и курзорнаго чтенія цѣлыхъ произведеній на дому и т. д. Съ этихъ трехъ элементовъ мы и должны начать—или, вѣрнѣе, съ первыхъ двухъ, такъ какъ третій войдетъ во вторую часть моего курса, посвященную культурному значенію античности.

Итакъ, во-первыхъ: въ чемъ состоитъ *образовательное значеніе древнихъ языковъ какъ таковыхъ?*

Прежде всего, въ методѣ ихъ усвоенія. Есть, вообще говоря, два метода усвоенія языка, и эти два метода соотвѣтствуютъ обѣимъ кореннымъ функціямъ нашего ума... я васъ предупреждалъ, господа, въ прошлой лекціи, что наука объ умственномъ, такъ сказать, пищевареніи, которая одна только и можетъ намъ отвѣтить на вопросъ объ образовательномъ значеніи того или другого предмета, называется психологіей; естественно, поэтому, что теперь мы прибѣгаемъ къ ея услугамъ. Тѣ двѣ коренныя функціи, о которыхъ я говорю, называются въ современной психологіи, одна—ассоціаціей, другая—апперцепціей; обѣ имѣютъ цѣлью восприниманіе и воспроизведеніе умственнымъ организмомъ предлагаемой ему пищи, но одна сопровождается большимъ, другая меньшимъ участіемъ вниманія. Если какое-нибудь слово, невольно услышанное мною при извѣстной обстановкѣ, само собою возникаетъ въ моей памяти при повтореніи самой обстановки, то мы приписываемъ это дѣйствію ассоціаціи; если же въ обоихъ случаяхъ—и при запоминаніи, и при воспроизведеніи — потребовалось усиліе вниманія, то мы соотвѣтственную функцію нашего ума называемъ апперцепціей. Теперь приложимъ сказанное къ изученію языковъ. Ассоціаціоннымъ путемъ, т.-е. при пассивномъ состояніи вниманія, усвоивается прежде всего родной языкъ; достигается этимъ чисто ремесленная, такъ сказать, сноровка, въ силу которой человѣкъ легко владѣетъ и распоряжается всѣми этимологическими, семасіологическими и синтактическими сокровищами языка, не будучи, однако, въ состояніи отдать

себѣ отчетъ въ причинѣ, почему онъ ими распоряжается именно такъ,—не зная организма своего языка. Всѣ новые языки усвоиваются ассоціаціоннымъ путемъ тѣми, для которыхъ они—родные; а въ виду легкости и пригодности этого метода для быстраго овладѣванія языкомъ, ему слѣдуютъ по возможности и иностранцы. Въ послѣднее время ассоціаціонный методъ преподаванія иностранныхъ языковъ проникаетъ и въ школу, и нѣтъ сомнѣнія, что онъ, подъ какимъ бы то ни было именемъ, овладѣетъ ею со временемъ вполнѣ — за вычетомъ, конечно, тѣхъ увлеченій, которыми онъ пока еще грѣшитъ.

Противоположность къ ассоціаціонному методу составляетъ апперцепціонный. Тутъ мы первымъ дѣломъ изучаемъ организмъ языка, вполнѣ сознательно усвоивая его этимологію, семасіологію, синтаксисъ,—шагъ за шагомъ учась понимать и образовывать сначала простыя предложенія, затѣмъ все болѣе и болѣе сложныя, наконецъ, періоды и соединенія таковыхъ. Достигается этимъ путемъ не ремесленная сноровка, а научное пониманіе языка: человѣкъ раньше усвоитъ, напримѣръ, правило о чередованіи временъ, чѣмъ станетъ бѣгло и безошибочно употреблять въ каждомъ данномъ случаѣ требуемое время. А если такъ, то понятно, что все, что намъ говорятъ о пользѣ изученія языка, относится только къ апперцепціонному методу: нагляднымъ примѣромъ безполезности (для умственнаго развитія) ассоціаціоннаго метода являются кельнера иностранныхъ отелей, бѣгло говорящіе на нѣсколькихъ языкахъ, которые они усвоили именно ассоціаціоннымъ путемъ.—Теперь мы видѣли, что родной языкъ усвоивается исключительно путемъ ассоціаціи—для него апперцепціонный методъ прямо невозможенъ, такъ какъ онъ усвоивается въ такомъ возрастѣ, когда умъ еще мало приспособленъ къ апперцепціонному изученію чего бы то ни было. Мы видѣли, далѣе, что новые иностранные языки, для которыхъ апперцепціонный методъ самъ по себѣ возможенъ, тѣмъ не менѣе, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе отходятъ въ область ассоціаціоннаго метода, которому они современемъ подпадутъ цѣликомъ. Этого движенія намъ никоимъ образомъ не задержать, такъ какъ главная цѣль изученія новыхъ иностранныхъ языковъ,—умѣніе бѣгло говорить или хоть

читать на нихъ,—несомнѣнно быстрѣе и легче достигается при помощи ассоціаціоннаго метода. Такимъ образомъ все, что намъ говорится о пользѣ изученія языковъ, относится исключительно къ изученію языковъ древнихъ.

Прежде чѣмъ идти дальше, установимъ объемъ того, что пока доказано. Доказана польза, для умственнаго развитія, изученія древнихъ языковъ вообще; не доказано, что этими языками должны быть именно греческій и латинскій; недоказано, что оба они, а не какой-нибудь одинъ. Но первое возраженіе не заслуживаетъ вниманія, хотя слышать его приходится, къ сожалѣнію, нерѣдко: кто рекомендуетъ для введенія въ гимназіи вмѣсто греческаго и латинскаго языка—древнееврейскій или санскритскій, тотъ доказываетъ этимъ, во-первыхъ, что онъ ни о томъ, ни о другомъ не имѣетъ никакого представленія, а во-вторыхъ—слабость такого рода суррогатовъ состоитъ именно въ томъ, что каждый изъ нихъ оказывается до извѣстной степени пригоднымъ лишь по одному изъ тѣхъ пунктовъ, по которымъ мы разсматриваемъ пользу античныхъ языковъ, такъ что если всѣ суррогаты сложить вмѣстѣ, чтобы создать эквивалентъ по всѣмъ пунктамъ, то эта сумма окажется и много труднѣе, чѣмъ античные языки, и дающей, вмѣсто гармоническаго цѣлаго, безпорядочный хаосъ разрозненныхъ, не служащихъ поддержкой другъ другу знаній.—Второе возраженіе, что сказаннымъ пока не доказана необходимость изученія обоихъ древнихъ языковъ, справедливо,—но именно только пока.

Теперь идемъ дальше. Само собою разумѣется, что наиболѣе плодотворными и благодарными для апперцепціоннаго усвоенія должны считаться тѣ языки, которые 1) въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму, и 2) *по своимъ психологическимъ свойствамъ являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ родному языку*. Начнемъ со второй стороны...

Опять-таки повторяю, господа, вы предупреждены: физіологіи въ области умственности соотвѣтствуетъ психологія, органической же химіи—то, что я назвалъ выше психологическимъ науковѣдѣніемъ; съ помощью этихъ двухъ наукъ намъ удастся когда-нибудь анализировать вполнѣ точно то, что я непоэтично, но правильно назвалъ умственнымъ пищевареніемъ. Образчикъ психологіи въ примѣненіи къ нашей темѣ я привелъ вамъ

выше, говоря вамъ объ ассоціаціи и апперцепціи; теперь я долженъ привести образчикъ психологическаго науковѣдѣнія въ примѣненіи къ лингвистикѣ. Мы различаемъ въ языкахъ двоякаго рода элементы: во-первыхъ, элементы, выражающіе видимость и вообще предметы непосредственныхъ ощущеній; во-вторыхъ, элементы, выражающіе результаты рефлексіи. Первые мы называемъ сенсуалистическими, вторые—интеллектуалистическими элементами; это различеніе, какъ вы увидите, соприкасается съ различеніемъ между вещественными и отвлеченными элементами, но не вполнѣ съ ними совпадаетъ. Смотря по преобладанію тѣхъ или другихъ элементовъ въ языкахъ мы и языки разбиваемъ на тѣ же группы, т.-е. одни языки называемъ сенсуалистическими, а другіе интеллектуалистическими. Если теперь, сообразуясь съ этой точкой зрѣнія, составить табель близкихъ намъ языковъ въ видѣ прогрессіи, въ которой первымъ членомъ былъ бы языкъ наиболѣе интеллектуалистическій и наименѣе сенсуалистическій, а послѣднимъ — языкъ наименѣе интеллектуалистическій и наиболѣе сенсуалистическій, то на обоихъ концахъ этой прогрессіи оказались бы—языки латинскій на одномъ и русскій на другомъ. Особенно разительно это различіе сказалось на системѣ спряженія. Дѣйствительно, наиболѣе яркимъ выразителемъ сенсуалистическаго характера языка является такъ называемый видъ глагола, передающій непосредственное впечатлѣніе, воспринимаемое органами внѣшнихъ чувствъ; напротивъ, выразителями интеллектуалистическаго характера языка будутъ съ одной стороны времена, съ другой—наклоненія. Времена—порожденія сортирующей памяти и рефлексіи; память хранитъ образы событій въ ихъ правильной исторической перспективѣ, проицируя ихъ не на одинъ общій фонъ, а на разные, въ соотвѣтствіи съ ихъ послѣдовательностью; рефлексія создаетъ такія же, такъ сказать, кулисы и для ожидаемыхъ событій въ будущемъ. Вспомните, если кому приходилось переводить по-латыни предложенія въ родѣ слѣдующаго: „когда ты ко мнѣ придешь, мы погуляемъ“: вѣдь „придешь“ по-латыни „venies“—такъ и хочется русскому человѣку поставить „cum ad me venies, ambulabimus“, а это будетъ неправильно. Приходъ, вѣдь, предшествуетъ прогулкѣ, это два различныхъ фона

въ будущемъ; вы должны, беря futurum exactum, сказать: „cum ad me *veneris*, ambulabimus“. Это различеніе—порожденіе рефлексіи; русскій языкъ его не выражаетъ, сливая всѣ фоны послѣдовательности на общемъ экранѣ будущности, латинскій же языкъ ихъ выражаетъ и требуетъ отъ васъ, чтобы вы, пользуясь имъ, прибѣгали къ этой рефлексіи.—Еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи наклоненія. Они—порожденія той же рефлексіи, не довольствующейся установленіемъ одной только дѣйствительности, засвидѣтельствованной органами внѣшнихъ чувствъ, а тщательно отличающей различные углы „наклона“ къ дѣйствительности даннаго дѣйствія, начиная съ его полнаго совпаденія съ ней, продолжая ожидаемостью, затѣмъ простой возможностью и кончая недѣйствительностью. Времена и наклоненія особенно развиты въ древнихъ языкахъ, притомъ времена въ латинскомъ, наклоненія въ греческомъ—напротивъ, виды въ нихъ слабѣе представлены, особенно въ латинскомъ. Въ русскомъ языкѣ, наоборотъ, времена едва намѣчены, наклоненія вполнѣ отсутствуютъ,—напротивъ, виды получили такое развитіе, какого они не имѣютъ ни въ одномъ другомъ языкѣ. Итакъ, древніе языки—языки преимущественно интеллектуалистическіе; въ качествѣ таковыхъ они являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическому русскому языку.

Тутъ интереснѣе всего то, что наши противники, получивъ нѣкоторое представленіе объ указанномъ здѣсь различіи, эксплуатируютъ его въ свою пользу: „латинскій языкъ“, говорятъ они, „по своему строю совершенно различенъ отъ русскаго; стало быть, онъ намъ русскимъ и не нуженъ“. Неосновательность этого силлогизма станетъ очевидна, если перенести его на болѣе матеріальную почву. Представьте себѣ экономиста, который сталъ бы разсуждать такъ: „Россія—преимущественно земледѣльческая страна; стало быть, ввозить въ нее продукты промышленности нечего, слѣдуетъ ввозить хлѣбъ; напротивъ, Англія—страна преимущественно промышленная: она нуждается, поэтому, во ввозѣ мануфактурныхъ издѣлій, а хлѣба ей не нужно“. Въ данномъ случаѣ, впрочемъ, исторія приходитъ на помощь теоріи, подтверждая ея выводъ: для всѣхъ новыхъ языковъ латинскій языкъ былъ языкомъ-воспитателемъ, съ по-

мощью котораго они были интеллектуализованы; съ его же помощью они, къ слову сказать, послѣ этой первой школы интеллектуализаціи, прошли, какъ мы видѣли, и вторую, доставившую имъ художественность. Творцомъ нѣмецкой художественной прозы былъ Лессингъ, французской—скорѣе всего Бальзакъ старшій, итальянской—Боккачьо; всѣ трое вполнѣ сознательно подражали латинскимъ образцамъ, особенно Цицерону.

Перейдемъ, однако, къ первой сторонѣ интересующаго насъ здѣсь пункта. Я утверждаю, что древніе языки потому должны считаться наиболѣе плодотворнымъ и благодарнымъ матеріаломъ для апперцепціоннаго усвоенія, что они *въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму.*

Чтобы доказать это, намъ нужно взглянуть нѣсколько внимательнѣе на эту „безплодную степь древнихъ языковъ", какъ ее называютъ наши противники. Начинаемъ съ начала. Съ перваго же урока ученикъ испытываетъ то удовольствіе, что чтеніе не представляетъ ему никакихъ затрудненій, благодаря строгому, почти полному соотвѣтствію произношенія начертанію, звуковъ буквамъ. Ни въ одномъ новомъ языкѣ это соотвѣтствіе не бываетъ столь полнымъ: уже съ этой одной точки зрѣнія латинскій языкъ заслуживаетъ быть первымъ иностраннымъ языкомъ, преподносимымъ мальчику. Вѣдь гораздо естественнѣе, полагаю я, слово est сначала произносить „эстъ", а затѣмъ уже, при прохожденіи французскаго языка, усвоить позднѣйшее, истершееся произношеніе „э",—чѣмъ съ самаго начала учить, что одно и то же слово произносится „э", но пишется, по непонятнымъ для ученика причинамъ, est.

Прежде, однако, чѣмъ идти дальше, спросимъ себя, какую пользу намъ принесла эта прозрачность латинскаго языка, сказывающаяся въ соотвѣтствіи произношенія начертанію. Ту ли только, что на усвоеніе произношенія не потребовалось никакого труда? Нѣтъ. Я еще намѣренъ въ одной изъ слѣдующихъ лекцій побесѣдовать съ вами о модномъ нынѣ вопросѣ „облегченія" школьнаго труда и указать вамъ на тѣ серьезныя опасности соціальнаго характера—да, господа, соціальнаго—которыя принесетъ съ собой это облегченіе. Но школьный трудъ бываетъ двухъ родовъ—трудъ образовательный

и трудъ необразовательный. Подъ образовательнымъ трудомъ я разумѣю такой, который заставляетъ васъ пускать въ ходъ свою сообразительность, подводя частный случай подъ общее правило; такой трудъ будетъ въ то же время и нравственнымъ, такъ какъ онъ учитъ васъ чувствовать надъ собой власть закона, а не произвола, и ничего не принимать на вѣру безъ достаточнаго основанія. Теперь вспомните тотъ трудъ, котораго вамъ стоило заучиваніе французскаго правописанія въ отличіе отъ произношенія; можно ли его назвать образовательнымъ и нравственнымъ? Почему слово, произносимое какъ „э", пишется то *et*, то *est*, то *ait* и т. д.? Съ какой стати въ *doigt* „палецъ" появилась эта непроизносимая и ненужная буква *g*? Отчего *honneur*, *labeur* пишутся безъ *e* послѣ *r*, а *demeure*. *heure* черезъ *e*? На все это отвѣта нѣтъ; единственное достаточное основаніе, которое ученикъ можетъ всему этому привести, это: „такъ сказалъ учитель" или „такъ стоитъ въ учебникѣ". Положимъ, на дѣлѣ всему этому достаточное основаніе есть—но, господа, это основаніе заключается именно въ латинскомъ языкѣ: правописаніе *et*, *est* и *ait* вполнѣ понятно тому, кто знаетъ, что эти слова восходятъ къ латинскимъ *et*, *est*, *habeat*; сверхштатная согласная *g* въ *doigt* не смутитъ того, кто знаетъ, что это слово произошло отъ *digitus*; въ правописаніи перечисленныхъ словъ на *eur(e)* не ошибется тотъ, кто знаетъ, что и въ латинскомъ языкѣ первая категорія имѣетъ основы на согласную (honor, labor), а вторая—на гласную (mora, hora). Все это такъ, и я вовсе не имѣлъ въ виду принизить сказаннымъ французскій языкъ. Но вѣдь мы имѣемъ въ виду ученика, который учится по-французски, не зная латыни; такой, разумѣется, никакого закона надъ собой не чувствуетъ, чувствуетъ одинъ только произволъ. И мнѣ жаль каждаго часа, потраченнаго на такое ученіе: оно не развиваетъ, не освобождаетъ духа, а напротивъ, закрѣпощаетъ его, заглушаетъ въ немъ исконное стремленіе доискиваться въ каждомъ случаѣ закона и разумнаго основанія. И вотъ почему я ставлю латинскому языку—а равно и греческому—въ великую заслугу то, что онъ съ первыхъ же уроковъ освобождаетъ учениковъ отъ этого крѣпостного труда.

Ту же прозрачность строя, облегчающую столь важное для развитія ума установленіе причинности, мы встрѣчаемъ и въ дальнѣйшемъ, начиная съ этимологіи. Проходятся пять склоненій; почему ихъ именно пять? Я предлагаю ученику образовать во всѣхъ пяти родительные падежи множественнаго числа: mens**a**rum, hort**o**rum, turr**i**um, stat**u**um, di**e**rum; затѣмъ творительные падежи единственнаго; mens**a**, hort**o**, turr**i**, stat**u**, di**e**—вездѣ тѣ же пять гласныхъ, по одной на каждое склоненіе. Теперь ему ясно, почему въ латинскомъ языкѣ пять склоненій: потому что и гласныхъ пять. Но кромѣ гласныхъ, бываютъ еще и согласные; дѣйствительно, мы имѣемъ родительные падежи reg-um, capit-um, dolor-um; оказывается, склоненіе такихъ словъ совпадаетъ со склоненіями словъ на *i*, образуя съ ними вмѣстѣ такъ называемое третье склоненіе. Теперь ему понятно, почему въ этомъ третьемъ склоненіи иныя слова имѣютъ въ извѣстныхъ падежахъ *i*, *ium*, *ia*, а другія —*e*, *um*, *a*.—Затѣмъ естественный вопросъ: „а у насъ какъ?“ Учитель скажетъ: и у насъ, въ сущности, то же самое; только вы этого не замѣчаете, потому что у насъ окончанія поистерлись. А когда будете учиться церковнославянскому языку, то вы увидите, что и у насъ склоненія зависятъ отъ заключительной гласной основы, что и у насъ есть основы на *а*, *о*, *i*, *u* (только на *е* нѣтъ), что и у насъ основы на согласные отчасти соединились съ основами на *i*.

Въ системѣ спряженій то же явленіе: am*a*re, doc*e*re, stat*u*ere, fin*i*re; согласные примкнули къ основамъ на *u*: re*g*-ere, scri*b*-ere спрягаются такъ же, какъ и stat*u*-ere. Но почему нѣтъ основъ на *o*? Потому что рядомъ съ основами на *a* онѣ излишни: глаголъ firmare общій и для firmus и для firma.—Все это еще не научная историческая грамматика, а только осмысленная школьная; путемъ этого осмысленія я внушаю ученику убѣжденіе, что языкъ есть царство законности, а не произвола, что каждое явленіе въ языкѣ имѣетъ свое разумное основаніе. Попробуйте теперь добиться тѣхъ же результатовъ съ помощью нѣмецкой системы склоненій, этихъ безсмысленныхъ starke, schwache und gemischte Declination, или французской системы спряженій съ ихъ не менѣе безсмысленными и произвольными окончаніями *er*, *ir*, *oir* и *re*! Вѣдь для

того, чтобы внести нѣкоторый смыслъ въ французскій языкъ, я долженъ опять-таки воспользоваться помощью того же латинскаго, долженъ свести французскіе глаголы, aimer, finir, devoir и vendre къ ихъ латинскимъ первообразамъ amare, finire, debere и vendere! Не даромъ же глубокій знатокъ французскаго языка и французской литературы, Vinet, сказалъ, что le latin c'est la raison du français: этимъ самымъ онъ призналъ, что французскій языкъ самъ по себѣ raison не имѣетъ и, какъ языкъ, пищи уму дать не можетъ. Вотъ почему вдвойнѣ хорошо, что французскій языкъ, какъ и вообще новые языки, усвоивается ассоціаціоннымъ путемъ, апперцепціоннымъ же путемъ только тѣ, которые по своему организму этого стоятъ.

А исключенія? спросите вы. Да, конечно; имѣй мы латинскій языкъ въ своей власти, мы бы его устроили такъ, чтобы исключеній въ немъ не было; но такъ какъ это не въ нашей власти, то будемъ же радоваться хоть тому, что ихъ такъ немного. Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ, что въ самомъ легкомъ изъ русскихъ склоненій (женскихъ на *а*) совершенно схожія по формѣ и ударенію слова *толпа*, *звѣзда*, *вода* представляютъ изъ себя, однако, три различныхъ, различно склоняемыхъ типа (I. *толпá*, *толпý*, *толпы́*; II. *звѣздá*, *звѣздý*,—*звѣзды:* III. *водá*,—*вóду*, *вóды*); что въ тоже нетрудномъ склоненіи мужскихъ на *ъ* односложныя слова распадаются даже на четыре типа (I. *споръ*, *спóра*, *спóры*, *спóровъ;* II. *зубъ*, *зýба*, *зýбы*,—*зубóвъ*; III. *полъ*, *пóла*,—*полы́*, *полóвъ;* IV. *столъ*,—*столá*, *столы́*, *столóвъ*); возведемъ, какъ это необходимо при апперцепціонномъ усвоеніи, одинъ изъ этихъ типовъ въ правило—и мы увидимъ, какія у насъ получатся безконечныя вереницы исключеній. Вспомнимъ, затѣмъ, объ опредѣленіи рода французскихъ и особенно нѣмецкихъ существительныхъ — и мы легко согласимся, что въ латинскомъ языкѣ исключеній, сравнительно, очень немного.

Но при всемъ томъ они есть и, поскольку они есть, затрудняютъ апперцепціонное усвоеніе языка; что же дѣлаетъ съ ними классическая школа? Какъ школа серьезная, она требуетъ отъ своихъ питомцевъ умственной работы—но лишь постольку, поскольку эта работа образовательна и плодотворна; считая усвоеніе исключеній необходимымъ въ виду своихъ

дальнѣйшихъ цѣлей, но не плодотворнымъ въ смыслѣ развитія ума, она облегчила его до послѣдней возможности. Книга знаменитаго экономиста Bücher'a „Arbeit und Rhythmus", въ которой авторъ развиваетъ экономическое значеніе ритма, какъ облегчающаго работу средства, и узнаетъ въ первоначально безсмысленной и только ритмической рабочей пѣсенкѣ одинъ изъ главныхъ корней (онъ говоритъ даже: единственный корень) поэзіи — эта книга въ ту эпоху, о которой я говорю, еще не была написана; все же фактъ, который Бюхеромъ впервые былъ тщательно изслѣдованъ, сознавался уже тогда. Затѣмъ, школа понимала, что имѣетъ дѣло не съ взрослыми, а съ 9—11-лѣтними мальчиками, для которыхъ заучиваніе безсмысленнаго, но ритмическаго набора словъ составляетъ физическую потребность: достаточно, вѣдь, вспомнить, что это — тотъ самый возрастъ, когда дѣти при своихъ играхъ такъ любятъ „считаться", какъ они это называютъ, при чемъ они пользуются какой-нибудь тарабарщиной, лишенной всякаго смысла, но въ ритмической формѣ. Опираясь на указанные психологическіе факты — 1) облегчающую, спеціально мнемоническую силу ритма и 2) склонность дѣтей къ заучиванію ритмическаго набора словъ — классическая школа нашла выходъ изъ затруднительнаго положенія, въ которое она была поставлена наличностью исключеній: желая по возможности облегчить своимъ питомцамъ ихъ усвоеніе, она составила тѣ знаменитыя стихотворныя правила, которыми насъ постоянно попрекаютъ наши противники. Послѣдующія времена, измѣнивъ цѣли преподаванія, дали возможность значительно сократить эти стишки; но въ этой сокращенной формѣ они являются и понынѣ лучшимъ средствомъ для усвоенія требуемаго матеріала. Я самъ ими пользовался, когда былъ преподавателемъ въ первомъ классѣ: помню, какъ вычурныя сочетанія мудреныхъ словъ и потѣшныя риѳмы вызывали здоровый дѣтскій смѣхъ моихъ учениковъ, особенно когда я заставлялъ ихъ, къ концу урока, хоромъ повторять риѳмованныя правила; а такъ какъ я признавалъ здоровый юморъ очень полезнымъ „вегикуломъ" (какъ говорятъ врачи) при преподаваніи въ младшихъ классахъ, то эти финалы уроковъ обращались въ своего рода веселую игру; и если бы послѣ такихъ уроковъ школьный врачъ соблагово-

лилъ циркулемъ измѣрить притупленность нервовъ у моихъ мальчиковъ, то онъ остался бы, полагаю я, вполнѣ доволенъ.

Такова латинская этимологія; скажу теперь нѣсколько словъ и о греческой. Она довершаетъ лингвистическое зданіе прибавленіемъ къ нему важнаго отдѣла — фонетики. Только греческій языкъ даетъ достаточно полную систему звуковъ; только на немъ можно ознакомиться съ такими важными лингвистическими явленіями, какъ стяженія гласныхъ и комбинаціи согласныхъ, благодаря чему организмъ языка дѣлается еще прозрачнѣе и понятнѣе. Настоящимъ торжествомъ такого освѣщенія языка представляется система спряженія, которую только въ греческомъ языкѣ и можно пройти синтетически. Я даю ученику не формы, а ихъ составные элементы: говорю ему, что корень вообще не измѣняется, но что къ нему прибавляются разнаго рода частицы, выражающія время (такъ называемая „примѣта времени“), наклоненіе (такъ называемая „тематическая гласная“), лицо и число („окончаніе“); учу его обращаться съ этими элементами, предупреждаю его, что принадлежность дѣйствія прошлому подчеркивается прибавленіемъ такъ называемаго приращенія, а его совершенность выражается удвоеніемъ — и мой ученикъ уже самъ, рѣдко прибѣгая къ моей помощи, образуетъ мнѣ всю систему глагола. И разумѣется, не одинъ только греческій языкъ сталъ ему понятенъ этимъ путемъ—такое разложеніе формъ на ихъ элементы освѣщаетъ заодно и строй каждаго языка, строй языка вообще. Съ этой точки зрѣнія можно сказать, что латинская этимологія раскрыла ученику анатомію, а греческая—химію языка вообще; вмѣстѣ взятыя онѣ выясняютъ ему происхожденіе и образованіе языка, который теперь уже не будетъ ему казаться наборомъ чисто условныхъ и произвольныхъ правилъ, а напротивъ — закономѣрнымъ и величественнымъ въ своей закономѣрности явленіемъ природы. А насколько важенъ такой взглядъ, въ этомъ легко убѣдится всякій. Вспомнимъ, что языкъ—та природа, которой мы дѣйствительно окружены вездѣ и всегда; выясняя ученику закономѣрность этой природы, пріучая его къ наблюденіямъ въ этой области, мы поддерживаемъ въ немъ тотъ духъ научности, который приспособляетъ человѣка ко всякаго рода научному труду. Не могу останавли-

ваться здѣсь на этой мысли; сошлюсь, однако, на „Введеніе въ философію" Фр. Паульсена, который доказываетъ, что даже эволюціонная теорія, которой такъ гордится естествознаніе нашихъ временъ, была, прежде всего, установлена на латинскомъ языкѣ В. Гумбольдтомъ, а затѣмъ уже перенесена на явленія матеріальной природы. Эта книга, къ слову сказать, можетъ быть горячо рекомендована тѣмъ, которые раздѣляютъ неправильное мнѣніе, будто методъ научнаго изслѣдованія неразрывно связанъ со своимъ матеріаломъ; впрочемъ, неправильность этого мнѣнія ясна всѣмъ, кто когда-либо изучалъ исторію какой-нибудь науки, или самъ не чуждъ научнаго творчества.

Довольно, однако, на сегодня. Область, со значеніемъ которой я успѣлъ васъ познакомить, занимаетъ небольшое мѣсто не только въ античности вообще, т.-е. въ системѣ наукъ о древнемъ мірѣ, но даже и въ томъ, что̀ можно назвать школьной античностью. Но, съ одной стороны, это—первая область, съ которой имѣетъ дѣло человѣкъ, вступающій въ предѣлы античности; здѣсь, поэтому, насъ встрѣтила масса принципіальныхъ вопросовъ, которые пришлось, такъ или иначе, выяснить. А съ другой стороны—это въ то же время наиболѣе поруганная область: всѣ противники классическаго образованія попрекаютъ насъ главнымъ образомъ грамматикой обоихъ древнихъ языковъ, этой „безплодной степью", какъ они ее называютъ. Я старался вамъ показать, что эта мнимая степь приноситъ свои плоды,—притомъ плоды, если не всегда сладкіе, то зато здоровые и въ умственномъ, и въ нравственномъ отношеніи. На этомъ я сегодня заканчиваю; на слѣдующихъ лекціяхъ предполагаю нѣсколько ускорить темпъ — это можно будетъ сдѣлать безъ ущерба для дѣла, такъ какъ онѣ будутъ посвящены болѣе привлекательнымъ—также и съ внѣшней стороны—частямъ античности.

ЛЕКЦІЯ ТРЕТЬЯ.

Первая антитеза: продолженіе.—Лексическій составъ древнихъ языковъ.—«Языкъ—исповѣдь народа».—Отраженіе народной души въ словахъ языка.— Отраженіе въ нихъ народнаго быта. — Синтаксисъ. — Эманципація мысли. — Сравнительная неграмматичность русскаго языка.—Стилистическая цѣнность языковъ. —Античный «періодъ» какъ школа стиля. — Опасность оскудѣнія и борьба съ нимъ.

Начиная свою третью лекцію объ образовательномъ значеніи античности, считаю полезнымъ напомнить вамъ въ немногихъ словахъ содержаніе первыхъ двухъ, которыя вы прослушали двѣ недѣли назадъ. Мы видѣли, прежде всего, что враждебное отношеніе къ античности значительной части общества не должно имѣть для насъ рѣшающаго значенія, такъ какъ этотъ сознательный, неблагопріятный вердиктъ, плодъ заблужденія и обмана, не можетъ идти въ сравненіе съ безсознательнымъ благопріятнымъ вердиктомъ того же общества, которое бережетъ классическое образованіе вотъ уже 15—20 вѣковъ: „большое *я*“ важнѣе „малаго“. Мы видѣли, затѣмъ, что образовательное значеніе античности должно быть признано фактомъ на основаніи данныхъ опыта, независимо отъ того, удастся ли намъ удовлетворительно выяснить, въ чемъ оно состоитъ—точно такъ же какъ питательное значеніе хлѣба считалось фактомъ на основаніи данныхъ того же опыта много раньше, чѣмъ физіологія пищеваренія и органическая химія намъ его доказали аналитически. Обсудивъ затѣмъ бѣгло и нѣсколько другихъ принципіальныхъ вопросовъ, мы перешли

къ темѣ, т.-е. къ посильному выясненію образовательнаго значенія античности; установивъ, что элементовъ классическаго образованія въ гимназіи три—а именно система обоихъ древнихъ языковъ, избранныя части лучшихъ произведеній древнихъ литературъ и ознакомленіе съ различными сторонами античности путемъ прохожденія древней исторіи и т. д.—мы сосредоточились на первомъ изъ нихъ, на системѣ древнихъ языковъ, съ ея тремя составными частями, этимологіей, семасіологіей и синтаксисомъ. Я старался вамъ доказать, что образовательное значеніе древнихъ языковъ какъ таковыхъ заключается прежде всего въ апперцепціонномъ (а не ассоціаціонномъ) методѣ ихъ усвоенія, пригодномъ для древнихъ и непригодномъ для новыхъ языковъ; затѣмъ въ томъ, что древніе языки по своимъ психологическимъ свойствамъ, какъ языки интеллектуалистическіе, являются наиболѣе желательнымъ дополненіемъ къ преимущественно сенсуалистическому русскому языку; наконецъ въ томъ, что они въ своемъ организмѣ даютъ наиболѣе пищи уму. Эту питательность, такъ сказать, древнихъ языковъ мы установили прежде всего на этимологіи; мы видѣли, что оба языка почти свободны отъ той неудобоваримой и лишь засоряющей память примѣси, которая обусловливается несоотвѣтствіемъ правописанія произношенію; что латинская этимологія, благодаря своей сравнительной прозрачности, выясняетъ ученику анатомію языка вообще, пріучая его этимъ смотрѣть на языкъ какъ на закономѣрное явленіе природы—между тѣмъ какъ вносящія пертурбацію въ дѣтскій умъ „исключенія“ въ латинской этимологіи сравнительно немногочисленны, и усвоеніе ихъ можетъ быть облегчено до послѣдней степени; что, равнымъ образомъ, греческая этимологія, благодаря своей еще большей прозрачности, даетъ возможность расчленить языкъ на его простѣйшіе составные элементы — это то, что я назвалъ „лингвистической химіей“. Здѣсь мы остановились; характеристику обѣихъ остальныхъ частей системы древнихъ языковъ, семасіологіи и синтаксиса, пришлось за недостаткомъ времени отложить до слѣдующей лекціи, т.-е. до сегодняшней.

Но, господа, прежде чѣмъ перейти къ ея темѣ, считаю умѣстнымъ подѣлиться съ вами нѣкоторыми соображеніями, вызванными отношеніемъ нѣкоторыхъ моихъ слушателей къ

моимъ первымъ лекціямъ. Моей задачей была и есть характеристика античности въ ея образовательномъ значеніи—именно характеристика, а не защита: апологетическаго элемента я отъ себя вносить не хотѣлъ. Такой, однако, получился и получается самъ собой въ силу естественныхъ условій: тамъ, гдѣ какое нибудь общественное явленіе подвергается несправедливымъ нападеніямъ, всякая правильная его характеристика невольно принимаетъ видъ апологіи. Отсюда дальнѣйшее неудобство: обидчикъ склоненъ считать всякій протестъ противъ его обиды—обидой, нанесенной ему. Возьму примѣръ: натуралистъ (т.-е. разумѣется одинъ изъ натуралистовъ) говоритъ, что античность никуда не годится; я ему возражаю и доказываю, что античность годится на то-то и то-то. Стало быть, говоритъ мой противникъ, по вашему естественныя науки никуда не годятся? Нѣтъ, г. натуралистъ, это будетъ вовсе не по моему, совершенно напротивъ: разница между вами и мною состоитъ именно въ томъ, что я и понимаю, и уважаю вашу науку, между тѣмъ какъ вы, повидимому, не въ состояніи уважать, т.-е. понимать мою.

Повторяю, я въ своихъ лекціяхъ стараюсь только характеризовать мою область; иногда я, въ силу необходимости, защищаю ее и себя, но никогда ни на кого и ни на что не нападаю. Выражусь яснѣе: я не только не имѣлъ въ виду обидѣть кого бы то ни было—я никого не обидѣлъ; это заявленіе я въ правѣ сдѣлать, такъ какъ каждое слово моихъ лекцій было мною обдумано именно съ этой точки зрѣнія. Если же кто тѣмъ не менѣе считаетъ себя обиженнымъ, то я позволю себѣ ему замѣтить, что эта его обиженность—плодъ неправильнаго толкованія имъ моихъ словъ, въ которомъ я неповиненъ. Предусмотрѣть такое неправильное толкованіе не было въ моихъ силахъ: путь истины, повторяю, одинъ, но путей заблужденія безчисленное множество.—А затѣмъ перехожу къ темѣ.

Объ образовательномъ значеніи этимологіи обоихъ языковъ было сказано въ прошлой лекціи—конечно, очень бѣгло, но вѣдь недостатокъ времени не дозволяетъ намъ идти дальше самыхъ общихъ контурныхъ эскизовъ; теперь на очереди семасіологія, сводящаяся въ гимназіи къ заучиванію „словъ“

того и другого языка. Это заучиваніе тянется черезъ весь гимназическій курсъ, такъ какъ оно сопровождаетъ чтеніе каждаго автора; спрашивается, какая отъ него польза? Отвѣчаю: польза очень большая и разнообразная; но такъ какъ я здѣсь имѣю въ виду только общеобразовательное значеніе античныхъ языковъ, то я не буду говорить о важности знанія лексическаго ихъ состава для сознательнаго отношенія къ живущимъ понынѣ въ новыхъ языкахъ латинскимъ и греческимъ словамъ, особенно для научной терминологіи, а равно и о важности этого знанія для облегченія и осмысленія изученія романскихъ языковъ, особенно французскаго. Между тѣмъ, то общеобразовательное значеніе болѣе всего оспаривается. Что за польза, говорятъ, въ томъ, что я могу назвать собаку полатыни canis, а по гречески κύων? Развѣ мое представленіе о собакѣ благодаря этому обогащается хоть на одну черту?— Когда я слышу подобнаго рода разсужденія—а слышу я ихъ часто—я испытываю такое же чувство, какое испытываетъ химикъ, когда ему въ числѣ элементовъ называютъ воду, или астрономъ, когда ему говорятъ о вращеніи солнца вокругъ земли: на меня вѣетъ чѣмъ-то затхлымъ и старымъ, я убѣждаюсь, что вся новѣйшая эволюція лингвистической науки прошла для разсуждающаго безслѣдно. Еще В. Гумбольдтъ вполнѣ справедливо сказалъ: die Sprache ist durchaus kein blosses Verständigungsmittel, sondern der Abdruck des Geistes und der Weltanschauung des Redenden; и ту же мысль выразилъ у насъ кн. Вяземскій въ своихъ стихахъ:

Языкъ есть исповѣдь народа:
Въ немъ слышится его природа,
Его душа и бытъ родной.

Возьмемъ примѣръ: то слово, которое люди говорятъ другъ другу при прощаніи: χαῖρε, vale, adieu, farewell, leb wohl— тутъ, что ни языкъ, то новое представленіе, новая частица народной исповѣди. Но, возразятъ, чѣмъ же тутъ древніе языки лучше новыхъ? Отвѣчаю: *во-первыхъ*, тѣмъ, что они усвоиваются апперцепціонно, согласно сказанному раньше, такъ что тутъ семасіологическое различіе проникаетъ въ сознаніе, между тѣмъ какъ въ новыхъ языкахъ при ассоціаціон-

номъ усвоеніи оно въ сознаніе не проникаетъ. Говорящій по-французски русскій такъ же мало задумывается надъ тысячу разъ произносимымъ adieu, какъ и надъ своимъ русскимъ „прощай“; напротивъ, по-гречески онъ обязательно учитъ: χαῖρε—собственно „радуйся“, затѣмъ „прощай“, по-латыни обязательно: vale—собственно „будь здоровъ“, затѣмъ „прощай“—и тутъ-то повѣетъ на него хоть слегка жизнерадостнымъ духомъ Греціи, трезвымъ и бодрымъ — Рима; и самъ собою, точно рикошетомъ, явится вопросъ: „а у насъ какъ?“ И онъ призадумается надъ тѣмъ, что̀ это значитъ, когда мы, разставаясь, говоримъ другъ другу: „прости“, „прощай“; и этотъ клочокъ народной исповѣди пробудитъ въ немъ сознаніе, что его родной языкъ—языкъ дѣйствительно прекрасный и полный чувства и души. Это—разъ, или вѣрнѣе, разъ и *два*, такъ какъ постоянно вызываемую охоту къ сравненію съ роднымъ языкомъ я тоже считаю достоинствомъ изученія античной семасіологіи; но это не все.

Третье достоинство—ея прозрачность. Среди вокабуловъ третьяго склоненія встрѣчается cor cordis „сердце“. „Было у насъ“, спрашиваю, „слово того же корня“? Да, было: concordia. — „Итакъ, что̀ значитъ concordia собственно“? — Совмѣстность сердецъ (ученикъ скажетъ, конечно: „когда сердца вмѣстѣ“, и это, пожалуй, даже лучше). Итакъ, происхожденіе отвлеченныхъ понятій изъ конкретныхъ выяснено на примѣрѣ; но вслѣдъ затѣмъ рикошетомъ является вопросъ: „а у насъ какъ?“ И ученикъ въ первый разъ задумается надъ словомъ „согласіе“ и скоро рѣшитъ, что оно означаетъ, собственно, „совмѣстность голосовъ“—причемъ ему придетъ въ голову и то, что въ данномъ случаѣ латинскій языкъ, пожалуй, обнаружилъ больше глубины и чувства. Попробуйте достигнуть тѣхъ же результатовъ съ французскимъ concorde, въ которомъ ученикъ и не узнаетъ слова coeur, или съ нѣмецкимъ Eintracht, котораго онъ никогда не пойметъ, даже если ему объяснить, что tracht происходитъ отъ tragen.

Четвертое достоинство заключается въ томъ, что слова князя Вяземскаго о языкѣ дѣйствительно болѣе всего примѣнимы къ древнимъ языкамъ, болѣе всего потому, что они—особенно греческій—выросли самобытно, не испытавъ вліянія

другихъ языковъ. Подчеркиваю этотъ пунктъ: греческій языкъ для насъ незамѣнимъ именно какъ языкъ-самородокъ. Это не значитъ, разумѣется, чтобы въ немъ не было вовсе негреческихъ словъ: таковыя, особенно финикійскаго происхожденія, имѣются, но ихъ не только очень немного,—они касаются только внѣшняго міра и ничуть не затрогиваютъ народной души. Да я здѣсь и не говорю вовсе объ иностранныхъ словахъ—они носятъ отпечатокъ своего иностраннаго происхожденія, болѣе или менѣе легко узнаваемый, и никого, поэтому, въ заблужденіе не введутъ; нѣтъ, я говорю о словахъ, переведенныхъ съ иностраннаго языка и, стало быть, внѣшнимъ образомъ проникшихъ въ языкъ, а не выработанныхъ народной совѣстью; вы легко поймете, что чѣмъ больше процентъ такихъ словъ, тѣмъ менѣе языкъ народа служитъ выразителемъ народной совѣсти. Такъ вотъ именно такихъ „переводныхъ“ словъ въ греческомъ языкѣ нѣтъ; благодаря этому онъ весь, какъ онъ есть, явился отпечаткомъ греческой народной души, такъ что мы, даже если бы вся греческая литература погибла, на основаніи одного греческаго словаря могли бы возстановить эту душу. Напротивъ, новые языки, и въ томъ числѣ русскій, вамъ этой возможности не даютъ; спеціально въ русскомъ языкѣ такихъ „переводныхъ“ словъ такъ много, что безъ нихъ не только мы, люди культурные, но даже самые неграмотные крестьяне не были бы въ состояніи поговорить другъ съ другомъ „по совѣсти“. Для примѣра, возьмемъ то самое слово, которое занимаетъ насъ теперь—слово „совѣсть“; можемъ ли мы, можетъ ли народъ безъ него обойтись? Нѣтъ, очевидно. А между тѣмъ, можно ли сказать, что это слово—плодъ русской народной совѣсти, частица исповѣди русскаго народа? Нѣтъ, господа: въ русскомъ народномъ сознаніи это слово корней не имѣетъ. Что такое „совѣсть“? Расчленимъ его: „вѣсть“ отъ „вѣдаю“, „совѣсть“ отъ „со-вѣдаю“.... у насъ такого слова или оборота нѣтъ; мы говоримъ: „я не вѣдаю грѣха за собой“, а не „съ собой“. Какъ же появилось у насъ это слово? Чисто книжнымъ путемъ, посредствомъ перевода греческаго συνείδησις (лат. con-scientia), не разъ встрѣчающагося въ Новомъ Завѣтѣ. А συνείδησις — чисто греческое слово и понятіе; по-гречески дѣйствительно говорятъ

σύνοιδα ἐμαυτῷ κακόν τι ποιήσαντι, „я знаю вмѣстѣ съ собою, совершившимъ дурное дѣяніе". Понимаете ли вы, что это значитъ? Это значитъ вотъ что. Ты совершилъ дурное дѣяніе, со всѣми предосторожностями, тайно отъ всѣхъ людей, и даже, быть можетъ, отъ боговъ. Тѣмъ не менѣе не утѣшай себя мыслью, что у тебя нѣтъ свидѣтелей. Есть нѣкто, „знающій это дѣяніе вмѣстѣ съ тобой", и этотъ нѣкто—ты самъ, божественное начало твоей души, и отъ этого свидѣтеля тебѣ никогда не отдѣлаться, пока ты живъ. И вотъ—продолжаю словами Эсхила — „ночью вмѣсто сна памятливая забота стучится въ окно твоего сердца, и противъ твоей воли ты учишься быть добродѣтельнымъ". Итакъ. душа человѣка двоится: одна часть, земная, оскверняетъ себя грѣхомъ,—другая, божественная, становится строгой свидѣтельницей и судьей первой; эта вторая часть, „вѣдающая вмѣстѣ съ нами"—наша совѣсть. Вотъ вамъ опять частица народной исповѣди; да, но эта исповѣдь—исповѣдь *греческаго* народа, составляющая одно цѣлое съ ученіемъ Эсхила и Платона, а не русскаго, который пріобщилъ наше слово путемъ буквальнаго перевода съ греческаго. И такихъ „переводныхъ" словъ у насъ много, и знать ихъ нужно для того, чтобы не приписывать русской народной душѣ того, что ей чуждо. Выводъ отсюда ясенъ: какъ это ни звучитъ парадоксально, но знать по-гречески нужно, чтобы знать русскій языкъ. Кто требуетъ упраздненія греческаго языка и усиленія на его счетъ русскаго, тотъ этимъ требованіемъ доказываетъ, что онъ самъ не знаетъ русскаго языка, его прошлаго, его души.

Впрочемъ, эта важность греческаго языка для пониманія языка русскаго получилась у насъ лишь въ видѣ попутнаго результата; наша тема здѣсь другая—исключительное значеніе античныхъ языковъ какъ полныхъ и цѣльныхъ отпечатковъ народной души. Но кн. Вяземскій говорилъ не только о душѣ: „его душа и быть родной", гласитъ послѣдній изъ приведенныхъ мною стиховъ. Вы могли спросить: при чемъ тутъ бытъ родной? Выясню и это на примѣрѣ.

Вамъ всѣмъ извѣстно слово rivalis, перешедшее также и во французскій языкъ; его значеніе—„соперникъ". Но задумывались ли вы надъ его происхожденіемъ? Указать его

можетъ любой гимназистъ даже младшихъ классовъ: socialis отъ socius, rivalis отъ rivus. Да, конечно; но rivus означаетъ „ручей“—какимъ же образомъ его производное rivalis получило значеніе „соперникъ“? А вотъ какимъ образомъ. Въ Италіи, гдѣ дожди въ жаркое время рѣдкость, уже въ древности практиковалась система искусственныхъ орошеній: вода отъ рѣки или ключа отводилась съ помощью канала, rivus; къ этому каналу примыкали канавы, прорѣзывавшія подлежащіе орошенію поля и луга. Черезъ приподнятый шлюзъ вода въ нихъ вводилась изъ главнаго канала; если земля была достаточно пропитана влагой, шлюзъ опускался—claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt, говоритъ у Вергилія пастухъ. Теперь вы легко поймете, что въ засуху эта вода каналовъ цѣнилась очень дорого: при слишкомъ обильномъ орошеніи у верхняго сосѣда—нижній сосѣдъ могъ остаться безъ воды. Отсюда частые споры между „сосѣдями по каналу“, между rivales—таково первоначальное значеніе нашего слова; въ этомъ значеніи оно употребляется римскими юристами. Не всегда, однако, эти споры, это соперничество между rivales оставалось на почвѣ гражданско-правовыхъ сношеній; бывали случаи много серьезнѣе. Отъ обильныхъ дождей питаемый горными ключами каналъ вздулся и разсвирѣпѣлъ; бурной струей текутъ его волны между сдерживающими ихъ плотинами, еще немного—и онѣ поравняются съ краемъ плотины нашего крестьянина или прорвутъ ее, зальютъ его поля, разрушатъ его хижину, разорятъ его..., если только онѣ не прорвутся раньше въ поля его сосѣда по ту сторону канала и не погубятъ его. Tua mors—mea vita. И вотъ онъ ночью, вооруженный заступомъ, прокрадывается къ плотинѣ сосѣда, чтобы ее раскопать и направить разрушительный потокъ на его луга, сады, строенія. Но и сосѣдъ не дремлетъ: едва раздались первые удары заступа, какъ сбѣгается челядь, пускается въ ходъ дубье, камни, ножи, происходитъ кровопролитная драка... между кѣмъ? Между rivales. Понятенъ вамъ теперь переходъ значенія въ этомъ словѣ? Такъ на лексической сокровищницѣ языка отражается „бытъ родной“ создавшаго его народа.

Вернемся, однако, къ его душѣ; затронутый здѣсь вопросъ настолько интересенъ и важенъ, что мнѣ хотѣлось бы пояс-

нить его еще нѣсколькими примѣрами. Что такое potens?— „мощный“; а impotens? — изрѣдка „немощный“, но чаще „страстный“—вотъ вамъ исповѣдь народа, который въ разумѣ видѣлъ силу, неразумную же страсть отожествлялъ съ безсиліемъ. Далѣе: πράσσω— „поступаю“; εὖ πράσσω—„поступаю хорошо“, а затѣмъ „я счастливъ“. Вотъ та ячейка народнаго сознанія эллиновъ, изъ которой потомъ органически выросла нравственная философія Сократа, видѣвшая въ добродѣтели, т.-е. въ хорошихъ поступкахъ, необходимое условіе счастья, а затѣмъ — стоическая этика, учившая, что добродѣтель сама по себѣ дѣлаетъ человѣка счастливымъ. Далѣе: γιγνώσκω— „познаю, понимаю“; συγγιγνώσκω — собственно „понимаю вмѣстѣ“, затѣмъ „прощаю“; что это значитъ? Это значитъ— tout comprendre c'est tout pardonner: гуманное правило, которымъ прославилась г-жа de Stael, давно уже имѣлось въ исповѣди греческаго народа. Но если христіанинъ молитъ Бога о прощеніи ему грѣховъ, то онъ не можетъ сказать Ему: „пойми ихъ вмѣстѣ со мной“; въ молитвѣ Господней сказано поэтому не σύγγνωθι, а ἄφες, dimitte nobis peccata nostra — „отпусти“; dimitte не удержалось, но его замѣнило равнозначующее perdona, „подари мнѣ сверхъ заслуги“, которое и понынѣ живетъ въ романскихъ языкахъ. Я привелъ это послѣднее обстоятельство въ виду *пятаго* достоинства древней семасіологіи: оно состоитъ въ томъ, что, благодаря ей, мы получаемъ возможность на небольшихъ областяхъ проводить историческія перспективы, которыя и сами по себѣ интересны и цѣнны, и поддерживаютъ въ учащихся духъ историзма—эту сигнатуру современной науки, давшую истекшему XIX вѣку названіе saeculum historicum.

Вмѣстѣ же взятыя указанныя достоинства таковы, что благодаря имъ съ лихвой окупается затрачиваемое на усвоеніе античной семасіологіи время; я, по крайней мѣрѣ, знаю по собственному опыту, что этимъ путемъ можно произвести на учащихся самое глубокое впечатлѣніе, пробуждая въ нихъ не только мысли, но и чувства.

Теперь два района „безплодной степи древнихъ языковъ“ благополучно пройдены; остался третій — *синтаксисъ*. Это

вмѣстѣ съ тѣмъ для многихъ самый страшный районъ; къ нему преимущественно относится выраженіе „гимнастика ума", которое наши противники избрали главною мишенью для своихъ насмѣшекъ, замѣняющихъ у нихъ доказательства. Позвольте противопоставить имъ сужденіе человѣка, который, какъ мыслитель, имѣлъ представленіе о процессѣ мышленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ отецъ современной психологіи не можетъ не имѣть авторитета въ интересующихъ насъ здѣсь психологическихъ вопросахъ — именно Шопенгауера. „При переводѣ на латинскій языкъ", говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи über Sprache und Worte § 299, „приходится совершенно освобождать мысль отъ тѣхъ словъ, которыя въ подлинникѣ ее выражаютъ, чтобы она стояла въ нашемъ сознаніи нагой, какъ духъ безъ тѣла; а затѣмъ слѣдуетъ дать ей совершенно другое, новое тѣло при помощи латинскихъ словъ, которыя передаютъ ее въ совершенно другой формѣ, такъ что, напр., существительныя подлинника теперь выражены глаголами и т. д. Производство подобной метемпсихозы развиваетъ настоящее мышленіе. Здѣсь мы имѣемъ то же явленіе, которое въ химіи называется status nascens: простая матерія (Stoff), оставляющая одно соединеніе, чтобы вступить въ другое, обнаруживаетъ, во время своего перехода, особую и исключительную силу и дѣятельность. То же самое относится и къ обнаженной отъ словъ мысли при ея переходѣ изъ одного языка въ другой. Вотъ, стало быть, почему древніе языки непосредственно развиваютъ и укрѣпляютъ духъ". И вотъ, прибавлю, почему Фулье могъ справедливо сказать: Chaque leçon de latin est une leçon de logique; разумѣлъ онъ при этомъ, премущественно, урокъ латинскаго синтаксиса, къ которому онъ смѣло могъ прибавить и греческій.

Къ положенію Шопенгауера мы еще вернемся; здѣсь пока отмѣтимъ, что оно касается лишь одной стороны дѣла; вторая, тоже важная, состоитъ въ томъ, что каждый урокъ латинскаго или греческаго синтаксиса есть въ тоже время и урокъ русскаго языка. Возьмемъ примѣръ: проходя съ учениками греческій синтаксисъ, я предлагаю имъ для перевода по-гречески слѣдующія двѣ фразы: „чтобы его считали благочестивымъ, онъ часто молился", и „чтобъ сердце гнѣвной матери Господь

смягчилъ, молюсь". Конструкціи вполнѣ одинаковыя — два очевидныхъ предложенія цѣли, „молиться, чтобы". Тѣмъ не менѣе по-гречески онѣ переводятся различно: въ первомъ случаѣ слѣдуетъ взять союзъ ἵνα съ сослагательнымъ наклоненіемъ, во второмъ—простое неопредѣленное наклоненіе. Почему такое различіе? Потому, что его требуетъ также и логика: вѣдь въ первомъ случаѣ „чтобы его считали благочестивымъ" есть *только* цѣль молитвы, во второмъ же случаѣ „чтобъ сердце гнѣвной матери Господь смягчилъ" — не только цѣль, но и содержаніе; некрасовскій крестьянинъ дѣйствительно молился: „Господи, смячи сердце гнѣвной матери", между тѣмъ какъ содержаніе молитвъ того ханжи неизвѣстно, да и не важно. Какъ же вамъ кажется: одному ли только греческому синтаксису научилъ я своихъ учениковъ, или же заставилъ ихъ относиться сознательно и къ синтактическимъ явленіямъ русскаго языка? Но, возразятъ намъ, той же цѣли можно достигнуть и безъ греческаго синтаксиса: проходите съ ними русскій синтаксисъ систематически, выясняйте на удачно подобранныхъ примѣрахъ различныя логическія категоріи, совмѣщаемыя въ одинаковыхъ категоріяхъ грамматическихъ— и дѣло будетъ сдѣлано. Отвѣчу: нѣтъ, этимъ путемъ дѣло не будетъ сдѣлано. Ученику нѣтъ надобности знать такія тонкости русскаго синтаксиса, чтобы понимать Некрасова, который и самъ врядъ ли ихъ зналъ; но ему необходимо ихъ знать для правильнаго перевода указаннаго рода фразъ по-латыни или по-гречески. Между тѣмъ, самый дѣйствительный педагогическій пріемъ состоитъ въ слѣдующемъ: если цѣль, которую вы поставили ученикамъ, не самоинтересна, то вы достигнете ея не иначе, какъ превращая ее въ средство къ достиженію другой цѣли.

Вообще синтаксисъ, да и прочую грамматику, слѣдуетъ проходить именно на древнихъ языкахъ, а не на русскомъ, и вотъ почему.

Первая причина та, что она развилась и выросла именно на древнихъ языкахъ, а не на русскомъ, и потому сидитъ на русскомъ языкѣ точно краденое пальто. Какъ удобопримѣнимы грамматическія категоріи къ латинской фразѣ mihi pecunia deest, и какъ не примѣнимы онѣ къ равнозначущей

русской фразѣ „у меня нѣтъ денегъ“! Какъ объясните вы мальчику, гдѣ здѣсь подлежащее и гдѣ сказуемое? У римлянина grando laedit segetem, у русскаго „градомъ побиваетъ (кто?) посѣвъ“; римлянинъ хочетъ спать, русскому хочется спать; вездѣ видна разница между интеллектуалистическимъ характеромъ древнихъ языковъ и сенсуалистическимъ—русскаго. Да и всякій, полагаю я, знаетъ, что за безплодное занятіе эти синтактическіе разборы (или анализы) русскихъ предложеній вслѣдствіе постоянныхъ уклоненій живой рѣчи отъ грамматическихъ схемъ.

Да, господа, русскій языкъ сравнительно весьма неграмматиченъ; не будь древнихъ языковъ, изъ которыхъ была заимствована русская грамматика—онъ, вѣроятно, такъ и остался бы безъ нея. Быть можетъ, многіе изъ васъ не увидѣли бы въ этомъ большого ущерба: грамматика не пользуется особыми симпатіями молодежи. Но дѣло не въ симпатіяхъ: никто не можетъ отрицать, что грамматика — первый опытъ логики, примѣненной къ явленіямъ языка, и что въ этомъ заключается ея образовательное значеніе. Дѣйствительно, русскій языкъ въ своемъ синтаксисѣ гораздо менѣе логиченъ, чѣмъ древніе, по той же причинѣ, по какой онъ въ своей этимологической части менѣе интеллектуалистиченъ: его легче оцѣнить съ психологической, чѣмъ съ логической точки зрѣнія. Кто знаетъ, будь русскій языкъ предоставленъ самому себѣ,—мы имѣли бы, вмѣсто нынѣшней логической—психологическую его грамматику, и при синтактическихъ разборахъ, вмѣсто терминовъ „подлежащее, сказуемое, главное предложеніе и т. д.“, употребляли бы термины: „господствующее представленіе—отступающее представленіе—замкнутая структура—открытая структура—ассоціативный элементъ и т. д.“... Понятно, что въ частностяхъ это себѣ представить трудно, такъ какъ психологія синтаксиса только нарождается. Она обѣщаетъ быть интересной наукой, но по образовательному значенію она все-таки не можетъ сравниться съ испытаннымъ логическимъ синтаксисомъ, и школа имѣетъ полное основаніе дорожить этой не очень вкусной, но очень здоровой пищей, — а стало быть и древними языками, изъ которыхъ она, согласно сказанному, естественнѣе всего добывается.

Итакъ, преимущественная грамматичность древнихъ языковъ — вотъ первая причина, почему проходить грамматику и въ частности синтаксисъ слѣдуетъ именно на нихъ.

Вторая и, пожалуй, главная причина — это полная безцѣльность грамматики при ассоціаціонномъ усвоеніи языка. Ученикъ вѣдь прекрасно сознаетъ, что, производя этимологическій или синтактическій разборъ заданнаго отрывка, онъ ни на іоту не понимаетъ его лучше, чѣмъ понималъ раньше; а потому эти упражненія и не оставятъ слѣда въ его умственномъ развитіи. Напротивъ, при переводѣ каждой почти фразы древняго языка на русскій приходится спрашивать себя, гдѣ здѣсь подлежащее, гдѣ сказуемое, что здѣсь выражаетъ ut, — слѣдствіе или цѣль, и т. д.; здѣсь грамматическій анализъ является дѣйствительно средствомъ къ пониманію текста, а не цѣлью самъ по себѣ; здѣсь онъ, поэтому, и разуменъ и плодотворенъ.

А затѣмъ, прежде чѣмъ покончить съ синтаксисомъ и грамматикой вообще, я долженъ заявить, что, по моему мнѣнію, наши руководства грамматики обоихъ древнихъ языковъ нуждаются въ реформѣ. Объ этой реформѣ говорить здѣсь не мѣсто; ограничусь, поэтому, замѣчаніемъ, что цѣлью этой реформы должно быть не столько ихъ сокращеніе, ихъ освобожденіе отъ такъ называемаго балласта, сколько ихъ приспособленіе къ образовательной цѣли изученія древнихъ языковъ. Слѣдуетъ выдвинуть и развить ту часть грамматическаго матеріала, которая цѣнна въ логическомъ и психологическомъ отношеніяхъ; слѣдуетъ по возможности облегчить усвоеніе той части, которая, не имѣя цѣнности сама по себѣ, тѣмъ не менѣе необходима для пониманія греческихъ и латинскихъ текстовъ; и слѣдуетъ пропустить ту, которая ни съ той, ни съ другой точки зрѣнія не нужна.

Теперь продолжаю.

Къ синтаксису примыкаетъ стилистика; не являясь сама по себѣ предметомъ преподаванія, она тѣмъ не менѣе косвенно проходится, хотя и не систематически, при переводахъ съ древнихъ языковъ на русскій и наоборотъ; она стоитъ, такимъ образомъ, на рубежѣ между грамматикой и чтеніемъ авторовъ. Что сказать о ней? Вышеприведенныя слова Шопенгауера при-

мѣнимо къ ней въ такой же мѣрѣ, если не въ большей еще, чѣмъ къ синтаксису. Когда я латинскую фразу Hannibalem conspecta moenia ab oppugnanda Neapoli deterruerunt перевожу по-русски *„видъ* стѣнъ удержалъ Аннибала отъ *осады* Неаполя“, то я называю этотъ переводъ „литературнымъ“ въ противоположность буквальному, но невозможному по-русски переводу *„увидѣнныя* стѣны удержали Аннибала отъ *имѣющаго быть осажденнымъ* Неаполя“; при этомъ я, во-первыхъ, убѣждаюсь, что выше существительныхъ и глаголовъ стоятъ понятія, которыя сами по себѣ не являются ни тѣми, ни другими, и лишь вслѣдствіе стилистическихъ условій языка, на которомъ мы говоримъ, выражаются либо тѣми, либо другими; говоря иначе, я учусь эманципировать понятія отъ словъ, которыми они выражаются, а это — необходимая подготовка къ философскому мышленію, къ разсужденію, такъ какъ, по мѣткому выраженію Фр. Ницше, „всякое слово есть предразсудокъ“. Во-вторыхъ же, я на такихъ примѣрахъ изучаю именно тѣ стилистическія условія, о которыхъ было упомянуто только что, узнаю на опытѣ, что свойственно и что несвойственно и латинской, и русской рѣчи. А что латинскій языкъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно незамѣнимъ—въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, если онъ потрудится перевести предложенный мною примѣръ на любой изъ новыхъ языковъ: l'aspect des murs—der Anblick der Mauern—вездѣ существительныя, какъ и по-русски, латинскій языкъ со своими глаголами стоитъ особнякомъ; даже грекъ скажетъ τῆς πολιορκίας вмѣсто oppugnanda. И не думайте, что это странное предпочтеніе, отдаваемое глаголамъ, есть свойство одной только грамматики латинскаго языка—оно стоитъ въ связи съ самымъ процессомъ римскаго мышленія, которое было именно актуальнымъ, а не субстанціальнымъ, и нашло себѣ высшее выраженіе въ римской религіи: римская религія, поскольку она была римской, основывалась на обоготвореніи актовъ, была религіей актуальной, а не субстанціальной. Кто бы могъ думать, что существуетъ такая интимная связь между столь разнородными предметами, какъ грамматика—и религія? А между тѣмъ она есть, и своимъ существованіемъ лишній разъ доказываетъ правильность много разъ приведеннаго слова: „языкъ есть исповѣдь народа“.

Это разъ. Но если въ этомъ отношеніи латинскій языкъ (съ греческимъ) является средствомъ для *теоретическаго* познаванія языка и языковъ, то въ другомъ отношеніи онъ справедливо можетъ быть названъ школой для *практическаго* усовершенствованія стиля. Я долженъ подчеркнуть фактъ, что мы стоимъ здѣсь на вполнѣ твердой почвѣ историческаго опыта; какъ я уже замѣтилъ выше, народы запада выработали свою художественную прозу именно на латинскомъ языкѣ, путемъ старательнаго его изученія и сознательнаго подражанія ему. Да и у насъ художественна' проза, поскольку мы ею обладаемъ, результатъ той строгой школы, которую нашъ языкъ прошелъ въ такъ называемый ложно-классическій періодъ; обладаемъ же мы ею еще только въ слабой степени, и можно по праву утверждать, что русскій языкъ еще далеко не вполнѣ развернулся, не нашелъ той художественной формы, которая бы соотвѣтствовала его природной силѣ и гибкости. Но вы можете меня спросить, благодаря какимъ же своимъ качествамъ латинскій языкъ былъ и еще можетъ быть воспитателемъ стиля для насъ; постараюсь дать и здѣсь по возможности ясный и краткій отвѣтъ, а для этого выберу изъ многихъ сюда относящихся сторонъ латинской стилистики одну, особенно яркую— *періодъ*.

Прошу тутъ прежде всего оставить въ сторонѣ одинъ предразсудокъ: если вы думаете, что періодъ выражаетъ собой лишь пышность стиля, что это какой-то торжественный трезвонъ, громкій для слуха и безсодержательный для мысли, то вы глубоко заблуждаетесь. Для мыслителя, вслѣдствіе сложности взаимнаго тяготѣнія частей и частицъ занимающей его въ каждомъ данномъ случаѣ мысли, *періодъ* — этотъ живой организмъ съ его столь опредѣленно выраженнымъ подчиненіемъ второстепенныхъ предложеній главнымъ, а третьестепенныхъ второстепеннымъ,—является необходимой крупной единицей разсужденія, безъ которой построеніе доказательства было бы такъ же затруднено, какъ сложныя алгебраическія вычисленія безъ заключенныхъ въ скобки полиномовъ; но для того, чтобы служить этой цѣли, періодъ долженъ быть вполнѣ удобообозримъ; удобообозримость же достигается разнообразіемъ подчиненности. Степеней подчиненности три: есть предложенія главныя, придаточныя полныя

и придаточныя сокращенныя. Первыя двѣ общи всѣмъ культурнымъ языкамъ; совершенство языка въ смыслѣ періодизаціи зависитъ отъ наличности и распространенія въ немъ третьей степени—сокращеннаго придаточнаго предложенія. Въ этомъ отношеніи изъ близкихъ намъ языковъ ниже всѣхъ стоитъ языкъ нѣмецкій; это—языкъ двустепенный, сокращеніе придаточныхъ предложеній въ немъ почти не допускается. „Человѣкъ, никогда не учившійся", вы не можете передать сокращеннымъ относительнымъ предложеніемъ: „ein Mensch nie gelernt habender"—вы должны взять полное относительное предложеніе: „ein Mensch, der nie gelernt hat". Выше стоятъ романскіе языки; они допускаютъ сокращеніе нѣкоторыхъ обстоятельственныхъ предложеній путемъ главнымъ образомъ дѣепричастныхъ конструкцій (ayant appris... и т. д.), но не относительныхъ и не дополнительныхъ. Еще выше стоитъ языкъ русскій: въ немъ возможны сокращенія и нѣкоторыхъ обстоятельственныхъ предложеній путемъ дѣепричастныхъ, и относительныхъ путемъ причастныхъ конструкцій, хотя и съ ограниченіями; сокращеніе дополнительныхъ предложеній, однако, невозможно и здѣсь. Наибольшей степени совершенства достигли языки древніе: они сокращаютъ и обстоятельственныя предложенія (притомъ греческій—всѣ, латинскій—лишь нѣкоторыя), и относительныя (притомъ не только при тѣхъ же подлежащихъ, но, благодаря такъ называемымъ ablativus или genitivus absolutus, и при различныхъ), и дополнительныя (благодаря accusativus cum infinitivo). Итакъ, древніе языки, какъ вполнѣ трехстепенные, наиболѣе совершенны въ смыслѣ періодизаціи; изъ новыхъ же языковъ къ нимъ наиболѣе приближается языкъ русскій.

Но тѣ достоинства, которыми сама природа надѣлила русскій языкъ, остаются большею частью втунѣ. Къ сожалѣнію, непосредственно воспитательной роли древніе языки по отношенію къ русскому въ *новыя времена* не играли; въ древнія времена русской исторіи греческій языкъ дѣйствительно, какъ мы видѣли, былъ воспитателемъ русскаго, и за это спасибо ему: тогда именно и сложились природныя стилистическія силы этого послѣдняго. Нѣтъ, я говорю о новыхъ временахъ, когда вырабатывалась наша художественная проза, вплоть до нашихъ дней. Посмотрите, какой огромный процентъ въ нашей лите-

ратурѣ (въ широкомъ смыслѣ) составляетъ литература переводная; можете ли вы допустить, что эта литература остается безъ вліянія на языкъ? А между тѣмъ переводятъ у насъ почти исключительно съ французскаго, нѣмецкаго, англійскаго, т.-е. съ такихъ языковъ, которые, какъ двустепенные, въ стилистическомъ отношеніи стоятъ ниже русскаго (въ другихъ отношеніяхъ они выше, но это насъ здѣсь не касается). Переводчики, а съ ними и ихъ читатели, пріучаются не пускать въ ходъ всѣхъ стилистическихъ силъ родного языка, низводятъ его до уровня тѣхъ, съ которыхъ они переводятъ; результатъ— оскудѣніе русскаго языка. Въ одномъ направленіи съ этими переводами дѣйствуетъ и другая разрушительная сила: нездоровое стремленіе приблизить литературный языкъ къ естественно небрежной разговорной рѣчи; а съ тѣхъ поръ, какъ литературная русская рѣчь изъ рукъ писателей перешла въ руки публицистовъ, опасность оскудѣнія стала еще сильнѣе.

Я прошу васъ, господа, серьезно взвѣсить тѣ соображенія, которыя я привожу вамъ здѣсь — не сомнѣваюсь, что многіе изъ васъ ихъ слышатъ впервые—и не брать на вѣру утѣшеній моихъ противниковъ, которые то, что я называю здѣсь оскудѣніемъ, выдаютъ за естественность и говорятъ вамъ о прелести простоты. Что касается естественности, то мы давно отказались отъ плодотворнаго въ свое время заблужденія Руссо, который естественность смѣшивалъ съ примитивностью, и вернулись къ опредѣленію Аристотеля, что естественность заключается въ совершенствѣ, а не въ зародышѣ: для русскаго языка, трехстепеннаго по своей природѣ, естественъ богатый періодъ, а не убогая стилизація западныхъ языковъ и разговорной рѣчи. Что же касается прелести простоты, то если вы ею такъ увлекаетесь,—что же, отбросьте въ музыкѣ хроматику, вернитесь къ семиструнной, а то и къ четырехструнной лирѣ; отбросьте и аккорды, объявите верхомъ музыкальной прелести исполняемаго однимъ пальцемъ „чижика“. Отбросьте, равнымъ образомъ, роскошную палитру Рафаэлей и Рубенсовъ, или нашихъ Рѣпиныхъ и Васнецовыхъ, вернитесь—какъ это, впрочемъ, и дѣлаютъ нѣкоторые художники-декаденты — къ живописи четырьмя красками безъ оттѣнковъ; все это — прелесть простоты... Нѣтъ, господа: въ рукахъ вашихъ и вашихъ сверст-

никовъ будущее вашего родного языка. Помните, что въ Аѳинахъ считалось долгомъ чести каждаго гражданина, чтобы онъ унаслѣдованное отъ отцовъ достояніе передалъ сыну не уменьшеннымъ, а скорѣе увеличеннымъ; кто этого не дѣлалъ, про того говорили, на картинномъ языкѣ тѣхъ временъ, что онъ „съѣлъ отцовское добро", τὰ πάτρια κατεδήδοκεν, и подвергали его атиміи. Вспомните строгій судъ теперешней Франціи въ лицѣ Тэна надъ французской академіей XVII в. за то, что она, увлекаясь стремленіемъ къ простотѣ, допустила (лексическое) оскудѣніе роскошнаго языка Рабелэ; берегитесь, какъ бы и про васъ потомки не сказали, что вы въ области языка „съѣли отцовское добро".

Конечно, вы изъ моихъ словъ не выведете заключенія, что я приглашаю васъ вездѣ и всегда говорить и писать трехстепенными періодами; вѣдь если я совѣтую вамъ развивать свои физическія силы, то это не значитъ, что вы, чтобы передать сосѣду чашку кофе, должны пускать въ ходъ обѣ руки и упираться всѣмъ корпусомъ. Нѣтъ: мое утвержденіе сводится къ тому, что образованный русскій долженъ *умѣть* строить сложные и въ то же время удобообозримые періоды тамъ, гдѣ этого требуетъ мысль, гдѣ это нужно для логической или психологической полноты разсужденія или изложенія. И вотъ въ этомъ отношеніи классическая школа, при руководствѣ знающихъ свое дѣло преподавателей, можетъ оказать русскому языку существенную услугу. Нѣмецкая и французская проза, вслѣдствіе своего еще меньшаго совершенства, для насъ вполнѣ безполезны; только античная проза, принуждая насъ при переводѣ пускать въ ходъ всѣ стилистическія достоинства нашего языка, можетъ служить школой для нашихъ стилистовъ и спасти русскую рѣчь отъ угрожающихъ ей серьезныхъ и невозвратимыхъ утратъ.

Тутъ я предвижу, однако, слѣдующаго рода возраженіе: можно ли ожидать пользы для русскаго языка отъ классической прозы, когда вы сами, господа классики, портите его своими стилистическими перлами? Не вами ли изобрѣтено „онъ нанесъ войну", „онъ былъ отсѣченъ относительно головы" и т. п.?

Возраженіе это въ значительной степени устарѣло: конечно,

въ тѣ времена, когда преподаваніе классическихъ языковъ было поручаемо лицамъ, плохо знавшимъ русскій языкъ, другого и ожидать нельзя было. За вычетомъ же этихъ ненормальностей остается въ силѣ вотъ что: мы, классики, дѣйствительно иногда, съ педагогической цѣлью, прибѣгаемъ къ переводу дословному, который я называю „рабочимъ переводомъ" (по аналогіи термина „рабочая гипотеза"); такъ, напримѣръ, я не могу выяснить ученику, *учащемуся* только по-латыни, а не вполнѣ владѣющему ею, стилистическое различіе между Hannibalem *conspecta* moenia ab *oppugnanda* Neapoli deterruerunt и „*видъ* стѣнъ удержалъ Аннибала отъ *осады* Неаполя" — иначе какъ сопоставляя съ этимъ послѣднимъ „литературнымъ переводомъ" также и рабочій переводъ „Аннибала *увидѣнныя* стѣны удержали отъ *имѣющаго быть осажденнымъ* Неаполя". (Иногда учитель потребуетъ отъ ученика рабочаго перевода для того, чтобы убѣдиться, что онъ работалъ самостоятельно: но это уже скорѣе педагогически-полицейская, чѣмъ педагогически-образовательная мѣра). Но во всѣхъ такихъ случаяхъ рабочій переводъ — не болѣе какъ переходная ступень, соотвѣтствующая такой же переходной ступени въ работѣ самой мысли; бываетъ, что человѣкъ останавливается на немъ, но это—плодъ лѣности или небрежности, который терпимъ быть не долженъ. Рабочій переводъ — то же, что негативъ для фотографа: онъ такъ же необходимъ, какъ переходная ступень, и такъ же недопустимъ, какъ окончательная цѣль и окончательный результатъ нашего труда.

Но, отвѣтятъ, называйте это негативомъ или какъ вамъ угодно будетъ, а все-таки эти безобразные „рабочіе переводы" существуютъ, ученикъ ихъ слышитъ, они безсознательно отзываются на его стилѣ, искажая и извращая его.—Нѣтъ, отвѣчу, они не отзываются на немъ; если вы другого мнѣнія, то я прошу васъ указать мнѣ одинъ примѣръ такой порчи русскаго языка, которой мы были бы обязаны вліянію античной рѣчи. Вы его не найдете; уже таковъ характеръ этой послѣдней, что языкъ-ученикъ воспринимаетъ изъ него одно только здоровое, ведущее къ интеллектуальному и художественному совершенствованію, и безсознательно выдѣляетъ все то, что заставило бы его уклониться отъ этой восходящей колеи. Мо-

жемъ ли мы сказать то же самое и про новые языки? Спросите ревнителей чистоты русскаго языка, насколько они довольны тѣмъ симбіозомъ русскаго языка съ французскимъ, осязательнымъ результатомъ котораго явился пресловутый французско-нижегородскій жаргонъ. Я не говорю здѣсь о такихъ позорныхъ проявленіяхъ лингвистическаго недомыслія, какъ идіотская поговорка „онъ не въ своей тарелкѣ", заклеймленная еще Пушкинымъ и все еще не вышедшая изъ употребленія— поговорка, доказывающая, что ея творецъ никакого другого значенія французскаго assiette, кромѣ гастрономическаго, не зналъ. Нѣтъ, оставимъ это; но что скажете вы объ оборотахъ вродѣ „это происшествіе имѣло мѣсто тогда то", „это меня устраиваетъ", „кровавая баня", „государственный ударъ" и т. д. Античнаго они происхожденія? Нѣтъ. Скорѣе можно сказать, что школа античности учитъ насъ, — въ силу той усиленной сознательности, которую она сообщаетъ своимъ ученикамъ въ области лингвистическихъ явленій—замѣчать ихъ несвойственность и избѣгать ихъ.

Довольно, однако, о стилистикѣ и о языкахъ вообще. Все ли я вамъ высказалъ и развилъ? Нѣтъ, далеко не все. Я не говорилъ вамъ о томъ важномъ фактѣ, что мы только на древнихъ языкахъ можемъ прослѣдить, такъ сказать, *исторію* воплощенія мысли въ словахъ; переходя отъ Гомера къ Геродоту, далѣе въ Ѳукидиду, Ксенофонту, Платону, отъ нихъ къ Демосѳену и заканчивая Цицерономъ, мы видимъ, какъ духъ борется съ матеріей рѣчи, какъ онъ путемъ послѣдовательныхъ интеграцій разрозненныхъ ея частей вводитъ въ нее порядокъ и градацію подчиненія и изъ самостоятельныхъ предложеній такъ называемаго „нанизывающаго стиля" (λέξις εἰρομένη) создаетъ объединенный и централизованный періодъ, приблизительно такъ же, какъ изъ самостоятельныхъ и самодовлѣющихъ общинъ создается объединенное и централизованное государство. Это, да и много другого, я долженъ пропустить; я и такъ боюсь, что утомилъ ваше вниманіе, такъ долго останавливаясь на языкѣ. Но, господа, эта обстоятельность не была несоразмѣрной: вѣдь и вы, ученики гимназій, употребили много времени на усвоеніе обоихъ древнихъ языковъ и тоже, можетъ быть, склонны думать, что этого вре-

мени было слишкомъ много. Я же взялся доказать вамъ, вопреки мнѣнію многихъ, что время, употребленное вами на изученіе античности, не было потрачено безъ пользы; не могъ я въ виду этого не остановиться на той пользѣ, которую вамъ принесло изученіе системы древнихъ языковъ, какъ таковыхъ.

Но, разумѣется, не ради этой только пользы заставляли васъ учиться по-латыни и по-гречески: главное значеніе древнихъ языковъ—то, что они открываютъ намъ непосредственно доступъ къ античной литературѣ и, косвенно, къ античной культурѣ въ самомъ широкомъ смыслѣ. Моя ближайшая тема поэтому — выяснить вамъ образовательное значеніе *античной литературы;* ее я намѣтилъ для слѣдующей же, второй сегодняшней лекціи.

ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Первая антитеза: окончаніе.—Чтеніе памятниковъ.—Подлинники и переводы.—Переводимое и непереводимое.—Учебно-нравственная точка зрѣнія.—Моральные, аморальные и имморальные предметы.—Переубѣдимость.—Учебно-интеллектуальная точка зрѣнія.—Интеллектуализмъ и универсализмъ.—Историческая перспектива.—Оптимизмъ.—Чувство правды: его два требованія.—Заключеніе.

Переходя отъ древнихъ языковъ къ античной литературѣ, я испытываю пріятное ощущеніе человѣка, который изъ изгоя общественнаго мнѣнія превращается въ гражданина, если не полноправнаго, то, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторыми правами. Значительная часть современнаго общества, даже у насъ въ Россіи, признаетъ важность изученія античной литературы, особенно греческой; полагаютъ только, что для этого изученія нѣтъ надобности обращаться къ подлинникамъ — можно удовольствоваться переводами.

Когда въ комиссіи по реформѣ средней школы, членомъ которой я имѣлъ честь состоять, обсуждали вопросъ о желательныхъ улучшеніяхъ въ учебномъ планѣ реальныхъ училищъ, то просвѣщенные ревнители этого столь важнаго и необходимаго у насъ типа образовательной школы высказывали пожеланіе, чтобы въ его программу было введено изученіе также и античной литературы — но, конечно, въ переводахъ. Если эта идея осуществится, то различіе между классической и реальной школой по интересующему насъ здѣсь вопросу сведется, главнымъ образомъ, къ тому, что классическая школа будетъ знакомить своихъ питомцевъ съ подлинниками тѣхъ

произведенiй, которыя питомцы реальной школы будутъ читать въ переводахъ. Слѣдуетъ ли въ этомъ различiи признать преимущество классической школы, и если да, то почему? Другими словами: могутъ ли переводы замѣнить подлинники, и если нѣтъ, то въ чемъ состоитъ ихъ недостаточность? Вотъ вопросъ, котораго я не могу обойти молчанiемъ; не опасайтесь, однако, что онъ отвлечетъ насъ отъ нашей темы. Нѣтъ; по моему убѣжденiю, въ правильности котораго я надѣюсь убѣдить и васъ, сокровища античной литературы распадаются на такiя, которыя можно перенести также и въ переводы, и такiя, которыя неразрывно связаны съ формой подлинника; такимъ образомъ, отвѣтъ на поставленный только что вопросъ будетъ въ то же время и характеристикой античной литературы.

Какъ видите изъ этихъ моихъ словъ, я не принадлежу къ безусловнымъ противникамъ переводовъ. Я самъ выступалъ въ роли переводчика и издалъ очень крупный по объему томъ, который, смѣю надѣяться, займетъ не послѣднее мѣсто въ нашей переводной литературѣ; но именно поэтому я знаю, что̀ можетъ передать переводъ и чего нѣтъ. Кто приглашаетъ васъ довольствоваться переводомъ вмѣсто подлинника, тотъ разсуждаетъ точно такъ же, какъ если бы онъ вамъ говорилъ: къ чему вамъ ходить въ консерваторiю слушать симфонiи Бетховена или Чайковскаго, когда вы можете съ гораздо большимъ удобствомъ ознакомиться съ ними на дому по переложенiямъ для фортепiано. Вы знаете, между тѣмъ, что это и такъ и не такъ: переложенiе даетъ вамъ кое-что, но не все, и чѣмъ художественнѣе, чѣмъ глубокомысленнѣе симфоническое произведенiе, тѣмъ менѣе можетъ его замѣнить фортепiанное переложенiе, такъ какъ тонкость мысли и формы достигается именно умѣлымъ пользованiемъ характернымн особенностями каждаго инструмента, которыхъ рояль воспроизвести не можетъ. То же самое и здѣсь. Возьмите начало Цезаря: Gallia est omnis divisa in partes tres, „вся Галлiя раздѣлена на три части“— переводъ вполнѣ передаетъ подлинникъ, ничего въ немъ не пропущено. Возьмите возгласъ Ѳетиды у Гомера, когда она узнаетъ о постигшемъ ея сына, Ахилла, несчастiи: ὤ μοι δυσαριστοτόκεια, „о я, на горе себѣ родившая лучшаго въ мiрѣ героя“—и здѣсь все передано, только для этой пол-

ной передачи мнѣ пришлось вмѣсто одного слова подлинника взять въ переводѣ цѣлыхъ восемь; а какъ отъ такого разбавленія страдаетъ сила выраженія, это вы легко поймете. Возьмите, наконецъ, характеристику аѳинянъ у Ѳукидида въ надгробной рѣчи Перикла: φιλοκαλοῦμεν μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας—тутъ уже у переводчика руки опускаются. Конечно, онъ пойметъ, что здѣсь идетъ рѣчь о народѣ-художникѣ, отдѣлившемъ художественную красоту формы отъ притязательной пышности матеріала, о народѣ-мыслителѣ, сумѣвшемъ избѣгнуть разлагающаго вліянія силы мысли на силу воли,—но втиснуть эти два сужденія въ форму той краткой, звонкой и мѣткой антитезы, которую они имѣютъ у Ѳукидида, представится ему по справедливости неисполнимой задачей.

Итакъ, не будемъ пренебрегать переводами, но не будемъ также считать ихъ достаточной замѣной подлинника. Шопенгауеръ сказалъ, что они относятся къ подлиннику (онъ имѣетъ въ виду античную литературу), какъ цикорій къ кофе; кто-то другой сказалъ, что они передаютъ лишь изнанку ковра. Это, пожалуй, несправедливо; скорѣе можно будетъ сказать, что при своеобразныхъ условіяхъ древней рѣчи каждый переводъ древняго произведенія на одинъ изъ новыхъ языковъ будетъ относиться къ подлиннику приблизительно такъ же, какъ деревянныя модели человѣческаго тѣла, которыми пользуются при прохожденіи анатоміи, къ дѣйствительному человѣческому тѣлу: они даютъ общее понятіе о структурѣ и содержаніи подлинника, но его тонкостей въ нихъ не ищите. Но и эти модели бываютъ различны: есть между ними дѣйствительно художественныя, приносящія несомнѣнную пользу; есть и грубыя, аляповатыя, дающія совершенно превратное представленіе объ оригиналѣ. Наши переводы древнихъ авторовъ относятся, къ сожалѣнію, въ громадномъ большинствѣ случаевъ къ этой послѣдней категоріи; очень мало такихъ, въ которыхъ мы могли бы найти хоть намекъ на художественность. Что жъ! будемъ желать и стараться, чтобъ ихъ было больше; другого ничего не остается. Но какъ бы они ни были совершенны—все-таки остается въ силѣ правило, что толковать античность, всесторонне разбирать ее можно только на подлинникахъ, точно такъ же какъ изучать структуру тканей

человѣческаго тѣла можно только въ натурѣ, а не на деревянныхъ моделяхъ.

Но именно этотъ методъ толкованія не всѣми признается полезнымъ. Не лучше ли, въ самомъ дѣлѣ, прочесть десять книгъ Ливія въ переводѣ, чѣмъ одну въ подлинникѣ? Вы понимаете, что я говорю здѣсь о такъ называемомъ статарномъ чтеніи древнихъ авторовъ въ гимназіи. Есть ли отъ него польза, и если да, то въ чемъ состоитъ она?

Тутъ, господа, я долженъ первымъ дѣломъ выдвинуть ту точку зрѣнія, которую я называю учебно-нравственной... Я долго колебался, слѣдуетъ ли мнѣ о ней говорить передъ вами; люди, мнѣнію которыхъ я придаю значеніе, совѣтовали мнѣ не дѣлать этого, да и самъ я сознаю, что это было бы благоразумнѣе. Но служеніе истинѣ не всегда совмѣстимо съ благоразуміемъ, и я все-таки рѣшился сообщить вамъ свои взгляды на этотъ счетъ, такъ какъ я имъ придаю очень большое значеніе, и надѣюсь, что вы поймете и оцѣните ихъ лучше, чѣмъ нѣкоторые изъ тѣхъ, которые слышали ихъ отъ меня раньше. Все же я прошу васъ отнестись къ тому, что я имѣю вамъ сказать, съ особеннымъ вниманіемъ.

Что это такое, прежде всего, учебно-нравственная точка зрѣнія?

Ни наука, ни ученіе непосредственно нравственныхъ цѣлей не преслѣдуютъ. Ихъ объектъ—истина; обладаніе же истиной само по себѣ не дѣлаетъ человѣка нравственнѣе. Нѣтъ, не обладаніе истиной, а тотъ путь, которымъ она намъ досталась, то усиліе, которое мы сдѣлали надъ собой, чтобъ ее признать—вотъ въ чемъ заключается нравственный элементъ науки и ученія. Въ томъ, что вы признаете вращеніе земли вокругъ солнца, еще ничего нравственнаго нѣтъ; но если вы вначалѣ усвоили противоположное мнѣніе и затѣмъ, ознакомившись съ доводами вашихъ противниковъ, преклонились передъ истиной—вотъ это былъ нравственный подвигъ: изъ столкновенія истины съ человѣческимъ умомъ произошло нравственное качество послѣдняго — правдивость. „Вначалѣ я спорилъ съ вами, но теперь вижу, что былъ неправъ“ — вотъ девизъ правдивости, и то ученіе, которое даетъ поводъ къ нему, я называю нравственнымъ. Такова учебно-нравственная точка зрѣнія; теперь

примѣнимъ ее къ предметамъ гимназическаго преподаванія. Предупреждаю васъ, что отношеніе каждаго предмета вообще къ нравственности бываетъ троякимъ: благопріятнымъ, неблагопріятнымъ и безразличнымъ. Благопріятно дѣйствующій на нравственность предметъ мы называемъ моральнымъ; неблагопріятно дѣйствующій—имморальнымъ; безразличный—аморальнымъ (очень некрасивое слово, которое я употребляю лишь скрѣпя сердце, но обойтись безъ него нельзя). Такъ какъ я объяснилъ, въ какомъ значеніи я здѣсь понимаю слово „нравственность", то я надѣюсь, что оно никакихъ недоразумѣній не вызоветъ; своихъ противниковъ—если бы таковые оказались въ этой аудиторіи — я прошу твердо запомнить это мое объясненіе и воздерживаться отъ всякихъ каламбуровъ по поводу нашего слова, какъ бы они ни были соблазнительны.

Итакъ, каково отношеніе къ этой учебной нравственности—учебныхъ предметовъ?

Начнемъ съ античной литературы, изучаемой въ подлинникѣ — съ того, что принято называть „чтеніемъ авторовъ". Представляю себя въ роли учителя; передо мной текстъ, который я долженъ объяснить, но — такой же текстъ находится и передъ каждымъ изъ учениковъ. Поясню вамъ, что это значитъ. Давая ученику въ руки текстъ, я даю ему этимъ самымъ общее поле для наблюденій и изслѣдованій; на этомъ полѣ я буду его руководителемъ, но не болѣе: онъ имѣетъ и право и возможность контроля, и надъ нами обоими властвуетъ высшая инстанція — истина. Беру примѣръ изъ Горація:

Scribendi recte sapere est et principium et fons.

Между мною и ученикомъ возникаетъ споръ о томъ, куда отнести recte. Онъ отнесъ его къ scribendi и перевелъ „быть умнымъ—вотъ начало и источникъ того, чтобы правильно писать". Мнѣ почему-то показалось, что recte слѣдуетъ отнести къ sapere, и что переводить надо „правильно мыслить—вотъ начало и источникъ писательства". Ученикъ не сдается: „цезура, говоритъ онъ, стоитъ между recte и sapere, разъединяя ихъ, такъ что уже по этой причинѣ удобнѣе соединять recte со scribendi: того же требуетъ и смыслъ, такъ какъ умъ—источникъ не всякаго писательства, а только хорошаго, пра-

вильнаго; можно вѣдь писать и вовсе безъ ума". — „Это вѣрно", отвѣчаю, „но цезура часто разъединяетъ соединенныя смысломъ слова (привожу примѣры), такъ что это соображеніе имѣетъ только вспомогательное значеніе; что же касается вашего второго соображенія, то о неправильномъ писательствѣ поэтъ и говорить не станетъ". — „Все-таки", говоритъ ученикъ, „оказывается, что мое толкованіе имѣетъ больше основанія". — „Нѣтъ", отвѣчаю, „такъ какъ при вашемъ толкованіи слово sapere останется безъ опредѣленія, въ которомъ оно, однако, нуждается: это — слово безразличное, его первоначальное значеніе — «имѣть извѣстный вкусъ» (отсюда — sapor, франц. saveur), а затѣмъ «имѣть извѣстныя умственныя свойства». Для того, чтобы получить значеніе «быть умнымъ», оно нуждается въ опредѣленіи, въ этомъ самомъ recte, которое вы отъ него отнимаете". — „Почему же", спрашиваетъ ученикъ, „вѣдь отъ sapere происходитъ причастіе sapiens, а его значеніе — положительное «умный», а не безразличное «имѣющій извѣстныя умственныя свойства»". — „Это не доказательство", отвѣчаю, „такъ какъ причастія отъ безразличныхъ глаголовъ, превращаясь въ прилагательныя, часто получаютъ положительное значеніе; такъ отъ безразличнаго pati «переносить» вы образуете patiens «хорошо переносящій, терпѣливый». А вы найдите мнѣ примѣръ, чтобы самый глаголъ sapere безъ опредѣленія имѣлъ положительное значеніе «быть умнымъ»!" — Ученикъ пока умолкаетъ, а на слѣдующемъ урокѣ преподноситъ мнѣ изъ того же Горація примѣръ sapere aude — «рѣшись быть умнымъ». — „Да, это вѣрно", говорю я ему, „я былъ неправъ". — Привожу этотъ примѣръ, такъ какъ это — случай изъ моей собственной, хотя и давнишней практики начинающаго преподавателя, а также и потому, что и Оскаръ Іегеръ, извѣстный нѣмецкій педагогъ, разсказываетъ, не сообщая частностей, нѣчто подобное изъ воспоминаній своего отрочества; „тутъ мы почувствовали, говоритъ онъ, что есть сила, выше и учителя и насъ — истина".

Таково учебно-нравственное значеніе древнихъ авторовъ; какъ видите, оно даетъ намъ полное право признать этотъ предметъ моральнымъ. Теперь возьмемъ для сравненія два другихъ предмета..., при чемъ я прошу васъ помнить, что я опять

излагаю вамъ главу изъ будущаго „психологическаго науковѣдѣнія“, и не приписывать мнѣ желанія обидѣть или принизить какой бы то ни было предметъ. Противъ этого предположенія я протестую самымъ энергическимъ образомъ. Я уже разъ заявлялъ, что именно моя спеціальность научила меня уважать всѣ науки, входящія въ составъ грандіознаго общенаучнаго зданія; какъ это случилось, объ этомъ я еще скажу. Но, господа, мы имѣемъ право сказать, сравнивая коня съ орломъ, что у орла крылья есть, а у коня ихъ нѣтъ, и это не будетъ значить, что мы умаляемъ значеніе коня — у него есть за то другія достоинства, которыхъ нѣтъ у орла. Равнымъ образомъ и здѣсь, признавая не только огромную важность математики, но и ея огромную образовательную силу, я тѣмъ не менѣе имѣю право сказать, что того учебно-нравственнаго значенія, о которомъ я здѣсь говорю, за ней признать нельзя. И она, конечно, преслѣдуетъ истину, но какъ? путемъ строгихъ, опредѣленныхъ дедукцій, не дающихъ никакого простора для научныхъ споровъ; несогласное съ истиной мнѣніе не можетъ, конечно, удержаться, но оно не можетъ и возникнуть сколько-нибудь разумнымъ образомъ — по крайней мѣрѣ въ той математикѣ, которая входитъ въ предѣлы гимназическаго курса. Это доказывается и ея исторіей; конечно, было время, когда не знали, что сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ, или что сумма двухъ чиселъ, помноженная на ихъ разность, равна разности квадратовъ; но разъ эти истины были найдены — никакихъ споровъ относительно ихъ не было. Итакъ, математика не учитъ васъ отказываться отъ прежняго мнѣнія вслѣдствіе большей убѣдительности доводовъ противника; того важнаго и плодотворнаго усилія надъ собой, результатомъ котораго является признаніе: „я вначалѣ спорилъ съ вами, но теперь вижу, что вы были правы“—она отъ васъ не потребуетъ. И вотъ почему мы имѣемъ право причислить ее къ безразличнымъ относительно нравственности— къ аморальнымъ предметамъ.

Другая крайность—новые языки, включая русскій. Конечно, ихъ знаніе необходимо; но вѣдь мы говоримъ здѣсь не о знаніи, а о томъ, какъ знаніе пріобрѣтается. А какъ оно пріобрѣтается, это вы знаете: вы выразились такъ-то — васъ

поправляютъ: „такъ не говорятъ". Конечно, это вамъ заявляютъ люди знающіе, и благо вамъ, если вы примете ихъ поправки къ свѣдѣнію — тѣмъ скорѣе пріобрѣтете вы тѣ знанія, которыхъ ищете. Но развѣ вы уступили доводамъ, преклонились передъ силой науки, истины? Нѣтъ; наукѣ и истинѣ здѣсь не мѣсто; вы преклонились передъ авторитетомъ лица, въ которомъ предполагали, вполнѣ основательно, наличность тѣхъ знаній, которыхъ ищете сами. Возникаетъ споръ — его рѣшаетъ тотъ же авторитетъ—противъ приговора „такъ говорятъ" или „не говорятъ" спорить и доказывать напрасно. Теперь представьте себѣ, что это преклоненіе передъ приговоромъ „такъ говорятъ" вошло вамъ въ плоть и кровь; каково вамъ будетъ ваше отношеніе къ вопросамъ, которые ждутъ васъ въ жизни? Ваша чисто служебная роль заранѣе рѣшена: нѣтъ такого сомнѣнія, для котораго не нашлось бы панацеи въ этомъ спасительномъ „такъ говорятъ". „Такъ говорятъ"—кто? Это ужъ совсѣмъ все равно: начальство, общество, партія, товарищи, печать — вся разница только въ цвѣтѣ ливреи. И вотъ почему я тотъ методъ достиженія знаній, о которомъ идетъ рѣчь здѣсь, называю неблагопріятнымъ въ отношеніи учебной нравственности, называю имморальнымъ. И если преподаваніе новыхъ языковъ будетъ усилено въ гимназіи на счетъ преподаванія языковъ древнихъ, то результатомъ будетъ лишь усиленіе той непереубѣдимости и нетерпимости, которой и теперь уже такъ страдаетъ наше общество.

Такова эта точка зрѣнія учебной нравственности—новая страница изъ ненаписанной еще книги о психологическомъ науковѣдѣніи. Она показываетъ намъ, что тотъ методъ филологической интерпретаціи, который примѣняется при статарномъ чтеніи древнихъ авторовъ — методъ въ высокой степени учебно-нравственный, такъ какъ онъ, допуская возникновеніе споровъ, рѣшаетъ ихъ авторитетомъ науки. Методъ нашъ, помимо всего прочаго, драгоцѣненъ уже тѣмъ, что имъ въ человѣкѣ развивается переубѣдимость, способность принять къ свѣдѣнію и признать въ ихъ доказательности новые преподносимые ему факты. А между тѣмъ именно эта переубѣдимость—условіе плодотворной борьбы и разумнаго мира.

Я подчеркнулъ только-что научно-нравственную сторону

метода филологической интерпретаціи; есть въ немъ, однако, и научно-*интеллектуальная* сторона. Въ самомъ дѣлѣ, что было въ вышеуказанномъ примѣрѣ источникомъ моей ошибки? Недостаточность наблюденія. Что было причиной того, что я измѣнилъ свое мнѣніе? Пополненіе матеріала наблюденія. Итакъ, если мы спросимъ себя, какъ назвать методъ филологической интерпретаціи, то придется отвѣтить: методомъ эмпирически-наблюдательнымъ, въ противоположность, съ одной стороны, методу дедуктивному математики, съ другой—методу экспериментальному физики и родственныхъ наукъ. Съ этой точки зрѣнія на ряду съ филологической интерпретаціей могутъ быть поставлены только естественныя науки въ тѣсномъ смыслѣ—но подъ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы поле наблюденій было предоставлено ученику во всей его неприкосновенности. Я отправляю мальчика въ ивнякъ съ порученіемъ опредѣлить, какое дерево ива, однодомное или двудомное; тутъ наблюденіе будетъ имѣть цѣну, такъ какъ при множествѣ деревьевъ будетъ дана возможность и ошибки, и ея исправленія. Но вы легко поймете, что мы не можемъ этотъ ивнякъ перенести въ школу; нѣтъ, въ школѣ единственнымъ матеріаломъ для эмпирически-наблюдательнаго метода можетъ быть филологическая интерпретація, такъ какъ только она можетъ предоставить въ распоряженіе ученика все поле наблюденія—именно текстъ. А воспитанный такимъ образомъ умъ ученика будетъ не только—вслѣдствіе родственности метода—приспособленъ къ работѣ на поприщѣ естественныхъ наукъ, но и на поприщѣ жизни; въ жизни дедукція играетъ небольшую роль, экспериментъ—еще меньшую, житейская же опытность достигается почти единственно путемъ наблюденія и правильныхъ надъ нимъ операцій.

Таковы обѣ методологическія стороны; переходя затѣмъ къ матеріальной сторонѣ чтенія, я долженъ прежде всего подчеркнуть *интеллектуалистическій характеръ также и древней литературы*. Я говорилъ уже выше объ интеллектуалистическомъ характерѣ древнихъ языковъ, противополагая ему сенсуалистическій характеръ языковъ новыхъ; древняя литература, какъ порожденіе языка, носитъ тотъ же отпечатокъ. Признаніе верховныхъ правъ разума проходитъ черезъ нее на всемъ ея

протяженіи; какъ по-гречески одинъ и тотъ же глаголъ— πείθομαι — означаетъ и „я даю себя убѣдить“, и „я повинуюсь“, такъ и въ греческой литературѣ и ея ученицѣ—римской повсюду, точно общая атмосфера, разлита увѣренность, что разумъ управляетъ волей. Правда, отъ людей, считающихъ себя знатоками древняго міра, часто можно услышать мнѣніе, будто онъ преклонялся предъ рокомъ. Но для того, чтобы судить объ античности, требуется очень много знанія; древній міръ былъ (чтобы употребить удачное выраженіе Вл. Соловьева) не однодумъ, а многодумъ. Съ точки зрѣнія отношенія разума къ волѣ эволюція литературы человѣчества можетъ быть уподоблена баллистической кривой, возвращающейся къ плоскости своего исхода. Ея начало—древнѣйшія литературы, въ которыхъ дѣйствія человѣка объясняются вселеніемъ въ него добрыхъ или злыхъ духовъ; У Гомера мы еще находимъ пережитки этого представленія, но онъ уже дѣлаетъ попытки къ освобожденію, а Эсхилъ побѣдоносно выставляетъ принципъ полной свободы движимой разумомъ воли. На немъ построена вся дальнѣйшая философія и литература древнихъ: она справедливо можетъ считаться стоящей въ зенитѣ нашей кривой Съ выступленіемъ на арену новыхъ народовъ эмоціальное начало возобладало надъ интеллектуальнымъ; классицизмъ вступилъ въ борьбу съ романтизмомъ и его потомками, носившими различныя имена, но одну общую сигнатуру: неподчиненность воли разуму. Дальше всего пошла въ этомъ отношеніи новая русская литература, особенно Достоевскій; это—пока предѣльная точка: кривая вернулась къ плоскости своего отправленія, прежніе добрые и злые духи вновь стали управлять людьми подъ именемъ страстей и внушеній. Это въ своемъ родѣ совершенство, но не съ образовательной точки зрѣнія: развивающемуся еще человѣку полезно признавать силу разума, даже если бы въ послѣдующей жизни ему пришлось узнать, что не разумъ и убѣжденіе, а страсть и похоть управляютъ его средой.

Продолжаю. Древніе писатели были не только людьми очень заботливыми въ стилистическомъ отношеніи—они были также на высотѣ культуры своей эпохи и могли бы смѣло примѣнить къ себѣ гордое заявленіе Ф. Лассаля: „Я пишу

каждое свое слово во всеоружіи образованія моего времени". Образованіе это, будучи въ смыслѣ спеціальныхъ знаній много меньше теперешняго, было однако гораздо многостороннѣе въ умѣ отдѣльныхъ своихъ представителей; съ этимъ обстоятельствомъ должна считаться и интерпретація древнихъ авторовъ. Вотъ почему можно не безъ основанія сказать, что наука объ античности не есть спеціальность на ряду съ другими спеціальностями, замкнутыми въ себѣ и самодовлѣющими; это—предметъ энциклопедическій, постоянно сближающій своего представителя съ другими областями знанія, поддерживающій въ немъ сознаніе единства науки и уваженіе къ отдѣльнымъ ея отраслямъ, и всѣмъ этимъ сообщающій ему такую широту горизонта, какой не можетъ сообщить никакая спеціальная наука. „Филологу все пригодится" (ein Philologe kann alles brauchen) было любимымъ изреченіемъ моего учителя, нынѣ покойнаго Риббека, который и самъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. Преподаватель-филологъ долженъ сплошь и рядомъ обращаться за помощью то къ юриспруденціи, то къ военному и морскому дѣлу, то къ политическимъ и соціальнымъ наукамъ, то къ психологіи и эстетикѣ, то къ естествознанію и антропологіи, то, наконецъ—и чаще всего—къ житейскому опыту. Понятно, что именно такой преподаватель скорѣе всего можетъ быть *учителемъ* своихъ учениковъ, такъ какъ именно онъ можетъ дѣйствовать на весь ихъ умъ, именно онъ можетъ, самъ будучи цѣльнымъ человѣкомъ, воспитывать человѣка въ томъ его возрастѣ, когда его умъ еще цѣленъ, еще не ушелъ въ спеціальность. Отсюда видно, какъ мало знаютъ классическую школу тѣ, которые обвиняютъ ее въ томъ, что она предрѣшаетъ выборъ спеціальности еще въ дѣтскомъ возрастѣ. Совершенно наоборотъ: именно она его не предрѣшаетъ до старшаго класса включительно. Въ подтвержденіе сказаннаго позволю себѣ привести нѣсколько примѣровъ — желающій увеличить ихъ число найдетъ богатую жатву въ прекрасной книгѣ Cauer'а „Palaestra vitae". Въ „Царѣ Эдипѣ" Софокла (ст. 1137) время питанія стадъ подножнымъ кормомъ опредѣляется словами „отъ весны до Арктура". Опредѣленія совершенно непонятны: моя научная совѣсть не позволитъ мнѣ удовольство-

ваться этимъ буквальнымъ переводомъ. Я прежде всего удостовѣрюсь, знаетъ ли ученикъ, что̀ такое Арктуръ... или, вѣрнѣе, удостовѣрюсь, что онъ никакого представленія о немъ не имѣетъ. А это жаль; позорно видѣть въ звѣздномъ небѣ одинъ только наборъ свѣтящихся точекъ. Я покажу ему эту прекрасную, яркую звѣзду на картѣ, научу его отыскивать ее въ дѣйствительности; но этого мало. Что̀ значитъ „до Арктура"? Я долженъ объяснить ему, что̀ такое утренній восходъ звѣзды или созвѣздія... а для этого предварительно понять это самъ. И это еще не все; отчего поэтъ прибѣгаетъ къ такому сложному опредѣленію времени? Разъ утренній восходъ Арктура совпадаетъ приблизительно съ 10 сентября — почему онъ не говоритъ „до сентября", или, пожалуй (такъ какъ онъ былъ аѳиняниномъ) „до боэдроміона?" Я долженъ объяснить, что въ тѣ времена каждая греческая община имѣла свой календарь, что еслибы софокловскій персонажъ, будучи коринѳяниномъ, сталъ употреблять терминъ аттическаго календаря, то это было бы смѣшно, а если бы онъ выразился по-коринѳски, то его бы не поняли; поневолѣ пришлось поэту прибѣгнуть къ общеэллинскому и общечеловѣческому, къ астрономическому календарю... А впрочемъ, подлинно ли поневолѣ? Нѣтъ, и по охотѣ. Я постараюсь изобразить ученикамъ прелесть того времени, когда звѣздное небо еще такъ много говорило смертнымъ, когда они замѣчали всѣ его перемѣны, опредѣляя по нимъ и время годовыхъ работъ, и время ночныхъ смѣнъ, направляя по его свѣтиламъ бѣгъ своего корабля,—когда познаніе этого вѣкового порядка возвышало ихъ умы до чаянія той предвѣчной Причины, которая въ немъ проявляется.

Другой примѣръ — изъ „Электры" того же поэта. Клитемнестра-мужеубійца увидѣла страшный сонъ; для Электры, ея дочери, и для ея подругъ ясно, что этотъ сонъ былъ на нее навѣянъ гнѣвною тѣнью ея убитаго мужа, Агамемнона, и что часъ мести недалекъ. „Мужайся, дитя", говорятъ онѣ ей, „не дремлетъ, видно, твой родитель, владыка эллиновъ,—не дремлетъ и та старинная, обоюдоострая сѣкира, которая столь позорно его тогда убила" (ст. 483). Что это, „піитическія вольности"? Нѣтъ; мы погружаемся въ представленія и вѣрованія глубокой старины; одна только антропологія можетъ намъ

выяснить то міровоззрѣніе, изъ котораго потекли эти образы и чувства. Духъ убитаго царя, опечаленный среди тѣней преисподней и взывающій о мщеніи — это не плодъ поэтической фантазіи, это реальный предметъ народной вѣры. Онъ посылаетъ зловѣщій сонъ невѣрной женѣ; онъ и могъ это сдѣлать, такъ какъ та обитель мрака, куда она преждевременно его отправила, считалась въ то же время и обителью сновъ: здѣсь они пребываютъ днемъ, точно летучія мыши подъ сводомъ пещеры, отсюда они вылетаютъ съ приближеніемъ ночи. Но особенно характерно представленіе о сѣкирѣ: какъ видно, и она одушевлена, и она принимаетъ участіе въ происходящемъ, и она горитъ желаніемъ искупить свое первое, неправое убійство—вторымъ, справедливымъ и необходимымъ; только тогда успокоится тотъ духъ проклятія, который въ нее вселился. Передъ нами образчикъ такъ называемый предметной души, пережитокъ древнѣйшаго анимизма; это представленіе вызвало въ старину даже судъ надъ предметомъ, оно и теперь еще не совсѣмъ исчезло... Но на что намъ погружаться въ эту первобытную, грубую старину? Во-первыхъ, для того, чтобы не находить ее грубой, не раздѣлять несноснаго высокомѣрія „современныхъ“ людей; но главнымъ образомъ потому, что тогда зародились многія изъ тѣхъ нравственныхъ и правовыхъ понятій, которыми мы живемъ и понынѣ.

Возьму еще одинъ примѣръ—особенно поучительный тѣмъ, что онъ даетъ матеріалъ для сравненія древней поэзіи съ новѣйшей. Въ десятой пѣсни Одиссеи описывается мѣстность по ту сторону океана, преддверіе царства тѣней. Картина унылая (ст. 510):

ἔνθ' ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης,
μακραί τ' αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι.

„Тамъ низменный берегъ и рощп Персефоны: (перевожу буквально) *теряющіе* (или *губящіе*) *свои плоды* высокіе тополи и ивы“. Отчего тополямъ и ивамъ данъ этотъ странный на первый взглядъ эпитетъ, — который, кстати сказать, въ подлинникѣ выходитъ много поэтичнѣе уже вслѣдствіе того, что тамъ онъ выражается однимъ только словомъ? Дѣло вотъ въ

чемъ. Какъ тополь, такъ и ива принадлежатъ къ такъ называемыхъ двудомнымъ деревьямъ, т. е. одни его экземпляры даютъ только мужскіе (тычинковые), другіе — только женскіе (плодниковые) цвѣты, а не тѣ и другіе вмѣстѣ, подобно дубу и большинству другихъ деревьевъ, которыя по этому и называются однодомными. Если поэтому ивы и тополи стоятъ одиноко или группами экземпляровъ одного только пола, то они не могутъ оплодотворяться, они „теряютъ свои плоды". Конечно, процессъ оплодотворенія растеній не былъ извѣстенъ Гомеру — оттого-то онъ и употребилъ здѣсь слово „плоды" вмѣсто „неоплодотворенные цвѣты"; но само явленіе терянія „плодовъ" было замѣчено и имъ, и его слушателями, и вотъ причина, почему онъ неплодное царство тѣней украсилъ именно ивами и тополями: и самый иредметъ, и его красивый эпитетъ имѣютъ здѣсь глубокое символическое и, стало быть, поэтическое значеніе.—Теперь позвольте сопоставить съ царемъ греческихъ поэтовъ царя новой, русской поэзіи, Пушкина. Напомню вамъ его прекрасное стихотвореніе, въ которомъ онъ описываетъ впечатлѣніе, произведенное на него его родиной послѣ долгой разлуки: „Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли" и т. д. Тутъ, между прочимъ, встрѣчается слѣдующее мѣсто:

На границѣ
Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,
Гдѣ въ гору поднимается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоятъ: одна поодаль, двѣ другія
Другъ къ дружкѣ близко. Здѣсь, когда ихъ мимо
Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лунной ночи,
Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ
Меня привѣтствовалъ.—По той дорогѣ
Теперь поѣхалъ я, и предъ собою
Увидѣлъ ихъ опять: онѣ все тѣ же,
Все тотъ же ихъ знакомый уху шорохъ,
Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленая семья кругомъ тѣснится
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти. А вдали
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,
Какъ старый холостякъ, и вкругъ него
Попрежнему все пусто.

Съ поэтической точки зрѣнія картина безукоризненна; да и впрочемъ все обстояло бы благополучно, если бы только поэтъ вмѣсто сосенъ представилъ намъ, какъ Гомеръ, ивы или тополи. Но сосна—дерево однодомное, сосенъ-холостяковъ не бываетъ; тотъ процессъ, который здѣсь нарисовала фантазія поэта, дѣйствительности не соотвѣтствуетъ. ...Значитъ ли это, что мы желаемъ принизить Пушкина, какъ поэта? Нѣтъ, конечно; поэтъ не обязанъ быть всевѣдущимъ, незнаніе ботаники не мѣшаетъ ему исполнять свою главную задачу— „чувства добрыя въ людяхъ пробуждать". Но фактъ остается фактомъ: поэзія Гомера и древнихъ вообще выигрываетъ, если на нихъ смотрѣть глазами натуралиста, — поэзія Пушкина и новѣйшая вообще при тѣхъ же условіяхъ теряетъ. ...Но не грѣшно ли, можете вы меня спросить, портить себѣ впечатлѣніе прекраснаго поэтическаго отрывка мелочной ботанической придиркой? Да, грѣшно; съ этимъ я совершенно согласенъ. Т.-е., другими словами, новѣйшей поэзіей пользоваться для статарнаго чтенія грѣшно—этимъ лишній разъ доказывается правильность словъ Вундта объ обязательно мелочномъ характерѣ филологическаго изученія произведеній новѣйшей литературы [1]). Древнюю поэзію часто сравнивали съ природой; сравненіе это во многихъ отношеніяхъ справедливо,—между прочимъ, и въ нашемъ. Подобно природѣ, она цѣльна и отвѣтственности не боится; другое дѣло—поэзія новѣйшая. Есть у васъ кольцо прекрасной ювелирной работы—ну и любуйтесь на него, сколько хотите, но только невооруженнымъ глазомъ; иначе вы найдете въ немъ столько изъяновъ, что вамъ непріятно будетъ на него смотрѣть. А лепестокъ розы, крылышко бабочки сколько угодно разсматривайте въ микроскопъ: каждое новое изученіе раскроетъ вамъ новыя интересныя и поучительныя подробности.

Я нарочно выбралъ мѣста, для объясненія которыхъ филологу приходится обращаться за помощью къ наукамъ, сравнительно далеко отъ него отстоящимъ; послѣ нихъ вы легко представите себѣ, сколь интересный и разнообразный матеріалъ

---

[1]) ...daher der philologische Betrieb moderner Autoren bekanntlich leicht ins Kleinliche ausartet (Logik, II, 2, 314).

представляетъ статарное чтеніе древнихъ авторовъ по болѣе близкимъ и родственнымъ наукамъ—особенно исторіи и эстетикѣ. Замѣчу теперь же, что тутъ во всѣхъ почти отношеніяхъ греческая литература превосходитъ римскую, какъ сами греческіе писатели, читаемые въ гимназіяхъ, стоятъ выше римскихъ. Если, поэтому, тѣ защитники классической школы, которые видятъ центръ тяжести въ изученіи самихъ древнихъ *языковъ*, и могутъ до нѣкоторой степени примириться съ оставленіемъ въ ней одной латыни,—то тѣ, которые особенно высоко ставятъ образовательное значеніе древнихъ *литературъ*, естественно должны дорожить сохраненіемъ въ ней также и греческаго языка... предполагая, конечно, что они даютъ себѣ отчетъ въ томъ, чего они собственно хотятъ. — Затѣмъ: всѣ согласятся, полагаю я, что реальныя объясненія, въ родѣ предложенныхъ мною выше, будутъ умѣстны лишь въ томъ случаѣ, если читаемый отрывокъ не будетъ представлять особыхъ затрудненій по части формы; если я вынужденъ, путемъ совмѣстной работы съ ученикомъ, установлять, что за форма ἄλσεα, отъ какого глагола происходитъ ὠλεσίκαρποι и т. д., то для болѣе глубокаго и интереснаго толкованія, пожалуй, не останется и времени. Кто, поэтому, предлагаетъ отсрочить начало прохожденія языковъ, какъ таковыхъ, до среднихъ классовъ, тотъ этимъ самымъ переноситъ грамматическій курсъ изъ среднихъ классовъ, гдѣ онъ нынѣ заканчивается, въ высшій, и заставляетъ насъ жертвовать именно тѣми элементами классическаго образованія, которые онъ самъ, однако, не задумается признать наиболѣе желательными и полезными. Когда отъ меня требуютъ, чтобы я умѣстилъ апельсинъ въ меньшемъ противъ его величины сосудѣ, то я, конечно, могу это сдѣлать — для этого нужно его сжать, при чемъ сокъ вытечетъ, а древесина останется.

Возвращаюсь, однако, къ темѣ. Въ предыдущихъ лекціяхъ уже было указано, какъ на важную въ образовательномъ отношеніи сторону античности, на тотъ духъ *историзма*, который она передаетъ изучающимъ ее; я коснулся этой стороны и сегодня, по поводу семасіологіи, но она еще болѣе даетъ себя знать при чтеніи самихъ образцовъ. Гомеровская община,—греческія государства въ эпоху персидскихъ войнъ у Геродота,—

Аѳины въ эпоху Демосѳена,—развитіе римской республики у Ливія, — ея паденіе у Цицерона, — расцвѣтъ принципата у Горація—таковъ государственный фонъ, который проходитъ передъ глазами ученика, и на который постоянно приходится указывать при чтеніи. Уже здѣсь можетъ быть схваченъ и выясненъ принципъ эволюціи, въ которой участвуютъ и нѣкоторые культурные и нравственные элементы, между тѣмъ какъ другіе побѣдоносно выносятъ ея натискъ и остаются незыблемы отъ начала до конца: гомеровская община пала, но любовь Гектора къ Андромахѣ изъ-за этого не стала анахронизмомъ.

И все же, вмѣстѣ взятыя, всѣ эпохи античности образуютъ общій, почти одинаково отстоящій фонъ для нашего времени; изучая его, мы получаемъ общую плоскость отправленія для всѣхъ идей, которыми мы живемъ теперь. При этомъ нравственная оцѣнка встрѣчаемыхъ явленій и идей, при всей своей важности, не имѣетъ вліянія на оцѣнку ихъ значенія. Рабство, конечно, неприглядное явленіе; но оно вѣдь пало, и пало подъ натискомъ античныхъ же идей объ единствѣ человѣческой природы; судъ общественной совѣсти, напротивъ, симпатичное, свѣтлое явленіе—зато онъ и возродился вновь, послѣ долгаго затменія, подъ вліяніемъ тѣхъ же античныхъ идей. И такъ вездѣ: дурное оказывается нежизнеспособнымъ и гибнетъ; хорошее, будучи жизнеспособнымъ, выживаетъ. Въ этомъ, полагаю я, заключается причина того оптимизма и идеализма, того здороваго, добраго настроенія, которое намъ внушаетъ изученіе античности; самый фактъ замѣченъ давно, и еще нѣмецкій писатель начала прошлаго вѣка, Ж. П. Рихтеръ, сказалъ: „современное человѣчество опустилось бы въ бездонную пропасть, если бы юношество на пути къ ярмаркѣ жизни не проходило черезъ тихій храмъ великой классической старины“ (Levana).

Съ затронутымъ здѣсь мотивомъ близко соприкасается другой, относящійся къ самому смыслу интерпретаціи. Каждый писатель, заслуживающій этого имени, пишетъ такъ, чтобы взрослые и образованные его современники могли понимать его безъ помощи толкователя; толкованіе вступаетъ въ свои права лишь тогда, когда историческій фонъ, на которомъ данное произведеніе было само по себѣ понятно, измѣнился—

чѣмъ болѣе онъ измѣнился, тѣмъ благодарнѣе задача толкователя. Вотъ почему она такъ благодарна по отношенію къ античной литературѣ, между тѣмъ какъ школьная интерпретація новѣйшихъ писателей, согласно вышеприведенному замѣчанію Вундта, всегда грѣшитъ мелочностью; вотъ также одна изъ причинъ — не единственная, — почему мы должны признать правильнымъ мнѣніе Гете, выраженное имъ въ бесѣдѣ съ Эккерманномъ (т. III, 99): „изучайте не своихъ сверстниковъ и сподвижниковъ, а великихъ мужей старины, сочиненія которыхъ въ теченіе столѣтій сохранили одинаковую цѣнность, одинаковый авторитетъ... изучайте Мольера, изучайте Шекспира, но прежде всего и всегда—древнихъ грековъ".

Теперь коснусь еще одного, послѣдняго пункта. Есть одно драгоцѣнное для каждаго человѣка чувство, которое только школа можетъ въ немъ воспитать: это — *чувство правды* въ широкомъ значеніи слова. Въ узкомъ значеніи оно совпадаетъ съ требованіемъ, чтобы человѣкъ не измѣнялъ произвольно въ словахъ того образа, который внѣшнія чувства или рефлексія оставили въ его памяти, т.-е. не лгалъ; но въ широкомъ оно обнимаетъ и требованіе, чтобъ этотъ образъ, по мѣрѣ возможности, соотвѣтствовалъ дѣйствительности. Первое безъ второго почти безполезно; что пользы въ томъ, что фотографъ не ретушируетъ своихъ фотографій, если у него аппаратъ такой недостаточный, что всякій портретъ выходитъ карикатурой? Вотъ это-то второе, главное чувство правды и должна развить школа, такъ какъ семья развить его не можетъ. Въ семьѣ мальчикъ слышитъ сплошь и рядомъ скороспѣлыя сужденія, внушенныя симпатіей или антипатіей, и самъ пріучается вырабатывать свои сужденія тѣмъ же удобнымъ путемъ; только школа можетъ его научить, какъ слѣдуетъ работать для того, чтобы его сужденія соотвѣтствовали истинѣ. Въ этомъ отношеніи высшее требованіе—чтобы человѣкъ черпалъ свои свѣдѣнія не изъ третьихъ и десятыхъ, а изъ первыхъ рукъ. И тутъ главная роль принадлежитъ нашему статарному чтенію. Всѣ другія свѣдѣнія мальчикъ черпаетъ изъ третьихъ и десятыхъ рукъ—одну только древнюю культуру онъ изучаетъ по первоисточникамъ: читая Геродота и Ливія, онъ читаетъ въ то же время первоисточники греческой и римской исторіи,

тѣ самые, по которымъ работали Гротъ и Моммзенъ. — Не трудно понять, насколько воспитательное значеніе античности потеряло бы, если бы подлинники замѣнить переводами. Не говорю здѣсь о томъ, что я пріучаю ученика довольствоваться свѣдѣніями изъ вторыхъ рукъ, заслоняя ему первоисточники,— уже одно это нехорошо, но это далеко не все. Знаменитый юристъ Іерингъ вывелъ совершенно превратное заключеніе о мнимомъ многоженствѣ героической эпохи изъ одного мѣста Софокла, которымъ онъ пользовался въ переводѣ, между тѣмъ какъ подлинникъ спасъ бы его отъ этой ошибки: филологическая критика ему этого не спустила, справедливо усматривая въ этомъ нарушеніе своего девиза „ad fontes!“

И пусть мнѣ не говорятъ, что классическая школа все равно не можетъ дать питомцамъ достаточныхъ познаній для того, чтобы читать первоисточники: какъ бы ни были недостаточны эти познанія — ихъ хватаетъ на то, чтобы человѣкъ, поставленный въ необходимость заглянуть въ какого-нибудь древняго автора (а въ эту необходимость въ нашъ историческій вѣкъ можетъ быть поставленъ всякій изслѣдователь и писатель), могъ провѣрить переводъ по подлиннику. И мнѣ вспоминается жалоба величайшаго генія русскаго народа, который былъ лишенъ даже этой возможности, который—когда его поэтическая миссія навела его на изученіе первообразовъ поэзіи,—долженъ былъ изучать ихъ по новѣйшимъ переводамъ, недостаточность которыхъ такъ вѣрно сознавала его чуткая душа: „какъ рву я на себѣ волосы часто, что у меня нѣтъ классическаго образованія!“—вотъ слова Пушкина Погодину [1]).

Этимъ позвольте закончить сегодня. Сказанное мною не исчерпываетъ, конечно, характеристики античной литературы: многое пришлось пропустить, кое-что можно будетъ еще добавить въ связи съ прочими элементами умственной культуры древнихъ—ихъ религіей, философіей, искусствомъ. Но это уже придется оставить до слѣдующихъ лекцій.

---

[1]) *Барсуковъ.* Жизнь и труды Погодина, т. III, 59.

ЛЕКЦІЯ ПЯТАЯ.

Вторая антитеза: культурное значеніе античности. — Девизъ: не норма, а сѣмя.—Античность какъ общая родина народовъ европейской культуры.—Античная религія; христіанство и язычество. — Античная миѳологія: переживаніе миѳологическихъ образовъ.—Античная литература, какъ основаніе теоріи словесности.—Духъ античной историографіи: «истина—око исторіи».—Особая важность этого принципа въ настоящее время.—Готтентотизмъ и школа.

До сихъ поръ мы вращались въ тѣсномъ кругу того, что я назвалъ школьною античностью; я старался выяснить образовательное значеніе тѣхъ занятій, которыя въ классическихъ гимназіяхъ заполняютъ часы, назначенные для изученія такъ называемыхъ „древнихъ языковъ“. Это были, какъ помните—во-первыхъ, система обоихъ древнихъ языковъ какъ таковыхъ, проходимая въ своихъ трехъ составныхъ частяхъ, этимологіи. семасіологіи, синтаксисѣ; а во-вторыхъ, литература обоихъ народовъ, проходимая на подлинникахъ при такъ называемомъ классномъ чтеніи авторовъ. Но роль античности и ея значеніе для современнаго общества не ограничиваются школьной ея частью: какъ я уже сказалъ въ первой лекціи, я вижу въ античности *одну изъ главныхъ силъ, дѣйствующихъ въ культурѣ европейскаго человѣчества*. Установить и выяснить это культурное значеніе античности—такова задача, къ рѣшенію которой мы переходимъ теперь.

Прежде, однако, чѣмъ взяться за нее, бросимъ послѣдній взглядъ на школу и школьную античность. Все ли мною сказано и развито? Разумѣется, нѣтъ. Мое разсужденіе не пре-

тендовало и не претендуетъ на полноту. Я хотѣлъ только обратить вниманіе на главныя стороны дѣла или, выражаясь осторожнѣе, на тѣ, которыя мнѣ кажутся главными; долгъ совѣсти требуетъ, чтобы я хоть вкратцѣ оговорилъ тѣ стороны, которыя иному могутъ показаться главными и которыхъ я намѣренно не касался. Ихъ двѣ: подчеркивая интеллектуальное значеніе античности, я оставилъ въ сторонѣ ея нравственное значеніе; равнымъ образомъ, сосредоточиваясь на образовательномъ значеніи античности, я почти совершенно забылъ о сопутствующемъ ему утилитарномъ элементѣ. Наверстать это теперь ужъ не время; позвольте мнѣ только яснѣе формулировать эти двѣ оговорки.

Я пропустилъ *непосредственно-нравственное значеніе античности* въ дѣлѣ воспитанія; другіе, быть можетъ, именно его постарались бы выдвинуть. Они указали бы вамъ на то, что античность оставила намъ безсмертные образцы *нравственнаго величія и гражданской доблести*, въ лицѣ ли ея историческихъ героевъ — Леонида и Аристида, Фабриція и Регула, и прежде всего и главнымъ образомъ Сократа, — или въ лицѣ созданій творческой фантазіи поэтовъ — Ахилла и Антигоны, Эдипа и Ифигеніи. Мнѣ думается, я чувствую это не менѣе кого бы то ни было; но говорить объ этомъ мнѣ не хотѣлось и не хочется. Я нарочно оставался въ области интеллектуализма; и здѣсь предлагались намъ задачи не легкія, но все же разрѣшимыя. Процессъ же нравственнаго воздѣйствія для меня пока загадоченъ, и я не вижу еще направленія, въ которомъ мы могли бы искать его обнаруженія. Конечно, психологическое науковѣдѣніе со временемъ постарается выяснить и эту сторону дѣла; но до этого еще очень далеко. Итакъ, если я пропустилъ всѣ относящіеся сюда вопросы, то не потому, чтобы не придавалъ имъ значенія, а потому, что сознавалъ свое безсиліе передъ ними.

Другое дѣло — *утилитарное значеніе античности*; этотъ пунктъ я потому оставилъ въ сторонѣ, что признавалъ за нимъ лишь второстепенное значеніе. Знаю, что многіе со мною въ этомъ не согласятся; всякій, кто ставитъ вопросъ въ такой формѣ: „да на что мнѣ пригодится въ жизни латинскій или греческій языкъ?“ разумѣетъ прежде всего и исключительно

ихъ утилитарное значеніе. И таковое они, конечно, тоже имѣютъ, и его хватило бы по меньшей мѣрѣ на цѣлую лекцію; но мы временемъ дорожимъ, утилитарную точку зрѣнія мы должны оставить въ сторонѣ. Все же, чтобы она не считала себя обойденной, постараемся вкратцѣ, не входя въ подробности, формулировать относящіяся сюда положенія. Итакъ, во-первыхъ, знаніе латинскаго языка необходимо для сознательнаго усвоенія французскаго языка и вообще романскихъ, которое онъ и облегчаетъ, и осмысляетъ. Во-вторыхъ, знаніе латинскаго языка необходимо юристу, въ виду той важной роли, которую римское право играло и продолжаетъ играть и въ развитіи современнаго права, и въ университетскомъ преподаваніи юридическихъ наукъ. Въ-третьихъ, знаніе обоихъ древнихъ языковъ необходимо для пониманія того ихъ лексическаго состава, который вошелъ во всѣ новѣйшіе культурные языки, особенно же—для усвоенія научной терминологіи, которое оно и облегчаетъ, и осмысляетъ; эта сторона дѣла особенно ощутительна для медиковъ и натуралистовъ. Въ-четвертыхъ, знаніе обоихъ древнихъ языковъ необходимо для будущихъ историковъ и филологовъ, кои въ свою очередь необходимы странѣ. Наконецъ, въ силу культурныхъ условій, которыхъ я уже отчасти коснулся, знаніе греческаго языка особенно необходимо Россіи, культура которой пошла отъ Византіи; не знающій по гречески русскій словесникъ и историкъ, какъ самостоятельный ученый, прямо не мыслимъ. Таковы соображенія утилитарнаго характера въ пользу классическаго образованія; ихъ можно бы развить, обосновать, иллюстрировать гораздо подробнѣе, — и это было бы вовсе нетрудно и вышло бы очень убѣдительно. Но во-первыхъ, повторяю, у насъ нѣтъ для этого времени; во-вторыхъ, именно вслѣдствіе своей сравнительной легкости эта задача скорѣе всего можетъ быть предоставлена сообразительности каждаго; наконецъ, въ-третьихъ, мы уже имѣли случай убѣдиться, что утилитарный принципъ можетъ играть въ школѣ лишь вспомогательную, служебную роль.

А теперь оставимъ школу и ея задачи; ея питомцы, гимназисты и реалисты, вышли изъ школы въ жизнь, разбились по спеціальностямъ и теперь, вооруженные каждый своими знаніями, умѣніями, опытомъ, составляютъ интеллигентное обще-

ство. Среди этого общества, при участіи всѣхъ его членовъ. совершается обмѣнъ культурныхъ благъ; результатъ этого обмѣна — *умственная и нравственная культура* общества въ данную эпоху. Теперь спрашивается: входитъ ли античность въ качествѣ составного элемента въ эту культуру, и если да, то каково ея значеніе въ ней?

Собираясь отвѣтить на этотъ вопросъ, считаю полезнымъ напомнить вамъ соотвѣтствующую антитезу, вторую изъ трехъ, съ установленія которыхъ я началъ свои лекціи. „По отношенію къ античности, какъ элементу новѣйшей культуры", сказалъ я тогда, „общество усвоило мнѣніе, что она играетъ въ немъ ничтожную роль, будучи давнымъ давно превзойдена успѣхами новѣйшей мысли; знатокъ же дѣла вамъ скажетъ, что мы въ своей умственной и нравственной культурѣ никогда еще не стояли такъ близко къ античности, никогда такъ въ ней не нуждались, но и такъ не были приспособлены понимать и воспринимать ее, какъ именно теперь". Тогда же я замѣтилъ, что существованіе перваго изъ обоихъ этихъ мнѣній—плодъ недоразумѣнія; выясню теперь, въ чемъ это недоразумѣніе состоитъ.

Дѣло въ томъ, что многіе не въ состояніи представить себѣ другого вліянія античности на современную культуру, чѣмъ такое, которое имѣло бы основаніемъ признаніе античности *нормой* для современности. Затѣмъ они ставятъ вопросъ: въ чемъ именно можетъ сказаться это нормативное значеніе античности для нашей культуры, и не безъ основанія отвѣчаютъ: ни въ чемъ. Дѣйствительно, можетъ ли античная, языческая религія служить нормой и образцомъ для нашей, христіанской? Конечно, нѣтъ. Можемъ ли мы свои государства устроить на подобіе античныхъ, будь то аѳинская республика или римская имперія? Опять-таки нѣтъ. Можетъ ли наше знаніе о природѣ и человѣкѣ обогатиться съ пріобщеніемъ извѣстныхъ древнему міру и неизвѣстныхъ намъ данныхъ? Нѣтъ, или почти что нѣтъ. Должны ли мы свою поэзію, архитектуру, живопись заключать въ рамки античной техники этихъ трехъ искусствъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Итакъ, чѣмъ же можетъ быть античность для современной культуры?

Очень и очень многимъ. Дѣло въ томъ, что нормативная

точка зрѣнія a priori неправильна не только по отношенію къ античности, но и по отношенію къ чему бы то ни было. Мы всѣ, работающіе на почвѣ античности съ сознаніемъ важности и плодотворности нашей работы для нашихъ современниковъ и потомковъ—мы всѣ въ одинъ голосъ протестуемъ противъ этой точки зрѣнія, которую намъ навязываютъ... иногда не по разуму усердные союзники, чаще же невѣжественные или злонамѣренные противники. Нѣтъ, господа; мы не намѣрены васъ вернуть къ тому, что было; наши взоры устремлены впередъ, а не назадъ. Если дубъ глубоко пускаетъ свои корни въ почву, на которой онъ растетъ, то не потому, чтобы ему хотѣлось обратно вростать въ землю, а потому, что онъ изъ этой почвы черпаетъ силу, которая даетъ ему возможность подниматься къ небесамъ, перерастая всѣ живущіе одною только поверхностью кусты и злаки. Античность должна быть не нормой, а *живительной силой* современной культуры.

И вотъ съ этой-то точки зрѣнія дѣлается понятнымъ положеніе, что никогда еще человѣческій умъ такъ не былъ приспособленъ къ тому, чтобы понимать и воспринимать античность, какъ именно теперь. Правда, оно нуждается въ соотвѣтственномъ дополненіи: „никогда еще античность не была такъ приспособлена къ тому, чтобы быть понимаемой и воспринимаемой человѣкомъ, какъ именно теперь“—но это дополненіе касается уже не самой античности, а науки о ней, а эту науку мы, согласно нашей программѣ, должны оставить на послѣдокъ. — Было время, когда люди не знали исторіи своего отечества и не интересовались ею; „вы все найдете въ древней исторіи“, говорилъ еще Мабли, дѣятель эпохи, предшествовавшей французской революціи, „нѣтъ надобности изучать новую, въ которой все равно ничего не найдешь, кромѣ глупостей и грубостей“. Тогда именно люди искали въ прошломъ нормы для настоящаго. Но вотъ проснулся духъ историзма; изученіе родной исторіи, правда, нѣсколько отвлекло умы отъ изученія исторіи древней, но зато придало этой послѣдней совершенно новое, неизвѣстное до тѣхъ поръ значеніе. Оказалось, что культурная исторія каждаго изъ новыхъ народовъ была маленькимъ ручейкомъ до тѣхъ поръ, пока въ нее не влилась широкая рѣка античности, принесшая съ собою

всѣ идеи, которыми нашъ умъ живетъ въ настоящее время, съ христіанствомъ включительно; такъ-то, исторически разсуждая, выходитъ, что у каждаго изъ насъ есть двѣ родины: одна—это страна, по имени которой мы называемъ себя, другая—это античность. Чтобы выразить это въ краткой формулѣ, позвольте прибѣгнуть къ ученію греческихъ богослововъ, которые въ естествѣ человѣка различали три составныя части—плоть, душу и духъ (σῶμα, ψυχή, πνεῦμα),—и сказать: наша родина по плоти и душѣ—это Россія для русскихъ, Германія для нѣмцевъ, Франція для французовъ; наша родина по духу—это античность для всѣхъ насъ; то, что сплочиваетъ воедино европейскіе народы, несмотря на ихъ не только національное, но и племенное различіе—это одинаковое происхожденіе отъ античности. *Мы мыслимъ одинаково* — вотъ почему мы понимаемъ другъ друга, между тѣмъ, какъ народы не европейской культуры, будь они цивилизованы или нѣтъ, не понимаютъ ни другъ друга, ни насъ.

И этотъ фактъ уже проникъ въ сознаніе народовъ, хотя далеко еще не въ достаточной мѣрѣ; они смотрятъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, на древній міръ, какъ на свою общую родину. Италія и Греція—это для насъ всѣхъ почти что святыя земли; культурные народы Европы, каждый по мѣрѣ своихъ силъ, стараются заручиться въ нихъ тѣмъ или другимъ клочкомъ земли для изслѣдованій и раскопокъ; каждое болѣе или менѣе важное открытіе въ области древнихъ литературъ и искусства возбуждаетъ интересъ всего цивилизованнаго міра, между тѣмъ, какъ такія же открытія въ предѣлахъ новыхъ литературъ и искусствъ рѣдко волнуютъ умы внѣ предѣловъ тѣхъ государствъ, которыхъ они непосредственно касаются. Да, общая античная родина—основаніе единства европейской цивилизаціи; вотъ почему и наоборотъ центростремительныя силы въ европейскомъ человѣчествѣ прямо или косвенно служатъ на пользу занятіямъ античностью. Это положеніе дѣлъ важно для отношенія къ античности обѣихъ партій, на которыя распадается общество въ государствахъ европейской культуры, націоналистовъ и „европеистовъ“, или, какъ ихъ у насъ называютъ, славянофиловъ и западниковъ. Если націоналистъ отрицательно относится къ античности, то это невѣжество простое:

онъ не знаетъ или забываетъ, что античность съ давнихъ поръ входитъ въ составъ культуры его родного народа, что, стало быть, гнушаясь античности, онъ обрекаетъ себя на незнанье того, что онъ желалъ бы знать. Но если западникъ дѣлаетъ то же самое, то это уже сугубое невѣжество: онъ прямо, можно сказать, рубитъ тотъ сукъ, на которомъ сидитъ.

Итакъ, развитіе культурной исторіи современныхъ народовъ выяснило намъ ту громадную роль, которую античная родина сыграла въ сложеніи ихъ умственнаго, духовнаго естества; все-ли этимъ сказано? Нѣтъ, не все. Вѣдь, противъ этого имѣлось бы очень простое возраженіе: да на что оно намъ вообще, наше прошлое? живите настоящимъ! Да, конечно; но тутъ на помощь исторіи являются естественныя науки, является біологія, опровергая легковѣсную мудрость: „что было, того нѣтъ". Нѣтъ, господа, — что было, то есть; мы не можемъ отдѣлаться отъ нашего прошлаго, такъ какъ оно живетъ въ насъ самихъ, точно такъ же, какъ въ столѣтнемъ дубѣ живетъ все его прошлое, начиная съ того времени, когда онъ былъ еще годовалымъ росткомъ. Это вѣрно по отношенію къ каждому индивидууму и тѣмъ болѣе по отношенію къ обществамъ или народамъ. Мы должны изучать наше прошлое для того чтобы познать самихъ себя, такъ какъ мы — результатъ этого прошлаго. А знать самихъ себя мы должны для того, чтобы разумно управлять своей судьбою, а не жить безотчетно, подобно безсловесной скотинѣ. Этой наукѣ школа не учитъ— она вырабатывается въ теченіе всей жизни, будучи результатомъ того обмѣна культурныхъ благъ, о которомъ была рѣчь вначалѣ.

Перейдемъ, однако, къ частностямъ—къ тѣмъ элементамъ культуры, которые намъ завѣщала древность, и которыми мы пользуемся, какъ живительными соками для нашей собственной культуры. Тутъ первое мѣсто занимаетъ, разумѣется, *религія*.

Древность завѣщала намъ, однако, не одну религію, а двѣ: христіанскую и языческую (античную въ тѣсномъ смыслѣ). Дѣйствительно, отдѣлять христіанство отъ античности нельзя; во-первыхъ, (хотя и не главнымъ образомъ) потому, что греческій языкъ есть въ то же время языкъ древнѣйшей христіанской письменности, а языкъ, какъ мы видѣли, есть испо-

вѣдь народа. Да, христіанство въ томъ видѣ, въ какомъ мы его получили, было вскормлено греческимъ народомъ; оно носитъ понынѣ его неизгладимую печать. Мы не можемъ понимать христіанство иначе, чѣмъ изучая его греческіе памятники; возьмемъ, хотя бы, столь знаменитое у насъ ученіе о непротивленіи злу. Подлинно ли училъ Спаситель не сопротивляться *злу*.... или только не сопротивляться *зломъ*? Не мое дѣло рѣшить этотъ споръ; но я обращаю ваше вниманіе на то, что для его рѣшенія вы должны исходить не изъ славянскаго или русскаго перевода, а, разумѣется, изъ греческаго подлинника,— а онъ, дѣйствительно, нѣсколько двусмысленъ: въ фразѣ μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ послѣднее слово можетъ означать и „злу“ и „зломъ“. Вспомните, если кто читалъ, Лѣсковскаго „Колыванскаго мужа“ и то великое богословское открытіе, которое дядя-баронъ сообщилъ герою—а именно, что въ молитвѣ Господней слѣдуетъ читать не „хлѣбъ нашъ насущный“, а „надсущный“, т.-е. духовный: таково, молъ, значеніе греческаго ἐπιούσιος. Бѣдняга растерялся, не находя что отвѣтить; а знай онъ по гречески—онъ легко опровергъ бы ересь своего собесѣдника указаніемъ на то, что „надсущный“ было бы по гречески ὑπερούσιος (вѣрнѣе: ὑπερουσιακός), а никакъ не ἐπιούσιος. Отсюда вы видите, что такое для образованнаго христіанина греческій языкъ; но это лишь мимоходомъ, наша тема здѣсь другая. Я включилъ христіанство въ античность, во-первыхъ, на томъ основаніи, что греческій языкъ былъ роднымъ языкомъ первоначальнаго христіанства; но главное потому, что оно связано съ античностью общностью развитія и настроенія. Христіанство было, конечно, исполненіемъ еврейскаго закона и ветхо-завѣтныхъ пророчествъ; но оно по крайней мѣрѣ въ такой же степени было исполненіемъ вѣковыхъ стремленій и чаяній античныхъ народовъ. Этого раньше не знали и считали, поэтому, ту вторую, въ тѣсномъ смыслѣ античную религію безполезной и даже вредной для насъ; теперь же это достаточно извѣстно и изслѣдовано. Мы преклоняемся передъ грандіозными концепціями этой языческой античной религіи; мы съ истиннымъ благоговѣніемъ читаемъ Эсхилову молитву Зевсу, — я привелъ въ прошлой лекціи изъ нея отрывокъ — гдѣ онъ воздаетъ своему Богу, „кто бы онъ ни былъ“, благодар-

ность за то, что онъ „направилъ человѣка на путь сознанія, давъ силу слову „страданьемъ учись“! И вотъ ночью вмѣсто сна памятливая забота частой каплей гложетъ наше сердце, и противъ воли мы учимся быть добродѣтельными. Такова благодать (χάρις) человѣку отъ бога, мощно возсѣдающаго у святого кормила вселенной!“

Какъ видите, я отличаю античную религію отъ античной *миѳологіи*, съ которой ее раньше отожествляли; конечно, нѣкоторые миѳы являются также носителями и религіозныхъ ученій, но къ большинству изъ нихъ для насъ, какъ и для древнихъ, возможно только эстетическое или этическое отношеніе. Что же сказать о ней, этой античной или, правильнѣе, греческой миѳологіи? Хотѣлось бы обладать стихомъ нашего поэта, чтобы живо и вѣрно описать этотъ сказочный міръ античности, этотъ шелестъ вѣчно зеленаго дуба греческой саги, выросшаго въ древнѣйшемъ святилищѣ эллиновъ, въ бурной Додонѣ; какихъ только образовъ тамъ нѣтъ! Тамъ гнѣвный Ахиллъ съ замираніемъ сердца смотритъ, какъ въ искупленіе нанесенной ему обиды пылаютъ корабли его народа; тамъ царственный старецъ Пріамъ, чтобы выкупить трупъ сына, смиренно цѣлуетъ руку его убійцы; тамъ многострадальный странникъ Одиссей подъ ласкою богини тоскуетъ по своей далекой родинѣ; тамъ бодрый Язонъ созываетъ богатырей для чудеснаго плаванія въ золотую Колхиду; тамъ вѣрный Орфей нисходитъ въ обитель смерти, чтобы выпросить у царицы тѣней свою Евридику; тамъ гордая праведница Антигона цѣною жизни покупаетъ свое право исполнить долгъ любви къ умершему брату; тамъ кроткая Ифигенія добровольно принимаетъ смерть ради славы своего отца; тамъ ревнивая Медея въ изступленіи мести убиваетъ своихъ дѣтей; тамъ каменное подобіе благословенной нѣкогда Ніобеи плачетъ надъ своимъ разрушеннымъ счастьемъ. — Эти образы не умирали никогда; они плѣняли лучшіе умы древняго міра, пока текла его жизнь, а послѣ его смерти перешли въ средніе вѣка, чтобы жить тамъ новою жизнью, отчасти подъ тѣми же, отчасти подъ другими именами. Красавица Венера завлекаетъ рыцарей въ свой таинственный гротъ; дерзновенный пловецъ Одиссей плыветъ черезъ океанъ, пока его судно не разбивается объ отвѣсную

гору чистилища; волшебница Цирцея подъ именемъ Армиды удерживаетъ крестоносцевъ отъ святого подвига; Елена промѣняла греческихъ витязей на богатыря мысли Фауста. И выше и выше плетется вѣнокъ поэзіи надъ главами героевъ греческихъ былинъ; каждая эпоха новыхъ временъ дала для него свои цвѣты. Ахиллъ и Эдипъ, Антигона и Медея—это уже не греческіе образы: любовь всего человѣчества ихъ усыновила.

Таковыми дошли они до насъ: теперь они наши — самое прекрасное наслѣдіе нашей духовной родины. И мы роднимъ ихъ со своею душой и видимъ въ этомъ и наслажденіе, и поученіе себѣ: прошедши черезъ горнило всемірной исторіи, эти образы потеряли то случайное и условное, то земное, можно сказать, которое имъ было свойственно вначалѣ; теперь это— чистыя воплощенія идей, неоцѣнимыя для поэта-мыслителя. И не только для него; я уже сказалъ, что, сочетавшись съ твореніями новыхъ временъ, эти образы продолжаютъ жить у насъ подъ чужими именами. Несчастный Орестъ, раздавленный своимъ долгомъ кровавой мести, понынѣ живетъ на нашей сценѣ подъ именемъ датскаго принца Гамлета; но это только меньшая часть. Сколько великодушныхъ подвижницъ создала Антигона, сколько мрачныхъ ревнивицъ — Медея! Не сознаютъ этого даже ихъ поэты; имъ кажется, что они внимаютъ голосу собственной души, а того они не знаютъ, что этотъ голосъ— все тотъ же шелестъ вѣчно зеленаго дуба греческой саги, выросшаго въ рощѣ пелазгическаго Зевса въ бурной Додонѣ....

Миѳологія естественно приводитъ насъ отъ религіи къ *литературѣ* античности, являясь содержаніемъ значительной части ея поэтическихъ памятниковъ; но античная литература важна для насъ не только своимъ содержаніемъ — она важна своей формой и, главнымъ образомъ, своимъ духомъ. Относительно формы прошу васъ вспомнить, что античность создала всѣ литературные типы, которыми наша литература живетъ— дѣйствительно создала, такъ какъ раньше они не существовали — и притомъ создала не вдругъ, а одинъ за другимъ въ органическомъ процессѣ своего развитія.

И тутъ мнѣ хотѣлось бы спросить всякаго, интересующагося литературой,—а интересуется ею теперь всякій—что́ ощущаетъ онъ въ присутствіи этихъ завѣщанныхъ неизвѣстно кѣмъ ли-

тературныхъ типовъ, съ которыми онъ встрѣчается въ своей жизни? почему у насъ имѣются именно они, эта трагедія, комедія, романъ, повѣсть, лирика, эпиграмма и т. д., а не другіе? почему для нѣкоторыхъ литературныхъ типовъ обязательна риѳма и размѣръ, для другихъ — только размѣръ, для третьихъ—ни тотъ, ни другая? Что, повторяю, ощущаетъ интересующійся литературой человѣкъ въ виду этихъ фактовъ?— Ну, я думаю, большинство, если отвѣчать по совѣсти, отвѣтитъ: ровно ничего. Дѣйствительно, кто живетъ одною современностью, тотъ быстро отвыкаетъ мыслить: — вѣдь мыслить значитъ связывать слѣдствіе съ причиной, причина же современности лежитъ въ прошломъ. Но возьмемъ человѣка вдумчиваго: онъ, вѣроятно, за объясненіемъ причины обратится къ наукѣ о литературѣ, къ теоріи словесности—и быстро разочаруется. Теорія словесности, какъ наука, дѣло будущаго; пока она скорѣе классифицируетъ и иллюстрируетъ, чѣмъ объясняетъ. Нѣтъ, теперь для вдумчиваго человѣка путь одинъ: на вопросъ о смыслѣ литературныхъ типовъ отвѣчаетъ только исторія ихъ возникновенія, т.-е. античная литература.

Тутъ мы видимъ своими глазами, какъ изъ первобытной лирико-эпической ячейки прежде всего развивается эпическая поэзія; при отсутствіи письменности единственнымъ хранилищемъ того, что слѣдовало знать, была память, а памяти нужно было придти на помощь размѣромъ и напѣвомъ. Итакъ, эпосъ сталъ вмѣщать въ себѣ все, что слѣдовало знать: дѣянія боговъ и предковъ, пророчества, законы, наставленія къ жизни и къ работамъ; отсюда его раздѣленіе на былевую и дидактическую вѣтви. — Развитіе музыки повело къ осложненію размѣровъ: изъ эпоса развивается лирика въ своихъ различныхъ разновидностяхъ, какъ элегія, баллада, пѣсня, ода; чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе расширяетъ она свой кругозоръ, поглощаетъ, наконецъ, эпосъ и съ нимъ вмѣстѣ даетъ драму — трагедію и комедію. — Но тѣмъ временемъ и письменность все шире и шире распространяется; зарождается проза; проза конкуррируетъ съ поэзіей, какъ хранилище того, что слѣдовало знать, но все-таки чувствуется, что поэзія обладаетъ такими достоинствами, которыхъ у прозы нѣтъ — ея размѣръ болѣе соотвѣтствуетъ возбужденному состоянію души, чѣмъ гладкое теченіе прозы,

она продолжаетъ быть выразителемъ страстнаго, эмоціональнаго элемента человѣческаго естества, предоставляя прозѣ элементъ интеллектуальный. Эпосъ умираетъ, его замѣняетъ историческая и философская проза. А жизнь все развивается и развивается, страсти кипятъ въ народныхъ собраніяхъ, кипятъ въ судахъ; создается особый родъ прозы, вмѣщающій въ себѣ страсть — краснорѣчіе. Элементъ страсти сближаетъ краснорѣчіе съ поэзіей, оно принимаетъ въ себя нѣчто въ родѣ размѣра, подъ именемъ прозаическаго ритма, обращаетъ вниманіе на равномѣрное дѣленіе частей періода и иногда, для большей вразумительности, подчеркиваетъ это дѣленіе риѳмой. — Съ этимъ лирическимъ элементомъ реторическая проза грозитъ гибелью поэзіи; эта гибель отсрочивается благодаря той любви къ прошлому, которая охватила грековъ послѣ потери политической самостоятельности. Рождается романтическая поэзія такъ называемаго александрійскаго періода; эта поэзія воскрешаетъ прежніе поэтическіе типы и прибавляетъ къ нимъ новый, настоящій выразитель романтическаго настроенія — идиллію.— Тѣмъ временемъ литература переносится въ Римъ; это также ведетъ къ воскрешенію поэтическихъ типовъ, но уже на латинскомъ языкѣ, и опять къ созданію новаго типа, естественнаго продукта столкновенія наносной культуры съ туземной грубостью, римской сатиры.—Все же побѣда прозы надъ поэзіей этимъ только отсрочивается; чувствуя свои силы, она вторгается изъ міра дѣйствительности въ царство фантазіи, предоставленное до тѣхъ поръ поэзіи, создается романъ, создается повѣсть — эти послѣдыши античной литературы. — Торжеству прозы содѣйствуетъ тоже и то обстоятельство, что характерный для античныхъ языковъ элементъ количества, на которомъ построена вся античная метрика, въ эпоху по Р. Хр. сталъ теряться; когда поэтому потребовалась новая народная поэзія, что случилось между прочимъ подъ вліяніемъ христіанства, то ея форма была заимствована лишь отчасти изъ старинной поэзіи, главнымъ же образомъ изъ ритмической прозы; характерная особенность послѣдней — равномѣрное дѣленіе періодовъ, подчеркнутое риѳмой — стало характерной особенностью также и новой поэзіи. Такъ возникла поздняя античная поэзія, прошедшая черезъ все средневѣковье: stabat mater dolorosa juxta

crucem lacrimosa, и все остальное. А между тѣмъ, это и есть та поэтическая форма, которая завоевала всѣ народы европейской культуры, всюду вытѣсняя грубыя и неспособныя къ развитію туземныя формы; мы всѣ, народы новой Европы, живемъ этимъ наслѣдіемъ, не исключая и нашей народной поэзіи. — Правда, дѣлались попытки замѣнить эти античныя формы другими, заимствованными изъ поэзіи другихъ неантичныхъ народовъ — индійской, арабской — но эти попытки не имѣли успѣха. Мало того: нашимъ сосѣдямъ, нѣмцамъ, не удалось даже снова призвать къ жизни своей исконной поэтической формы, аллитерирующаго стиха. Его воспроизводили иногда очень удачно, всѣхъ удачнѣе Вагнеръ въ своей знаменитой трилогіи — Helle Wehr, Heilige Waffe, Hilf meinem ewigen Eide! — но его горизонтъ, тѣмъ не менѣе, очень узокъ. Внѣ „Кольца Нибелунга" онъ невозможенъ; ни Фаустъ, ни Орлеанская дѣва не могли имъ быть написаны.

Итакъ, по части литературныхъ типовъ и формъ мы и понынѣ живемъ античностью; новыя времена ихъ отчасти упростили, отчасти разнообразили, но ничего принципіально новаго къ нимъ не прибавили. Но я говорилъ также о *духѣ* античной литературы, и вы, вѣроятно, сами уже подозрѣваете, что въ этомъ духѣ — самое важное наслѣдіе античности. Да, конечно; но здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, я долженъ быть кратокъ, даже рискуя пропустить очень серьезныя стороны моей темы. Ограничусь двумя примѣрами: духомъ античной исторіи и духомъ античной философіи, — конечно, смотря на ту и другую, какъ на литературные типы.

Исторію мы имѣемъ не у однихъ античныхъ народовъ: она была у народовъ Востока, была и у евреевъ. Но у народовъ Востока ея цѣль была совершенно особая: прославленіе дѣяній царей, ихъ побѣдъ, сооруженій и т. д.; о пораженіяхъ и безславіи царей не писали. Другую точку зрѣнія выдвинулъ Израиль: его исторія свидѣтельствовала ему о постоянной опекѣ Бога Саваоѳа, Который и награждалъ избранный Имъ народъ за повиновеніе Его закону, и каралъ за ослушаніе; его исторіографія имѣла поэтому цѣлью обнаружить, гдѣ только можно было, этотъ перстъ Божій. Впервые у древнихъ грековъ находимъ мы понятіе, которое, просто какъ таковое, показалось бы

безсмысленнымъ исторіографамъ Востока, съ Израилемъ включительно: понятіе *исторической истины*. Для чего пишетъ свою исторію Геродотъ? „Для того, чтобы не пропала отъ времени память о дѣяніяхъ людей, и чтобы великія и удивительныя дѣла, совершенныя какъ эллинами, *такъ и варварами*, не лишились своей славы“. Замѣтьте: какъ эллинами, такъ и варварами. Историкъ стоитъ выше національностей; великое дѣло какъ таковое его интересуетъ, оно требуетъ отъ него награды и получаетъ ее, безотносительно къ имени совершившаго. Конечно, у Геродота не все достовѣрно; онъ благодушно воспроизводитъ легенду, но безъ всякаго злого умысла: что дѣлать, въ его эпоху историческая критика еще только зарождалась. — Историческая критика... тутъ мы коснулись второй стороны дѣла. Въ прошлой лекціи, говоря о чувствѣ правды, я указалъ на то, что оно заключаетъ въ себѣ не одно, а два требованія — первое: „пусть твои слова соотвѣтствуютъ твоему сужденію“, т.-е. „не лги“; второе: „пусть твое сужденіе соотвѣтствуетъ дѣйствительности“, т.-е. „не заблуждайся“. Первому изъ этихъ требованій удовлетворилъ Геродотъ; удовлетворить второму было предоставлено его преемнику Ѳукидиду. Онъ не довольствуется уже правдивой передачей того, что слышалъ; онъ всячески старается провѣрить услышанное, сличаетъ показанія аѳинянъ съ показаніями спартанцевъ, коринѳянъ и т. д., чтобы такимъ путемъ добраться до исторической истины. Такъ относится онъ къ установленію фактовъ; но это сравнительно легкая задача: историкъ не только докладчикъ, но и судья. Какъ же творитъ Ѳукидидъ историческій судъ? Такъ, какъ мы этого только и можемъ желать: гдѣ передъ нами двѣ противоположныя и непримиримыя точки зрѣнія, тамъ онъ послѣдовательно развиваетъ ту и другую въ формѣ состязательныхъ рѣчей представителей обѣихъ сторонъ. Рѣчи встрѣчались уже у Геродота, но у него онѣ только пріятно разнообразили разсказъ, — у Ѳукидида онѣ служатъ главной цѣли его труда, раскрытію исторической истины. Не всѣ, конечно, послѣдовали его примѣру: въ IV вѣкѣ встрѣчаются попытки подчинить историческую истину патріотизму, а затѣмъ и интересности разсказа; но въ серьезной исторіографіи его авторитетъ остался непоколебимъ. Во II вѣкѣ историкъ

Полибій произноситъ замѣчательныя слова, которымъ и слѣдуетъ на дѣлѣ: „истина—око исторіи“ (I, 14). Въ I вѣкѣ до Р. Хр. Цицеронъ хорошо формулируетъ главныя требованія къ исторіи въ слѣдующихъ словахъ: „ne quid falsi audeat, ne quid veri non audeat historia“, — словахъ, которыя и понынѣ красуются, какъ девизъ, на заглавномъ листѣ самаго серьезнаго изъ историческихъ журналовъ, французской Revue historique. Въ I—II вѣкѣ по Р. Хр. Тацитъ высказываетъ приблизительно то же требованіе въ своемъ знаменитомъ sine ira et studio.

Таковъ духъ античной исторіографіи. Что же, будемъ мы ее теперь упрекать въ томъ, что она въ томъ или другомъ отношеніи кажется намъ отсталой, слишкомъ много вниманія удѣляетъ установленію фактовъ внѣшней политики, слишкомъ мало интересуется экономическими и соціальными вопросами? Эти упреки были бы умѣстны, если бы мы, филологи, рекомендовали вамъ античную исторіографію, какъ норму для современной; но я уже разъ протестовалъ противъ этой инсинуаціи, и протестую противъ нея и теперь. Нѣтъ; античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ; мы должны принять его въ себя, это сѣмя исторической правдивости, чтобы изъ него выросло дерево правдивой современной исторіографіи. Съ этой-то точки зрѣнія и величайшій изъ историковъ новыхъ временъ, Ранке, называлъ себя ученикомъ Ѳукидида.

И мнѣ думается, что мы никогда еще въ этомъ сѣмени такъ не нуждались, какъ именно теперь. Именно теперь исторической истинѣ, этому оку исторіи, какъ его называетъ Полибій, угрожаетъ сильнѣйшая опасность со стороны ея двухъ исконныхъ враговъ: націонализма и партійности; а что это значитъ—это понять нетрудно. Не знаю, извѣстно ли вамъ, что нѣкоторые писатели разумѣютъ подъ готтентотской моралью? Этотъ терминъ имѣетъ своимъ источникомъ анекдотъ, вѣроятно, не очень достовѣрный, — будто одинъ готтентотъ на вопросъ миссіонера, что такое добро и зло, отвѣтилъ: „если мой сосѣдъ уведетъ у меня мою жену, то это зло, а если я уведу у него его жену, то это добро“. Теперь вы поймете, что этотъ готтентотскій принципъ проявляется не только на почвѣ

частныхъ сношеній — тамъ онъ намъ не опасенъ, мы надъ нимъ смѣемся, — онъ гораздо вреднѣе въ области національныхъ и партійныхъ интересовъ. Когда, скажемъ, испанецъ съ жаромъ заступается за притѣсняемыхъ въ Португаліи испанцевъ, но возмущается противъ такого же заступничества Португаліи за обижаемыхъ въ Испаніи португальцевъ; когда тотъ же испанецъ, будучи республиканцемъ, горячо одобряетъ правительство за то, что оно запретило карлистскую демонстрацію, а на слѣдующій день бранитъ то же правительство за запрещенную республиканскую демонстрацію — то ему кажется, что онъ во всѣхъ этихъ случаяхъ разсуждаетъ вполнѣ послѣдовательно и здраво. Мнѣ же думается, что онъ обнаруживаетъ въ первомъ случаѣ національный, а во второмъ — партійный готтентотизмъ, и больше ничего.

И все же я скажу: пока этотъ готтентотизмъ царитъ только у взрослыхъ людей въ ихъ національныхъ и партійныхъ распряхъ, то это еще полъ-бѣды: говорятъ, безъ этого нельзя — не буду спорить. Но вѣдь наши испанцы этимъ не довольствуются; они требуютъ, чтобы вся исторія, поскольку она пишется испанцами и для испанцевъ, носила соотвѣтственный характеръ, чтобы видно было, что ее написалъ испанецъ, а не португалецъ. Тутъ мнѣ съ грустью вспоминается Θукидидъ; онъ начинаетъ свое сочиненіе словами: „Θукидидъ аѳинянинъ написалъ эту исторію войны пелопоннесцевъ съ аѳинянами“ — и хорошо, что онъ это дѣлаетъ, такъ какъ безъ этихъ словъ, по характеру и тенденціи его труда, никто не могъ бы догадаться, кто его написалъ: аѳинянинъ, спартанецъ или коринѳянинъ? Но что же дѣлать; видно придется исторіи, чтобы выдержать свой испанскій характеръ, закрыть свое „око“ на протяженіи всѣхъ новыхъ временъ; будемъ утѣшаться тѣмъ, что истина найдетъ себѣ убѣжище хоть въ древней исторіи, такъ какъ древнюю-то исторію съ испанской точки зрѣнія не напишешь. И дѣйствительно, тутъ есть чему радоваться. Я никогда не подпишусь подъ вышеприведеннымъ изреченіемъ Мабли о новой и древней исторіи; несомнѣнно, однако, что по нынѣшнимъ временамъ изученіе древней исторіи имѣетъ особенное нравственное значеніе. Здѣсь мы судимъ не на основаніи предвзятыхъ симпатій; мы одобряемъ добрыхъ мужей и добрыя

дѣла, возмущаемся по поводу дурныхъ, безотносительно къ національности того или тѣхъ, о комъ идетъ рѣчь. Здѣсь готтентотизмъ не имѣетъ почвы: вникая въ древнюю исторію, мы учимся быть справедливыми. Но именно это не на руку нашимъ испанцамъ; они требуютъ изгнанія древней исторіи изъ школы, или, по крайней мѣрѣ, ея сокращенія въ пользу новой, особенно же испанской исторіи... Впрочемъ, господа, вы, конечно, давно поняли, что я говорю здѣсь объ испанцахъ только потому, что они живутъ далеко, никогда не узнаютъ, что я о нихъ говорилъ, и поэтому не обидятся; а я уже стольких „обидѣлъ" въ своихъ предыдущихъ лекціяхъ, что будетъ съ меня. Нѣтъ, вернемся домой. Чего только не требуютъ отъ школьнаго преподаванія исторіи! Оно должно насадить духъ патріотизма, духъ...... другой, третій, четвертый. Боюсь, однако, что изъ всѣхъ этихъ древонасажденій ничего путнаго не выйдетъ, „око" же исторіи окажется при этомъ окончательно вышибленнымъ. Нѣтъ; если бы дѣло зависѣло отъ меня, я, какъ выросшій на античности человѣкъ, сказалъ бы скромно, но рѣшительно: „преподаваніе исторіи должно насаждать духъ правдивости и справедливости" — а затѣмъ.... поставилъ бы точку.

ЛЕКЦІЯ ШЕСТАЯ.

Вторая антитеза: продолженіе. — Духъ античной философской литературы: переубѣдимость —Кодексъ чести мыслителя.—Античная философія: ея универсализмъ.—Античная этика.—Этика досократовская, сократовская и христіанская.—Ихъ важность для этики будущаго.—Античное право.—Юристы-ремесленники и юристы-мыслители.—Античная политика.—Античность и оптимизмъ.

Предыдущую лекцію я закончилъ анализомъ и характеристикой того, что я назвалъ духомъ античной исторіографіи; перехожу въ духу античной *философіи*, предупреждая васъ, однако, и здѣсь, что пока мы ее разсматриваемъ не какъ таковую, а только какъ литературный типъ, параллельно съ исторіографіей.

Допустимъ на минуту, что все содержаніе философіи Платона не только невѣрно, но и нелѣпо, что оно не имѣетъ для насъ никакой цѣнности; можно ли будетъ сдать его діалоги въ архивъ? Нѣтъ; ихъ значеніе, какъ литературныхъ произведеній, независимо отъ того, чтó является ихъ философскимъ результатомъ. То, чтó въ нихъ болѣе всего поражаетъ маломальски вдумчиваго читателя, это вовсе не ихъ выводы, а тотъ методъ, посредствомъ котораго таковые достигаются. Сравнимъ для ясности и здѣсь греческую философскую письменность съ тѣмъ, что ей соотвѣтствуетъ у нетронутыхъ греческой цивилизаціей народовъ, у индійцевъ, у народовъ такъ называемаго классическаго востока, у евреевъ. И тамъ вы встрѣтите очень глубокомысленныя наставленія: никто не можетъ относиться свысока къ проповѣди Будды или къ ветхозавѣтнымъ пророкамъ. Но

у грековъ есть нѣчто ими впервые введенное въ работу нашей мысли, — а именно, всюду разлитое убѣжденіе, что каждое наше положеніе постольку вѣрно, поскольку оно *доказано*. Мало того; предполагается, что эта доказанность или недоказанность—единственное, чтò приходится имѣть въ виду мыслителю, и что эта доказанность, разъ она на лицо, должна оградить его отъ всѣхъ антипатій общества. „Какъ! ты утверждаешь то-то и то-то?“ — говоритъ Сократу его собесѣдникъ, возмущенный его выводами. О нѣтъ, отвѣчаетъ Сократъ, это утверждаю не я, а Logos, орудіемъ котораго я здѣсь являюсь. Нравится тебѣ то, что Logos доказываетъ моими устами— тѣмъ лучше; не нравится—вини не меня, а Logos'а, или еще лучше—самого себя.

А это отношеніе къ дѣлу имѣетъ своимъ послѣдствіемъ требованіе, чтобы человѣкъ былъ *убѣдимымъ и переубѣдимымъ*. Logos ставитъ намъ серьезныя, подчасъ тяжелыя условія. *Ты долженъ признать самое непріятное для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогого тебѣ убѣжденія, разъ оно опровергнуто*, — вотъ кодексъ чести мыслителя. Не хочешь — ты будешь бараномъ изъ стада, рабомъ подъ властью господина, а не свободнымъ гражданиномъ общины духа. А потому—опровергай, доказывай, но не жалуйся, не злословь, не входи въ азартъ. И хорошенько присматривай за своими доказательствами и опроверженіями, чтобы они были дѣйствительно доказательны: очень часто симпатія и антипатія извращаетъ наше сужденіе, склоняя его признать доказательными самыя легкомысленныя соображенія — этого быть не должно. Недоказательное соображеніе, внушенное симпатіей, въ спорѣ—то же, что неправильный ударъ въ поединкѣ; кто къ нимъ прибѣгаетъ, тотъ нарушаетъ кодексъ чести.

Да, *переубѣдимость* — вотъ то сѣмя, которое заключаетъ въ себѣ античная философія, и только она; и это сѣмя должно взойти въ каждомъ изъ насъ, если онъ хочетъ относиться сознательно къ явленіямъ жизни, хочетъ выйти изъ мрака предразсудковъ. Къ сожалѣнію, почва для этого сѣмени у современнаго человѣка очень неблагопріятна. Мы всѣ болѣе или менѣе, въ силу наслѣдственности, волюнтаристы; интеллектуализмъ—лишь тонкій наносный слой чернозема въ складѣ нашего

ума. Насъ можно настроить и перенастроить, на насъ вліяетъ стихійнымъ образомъ среда и обстановка нашей жизни; но вѣдь все это — прямая противоположность интеллектуальной переубѣдимости.

И теперь, бесѣдуя съ вами объ этой послѣдней, я болѣе всего боюсь, какъ бы вы не перевели моихъ словъ на волюнтаристическій языкъ и не смѣшали переубѣдимости съ тѣмъ, что я позволилъ бы себѣ назвать перенастраиваемостью, этимъ вѣрнымъ признакомъ нравственной или умственной слабости. Не въ томъ важность, чтобы человѣкъ былъ въ состояніи мѣнять свои убѣжденія; это — явленіе до того обычное, что и говорить о немъ не стоитъ. Сплошь и рядомъ онъ, переходя изъ одной среды въ другую, мѣняетъ свои убѣжденія — не вдругъ, разумѣется, а исподволь; въ особенности это касается убѣжденій политическихъ. Тутъ такого рода метаморфозы происходятъ съ регулярностью, немногимъ уступающей извѣстной метаморфозѣ насѣкомыхъ: сплошь и рядомъ изъ самыхъ радикальныхъ личинокъ вылупливаются самые великолѣпные ретроградные папильоны. Надѣюсь, вы не заподозрите меня, что я подъ переубѣдимостью рекомендую подобнаго рода метаморфозу; совершенно напротивъ, она — прямой ея врагъ. Да, но не единственный; другой ея врагъ—то, что на волюнтаристическомъ языкѣ принято нарекать почетнымъ именемъ стойкости убѣжденій, между тѣмъ какъ на нашемъ интеллектуалистическомъ языкѣ имя этому качеству—косность и умственная слѣпота. Съ нашей точки зрѣнія одинаково заслуживаетъ осужденія какъ тотъ, кто отказывается отъ своихъ убѣжденій, не имѣя на это логическаго основанія, такъ и тотъ, кто при наличности этого основанія отъ нихъ не отказывается; оба они— враги и ослушники Logos'а, того „слова-разума“, которое, по глубокомысленному изреченію четвертаго евангелиста, было въ самомъ началѣ бытія — и впервые объявилось въ античной философіи.

Простите, что я настаиваю на этомъ соображеніи; но оно намъ теперь ближе, чѣмъ когда-либо. Въ эту самую минуту надъ всѣми нами — и надо мною, лекторомъ, и надъ вами, моими слушателями— витаетъ Logos; то, что я вамъ говорю, разсчитано не на то, чтобы такъ или иначе васъ настроить,

а на то, чтобы васъ убѣдить. Что это задача трудная, что мои рѣчи вызовутъ много критики и неудовольствія—это я и самъ сознавалъ и вамъ заявилъ съ самаго начала: трудно убѣждать и переубѣждать тамъ, гдѣ имѣешь дѣло съ накопившимся въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, переданнымъ средою и чуть-ли не по наслѣдственности *предубѣжденіемъ*. Но я полагаю, если для меня важно сообщить вамъ ту истину, которою я обладаю, то для васъ не менѣе важно воспринять ее... поскольку она истина. А чтобы въ этомъ убѣдиться, для этого средство одно — тотъ кодексъ чести мыслителя, о которомъ я говорилъ только что: „ты долженъ признать самое непріятное для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогого для тебя убѣжденія, разъ оно опровергнуто". Между тѣмъ современный читатель и слушатель въ числѣ другихъ качествъ, которыми онъ отличается отъ античнаго, обладаетъ и слѣдующимъ: когда ему доказываешь что-нибудь, онъ пропускаетъ ходъ доказательства мимо ушей или глазъ и сосредоточиваетъ все свое вниманіе на результатѣ; нравится ему этотъ результатъ — хвала автору, хотя бы само доказательство было построено по силлогизму „чижикъ въ лодочкѣ"; не нравится ему результатъ—анаѳема. Вотъ противъ этого-то отношенія къ дѣлу я хотѣлъ бы васъ вооружить, пока еще пора, пока я еще предъ вами.

Да, еще разъ повторяю: переубѣдимость, этотъ залогъ умственной свободы и умственнаго прогресса — вотъ самое драгоцѣнное намъ наслѣдіе античной философіи, какъ литературнаго произведенія. Ея соотвѣтственная форма—діалогъ; и вотъ причина, почему Платонъ свои сочиненія написалъ въ діалогической формѣ, при чемъ убѣжденіе и переубѣжденіе происходитъ на нашихъ глазахъ.

Вы, конечно, понимаете, что я по необходимости пропускаю много сторонъ, драгоцѣнныхъ въ античности, въ античной литературѣ, въ античной философской литературѣ—я могу вамъ представить только образчики, а при ихъ выборѣ нѣкоторый субъективизмъ неизбѣженъ. Я говорю о томъ, что мнѣ кажется наиболѣе цѣннымъ изъ того, чему меня научила античность: другой, быть можетъ, подчеркнулъ бы другія стороны, болѣе близкія его сердцу, и былъ бы точно также

правъ. Теперь, прежде чѣмъ проститься съ античной литературой, мнѣ хотѣлось бы еще разъ указать на ея огромное культурно-*историческое* значеніе.

Если бы античность была только создательницей тѣхъ литературныхъ типовъ, которыми живемъ и мы, только плоскостью отправленія для эволюціи новѣйшей литературы, то и тогда ея значеніе было бы очень велико: вѣдь всякій вопросъ о причинѣ явленій всемірной литературы, другими словами, всякое сознательное къ ней отношеніе неизбѣжно завело бы насъ въ область античности. Но вѣдь этимъ ея значеніе не исчерпывается: античность не только дала толчокъ новѣйшимъ литературамъ, она и сопровождаетъ ихъ на всемъ пути ихъ развитія, оказывая болѣе или менѣе сильное вліяніе на нихъ. Очень вѣрно сказалъ въ свое время Монтескье: „новѣйшія сочиненія написаны для читателей, античныя—для писателей“; всегда, и особенно въ лучшіе періоды всемірной литературы, античность была главной пищей поэтовъ и прозаиковъ, и только тотъ правильно пойметъ также и новѣйшую литературу, кто очень добросовѣстно изучилъ эту ея пищу. Прежде это требованіе не такъ еще сознавалось: пока главную задачу историка литературы видѣли либо въ собираніи фактовъ изъ внѣшней жизни писателей, либо въ морально-эстетическихъ разглагольствованіяхъ объ ихъ сочиненіяхъ, можно было обходиться безъ знанія античной литературы; но съ тѣхъ поръ какъ исторія литературы была поставлена на научную почву, съ тѣхъ поръ какъ мы стали ставить къ ея историку требованіе обнаружить тѣ силы, которыя придали данному литературному произведенію именно данный, а не другой характеръ— знаніе античной литературы стало непремѣнной обязанностью этого историка: какъ вы объясните возникновеніе литературнаго явленія, если вы не знаете тѣхъ силъ, которыя его произвели? Такимъ образомъ и тутъ оправдывается сказанное мною выше: важность античности стала не меньше, а больше, чѣмъ она была раньше.

Но здѣсь для насъ важно не это, а вотъ что. Вы не забыли той антитезы, въ которой я вижу девизъ разумнаго поборника античности въ современной жизни: „не норма, а сѣмя“. Были въ исторіи всемірной литературы періоды, когда

античность считалась нормой для современности; были и другіе, когда она... быть можетъ не считалась, но дѣйствительно была сѣменемъ. Первые мы называемъ подражательными: подражали тому, что понимали, понимали же не очень много, гораздо менѣе, чѣмъ мы теперь; въ результатѣ получался не классицизмъ, а псевдоклассицизмъ. Все же и эти періоды были необходимы: они вышколили новѣйшую литературу, сообщая ея типамъ и средствамъ изложенія то техническое совершенство, въ которомъ они нуждались для того, чтобы служить болѣе высокимъ цѣлямъ; къ сожалѣнію, недостатокъ времени не дозволяетъ развить вамъ этотъ въ высшей степени интересный и важный пунктъ. Но какъ бы тамъ ни было, дѣйствительно творческими періодами всемірной литературы мы считаемъ тѣ, когда античность была не столько нормой, сколько сѣменемъ... все равно, признавалась ли она таковымъ или нѣтъ. Мы справедливо ставимъ Шекспира и Гете, для которыхъ античность была сѣменемъ, выше Расина, для котораго она была нормой, не говоря уже о другихъ, болѣе рабскихъ подражателяхъ. Но вы согласитесь, что процессъ развитія сѣмени сложнѣе и прослѣдить его труднѣе, чѣмъ процессъ воспроизведенія нормы; гораздо легче обнаружить вліяніе античности на Расина, чѣмъ на Шекспира и Гете. Да, конечно; но задача не упраздняется съ установленіемъ трудности ея исполненія. Исторія литературы, какъ наука, еще только нарождается. Ее мощно двинулъ впередъ знаменитый Тэнъ своимъ требованіемъ, чтобы литература разсматривалась, какъ продуктъ общества, изъ котораго и для котораго она создавалась; не менѣе важно, однако, требованіе, чтобы, кромѣ этихъ внѣшнихъ силъ, было прослѣжено и вліяніе той внутренней силы, которая въ ней жила и живетъ, т. е. античности. „Новѣйшія сочиненія“ — повторяю слова Монтескье—„написаны для читателей, античныя— для писателей“, а слѣдовательно, прибавимъ мы, и для того, кто изучаетъ этихъ писателей и судитъ о нихъ.

Оглянемся теперь немного назадъ. Въ своемъ обзорѣ античнаго міра мы начали, какъ это было естественно, съ религіи: религія привела насъ къ миѳологіи, миѳологія къ литературѣ, литература къ философіи. Мы охарактеризовали ее пока только какъ литературный типъ; переходимъ теперь къ

ея самостоятельному значенію именно какъ философіи. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо бросается въ глаза, до какой степени греческій народъ былъ (повторяя выраженіе Вл. Соловьева) многодумомъ. Изъ обоихъ наиболѣе творческихъ въ области философіи народовъ современности, англійскаго и нѣмецкаго, первый всегда былъ склоненъ къ эмпиризму, второй къ раціонализму; про грековъ трудно сказать, которое изъ обоихъ этихъ направленій лежало ближе къ ихъ душѣ. Греція создала раціоналиста Платона, но она же и эмпирика Демокрита; въ Аристотелѣ обѣ струи соединяются, но затѣмъ опять отдѣляются одна отъ другой—направленіе Платона воскресаетъ въ стоикахъ, направленіе Демокрита въ Эпикурѣ. Эту спасительную двойственность Греція завѣщала и новому міру; отнынѣ отупляющая односторонность стала уже невозможной. Поперемѣнно то Платонъ, то Эпикуръ оплодотворяли и оживляли новѣйшую философію. Раціонализмъ Платона соприкасается съ религіей, эмпиризмъ Эпикура—съ наукой; первый родственень съ идеализмомъ, второй съ матеріализмомъ; первый ведетъ къ совершенствованію человѣка какъ такового, второй—къ его власти надъ природой. Оба направленія намъ необходимы, но самое необходимое, это—борьба между ними, та плодотворная борьба, результатомъ которой является культурный прогрессъ. Не дай Богъ, чтобы которое-нибудь изъ этихъ двухъ направленій у насъ заглохло, чтобы разумъ человѣческій забрелъ либо въ безплодную пустыню спекуляціи, либо въ грязный омутъ исключительно матеріальныхъ интересовъ; а чтобы этого не случилось, для этого античная философія должна оставаться всегда близкой нашему сердцу—именно античная философія съ ея здоровымъ универсализмомъ, одинаково обозрѣвающая своимъ яснымъ взоромъ небо и землю... Но это, пожалуй, матерія слишкомъ трудная; вы знаете уже, что мы не можемъ исчерпать своей темы—что я могу привести вамъ только образчики. Приведу таковой и для античной философіи; изъ многихъ ея сторонъ выберу одну, а именно нравственную.

Это—вопросъ всѣмъ одинаково близкій. Всякое общество живетъ нравственностью; нравственность нашего времени есть нравственность христіанская—ее признаютъ даже тѣ, которые относятся болѣе или менѣе безучастно къ религіознымъ исти-

намъ христіанства. Замѣчательно, однако, что первые христіане-мыслители, знакомясь съ античной философіей, были поражены ея величіемъ и чистотой; относясь къ этому явленію съ религіозностью христіанъ и съ честностью мыслителей, они придумали для него слѣдующее объясненіе: „Господь Богъ“, говорили они, „въ своемъ попеченіи о человѣческомъ родѣ, до пришествія Христа, далъ евреямъ законъ, а эллинамъ философію“. Замѣтьте это сопоставленіе: евреямъ—законъ, эллинамъ—философію. Законъ говоритъ: „ты долженъ, ты не долженъ“—и только; философія ставитъ вездѣ вопросъ „зачѣмъ“ и „для чего“. Итакъ, отношеніе Творца къ обоимъ народамъ-избранникамъ было различно: евреямъ онъ приказывалъ, съ эллинами—разсуждалъ... Такой, по крайней мѣрѣ на мой взглядъ, естественный, логическій выводъ изъ приведеннаго положенія святыхъ отцевъ; не буду, однако, его развивать, не желая впасть въ ересь,—сосредоточусь на эллинахъ.

И у нихъ нравственность не съ самаго начала носила философскій характеръ; были и у нихъ законы и заповѣди, авторомъ которыхъ считали перваго учителя нравственности, воспитателя Ахилла и другихъ героевъ, Хирона. Первая: „воздавай честь Зевсу и прочимъ богамъ“; вторая: „уважай родителей“; третья: „не обижай гостя-чужестранца“—таковы три великія заповѣди Хирона (Χείρωνος ὑποθῆκαι), нарушеніе которыхъ было смертнымъ грѣхомъ, наказуемымъ вѣчными карами на томъ свѣтѣ. Но, конечно, это было не все: цѣлое нравственное міросозерцаніе прикрывало себя этой высшей санкціей откровенія, тѣ „ѳеирородные законы“, какъ ихъ называетъ Софоклъ „отецъ которыхъ—одинъ Олимпъ; не человѣческая природа ихъ родила, не будутъ они поэтому похоронены подъ покровомъ забвенія“. Пиндаръ, Эсхилъ, Геродотъ, Софоклъ—вотъ для насъ главные источники этихъ законовъ, этой законнической древней нравственности. Какъ же мы къ нимъ отнесемся? Мы въ Хирона и Олимпъ вѣрить не обязаны; возражая великому греческому поэту, мы скажемъ, что именно человѣческая *природа* ихъ родила,—тотъ законъ подбора, который одинаково силенъ какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ мірѣ; закономъ подбора создается, какъ безсо-

знательный результатъ вѣкового опыта поколѣній, тотъ кругъ нравственныхъ нормъ, которыя обезпечиваютъ обществу наилучшія условія для его развитія.

Конечно, разсматриваемая только съ этой точки зрѣнія, древне-греческая инстинктивная нравственность стоитъ не выше, чѣмъ инстинктивная нравственность любого другого культурнаго или дикаго племени: всѣ онѣ одинаково опредѣляются тѣмъ же непреоборимымъ закономъ подбора. То, что̀ придаетъ ей исключительное значеніе,—это то, что греческая культура, перешедшая въ Римъ, а изъ Рима къ новымъ народамъ, есть единственная въ исторіи человѣчества культура побѣдившая и побѣждающая, между тѣмъ какъ всѣ другія культуры, не исключая и самыхъ живучихъ (мусульманской и буддійской), суть культуры побѣжденныя или побѣждаемыя. Тутъ мы стоимъ на вполнѣ твердой біологической почвѣ: инстинктивная нравственность греческаго народа есть самая здоровая изъ всѣхъ—потому самая здоровая, что она создала единственную въ мірѣ выживающую культуру. Значитъ ли это, что она должна быть для насъ нормой? Нѣтъ, конечно; мы уже видѣли, что нормъ въ античности мы вообще искать не должны. Но если какая-нибудь инстинктивная нравственность заслуживаетъ вниманія современности, то несомнѣнно она; и это вниманіе ей досталось и достается въ полной мѣрѣ съ тѣхъ поръ, какъ ея проповѣдникомъ сталъ среди насъ Фр. Ницше...

Но я здѣсь не о ней хотѣлъ говорить, а о той сознательной, философской нравственности, которая возникла на ея почвѣ послѣ одной изъ величайшихъ реформъ, которыя переживало человѣчество въ этой области; эта реформа связана съ именемъ Сократа. Сократъ именно тѣмъ и произвелъ переворотъ въ Аѳинахъ, что по поводу каждаго нравственнаго принципа или закона ставилъ вопросъ „зачѣмъ“ и „для чего“. Въ этомъ отношеніи онъ, а съ нимъ и пошедшая отъ него нравственная философія, стоитъ особнякомъ; другого такого примѣра исторія человѣчества не знаетъ. Если до-сократовская инстинктивная нравственность возбуждала нашъ интересъ какъ *самая цѣнная* изъ инстинктивныхъ же нравственностей, то сократовская сознательная нравственность заслуживаетъ нашего вниманія какъ *единственная*. И Сократъ—вы это знаете—дорого поплатился

за свой починъ. Современники ужаснулись этихъ его „зачѣмъ“ и „для чего“, на которыя они не знали отвѣта; не зналъ на нихъ отвѣта и онъ самъ. Вы помните его грустныя слова: „они всѣ ничего не знаютъ, да и я не умнѣе ихъ; я только знаю, что ничего не знаю, а они даже этого не знаютъ“. Инстинктивная нравственность перестала удовлетворять людей мыслящихъ, а новой, сознательной еще не было; аѳинское общество почувствовало себя въ положеніи людей, отвалившихъ отъ одного берега и не видящихъ другого. Не будемъ строго относиться къ ихъ протесту противъ человѣка, который отнялъ у нихъ то, чѣмъ они жили до тѣхъ поръ; но не будемъ отказывать въ удивленіи смѣлому пловцу, который рѣшительно отчалилъ отъ берега въ поискахъ новаго, лучшаго міра. На поставленные Сократомъ вопросы отвѣтили позднѣйшіе философы, особенно стоики; результатомъ ихъ отвѣтовъ была нравственная философія, создательница единственной въ мірѣ такъ называемой автономной морали, сознательно выводящей нравственный долгъ человѣка изъ его правильно понятой природы.

Но, могутъ меня спросить, на что намъ эта автономная мораль, когда у насъ есть мораль христіанская?—Во-первыхъ, я уже разъ протестовалъ противъ этого выдѣленія христіанства изъ античности, которое не имѣетъ другого основанія, кромѣ чисто внѣшняго—а именно, что античность всегда проходилась и проходится на философскомъ, а христіанство на богословскомъ факультетѣ. Какъ можно отдѣлять отъ античности культурную силу, которая зародилась и окрѣпла въ предѣлахъ Римской имперіи въ эпоху первыхъ римскихъ императоровъ и явилась отвѣтомъ на вѣковые запросы античнаго общества? Да и всякій, изучавшій исторію христіанства и христіанской морали, знаетъ, какъ эта послѣдняя питалась соками античной философіи, которая, по словамъ самихъ христіанскихъ учителей, была дана эллинамъ Господомъ еще до пришествія Христа. Но сила вовсе не въ этомъ аргументѣ; вы можете его разбить указаніемъ на то, что христіанская мораль по своему принципу отличается отъ до-сократовской и отъ сократовской: тамъ мы имѣли нравственность инстинктивную и нравственность сознательную, здѣсь же нравственность богооткровенную. Не буду спорить; поставлю только вопросъ:

желательно ли, чтобы откровеніе было единственной санкціей нравственнаго долга? Знаю, многіе склонны будутъ отвѣтить: „да“. Опять не буду спорить въ принципѣ; сошлюсь только на факты.

Религіозный скептицизмъ—фактъ, и притомъ фактъ далеко не такой страшный, какимъ многіе его представляютъ; его можно даже въ извѣстныхъ предѣлахъ разсматривать, какъ явленіе біологическое. Бываетъ въ жизни человѣка возрастъ,— это именно вашъ возрастъ, господа—когда подъ вліяніемъ, съ одной стороны, могучаго прилива жизненныхъ силъ въ здоровомъ организмѣ, а съ другой — открывающагося передъ молодыми глазами все болѣе и болѣе широкаго горизонта, у его души точно крылья вырастаютъ. Онъ смотритъ взоромъ побѣдителя на тотъ просторъ, который открылся передъ нимъ, онъ чувствуетъ себя его господиномъ, если не настоящимъ, то будущимъ, и на всѣ рѣчи про стѣснительную высшую санкцію склоненъ отвѣчать: „я вѣрую въ себя и свою силу!“ Позднѣе, когда вешнія воды вошли въ свое нормальное русло, онъ отрезвляется, соразмѣряетъ свои силы съ своей задачей, учится съ уваженіемъ относиться къ тѣмъ санкціямъ, которыя нѣкогда отвергалъ... Эта метаморфоза не имѣетъ ничего общаго съ той, на которую я намекнулъ раньше; она честна и безкорыстна, и я даже сожалѣю о томъ человѣкѣ, который „смолоду не былъ молодъ“; мнѣ вспоминаются слова Петрарки: „не приноситъ осенью плодовъ то дерево, что весной не цвѣло“ (non fructificat autumno arbor, quae vere non floruit). Иногда и цѣлыя общества переживаютъ такіе періоды кипучей жизни и смѣлости мысли. Въ одинъ изъ такихъ періодовъ—періодъ Локка и Вольтера—и было открыто значеніе автономной морали школы Сократа; а на нашихъ глазахъ, въ силу такого же молодого порыва, была пріобщена къ сознанію современнаго общества и до-сократовская инстинктивная мораль, показателемъ и символомъ которой ея возродитель избралъ античнаго бога весны и приливающихъ силъ—Діониса. Такія явленія имѣютъ далеко не одно только преходящее значеніе; конечно, всякое увлеченіе проходитъ: прошло вольтерьянство, пройдетъ и ницшеанство—не пройдетъ только борьба, это единственное и необходимое средство совершенствованія.

Такая борьба предстоитъ и намъ—быть можетъ самая серьезная изъ всѣхъ, какія когда-либо волновали человѣчество. А въ такія эпохи усиленной борьбы не годится замыкаться въ предѣлы одной какой-нибудь, хотя бы даже и христіанской морали. Назрѣваютъ новыя общественныя группировки, а съ ними и новыя задачи индивидуальной и соціальной этики; для ихъ рѣшенія нельзя довольствоваться тѣми нормами, которыя мы получили въ наслѣдіе отъ отцовъ и дѣдовъ. Мы должны провѣрить ихъ право на существованіе, мы должны черезъ этотъ наносный слой ходячей морали проникнуть къ дѣйствительной нравственности, къ той, которая держится на незыблемомъ устоѣ человѣческой природы... и не просто „человѣческой“ природы (въ этомъ заключалась ошибка просвѣтительной эпохи), а нашей европейской природы, корни которой лежатъ въ нашей духовной родинѣ, въ античности. И вотъ почему мы должны отъ нашей морали обратиться и къ до-христіанской, сократовской, и къ до-сократовской, инстинктивной; не для того, чтобы возсоздать ихъ, упаси Богъ,—а для того, чтобы изъ ихъ борьбы съ ходячей моралью родилось то новое, въ которомъ мы нуждаемся.

Такова потребность времени; по многимъ примѣтамъ видно, что мы идемъ навстрѣчу новому расцвѣту занятій античностью, которая будетъ и глубже понята и сильнѣе повліяетъ на людей. Фридрихъ Ницше — только одинъ примѣръ, одинъ симптомъ; огромный, хотя и медленный успѣхъ этого пророка античности—и притомъ самой античной, до-сократовской античности—ясно показываетъ намъ, въ какую сторону направлены запросы современности и гдѣ средство къ ихъ удовлетворенію. У насъ въ Россіи общество всегда было особенно чутко къ нравственнымъ вопросамъ и запросамъ; у насъ его сознаніе менѣе стѣснено традиціонными рамками, болѣе рвется на просторъ, отъ условнаго и преходящаго къ дѣйствительному, природному, вѣчному. У насъ, поэтому, и интересъ къ античности долженъ бы быть сильнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было. И когда я слышу эту проповѣдь ненависти и пренебреженія къ античности въ нашемъ обществѣ, мнѣ кажется, что я имѣю дѣло съ какимъ-то колоссальнымъ и позорнымъ недоразумѣніемъ. Мнѣ хотѣлось бы крикнуть обществу: „Да что вы дѣлаете!

Передъ вами чаша съ самымъ искристымъ, самымъ вкуснымъ, самымъ питательнымъ напиткомъ, но края этой чаши смазаны полынью—и вы плаксиво, точно дѣти, отъ нея отворачиваетесь?"...

Довольно, однако, объ античной философіи; ея характеристика сама собою насъ привела къ соціальнымъ и государственнымъ формаціямъ въ древнемъ мірѣ, къ практикѣ и теоріи *античнаго государствовѣдѣнія.* Да, къ практикѣ и теоріи; сопоставляя эти два понятія, мы уже указываемъ то, въ чемъ состоитъ отличительная черта античной политики. Всѣ народы древняго и новаго міра жили той или другой общественной и государственной жизнью; но только античные народы мыслили, разсуждали и писали о ней, да изъ новыхъ народовъ тѣ, которыхъ этому научила античность.

Правда, одна область этой жизни у всѣхъ культурныхъ народовъ требовала сознательнаго къ себѣ отношенія—область *правовая*; чтобы регулировать отношенія между гражданами (и полугражданами) и хоть до нѣкоторой степени обуздать произволъ фактической силы, требовалось опредѣленное законодательство, состоящее изъ ряда опредѣленныхъ рецептовъ: „если кто сдѣлаетъ то-то, онъ подвергается тому-то". Такихъ законодательствъ намъ извѣстно довольно много; самое древнее изъ нихъ, вавилонское, „кодексъ Гаммураби", относящееся къ третьему тысячелѣтію до Р. Х., было найдено не такъ давно, и эта находка возбудила интересъ всего цивилизованнаго міра. Дѣйствительно, этотъ „кодексъ" очень интересенъ — между прочимъ и въ томъ отношеніи, что мы изъ него узнаемъ, какъ долго человѣчество жило одними ремесленными рецептами по образцу: „если кто сдѣлаетъ то-то, онъ подвергается тому-то", и сколь великъ, стало быть, подвигъ народа, который одинъ сумѣлъ отъ этихъ рецептовъ перейти къ научному правовѣдѣнію, имѣющему въ своемъ основаніи точныя опредѣленія правовыхъ понятій, а въ своемъ корпусѣ — операцію надъ ними; это — такой же подвигъ мысли, какъ и переходъ отъ знахарскихъ практикъ къ научной медицинѣ, имѣющей въ своемъ основаніи изученіе свойствъ организмовъ и веществъ. Переходъ этотъ въ области права осуществили отчасти греки, но особенно римляне; и въ этомъ заключается причина, почему рим-

ское право было, есть и будетъ воспитателемъ новѣйшей юриспруденціи.

Знаю, что это положеніе часто оспаривается... не столько, впрочемъ, юристами qua юристами (дѣлаю эту юридическую оговорку въ виду того, что и юристы бываютъ часто людьми партіи — qua люди партіи они говорятъ, разумѣется, то, что велитъ говорить партія), сколько неюристами и полуюристами. „Къ чему изучать римское право?“ спрашиваютъ они: „наши понятія о бракѣ, семьѣ и т. д. другія, чѣмъ римскія; на что же могутъ намъ пригодиться нормы римскаго права?“ Замѣтьте: нормы. Вездѣ одно и то же заблужденіе: норма непримѣнима—значитъ и изучать нечего. Намъ кажется смѣшнымъ анекдотическій солдатъ, который отказался рѣшить ариѳметическую задачу — „если я далъ тебѣ 5 р., а 3 р. ты послалъ женѣ, то сколько осталось?“—отказался на томъ основаніи, что никто ему 5 р. не давалъ, да и жены у него нѣтъ; но вѣдь въ сущности эти квази-юристы, разсужденіе которыхъ я привелъ только что, ничуть не умнѣе того солдата. Не нормы римскаго права намъ нужны; намъ нужны правовыя понятія, которыя съ удивительной точностью и цѣлесообразностью установилъ этотъ народъ-избранникъ Ѳемиды—всѣ эти justum и aequum, dolus и culpa, possessio и dominium, hereditas и legatum, fideicommissum, ususfructus, servitus, obligatio и масса другихъ; намъ нужно умѣніе оперировать этими понятіями, узнавать ихъ въ данныхъ правовыхъ отношеніяхъ и этимъ сводить запутанные отдѣльные случаи жизненной практики къ сравнительно простымъ формуламъ; нуженъ весь этотъ тонкій и умный юридическій анализъ, мастерами котораго были римскіе правовѣды. „Но зачѣмъ же?“—спрашиваютъ эти люди; „вѣдь эти понятія и операціи, поскольку они нужны, приняты въ современное право“. А въ современномъ правѣ, переспрошу я, они перестали быть римскими? Вы замѣнили слово ususfructus словомъ „пользовладѣніе“—и воображаете, что у васъ, благодаря этой простой манипуляціи, вмѣсто римскаго права получилось русское? Вы содрали этикетъ съ амфоры благороднаго фалернскаго вина, налѣпили русскій ярлыкъ—и тѣшите себя мыслью, что пьете отечественное вино? Эта близорукая современщина

вредна уже однимъ тѣмъ, что ведетъ къ такимъ безсовѣстнымъ фальсификаціямъ и плагіатамъ.

Но вѣдь это только одна сторона дѣла. Я a priori устраняю нормативность античности и нормативный принципъ въ ея оцѣнкѣ; все же кое-гдѣ и кое въ чемъ можно у нея и въ этомъ отношенін поучиться, и притомъ въ области римскаго права болѣе, чѣмъ въ какой-либо другой; но и это не все. Какъ бы ни относиться къ непосредственному, актуальному значенію римскаго права—то значеніе, какое оно *имѣло* для насъ, какъ источникъ нашего права и воспитатель нашего правовѣдѣнія, никоимъ образомъ у него не можетъ быть отнято: habere eripi potest, habuisse non potest, прекрасно сказалъ Сенека. Мы не можемъ изучать исторію нашего права, не изучая права римскаго; и не можемъ не изучать этой исторіи, если хотимъ сколько-нибудь сознательно относиться къ тому, чѣмъ мы живемъ. Отвѣтъ на вопросъ о смыслѣ правовыхъ институтовъ даетъ намъ ихъ возникновеніе; отвѣтъ на вопросъ объ ихъ возникновеніи — ихъ исторія, т.-е., согласно сказанному, римское право. Кто его не знаетъ, тотъ никогда не будетъ юристомъ-мыслителемъ; а такіе намъ никогда не были такъ нужны, какъ именно теперь, когда происходитъ, можно сказать, разложеніе уголовнаго права и процесса, когда мечущаяся совѣсть человѣчества въ лицѣ Толстого, Ницше, Геккеля ставитъ все новые и новые запросы правовѣдѣнію и съ мучительнымъ напряженіемъ ждетъ отвѣта на нихъ.

Но право и правовѣдѣніе—только одна сторона того, что можно назвать античной „политикой“ въ античномъ смыслѣ этого слова; въ ней много другихъ — столько, что намъ нельзя помышлять даже о схематической полнотѣ. Всѣ другія государства древности имѣютъ въ своемъ основаніи либо военную идею, либо финансовую; въ одной только Греціи явилась мысль, что государство есть средство къ нравственному воспитанію и совершенствованію человѣка, что политика есть завершеніе этики. У Гомера ея еще нѣтъ—въ гомеровской общинѣ много привлекательнаго, но она дѣйствуетъ на насъ, какъ сама природа со своей грубой и матеріальной наивностью. Но вотъ Дельфы, самая крупная умственная и нравственная сила Греціи вплоть до V-го вѣка, берутъ на себя грандіозную задачу

политически воспитать Грецію въ духѣ религіи и нравственности Аполлона. Греческій народъ распадался тогда на мелкія самодовлѣющія общины въ нѣсколько тысячъ душъ каждая; эти πόλεις были въ высшей степени удобнымъ матеріаломъ для важныхъ и поучительныхъ экспериментовъ (нужно много и долго искать въ исторіи новыхъ временъ, чтобы найти нѣчто подобное,—напримѣръ Женеву въ эпоху Кальвина). Эксперименты дѣлались съ помощью различныхъ средствъ и съ перемѣннымъ успѣхомъ: въ иныхъ общинахъ Дельфамъ удалось прибрать къ рукамъ правительство (въ Спартѣ напр.), въ другихъ имъ содѣйствовали могущественныя партіи (какъ въ Аѳинахъ), въ третьихъ ихъ орудіемъ былъ вліятельный орфическій орденъ (въ южно-италійскихъ колоніяхъ); въ иныхъ они побѣдили, въ другихъ были побѣждены—для насъ всѣ эти зрѣлища одинаково интересны. Другого рода экспериментъ затѣяли въ противовѣсъ Дельфамъ аѳинскіе политики V вѣка; но созданная ими безземельная община воиновъ и чиновниковъ терпитъ крушеніе въ пелопоннесскую войну. Опытами практики пользуется теорія IV в. — Платонъ въ своемъ „Государствѣ"—но опять таки лишь для того, чтобы поскорѣе перейти къ практикѣ.

Такъ-то Грецiя завѣщала намъ и въ теоретическихъ изложеніяхъ и въ практическихъ примѣненіяхъ принципы политики въ самомъ широкомъ смыслѣ слова; какимъ образомъ устроить государство такъ, чтобы обезпечить личности возможность наибольшаго нравственнаго совершенствованія? — вотъ вопросъ, проходящій красною нитью черезъ всѣ эти попытки и построенія. Это — вопросъ въ высшей степени интересный. Уже одно то, что его ставили въ этой формѣ, было громаднымъ прогрессомъ: „какимъ образомъ устроить государство такъ"... значитъ, государство не есть нѣчто стихійное; отъ насъ зависитъ устроить и перестроить его соотвѣтственно той цѣли, которую мы признаемъ за лучшую. Такъ вѣровали древніе; такъ отъ нихъ научились вѣровать и мы. Эта вѣра была одно время источникомъ крайнихъ увлеченій и заблужденій: преувеличивая (въ просвѣтительную эпоху) могущество разумной воли, люди стали думать, что съ помощью хорошо обдуманныхъ конституцій можно сразу перевоспитать народъ и

создать новую породу людей. Кровавая исторія французской революціи съ ея мертворожденными конституціями и дикимъ произволомъ научила насъ болѣе трезво относиться къ этому дѣлу и не пренебрегать тѣмъ стихійнымъ элементомъ, который заключается въ характерѣ даннаго общества; но самая сущность идеи политическаго прогресса, которую намъ завѣщала античность, этимъ затронута не была. — Это разъ; вторымъ шагомъ впередъ была концепція нравственнаго значенія государства, обусловленнаго отношеніемъ его къ личности. Въ ней даны элементы борьбы между двумя идеями одинаково цѣнными, одинаково важными для культурнаго прогресса: идеей государственности и идеей индивидуальной свободы. Дельфы напирали на первую, подчиняя личность государству; Аѳины старались эманципировать личность, насколько это возможно безъ ущерба для силы государства — эту тенденцію аѳинской государственности ясно подчеркиваетъ Периклъ въ надгробной рѣчи у Ѳукидида. Такъ-то античность внесла въ міръ эту плодотворную политическую антитезу, антагонизмъ между соціалистическимъ и индивидуалистическимъ началами; и всегда наиболѣе сознательные поборники того и другого принципа въ новѣйшемъ обществѣ сознавали себя учениками античности и высоко цѣнили ея значеніе. Отецъ современнаго соціализма Фердинандъ Лассаль видѣлъ въ классическомъ образованіи „счастливый противовѣсъ буржуазному міровоззрѣнію“ тогдашней Германіи и считалъ его „несокрушимымъ устоемъ германскаго духа“; его антиподъ, пророкъ крайняго индивидуализма Фр. Ницше, у античности заимствовалъ тѣ принципы, которые онъ такъ краснорѣчиво и такъ успѣшно проводитъ въ своей проповѣди. Оба были правы, такъ какъ оба были настолько образованы, что считали античность не нормой, а сѣменемъ современной цивилизаціи.

Но и здѣсь мы рядомъ съ огромнымъ теоретическимъ значеніемъ античной политики должны признать ея огромное историческое значеніе — причемъ я прошу васъ это послѣднее слово понимать не въ смыслѣ отчужденности отъ современной дѣйствительности, а въ смыслѣ очень близкаго отношенія къ ней. Я уже раньше сказалъ, что наше прошлое не есть прошлое въ собственномъ смыслѣ слова: оно живетъ въ

насъ и мы живемъ имъ. Изучая прошлое, мы изучаемъ нашу дѣйствительность въ томъ, что въ ней есть самаго прочнаго, самаго живучаго. Попробуйте посмотрѣть на настоящее такъ, какъ будто вы сегодня родились, безъ всякаго знанія даже о вчерашнемъ днѣ: все окружающее васъ покажется вамъ одинаково цѣннымъ, необходимымъ и вѣчнымъ, институтъ высокихъ галстуховъ или плоскихъ дамскихъ шляпокъ окажется на одной линіи съ институтомъ твердаго или мягкаго знака или буквы *ѣ*, съ институтомъ воинской повинности или суда присяжныхъ, съ институтомъ брака и дружбы. Что же поможетъ вамъ отличить тутъ преходящее отъ постояннаго, капризъ отъ потребности, нужное отъ ненужнаго? Точное знаніе человѣка? Это—наука будущаго, и даже далекаго будущаго; пока нашимъ единственнымъ руководителемъ является прошлое. И если мы, филологи, погружаемся нашими мыслями въ далекое прошлое нашей культуры, то не для того, чтобы отвлечься отъ современности, а для того, чтобы легче и лучше ее понять, чтобы отъ условнаго и преходящаго перейти къ безусловному и вѣчному... или по крайней мѣрѣ долговѣчному, чтобы имѣть возможность произвести правильную оцѣнку окружающимъ насъ явленіямъ, отличить наносную почву, которую унесетъ завтрашняя волна, отъ гранитнаго кряжа, на которомъ покоится наша культура. Ея исторія начинается для насъ тамъ, гдѣ начинается исторія Греціи... объ исторіи Востока говорить не приходится, такъ какъ неизвѣстно, поскольку исторія Греціи можетъ считаться ея продолженіемъ. Изучая это начало и сравнивая его съ современностью, мы учимся познавать тотъ путь, по которому шествуетъ человѣчество, ведомое своимъ строгимъ воспитателемъ, закономъ соціологическаго подбора.

И—какъ я уже замѣтилъ выше—изученіе этого пути даетъ намъ не одно только умственное знаніе, но и душевную бодрость и отвагу, внушаемыя отраднымъ совпаденіемъ біологической и нравственной оцѣнокъ. Дѣйствительно, только здѣсь, на этомъ огромномъ пути культурной жизни общества, эти двѣ оцѣнки совпадаютъ—на краткомъ разстояніи жизни индивидуя онѣ то сходятся, то расходятся, сбивая насъ сь толку своими комбинаціями. Мнѣ вспоминается полунасмѣшливое, полусерьезное четверостишіе одного русскаго эпиграмматиста:

Кто въ сорокъ лѣтъ не пессимистъ,
А въ пятьдесятъ не мизантропъ,
Тотъ сердцемъ, можетъ быть, и чистъ,
Но идіотомъ ляжетъ въ гробъ.

Да, идіотомъ въ родѣ Каратаева, Акима или того, котораго намъ изобразилъ Достоевскій... Дѣйствительно, на протяженіи жизни одного поколѣнія сплошь и рядомъ сила торжествуетъ надъ правомъ, а подлость надъ обоими; и это даже не самое худшее. Конечно, грустно видѣть столько разбиваемыхъ прекрасныхъ жизней при торжествѣ самодовольной пошлости и низости; но еще грустнѣе видѣть побитыя высокія идеи, видѣть трупы зарѣзанной правды на столбцахъ газетъ и прочихъ органовъ общественнаго мнѣнія. Дѣлать нечего; на протяженіи одной человѣческой жизни вы знакомитесь только съ малымъ „я“ окружающаго васъ общества, а оно не очень утѣшительно; если вы хотите узнать его большое „я“,—то, которымъ управляетъ законъ соціологическаго подбора — вы должны спуститься въ прошлое и съ самыхъ раннихъ началъ изучить путь человѣческой культуры. И тутъ вы замѣтите то, что я назвалъ выше совпаденіемъ біологической и нравственной оцѣнки; его сущность можно выразить въ словахъ: „дурное оказывается нежизнеспособнымъ и гибнетъ, хорошее, будучи жизнеспособнымъ, выживаетъ или возрождается“. Вы исполнитесь свѣтлой надежды на то таинственное будущее, куда ведетъ насъ неисповѣдимая Воля; вы одобрите въ примѣненіи къ человѣческой природѣ прекрасныя слова Николая Ленау:

Люби же природу: правдива, вѣрна,
Къ свободѣ и счастью стремится она.

ЛЕКЦІЯ СЕДЬМАЯ.

Вторая антитеза: окончаніе. — Классицизмъ и античность. — Архитектура и принципъ структивной честности.—Скульптура и живопись: принципъ естественности и принципъ идеализма.—Художественная промышленность: принципъ одушевленности.—Облагораживаніе новѣйшей культуры античностью.— *Третья антитеза: наука объ античности.*—Ея задачи въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ. — Возрастаніе ея интереса по мѣрѣ ея изслѣдованности. — Ея универсализмъ.

Обѣ предыдущія лекціи, посвященныя культурному значенію античности, имѣли довольно разнообразное содержаніе: пришлось говорить и о религіи, и о миѳологіи, и о литературѣ, и о философіи, и о правѣ, и о политикѣ. Объединялись онѣ, помимо общей принадлежности къ области античности, еще и общимъ угломъ зрѣнія: вездѣ я старался вамъ доказать, что античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ. Этой въ высшей степени важной оговоркой мы сразу ставимъ античность выше всѣхъ партій, не только политическихъ, но и всякихъ другихъ; покажу вамъ на примѣрѣ, что это значитъ. Вы, быть можетъ, замѣтили, что я въ своихъ лекціяхъ старательно избѣгалъ слова „классицизмъ"; дѣлалъ я это не потому, что это слово рѣжетъ ухо многимъ членамъ нашего общества—меня въ робости по этой части, надѣюсь, никто не упрекнетъ—а потому, что самое понятіе, которому это слово соотвѣтствуетъ, не сходится съ тѣмъ, что я считаю полезнымъ и плодотворнымъ для настоящей минуты. Подъ классицизмомъ мы разумѣемъ направленіе въ литературѣ и искусствѣ, видя-

щее въ литературѣ и искусствѣ античности (и даже не всей, а лишь выдающейся ея части) именно *норму* для подражанія: въ этомъ смыслѣ классицизмъ противополагается, съ одной стороны, романтизму, съ другой — натурализму. Направленіе это равноправно обоимъ только что названнымъ; но именно только равноправно. Мы же ищемъ въ античности того, что одинаково можетъ пригодиться какъ классикамъ, такъ и романтикамъ и натуралистамъ — ищемъ, согласно много разъ сказанному, не нормы, а сѣмени.

Это слѣдуетъ имѣть въ виду также и въ той области античности, къ которой мы переходимъ теперь, чтобы ею закончить свой обзоръ—въ области искусства. Искусство въ данномъ случаѣ — это главнымъ образомъ архитектура, ваяніе, живопись; понятіе это, однако, простирается также и на домашнюю и прочую утварь, поскольку она носитъ художественный характеръ.

Начнемъ съ *архитектуры*.

Ея основныя данныя въ античности очень простыя — греческая колонна съ прямымъ антаблементомъ и (преимущественно-) римская арка; стоитъ, однако, вдуматься въ структивную идею, которая здѣсь воплощена. Два столба и перекладина—такова первоначальная схема греческой архитектуры: тяжесть давитъ исключительно сверху внизъ—ее выдерживаетъ колонна, силы которой направлены поэтому исключительно снизу вверхъ; интересно видѣть, какъ вся колонна представляется какъ бы оживленной этой дѣйствующей снизу вверхъ силой. Но здѣсь насъ интересуетъ только одно: глубокая *честность*, такъ сказать, греческой архитектуры; внѣшнее подобіе зданія цѣликомъ выражаетъ его структивную идею, вы можете выстроить греческій храмъ безо всякихъ искусственныхъ средствъ скрѣпленія, безъ цемента и желѣзныхъ закрѣпъ—и онъ будетъ держаться. Затрудненіе было только въ одномъ: при мало-мальски значительномъ промежуткѣ между колоннами трудно было найти достаточно длинныя каменныя перекладины. Для устраненія этой трудности была изобрѣтена арка, принципъ которой—клинообразное сѣченіе камней. Такимъ образомъ получилась возможность съ помощью небольшихъ по объему камней или кирпичей преодолѣвать очень

значительные промежутки между колоннами. Честной была также и эта архитектура арки (а слѣдовательно, и свода, съ куполомъ включительно): вы можете изъ клинчатыхъ кирпичей построить арку безъ цемента и искусственныхъ закрѣпъ, и эта арка будетъ не только сама держаться, но и поддерживать верхнюю часть зданія: чѣмъ болѣе будетъ ее давить эта тяжесть, тѣмъ сплоченнѣе и крѣпче будетъ сама арка.

Но, устраняя одно затрудненіе, арка внесла другое, которому римская архитектура вполнѣ удовлетворительнаго рѣшенія не нашла. При системѣ прямого антаблемента тяжесть давила, какъ мы видѣли, только сверху внизъ, въ вертикальномъ направленіи; при системѣ арокъ она давитъ также и отъ центра въ обѣ стороны, въ направленіи горизонтальномъ. Попробуйте построить арку изъ клинчатыхъ кирпичей надъ двумя колоннами — ее станетъ распирать, колонны рухнутъ. Итакъ, требовался новый архитектурный элементъ, который шелъ бы навстрѣчу также и этому горизонтальному давленію — его римская архитектура не нашла, указанное затрудненіе она скорѣе обходила, чѣмъ рѣшала. Но прямымъ продолженіемъ римской архитектуры была романская ранняго средневѣковья, прямымъ продолженіемъ романской—готическая поздняго средневѣковья; и вотъ эта послѣдняя, наконецъ, нашла вполнѣ удовлетворительный архитектурный отвѣтъ на поставленный римской аркой вопросъ. Такъ какъ тяжесть зданія давила въ двухъ направленіяхъ, вертикальномъ и горизонтальномъ, но преимущественно въ первомъ, то ея схематическимъ выраженіемъ была косая линія, діагональ того параллелограмма силъ; для преодолѣнія ея требовался, поэтому, элементъ, который равнымъ образомъ шелъ бы ей на встрѣчу не прямо снизу вверхъ, а въ косомъ направленіи, — т.-е. контрефорсъ. Этотъ контрефорсъ (послѣ несовершенныхъ попытокъ романской архитектуры) былъ принятъ въ систему архитектуры готической, какъ необходимая составная часть; она его развила и украсила, создавая и контрефорсный столбъ и контрефорсную арку, а съ его пріобщеніемъ была возстановлена та архитектурная честность, которая была слегка нарушена введеніемъ римской арки — та архитектурная честность, которая требуетъ,

чтобы внѣшнее подобіе зданія было точнымъ выраженіемъ живущей въ немъ структивной идеи.

Исторія архитектуры знаетъ только два примѣра этой абсолютной честности—стиль греческій и стиль готическій. Намъ говорятъ: эти два стиля были прямо противоположны другъ другу. Да, конечно; они относятся другъ къ другу какъ вертикаль къ горизонтали. Несомнѣнно, что *нормы* греческаго стиля были оставлены готическимъ стилемъ; но столь же несомнѣнно, что готическій стиль былъ лишь расцвѣтомъ античнаго *сѣмени*. Это сѣмя — архитектурная честность. Чтò это значитъ—это мы увидимъ тотчасъ.

Одинъ структивный принципъ не создаетъ архитектурнаго стиля; въ таковомъ всегда болѣе или менѣе участвуетъ принципъ орнаментальный. Его вы имѣете также и въ греческомъ стилѣ; если вы спросите себя, каково тамъ его отношеніе къ структивному, то вы увидите, что это отношеніе было иллюстраціей поговорки: дѣлу время, а забавѣ часъ. Дѣло — это несеніе тяжести: этимъ дѣломъ занята прежде всего колонна и ему она отдается всецѣло; весь видъ ея строгаго, стройнаго ствола выражаетъ эту идею, для орнамента, т.-е. для забавы, у нея времени нѣтъ. Но вотъ, наконецъ, достигнутъ архитравъ. Здѣсь тяжесть и подпора, сила, давящая сверху, и сила, выдерживающая ея напоръ, какъ бы нейтрализируются; здѣсь какъ бы минута отдыха — и вотъ забава, т.-е. орнаментъ, вступаетъ въ свои права, іонійскія волюты, коринѳскіе листья обвиваютъ капитель колонны. Но и у архитрава своя работа: на немъ лежитъ тяжесть всего верхняго антаблемента, которая давитъ его (въ дорическомъ стилѣ) посредствомъ строгихъ триглифовъ—зато прямоугольные промежутки между триглифами свободны отъ труда, и вотъ здѣсь то — на такъ называемыхъ метопахъ — фантазія художника опять разыгрывается, метопы украшаются скульптурными изображеніями. Антаблементъ поддерживаетъ кровлю, которая выходитъ на фасадъ плоскимъ равнобедреннымъ треугольникомъ, такъ называемымъ фронтономъ; пространство внутри треугольника опять представляетъ изъ себя нейтральное поле отдыха—здѣсь, поэтому, вы опять встрѣчаете скульптурныя украшенія. Такимъ образомъ, та же архитектурная честность, которая характеризуетъ структивную

часть греческаго стиля, опредѣляетъ и ея отношеніе къ части орнаментальной: роль послѣдней чисто второстепенна, она никогда не затемняетъ структивной идеи.

Напротивъ, сильнѣйшее отрицаніе этого принципа архитектурной честности представляютъ, прежде всего, восточные стили, а затѣмъ и вырожденія античнаго подъ вліяніемъ отчасти этихъ послѣднихъ. Общій имъ всѣмъ элементъ — фантастичность; подчиненіе структивнаго принципа орнаментальному, превращеніе структивныхъ элементовъ въ узоры, скрываніе структивной идеи за такими архитектурными формами, которыя сами по себѣ невозможны — вотъ особенности этихъ стилей. Возьмите особенно близкій намъ стиль византійскій, представляющій, по счастливому выраженію Стжиговскаго, „Грецію въ объятіяхъ Востока“; обратите вниманіе на его изогнутую острую арку. Построенная изъ клинчатыхъ кирпичей, такая арка не только не въ состояніи что-либо поддерживать, но даже держаться сама: ея внѣшнее подобіе не соотвѣтствуетъ структивной идеѣ, она возможна только благодаря штукатуркѣ, цементу и искусственнымъ закрѣпамъ. Возьмите византійскую колонну: эта главная часть греческой архитектуры здѣсь обречена на полное бездѣйствіе, она выступаетъ гдѣ-нибудь изъ угла и входитъ въ уголъ, ничего не поддерживая, что не держалось бы и такъ — другими словами, она превратилась въ чистый орнаментъ.—Возьмите арабскую архитектуру, Альгамбру съ ея сталактитовыми сводами — эти сталактитовые своды въ структивномъ отношеніи такъ же невозможны, какъ и византійская арка; опять фантазія орнаментатора съ помощью штукатурки и т. п. затаила лежащій въ основѣ его творенія структивный элементъ—римскій сводъ.— Возьмите русскій стиль и его характерную особенность, луковичный куполъ — и онъ представляетъ изъ себя структивный абсурдъ, возможный лишь благодаря искусственнымъ подпоркамъ, скрытымъ внутри купола; стало быть, то, чѣмъ онъ держится, старательно скрывается отъ взора наблюдателя, показывается же его взору то, что само по себѣ удержаться не можетъ — вы согласитесь, что это принципъ, прямо противоположный вышеозначенному принципу архитектурной честности, требующему, чтобы внѣшнее подобіе зданія соотвѣтство-

вало его структивной идеѣ. Теперь у насъ русскій стиль въ модѣ, но только потому, что онъ русскій; я не могу вѣрить, чтобы его успѣхъ былъ прочнымъ. Обыкновенно въ исторіи архитектуры послѣ такого увлеченія антиструктивными формами слѣдовало возрожденіе античности съ ея трезвостью и честностью; думаю, что то же будетъ и у насъ — но не съ тѣмъ, разумѣется, чтобы намъ водворить *нормы* греческой и римской архитектуры на мѣстѣ теперешнихъ. Нѣтъ: если художники-архитекторы будущихъ поколѣній позаимствуютъ у античной архитектуры ея сѣмя, архитектурную честность, и сочетаютъ его съ формами русской орнаментики—вотъ это и будетъ ожидаемый и требуемый русскій стиль. О частностяхъ, разумѣется, догадываться преждевременно.

Сказанное относилось исключительно къ античной архитектурѣ; бросимъ бѣглый взглядъ и на прочія художества, спеціально на *ваяніе* и *живопись*. Въ противоположность къ архитектурѣ, эти два художества подражательны; здѣсь, помимо условій самой техники, стиль художества опредѣляется вопросами: кому или чему подражать и какъ подражать? Отвѣтомъ на эти вопросы установляется особый характеръ античнаго, т.-е. опять-таки греческаго подражательнаго искусства. Чтобы понять это, будемъ и здѣсь исходить изъ возможно элементарной, упрощенной до нельзя схемы.

Представимъ себѣ, прежде всего, первобытнаго художника, который впервые, не имѣя предшественника, берется за изображеніе какого-нибудь предмета—скажемъ, человѣка. Само собою разумѣется, что получившееся при такихъ условіяхъ изображеніе будетъ носить совершенно случайный характеръ, въ зависимости отъ того, какъ смотритъ художникъ на свой объектъ, и какъ его рука повинуется его глазамъ.—Затѣмъ, представимъ себѣ, что вслѣдъ за этимъ первымъ художникомъ второй ставитъ себѣ такую же точно задачу; отношеніе этого второго художника къ первому можетъ уже быть троякимъ. Во-первыхъ, онъ его можетъ игнорировать; тогда, конечно, его изображеніе будетъ такимъ же случайнымъ, какъ и первое; представляя себѣ и въ дальнѣйшемъ такое же отношеніе преемника къ предшественнику, вы получите искусство случайное, безо всякаго опредѣленнаго стиля. Во-вторыхъ, онъ

можетъ, наоборотъ, весь подчиниться своему предшественнику, стараться воспроизводить всю его манеру: если тотъ изображалъ человѣческое туловище въ видѣ трапеціи, покоящейся на прямоугольникѣ, то и онъ прибѣгнетъ къ тому же способу; благодаря такому взгляду на дѣло мы получимъ искусство условное, съ очень строгимъ, опредѣленнымъ стилемъ, но прогрессирующее лишь въ смыслѣ все бо̀льшаго и бо̀льшаго подчеркиванія условныхъ элементовъ. Наконецъ, въ-третьихъ, второй художникъ можетъ раздѣлить свое вниманіе между художникомъ-предшественникомъ и изображаемымъ предметомъ; онъ тщательно изучитъ предшественника, чтобы овладѣть всей его техникой, а затѣмъ углубится въ свой объектъ, постарается отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ несовершенствахъ, которыя были свойственны манерѣ предшественника, и сдѣлаетъ попытку ближе подойти къ природѣ, чѣмъ это могъ сдѣлать онъ. При такомъ отношеніи къ дѣлу вы получите искусство, тоже обладающее извѣстнымъ стилемъ, поскольку каждый художникъ находится въ технической зависимости отъ своего предшественника—но прогрессирующее въ смыслѣ освобожденія отъ условности и приближенія къ природѣ.—Таковы три возможныя схемы. Теперь вы знаете, что въ дѣйствительности схемы никогда не встрѣчаются въ своей отвлеченной, математической чистотѣ; съ этой оговоркой можно сказать, что первое, случайное искусство мы встрѣчаемъ у дикихъ народовъ; второе, условное искусство, у народовъ ближняго и дальняго Востока; наконецъ, третье, естественное искусство, нашли въ древности исключительно греки, а въ новое время, подъ вліяніемъ греческаго искусства, мы, народы европейской культуры. *Свобода и естественность*—такова первая, характерная черта античнаго искусства.

Что это такъ—въ этомъ убѣдиться не трудно. Спеціально нашъ С.-Петербургскій Эрмитажъ обладаетъ для этого прекраснымъ пособіемъ, къ сожалѣнію, совсѣмъ еще не использованнымъ; это — тѣ памятники древне-греческой живописи, которые извѣстны подъ названіемъ „расписныхъ вазъ“ и занимаютъ нѣсколько большихъ залъ въ нижнемъ этажѣ. Здѣсь вы—въ отличіе отъ болѣе или менѣе случайнаго состава скульптурной галлереи—можете наблюдать полный и закончен-

ный кругъ эволюціи. Древнѣйшія изображенія человѣческаго тѣла на бурыхъ архаическихъ вазахъ стоятъ немного выше пресловутой дѣтской трапеціи на прямоугольникѣ; затѣмъ слѣдуютъ такъ называемыя чернофигурныя вазы съ гораздо уже болѣе естественными, хотя все еще очень угловатыми и условными изображеніями. Далѣе вы имѣете вазы краснофигурныя, тоже различныхъ стилей—строгаго, прекраснаго, вольнаго, причемъ на вашихъ глазахъ одна условность за другой отпадаетъ и требованіе естественности все въ большей и большей мѣрѣ удовлетворяется. Далѣе напряженіе ослабѣваетъ, воцаряется пышность, небрежность, наступаетъ упадокъ и вырожденіе. Врядъ ли гдѣ-либо можно эту столь поучительную эволюцію прослѣдить такъ наглядно, какъ именно въ вазовомъ отдѣленіи нашего Эрмитажа; и больно видѣть, какъ это прекрасное отдѣленіе почти всегда пустуетъ, и его сокровища остаются мертвымъ капиталомъ. Помочь бѣдѣ можетъ въ значительной мѣрѣ администрація Эрмитажа; отъ нея зависитъ прійти на помощь любознательности публики и дать ей въ руки, вмѣсто теперешняго сухого и невразумительнаго каталога, другой, болѣе выдвигающій эволюціонное и художественное значеніе нашей роскошной коллекціи.

Свобода съ естественностью—одна изъ характерныхъ примѣтъ античнаго искусства; замѣчу тутъ же, что главнымъ образомъ благодаря ей оно стало воспитателемъ искусства новѣйшаго. Его возрожденіе всегда имѣло то значеніе, что, благодаря ему, художники учились опять видѣть и узнавать природу, освобождаясь отъ условностей своей эпохи; и въ этой области античность въ лучшія эпохи новѣйшаго искусства была не нормой, а сѣменемъ. Но этимъ еще не все сказано: помимо свободы и естественности, античное искусство обладаетъ еще другой чертой, тоже очень важной; эту черту мы называемъ *идеализмомъ*. Это слово требуетъ, однако, объясненія; оно далеко не такъ понятно, какъ это кажется на первый взглядъ. Идеализмъ античнаго искусства проявляется не въ томъ, что оно преимущественно изображало боговъ и богинь, а не обыкновенныхъ смертныхъ, и красоту предпочтительно передъ уродствомъ или вульгарностью—это было послѣдствіемъ внѣшнихъ условій, въ силу которыхъ кумиры

Аполлона или Геракла скорѣе находили себѣ сбыть, чѣмъ изваянія рыбака или пьяной бабы. Нѣтъ; идеализмъ проходитъ черезъ всю область античнаго художества, не исключая и этихъ двухъ послѣднихъ сюжетовъ. Мы даже легче поймемъ и оцѣнимъ его здѣсь, чѣмъ тамъ.

Возьмемъ художника, задавшагося цѣлью изобразить рыбака; такъ какъ онъ, согласно сказанному раньше, художникъ-реалистъ, то онъ будетъ искать его, прежде всего, въ натурѣ. Но натура не даетъ ему рыбака просто или даже греческаго рыбака просто: она даетъ ему рыбака Фриниха или Комія, т.-е. фигуру, черты которой характеризуютъ ее не только какъ рыбака, но и какъ Фриниха и Комія. А между тѣмъ послѣднія интересны только для ихъ личныхъ знакомыхъ; первыя—для всѣхъ, кто вообще интересуется типомъ рыбака. И вотъ художникъ спрашиваетъ себя: что въ этой совокупности примѣтъ, которыя я вижу передъ собой, характеризуетъ ихъ носителя именно какъ рыбака? въ чемъ, другими словами, сказывается идея рыбака?—и соотвѣтственно своему рѣшенію этого вопроса создаетъ свою фигуру; его цѣль—собрать по возможности всѣ примѣты, характерныя для рыбака, какъ для такового, и по возможности устранить всѣ примѣты случайныя, характерныя только для этого, случайно ему попавшагося индивидуя. Конечно, умѣніе находить эти примѣты далось грекамъ не вдругъ; было время, когда они, желая изобразить рыбака, могли изобразить только человѣка просто (или, въ лучшемъ случаѣ, вульгарнаго человѣка) и для вразумительности давали ему въ руки удочку или пойманную рыбу. Все же это умѣніе было современемъ достигнуто, и въ немъ—въ умѣніи отличать видовыя примѣты отъ родовыхъ съ одной стороны, отъ индивидуальныхъ съ другой—несомнѣнно сказывается характеръ народа-интеллектуалиста, создавшаго логику и философію вообще.

Таковъ идеализмъ античнаго искусства; его сущность, какъ видите, заключается въ требованіи, чтобы изображеніе соотвѣтствовало идеѣ воспроизводимаго предмета. Конечно, наивысшее торжество этого идеализма наблюдается въ сферѣ сверхчеловѣческой, въ сферѣ боговъ и героевъ. Тутъ грекамъ принадлежитъ ужъ не первое, а единственное, обособленное отъ

всѣхъ другихъ народовъ мѣсто. Многіе народы чувствовали потребность изображать своихъ боговъ, причемъ они понимали, что божественность для художника сводится къ сверхчеловѣчности; но между тѣмъ, какъ всѣ другіе народы эту сверхчеловѣчность понимали въ смыслѣ уродства—одни только греки понимали ее въ смыслѣ красоты. Сверхчеловѣческая красота—созданіе античнаго генія; у него и мы научились ее понимать и воспроизводить. Но не въ этомъ одномъ заключается воспитательная роль античнаго искусства въ разсматриваемой нами здѣсь области—это только одна изъ сторонъ античнаго идеализма, который весь намъ былъ нуженъ въ различныя эпохи развитія нашего художества и будетъ нуженъ, пока наше художество будетъ развиваться, т.-е., надѣемся, всегда. И этотъ идеализмъ нетрудно связать съ той первой чертой, подмѣченной мною въ античномъ искусствѣ—съ его жаждой естественности и свободы. Въ сущности, величайшей идеалисткой въ принятомъ нами смыслѣ является сама природа въ ея стремленіи къ выдѣленію и обособленію породъ; античный художникъ лишь предваряетъ или продолжаетъ дѣло природы, творя по тому же закону подбора, который обязателенъ также и для нея...

Но это, пожалуй, слишкомъ сложная и трудная мысль; недостатокъ времени не дозволяетъ намъ заняться ею здѣсь. Прежде, однако, чѣмъ проститься съ искусствомъ, а заодно и съ культурнымъ значеніемъ античности вообще, мнѣ хотѣлось бы указать на одну черту античной, такъ называемой, *художественной промышленности*, особенно важной и интересной для нашей эпохи, въ виду родственныхъ стремленій въ современномъ развитіи этой области человѣческаго труда.

Эта черта—*одушевленность*. Для античнаго человѣка предметы потребленія и орудія труда—не просто они сами, а воплощенія или олицетворенія дѣйствующихъ на нихъ силъ или исполняемыхъ ими функцій. Я уже сказалъ, говоря о колоннѣ, что она представлялась античному человѣку воплощеніемъ дѣйствующей снизу вверхъ и поддерживающей зданіе силы; выраженіемъ этой силы была легкая, но очень замѣтная „пучина“ (ἔντασις) колонны, вслѣдствіе которой ея профиль образуетъ не прямую, а слегка выпуклую линію. То же мы можемъ про-

слѣдить и вездѣ. Возьмите античный кувшинъ (hydria). Его ставятъ, онъ какъ бы вырастаетъ изъ земли, его создаютъ исходящія изъ земли силы — онъ имѣетъ поэтому форму надуваемаго снизу мыльнаго пузыря, вверху онъ шире, чѣмъ внизу. Напротивъ, гиря свѣшивается, въ ней сила дѣйствуетъ сверху внизъ—ея форма поэтому форма висящаго мѣха съ водой или пескомъ, она внизу шире, чѣмъ вверху. Возьмите кочергу; ея дѣло, такъ сказать, ковырять въ угляхъ жаровни — ея концу дается форма человѣческаго пальца. Возьмите столъ—его ножкамъ дается форма звѣриной ноги съ когтями, прочно впивающейся въ полъ. Возьмите таранъ, которымъ при осадѣ разбивали стѣны; его работа производила впечатлѣніе боданія — и вотъ его оконечности дается форма бараньей головы. Все это, конечно, мелочи; но въ этихъ мелочахъ отражается великая метафизическая идея — идея міровой Воли, развить которую предстояло лишь философіи послѣднихъ временъ.

А затѣмъ мой бѣглый очеркъ культурнаго значенія античности конченъ; разумѣется, я не высказалъ и десятой части того, чтò можно было сказать по этому поводу, но вѣдь полнота изложенія и не входитъ въ мою задачу. Я хотѣлъ вамъ представить лишь образцы; если вы освоились съ основной идеей моего очерка—что античность должна быть для насъ не нормой, а сѣменемъ — то вы легко поймете и важнѣйшій выводъ изъ нея, а именно, что культурное значеніе античности не прекратится для насъ никогда, и наша съ нею связь будетъ тѣснѣе и интимнѣе съ каждымъ столѣтіемъ. Изъ этого сѣмени произошла наша современная культура; въ ней нѣтъ ни одной сколько-нибудь существенной идеи, органическое развитіе которой изъ него не могло бы быть доказано вполнѣ наглядно. Имъ мы много разъ оплодотворяли и еще будемъ оплодотворять питомники своей культуры, спасая ихъ отъ истощенія и вырожденія—въ родѣ того, какъ мы своему вырождающемуся винограду и другимъ растеніямъ приходимъ на помощь ввозомъ оригинальныхъ сѣмянъ и лозъ.

И странное дѣло! Между тѣмъ, какъ каждое такое пріобщеніе античнаго сѣмени вело къ облагороженію нашей культуры и создавало безсмертныя творенія, служившія въ свою очередь образцами для потомства — пріобщеніе сѣмянъ чуже-

родныхъ намъ культуръ давало только ублюдковъ, неспособныхъ къ дальнѣйшему размноженію. Еще въ эпоху Гёте имѣли мы арабоманію, которой онъ и самъ подчинился въ своемъ „западно-восточномъ диванѣ“; затѣмъ пошла индоманія, расцвѣтомъ которой была философія Шопенгауера—не вся, къ счастью, а лишь самая неплодотворная ея часть, пессимизмъ, неорганически связанный съ здоровымъ и плодотворнымъ платонизмомъ; теперь вошла въ моду японщина, облагодѣтельствовавшая насъ многими уродливостями такъ называемаго декадентскаго искусства и осужденная на безслѣдное исчезновеніе, если не считать безобиднаго и несущественнаго обогащенія нашей орнаментики. Все это — замѣчательныя явленія, подтверждающія біологическій взглядъ на исторію культуры: такъ вѣдь и животныя породы облагораживаются путемъ скрещиванія не съ другими видами, какъ бы они ни были совершенны, — такія скрещиванія производятъ лишь неспособныхъ къ размноженію ублюдковъ,—а съ выдающимися особями своего вида, съ тѣми, въ которыхъ характерныя примѣты достигли наивысшей степени совершенства.

И вотъ почему мы должны держать дверь къ античности открытой — она намъ можетъ пригодиться и теперь, и еще больше современемъ. Для этого вовсе не нужно, чтобы всѣ члены даннаго общества прошли черезъ горнило классическаго воспитанія — если кто понялъ мои первыя лекціи въ этомъ смыслѣ, то онъ ошибался. Нужно только, чтобы въ каждомъ обществѣ былъ извѣстный процентъ людей съ классическимъ образованіемъ, а среди нихъ опять небольшая сравнительно кучка людей, посвятившихъ свою жизнь изученію античности и ея приспособленію къ требованіямъ современности. Эти люди будутъ заняты, такъ сказать, добываніемъ сѣмянъ; воспринимать эти сѣмена будетъ тотъ болѣе широкій кругъ классически образованныхъ людей съ тѣмъ, чтобы мѣняться ихъ плодами съ людьми реальнаго и прикладного образованія—это и будетъ тотъ обмѣнъ культурныхъ благъ, который я имѣлъ въ виду выше. Какъ видите отсюда, общество нуждается не въ одной только классической гимназіи, а въ нѣсколькихъ типахъ средней школы соотвѣтственно сложности своего организма и разнородности человѣческихъ дарованій; и само собою разумѣется

что я, какъ претендующій на культурность человѣкъ, ни къ одному изъ этихъ типовъ не отношусь враждебно. Вражду питаю я, и притомъ непримиримую, лишь къ той „единой школѣ“, которая намъ угрожала одно время, этому мертворожденному дѣтищу педагогическаго авантюризма, подгоняющему всѣ дарованія подъ одинъ общій для всѣхъ шаблонъ.

* * *

Теперь послѣдовательность требуетъ, чтобы, развивъ вамъ двѣ части нашей программы, а именно 1) образовательное и 2) культурное значеніе античности—я перешелъ къ третьей и охарактеризовалъ вамъ ея *научное* значеніе; другими словами, выяснилъ вамъ, въ чемъ заключается сущность науки объ античности, т.-е., какъ ее принято называть, классической филологіи. Къ сожалѣнію, для этой третьей части у насъ осталось очень мало времени; утѣшаю себя мыслью, что тѣ изъ васъ, коихъ она интересуетъ болѣе или менѣе непосредственнымъ образомъ, т.-е. будущіе историки и филологи, будутъ имѣть возможность прослушать мой университетскій курсъ филологической энциклопедіи, посвященный именно этому вопросу—остальнымъ, если бы кто поинтересовался имъ, могу указать только свою статью „Филологія“, помѣщенную въ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона. Конечно, эта статья написана съ той сухостью, какая принята для помѣщаемыхъ въ словаряхъ статей; въ видѣ противовѣса этой сухости позволю себѣ здѣсь лишь бѣглую характеристику, посвященную главнымъ образомъ развитію относящейся сюда третьей изъ антитезъ, съ которыхъ я началъ свои лекціи. Эта антитеза гласила такъ: „О классической филологіи общество привыкло думать, что она—наука, вдоль и поперекъ изслѣдованная, не представляющая болѣе интересныхъ задачъ для творческой работы; знатоки же дѣла вамъ скажутъ, что теперь она интереснѣе, чѣмъ когда-либо, что вся работа предыдущихъ поколѣній была лишь подготовительной, лишь фундаментомъ, на которомъ мы только теперь начинаемъ строить настоящее зданіе нашей науки, что новыя проблемы, манящія къ изслѣдованію и рѣшенію, намъ встрѣчаются на каждомъ шагу нашего научнаго поприща“.

Дѣйствительно, первая часть этой антитезы правильно выражаетъ собой мнѣніе общества—и не одного только такъ называемаго „общества", но часто и людей, ближе стоящихъ къ дѣлу. Одинъ мой слушатель, человѣкъ способный и живой, попавшій волею судебъ въ восточную обстановку, пристрастился къ исторіи Востока и съ жаромъ неофита писалъ, что „исторія Востока гораздо интереснѣе, чѣмъ исторія Греціи, такъ какъ она гораздо менѣе изслѣдована". На меня эти строки навели раздумье: исторія Востока потому гораздо интереснѣе, что она гораздо менѣе изслѣдована; значитъ, когда она будетъ изслѣдована, она перестанетъ быть интересной? значитъ, задача изслѣдователя состоитъ въ томъ, чтобы интересныя науки превращать въ неинтересныя? Стоитъ задуматься надъ этимъ вопросомъ; въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое для насъ наука, въ чемъ признаемъ мы ея цѣнность?—я говорю, разумѣется, не о такъ называемой прикладной наукѣ, а о чистой, часть которой составляетъ и классическая филологія. Будемъ ли мы видѣть въ наукѣ лишь огромную толоволомку, на подобіе тѣхъ игрушекъ для дѣтей и взрослыхъ, задача которыхъ (извлечь кольцо изъ креста и т. д.) тѣшить насъ только до тѣхъ поръ, пока мы не нашли ея рѣшенія? Или же въ ней есть нѣчто другое, абсолютно цѣнное, и мы, ея представители, работаемъ не для своего только удовольствія, чтобы разогнать скуку, но и на пользу человѣчества?

Очевидно, послѣдній отвѣтъ болѣе согласуется съ общественнымъ убѣжденіемъ; иначе не для чего было бы содержать университеты, академіи, библіотеки и кормить на счетъ народа людей, единственное призваніе которыхъ—изслѣдованіе науки и рѣшеніе ея задачъ. А если наука какъ таковая интересна и цѣнна, то понятно, что ея интересъ возрастаетъ, а не уменьшается съ ея изслѣдованностью, и я имѣю полное право сказать своему слушателю: вы ошибаетесь—греческая исторія гораздо интереснѣе восточной, именно потому, что она гораздо болѣе изслѣдована. Та черная работа, результаты которой цѣнны не сами по себѣ, а потому, что они являются предположеніями или орудіями для другихъ, дѣйствительно цѣнныхъ результатовъ—эта черная работа въ классической филологіи въ значительной степени уже сдѣлана; это-то и было задачей минув-

шихъ поколѣній, за честное и безкорыстное рѣшеніе которой мы должны быть имъ благодарны.

Вы спросите, что это за черная работа? Отвѣчу—прежде всего *собираніе памятниковъ*. Въ филологіи памятникъ—первичный элементъ научной работы, какъ въ ариѳметикѣ число, какъ въ естественной исторіи особь, какъ въ физикѣ явленіе. Памятники классической филологіи бываютъ различныхъ родовъ: памятникомъ является, прежде всего, сама страна, бывшая театромъ исторіи классическихъ народовъ какъ въ своей внѣшней физіономіи, такъ въ своихъ геологическихъ, ботаническихъ, метеорологическихъ и другихъ условіяхъ; памятникомъ является устная традиція или обычай, дошедшій при непрерывной преемственности поколѣній до ея нынѣшнихъ жителей; памятникомъ является непосредственное произведеніе ихъ рукъ, уцѣлѣвшее, хотя бы и въ испорченномъ видѣ, до нашихъ дней, будь это развалины зданія, или статуя, или ваза, или надпись; памятникомъ, наконецъ, является текстъ того или другого писателя, сохраненный намъ хотя бы и въ поздней, средневѣковой рукописи; мы различаемъ географическіе, этнологическіе, археологическіе и филологическіе въ тѣсномъ смыслѣ памятники. Вотъ ихъ-то собираніе составляло и составляетъ первую необходимость для плодотворной филологической работы—но не одно только собираніе: за тѣ $1^1/_2$—2 тысячелѣтія, которыя отдѣляютъ насъ отъ древняго міра, они подверглись крупнымъ измѣненіямъ (профиль береговъ и теченіе рѣкъ стали иными, народная сказка при передачѣ поколѣніемъ поколѣнію была искажена, статуя или надпись уцѣлѣли въ фрагментарномъ видѣ, тексты авторовъ пострадали отъ невѣжества или неумѣстнаго остроумія переписчиковъ)—необходимо возстановить ихъ по возможности въ первоначальномъ видѣ, подвергнувъ ихъ такъ называемой *филологической критикѣ*.

Все это—черная работа; я уже сказалъ, что она составляла главную задачу предыдущихъ поколѣній, которымъ мы обязаны существующими прекрасными сборниками—историческими атласами, такъ называемыми корпусами надписей, барельефовъ, монетъ и т. д. Эти сборники даютъ намъ возможность пріятно и плодотворно работать въ области науки,

изслѣдуя и освѣщая самыя интересныя и интимныя стороны жизни древняго міра; тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы относящаяся къ собиранію памятниковъ работа была кончена— ея хватитъ еще надолго. Раскопки въ Греціи, Италіи и т. д. (между прочимъ и у насъ, въ территоріи греческихъ колоній на югѣ Россіи) не прекращались никогда, обогащая нашу сокровищницу особенно археологическими памятниками; сигнатурой послѣднихъ десятилѣтій являются неожиданныя и подчасъ прямо чудесныя находки египетскихъ папирусовъ съ текстами авторовъ, считавшихся потерянными. Такъ были найдены— трактатъ Аристотеля объ аѳинскомъ государствѣ, прелестныя бытовыя сценки Герода, рѣчи Гиперида, современника Демосѳена, оды и баллады Вакхилида, соперника Пиндара, и еще недавно—„номосъ“ Тимоѳея, единственнаго для насъ представителя этого загадочнаго рода лирической поэзіи. И, конечно, это не все—вѣрные пески Египта содержатъ еще много сокровищъ, и мы съ каждымъ днемъ можемъ ждать извѣстія, что найденъ какой-нибудь перлъ античной литературы, въ родѣ стихотворенія Саффо или комедіи Менандра... Наши отцы этого чувства не знали—въ ихъ времена пробѣлы античной литературы считались чѣмъ-то окончательно и безповоротно рѣшеннымъ. Повторяю: никогда еще классическая филологія не была такъ интересна, какъ теперь.

Но, разумѣется, ея интересъ заключается не только въ томъ, что ея матеріалъ постоянно увеличивается новыми находками; главное—то, что, благодаря работѣ предыдущихъ поколѣній, мы можемъ обращаться къ нашей наукѣ съ гораздо болѣе важными вопросами, чѣмъ наши предшественники. Благодаря работѣ предыдущихъ поколѣній—да, о ней слѣдуетъ всегда вспоминать съ признательностью, такъ какъ это была очень утомительная и самоотверженная работа. Прежде всего они изслѣдовали языкъ древнихъ народовъ въ его грамматическомъ и лексическомъ составѣ такъ тщательно и полно, какъ ни одинъ языкъ въ мірѣ; результатомъ этихъ трудовъ были пространныя руководства и словари... не тѣ, разумѣется, которые извѣстны вамъ изъ гимназическаго курса, а огромные своды, матеріалъ которыхъ почерпнутъ изо всей области античныхъ литературъ; достаточно будетъ сказать, что Thesaurus

linguae Graecae Стефана (т.-е. Etienne'а, французскаго филолога 17 в.) въ новомъ изданіи состоитъ изъ 9 исполинскихъ томовъ in folio, а соотвѣтственный Thesaurus linguae Latinae, надъ которымъ теперь работаетъ почти вся филологическая Германія, обѣщаетъ быть еще болѣе внушительнымъ. Такъ-то мы имѣемъ возможность, изучая исторію какого-нибудь слова, проникнуть въ самую душу античности—вы вѣдь помните: языкъ есть исповѣдь народа.

Но это, быть можетъ, васъ не очень соблазнитъ; что же, будемъ довольны, что относящаяся сюда работа въ значительной мѣрѣ уже сдѣлана. Другой, тоже очень важной работой были объяснительныя изданія авторовъ — опять-таки не тѣ, которыя вы знаете, а другія, цѣлью которыхъ было связать идейной цѣпью или сѣтью всѣ памятники античной литературы между собой и съ соотвѣтствующими памятниками археологическими и другими; благодаря этой работѣ, я имѣю возможность, обладая однимъ свидѣтельствомъ, быстро отыскать всѣ остальныя—а насколько это удобство нахожденія матеріаловъ облегчаетъ научную работу, это вы легко можете себѣ представить.—Третьей работой было составленіе сухихъ, но очень содержательныхъ руководствъ по различнымъ отраслямъ филологической науки: политической исторіи, исторіи литературы, миѳологіи, права, государственнаго управленія и т, д.— съ приведеніемъ всѣхъ свидѣтельствъ какъ изъ литературы, такъ и изъ надписей и прочихъ памятниковъ.

Вотъ это-то все, вмѣстѣ взятое, и образуетъ тотъ фундаментъ, о которомъ я говорилъ выше и на которомъ мы теперь только начинаемъ строить зданіе нашей науки. Конечно, и фундаментъ не вполнѣ еще готовъ; новыя находки постоянно его укрѣпляютъ новыми квадрами, и такъ будетъ еше долго; все же онъ достаточно уже крѣпокъ, чтобы вынести означенное зданіе. А что это за зданіе—это вы легко поймете, если я вамъ скажу, что у насъ еще нѣтъ исторіи античной религіи, нѣтъ даже миѳологіи въ генетическомъ развитіи; нѣтъ исторіи античной нравственности и міросозерцанія, нѣтъ исторіи умственной, общественной и даже матеріальной культуръ античныхъ народовъ, нѣтъ осмысленной исторіи античныхъ литературъ, нѣтъ исторіи экономическихъ и соціальныхъ явленій

даже въ ихъ главныхъ факторахъ (исторіи землевладѣнія, исторіи капитализма)—и такъ далѣе; если я вамъ скажу, что знаменитый Іерингъ въ послѣдніе дни своей жизни носился съ идеей исторіи римскаго права, въ которой онъ предполагалъ дать настольную книгу не только для юриста, но и для всякаго образованнаго человѣка, и эта задача такъ и осталась неисполненной...

Для всякаго образованнаго человѣка, да; наша наука дѣйствительно обращается ко всему образованному міру, безъ различія спеціальностей,—но она и состоитъ съ нимъ въ такъ называемомъ мутуализмѣ, заимствуясь изо всей области науки. Наши противники часто твердятъ намъ, что наша наука не самодовлѣюща, и считаютъ это укоризной по нашему адресу; я же думаю, что въ этихъ словахъ заключается величайшая похвала. Да, наша наука не довлѣетъ себѣ. Мы сплошь и рядомъ должны обращаться за совѣтами и за свѣдѣніями къ представителямъ другихъ наукъ, даже въ сравнительно узкомъ районѣ школьнаго чтенія авторовъ—какъ я имѣлъ случай вамъ выяснить въ четвертой лекціи; это потому, что наука о древнемъ мірѣ есть наука о *мірѣ*. Она объединяетъ всѣ науки на почвѣ явленій, точно такъ же какъ философія ихъ объединяетъ на почвѣ принциповъ. Математикъ, химикъ, даже лингвистъ можетъ весь свой вѣкъ провести взаперти, внутри тѣхъ четырехъ стѣнъ, которыя окружаютъ избранную имъ спеціальность; филологъ этого не можетъ, если только онъ хочетъ быть ученымъ, а не ремесленникомъ. А результатомъ этого постояннаго общенія съ другими науками является широкій кругозоръ, сознаніе единства общенаучнаго зданія и уваженіе къ отдѣльнымъ его частямъ...

Впрочемъ, вы это уже знаете; здѣсь я долженъ отвѣтить на другой вашъ вопросъ. Я назвалъ вамъ цѣлый рядъ задачъ, которыя предстоитъ рѣшить филологіи нашихъ дней и ближайшаго будущаго: исторію античной религіи, умственной культуры и т. д. Ну, а когда вы эти задачи рѣшите—можете вы спросить—что станете вы дѣлать?—Я думаю, когда это время наступитъ, оно само предъявитъ новые запросы, о которыхъ теперь и думать праздно; вѣдь и тѣ задачи, которыя я вамъ назвалъ, не ставились лѣтъ сто назадъ. Но одна задача всегда

будетъ на насъ лежать, какъ она лежала до сихъ поръ: задача использовать сокровищницу античности сообразно съ нуждами современности, задача посредничества между нашимъ обществомъ и античностью. Не для себя вѣдь мы работаемъ и не для одной только нашей науки—послѣдняя внѣ человѣчества, которымъ и для котораго она созидается, не имѣетъ ни почвы для существованія, ни права на таковое. Мы работаемъ для васъ, для вашихъ сверстниковъ и потомковъ — однимъ словомъ, для общества.

Даже въ томъ случаѣ, спросите вы, если общество и знать не хочетъ васъ и вашей работы?—Да, господа, даже въ этомъ случаѣ. А впрочемъ, вѣрно ли это, и, поскольку вѣрно, почему и по чьей милости—объ этомъ нѣсколько словъ въ слѣдующей, послѣдней лекціи.

ЛЕКЦІЯ ВОСЬМАЯ.

Заключеніе.—Современное общество и античность.—Обманъ и недоразумѣніе.—«Античность не нужна».--«Античность трудна».—«Античность ретроградна».—Вопросъ о неудачникахъ.—Соціологическое значеніе средней школы.—Легкая школа—соціальное преступленіе.—Идеалъ школьной организаціи.—Античность, какъ орудіе прогресса.—Притча о прогрессѣ.

Наши бесѣды вернулись къ точкѣ своего отправленія. Мы начали съ установленія коренного разногласія между мнѣніемъ общества и знатоковъ дѣла относительно образовательнаго, культурнаго и научнаго значенія античности; уже тогда я далъ вамъ понять, что это мнѣніе общества, поскольку оно выражается въ сознательномъ пренебреженіи къ античности, по своей авторитетности не можетъ идти въ сравненіе съ тѣмъ безсознательнымъ уваженіемъ къ ней того же общества, въ силу котораго ея вліяніе на него сохраняется въ теченіе стольких вѣковъ послѣ паденія самого античнаго міра.

Тѣмъ не менѣе это сознательное пренебреженіе—положимъ, не всего современнаго общества, но все-таки значительной его части—остается фактомъ и какъ таковой требуетъ объясненія; какъ оно объясняется, это я тоже далъ вамъ понять съ первыхъ же моихъ словъ къ вамъ. „Мы можемъ“, сказалъ я тогда, „анализировать смыслъ недоброжелательнаго отношенія современнаго общества къ античности, выдѣлить ту роль, которую въ немъ сыграло добросовѣстное, непроизвольное заблужденіе, отъ той, въ которой мы должны признать проявленіе сознательнаго обмана“. Я началъ, однако, не съ этой отрица-

тельной, а съ положительной части; я показалъ вамъ, въ чемъ состоитъ и образовательное, и культурное, и научное значеніе античности. Если Logos былъ милостивъ и къ вамъ и ко мнѣ, если дѣло убѣжденія, которое собрало насъ сюда, не потерпѣло неудачи,—то вы знаете теперь, что то мнѣніе знатоковъ, о которомъ я говорилъ выше, есть мнѣніе справедливое, и что, стало быть, несогласное съ нимъ мнѣніе значительной части современнаго общества только и можетъ быть объяснено либо недоразумѣніемъ, либо обманомъ. Все же, чтобы въ этомъ не оставалось никакого сомнѣнія, я приведу вамъ самостоятельныя и независимыя доказательства также и для этой отрицательной части моего разсужденія; съ ихъ приведеніемъ я сочту свою задачу исполненной.

„Либо обманъ, либо недоразумѣніе“... Въ сущности и то и другое одинаково противно тому чувству правды, которое въ насъ насаждаетъ изученіе античности—вы помните, что оно ставитъ къ намъ не одно, а два требованія: 1) не лги и 2) не заблуждайся—тамъ, разумѣется, гдѣ дана возможность не заблуждаться, гдѣ есть люди и данныя, направляющіе насъ на путь истины. Все же нравственная оцѣнка этихъ двухъ прегрѣшеній противъ правды различна. Бываетъ пріятно указывать заблуждающемуся правильный путь, но непріятно, очень непріятно обличать обманщиковъ. Позвольте начать съ этой второй, непріятной части нашей задачи, чтобы скорѣй сбыть ее съ рукъ.

Прежде всего слѣдуетъ помнить, что этотъ обманъ не есть первичная причина того недоброжелательства, о которомъ я говорю—напротивъ, онъ имѣетъ его своимъ предположеніемъ. Обманъ не нашелъ бы себѣ вѣры и, стало быть, не имѣлъ бы успѣха, если бы не попадалъ въ сердца, подготовленныя къ его воспріятію; но это, разумѣется, не только не оправдываетъ его, но и не доказываетъ его безвредности. Недоразумѣніе создаетъ лишь нѣкоторый туманъ неясности, который могъ бы еще разсѣять свѣточъ правды; но дымъ сознательнаго обмана его сгущаетъ и превращаетъ, наконецъ, въ ту безпросвѣтную мглу, которая насъ душитъ и доводитъ до отчаянія. Исторія всѣхъ массовыхъ движеній полна примѣровъ этому. Дѣло начинается съ того, что какое-нибудь лицо, учрежденіе или идея

теряетъ популярность—иногда по заслугамъ, иногда нѣтъ—и тотчасъ являются добровольцы, которые, чтобы возвысить собственное вліяніе, нагромождаютъ всякія небылицы про то, что попало обществу на зубокъ; это называлось у римлянъ: crescere ex aliquo. Успѣхъ такой клеветѣ обезпеченъ: всякій вздоръ находитъ себѣ вѣру, клеветникъ дѣлается всеобщимъ любимцемъ, и горе тому неблагоразумному радѣтелю истины, который вздумалъ бы его опровергать.

Но, спросите вы, гдѣ же въ данномъ случаѣ обманъ и обманщики? Отвѣчу: тамъ, гдѣ выступаютъ на арену самозванные руководители общественнаго мнѣнія, на столбцахъ газетъ и на страницахъ журналовъ, вообще, въ современной публицистикѣ.—Но какъ же намъ ихъ тамъ прослѣдить? Собрать всю ложь и клевету, которая въ органахъ нашей публицистики разводится по всей Россіи? Этого мало: нужно ее уличить, нужно показать, какъ въ одномъ случаѣ она замалчиваетъ факты, въ другомъ ихъ злонамѣренно толкуетъ, въ третьемъ ихъ подтасовываетъ, передергиваетъ, измышляетъ... но, господа, гдѣ намъ теперь найти время для всего этого? А между тѣмъ, я долженъ обратить ваше вниманіе на этотъ обманъ, чтобы внушить вамъ благоразумное недовѣріе къ этимъ недобросовѣстнымъ руководителямъ вашего мнѣнія.—Къ счастью, для этого есть другой путь, болѣе краткій и не менѣе доказательный: я укажу вамъ обманъ тамъ, гдѣ вы по всѣмъ внѣшнимъ и внутреннимъ условіямъ менѣе всего могли бы его ожидать, а затѣмъ предоставлю вамъ сдѣлать соотвѣтственное заключеніе: „если съ зеленѣющимъ деревомъ это творится, то съ сухимъ что̀ будетъ?“ Вы поймете, что при такой обстановкѣ мои слова будутъ въ такой же мѣрѣ данью уваженія тому лицу, которое я вамъ назову, въ какой и упрекомъ: именно тѣмъ, что я называю его предпочтительно передъ другими, я признаю его зеленѣющимъ деревомъ. А затѣмъ позвольте прочесть вамъ то мѣсто, которое я имѣю въ виду. Вотъ оно (говорится о филологическихъ экзаменахъ):

> „...Между тѣмъ знаніе всѣхъ этихъ толстыхъ курсовъ требуется отчетливое во всѣхъ мелочахъ. Идетъ, напримѣръ, рѣчь о какомъ-нибудь литературномъ памятникѣ древняго міра, и въ курсѣ лекцій отводятся двѣ-три стра-

ницы убористаго письма указаніямъ, подъ чьей редакціей, въ какомъ году и гдѣ—въ Венеціи, въ Амстердамѣ, Римѣ, Парижѣ—въ теченіе двухъ тысячъ (sic) лѣтъ этотъ памятникъ издавался. Все это требуется обязательно знать. Ошибается студентъ въ годѣ изданія, или въ имени редактора, и профессоръ съ отчаяніемъ хватается за голову:

„Помилуйте! Что вы говорите? Да какъ же, не зная этого, можно считать себя образованнымъ человѣкомъ?

„Мудрено ли, послѣ этого, что наша учащаяся молодежь въ общемъ страшно не развита" и т. д.

Это мѣсто я взялъ изъ одной довольно распространенной книжки, выдержавшей въ короткое время (1903) три изданія— „Школа и жизнь" священника о. Г. С. Петрова. Что сказать о немъ?

Мнѣ думается, прежде всего, что человѣку, пишущему и печатающему книги, приличествовало бы знать, въ какомъ году... или, если авторъ такъ не любитъ точныхъ данныхъ, то въ какомъ, приблизительно, столѣтіи было изобрѣтено книгопечатаніе, и не разсказывать намъ про изданія древнихъ авторовъ съ Венеціей и Амстердамомъ, годомъ появленія и именемъ „редактора" за двѣ тысячи лѣтъ. Но это для насъ не существенно. Рѣчь идетъ, повторяю, о филологическихъ экзаменахъ; авторъ не говоритъ, откуда онъ черпаетъ свои свѣдѣнія, но это все равно—я могу по праву утверждать, что никто здѣсь въ Петербургѣ не знаетъ этого дѣла лучше меня, такъ какъ я не только произвожу эти экзамены въ нашемъ Петербургскомъ университетѣ, но за послѣднія 10—12 лѣтъ ежегодно бывалъ предсѣдателемъ филологическихъ испытательныхъ комиссій въ какомъ-нибудь изъ провинціальныхъ университетовъ. Позвольте же вамъ заявить, на основаніи этого довольно широкаго опыта, что разсказъ о. Петрова о филологическихъ экзаменахъ — чистѣйшій вымыселъ, безо всякаго, даже внѣшняго, сходства съ истиной; такъ, какъ онъ вамъ представляетъ дѣло, никто въ Россіи не экзаменуетъ. Конечно, своды изданій древнихъ авторовъ имѣются въ такъ называемыхъ bibliothecae scriptorum— хотя, разумѣется, не за двѣ тысячи лѣтъ, а за четыреста съ небольшимъ; это для насъ, филологовъ, очень полезный справочный матеріалъ, котораго, однако, никто изъ насъ и не ду-

маетъ вбивать себѣ въ голову, а тѣмъ болѣе—требовать отъ студентовъ. Бываютъ затѣмъ, не спорю, на экзаменахъ такіе отвѣты, при которыхъ профессора съ отчаяніемъ хватаются за голову, но они никогда не касаются года или мѣста изданія автора.—А между тѣмъ, къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы такія небылицы, какъ приведенная мною,—не говоря уже о ихъ нравственной предосудительности—были практически безвредны. Не такъ давно, въ мою бытность предсѣдателемъ испытательной комиссіи, одинъ изъ моихъ испытуемыхъ мнѣ жаловался, что совершенно аналогичныя розсказни заставили его потерять годъ жизни. Онъ былъ филологомъ по призванію; но записаться на историко-филологическій факультетъ не рѣшился, такъ какъ въ томъ провинціальномъ городѣ, гдѣ онъ кончилъ курсъ, ему говорили, что на этомъ факультетѣ только и дѣлаютъ, что пишутъ сочиненія по-гречески и по-латыни. Онъ поступилъ въ медики и только черезъ годъ, присмотрѣвшись къ занятіямъ на историко-филологическомъ факультетѣ и убѣдившись въ нелѣпости тѣхъ разсказовъ, могъ вернуться къ своей любимой спеціальности.—И кто знаетъ, быть можетъ, именно теперь тотъ или другой провинціальный юноша, читая въ книжкѣ о. Петрова о прелестяхъ филологическихъ экзаменовъ и не подозрѣвая обмана, даетъ зарокъ ни за что не поступать на историко-филологическій факультетъ, несмотря на свои способности и охоту къ историко-филологическимъ занятіямъ—и въ результатѣ окажется выбитымъ изъ колеи не на годъ, а на цѣлую жизнь.

Конечно, господа, вы поймете, что приведенное мною—лишь образчикъ, флакончикъ изъ того ушата клеветы, изъ котораго насъ обливаютъ въ современной публицистикѣ. Онъ интересенъ, во-первыхъ, потому, что носитъ на ярлыкѣ довольно видное и почтенное имя, а во-вторыхъ, тѣмъ, что здѣсь можно было поймать клевету, такъ сказать, съ поличнымъ. Не вездѣ это такъ же легко. Все же объ одномъ я прошу васъ помнить: когда будете читать въ газетахъ или гдѣ бы то ни было обвиненіе противъ античности въ ея образовательномъ, культурномъ или научномъ значеніи,—знайте, что васъ обманываютъ; особенно это слѣдуетъ помнить тамъ, гдѣ авторъ не имѣетъ даже мужества назвать свою фамилію и трусливо прячется подъ ма-

ской анонимности или псевдонимности. Равнымъ образомъ вы, надѣюсь, поймете, что я лично ничего не имѣю противъ о. Петрова, который мнѣ самъ по себѣ гораздо болѣе симпатиченъ, чѣмъ его враги. Совершенно напротивъ: я уважаю его проповѣдническую дѣятельность и желаю ему успѣха въ ней; пусть она сѣетъ сѣмена добра и правды, пусть учитъ людей соблюдать заповѣди Господни, но пусть соблюдаетъ ихъ и самъ— всѣ, не исключая и девятой.

Оставимъ, однако, въ сторонѣ обманъ; перейдемъ къ другому, менѣе непріятному источнику нерасположенія общества къ античности, къ недоразумѣнію. Здѣсь мы должны различать античность, какъ образовательный предметъ, и античность, какъ элементъ культуры—о третьемъ, научномъ значеніи античности здѣсь говорить не приходится. Конечно, при распространенномъ въ нашемъ обществѣ и особенно въ нашей печати пустосмѣшествѣ ей достается и въ этомъ третьемъ видѣ; но если говорить серьезно, то ни одинъ мыслящій человѣкъ не оспариваетъ права на существованіе науки объ античности наравнѣ съ санскритологіей, египтологіей и другими, столь же безобидными науками.—Впрочемъ, и о второй сторонѣ можно не говорить; нашъ девизъ „не норма, а сѣмя" достаточно разъясняетъ въ чемъ состоитъ недоразумѣніе на этотъ счетъ. Мы остановимся, поэтому, на первой сторонѣ, а именно на предубѣжденіи общества противъ школьной античности. Ей вмѣняется въ вину—и у насъ, и на Западѣ—во-первыхъ, что она ненужна, во-вторыхъ, что она трудна; къ этимъ двумъ упрекамъ, общимъ намъ съ Европой, у насъ прибавляется третій, который составляетъ нашу національную особенность: античность, изволите видѣть, ретроградна. Сюда относятся клички: классическій обскурантизмъ, классическіе намордники и т. д. Ихъ мы прибережемъ напослѣдокъ: дѣлу — время, а забавѣ—часъ.

Къ дѣлу относится первый упрекъ: школьная античность *ненужна*. Я, конечно, привелъ его здѣсь не къ тому, чтобы его опровергать — на что нужна школьная античность, это я пытался объяснить вамъ, насколько это позволяло время, въ первыхъ четырехъ лекціяхъ. Здѣсь моя задача другая: анализировать общественное мнѣніе, показать вамъ, какъ могло и

должно было возникнуть предубѣжденіе противъ античности. Въ данномъ случаѣ дѣло совершенно ясно: при опредѣленіи цѣнности знаній непосвященный въ дѣло человѣкъ склоненъ становиться на узко-утилитарную точку зрѣнія, ставя цѣнность знаній въ зависимость отъ непосредственной ихъ примѣнимости къ жизни и ея работѣ; чѣмъ косвеннѣе эта примѣнимость, тѣмъ труднѣе будетъ ему ее оцѣнить. Возьмемъ для примѣра готовое платье — тутъ всякій дикарь пойметъ, что это вещь полезная, такъ какъ защищаетъ отъ зноя и холода. Покажите этому дикарю швейную машину — онъ руками разведетъ, не понимая, на что такая штука можетъ пригодиться; но ему можно будетъ наглядно показать, какъ съ помощью этой штуки дѣлается платье, и онъ, ничего не понимая, признаетъ ея пользу. — Но, вѣдь, эти швейныя машины въ свою очередь какъ-нибудь производятся, для чего существуютъ особые заводы; въ этихъ заводахъ при оглушительномъ шумѣ машинъ приготовляются стержни, шестерни, винты, гайки и т. д.; возьмемъ любую изъ этихъ машинъ—тутъ уже человѣкъ безъ техническаго образованія совсѣмъ въ толкъ не возьметъ, какая отъ нея можетъ быть польза.—То же самое и здѣсь. Непосредственно полезная для общества умственная работа производится умомъ — эта и есть наша швейная машина. Но вѣдь и умъ долженъ быть какъ-нибудь производимъ и приспособляемъ къ тому, чтобы полезно работать; одна изъ производящихъ его машинъ—это и есть школьная античность. Но понять это можетъ только человѣкъ, обладающій соотвѣтственнымъ техническимъ знаніемъ; у кого такого нѣтъ, тотъ всегда будетъ склоненъ допустить, что ея изученіе — безполезная трата времени и труда.

И труда... да, и это слово приводитъ насъ ко второму упреку по адресу школьной античности. Тутъ недоразумѣніе заключается, разумѣется, не въ самомъ фактѣ—школьная античность *трудна*, если ее изучать добросовѣстно, объ этомъ и говорить нечего. Недоразумѣніе заключается въ выводѣ, который дѣлаютъ изъ этого факта. Она трудна, говорятъ, и поэтому долой ее; она трудна, отвѣчу я, и это лишній разъ ее рекомендуетъ. Прошу васъ, господа, отнестись къ этому пункту съ особеннымъ вниманіемъ; здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, я вы-

нужденъ буду опираться на кодексъ чести мыслителя. Мнѣ придется васъ предостерегать отъ увлеченія однимъ очень благороднымъ и симпатичнымъ чувствомъ — именно чувствомъ гуманности. Я давно уже чувствую одно ваше возраженіе противъ всего, что я говорилъ вамъ на первыхъ лекціяхъ, — оно гласитъ такъ: „Было насъ пятьдесятъ, когда мы поступили въ первый классъ, а кончаетъ всего тридцать. Остальнымъ гимназическій курсъ оказался непосильнымъ, причемъ для большинства камнемъ преткновенія были древніе языки“. Отсюда понятно ихъ ожесточеніе противъ древнихъ языковъ — ихъ, ихъ родителей и близкихъ, а также, по чувству товарищества, и ваше.

Упрекъ этотъ я могъ бы очень легко обойти. Когда въ той комиссіи по реформѣ средней школы, о которой я говорилъ выше, разбирали вопросъ о „неудачникахъ“, — людьми, близко стоящими къ дѣлу, были приведены статистическія данныя для обоихъ главныхъ типовъ средней школы, причемъ процентъ неудачниковъ и въ гимназіяхъ, и въ реальныхъ училищахъ оказался тѣмъ же — именно 40%. Уже это одно доказываетъ вамъ, что въ неудачникахъ виноваты не древніе языки, а нѣчто другое, общее обоимъ типамъ средней школы; что—это я могу вамъ сказать теперь же: *законъ подбора*. Но тогда мысли собранія приняли другое направленіе; большая его часть стала органомъ общественнаго негодованія противъ школы, производящей неудачниковъ; я помню произнесенныя въ великодушномъ увлеченіи слова одного извѣстнаго своей гуманностью дѣятеля средней школы: „если школа принимаетъ сто учениковъ, она сто же учениковъ должна выпустить“. Итакъ, сказалъ я себѣ, поступленіе въ школу гарантируетъ полученіе диплома; ну, а что же гарантируетъ поступленіе? Единственный возможный отвѣтъ: протекція или взятка... Но мы къ этому еще вернемся.

Я не хочу обходить упрека въ трудности, который дѣлаютъ школьной античности; я уже сказалъ, что эта трудность ее лишній разъ рекомендуетъ. Я прошу васъ сосредоточить ваше вниманіе на томъ, что я называю *соціологическимъ значеніемъ школы*; вотъ вкратцѣ его схема.

Разумѣется, организація нашего общества еще весьма не-

совершенна; одна изъ главныхъ причинъ этого несовершенства заключается въ томъ, что въ немъ все еще слишкомъ много дармоѣдовъ, т.-е. людей, способныхъ къ труду, но предпочитающихъ жить на счетъ другихъ. Мы обрекаемъ, однако, этотъ типъ на полное исчезновеніе и требуемъ, чтобы каждая копѣйка въ карманѣ обывателя была копѣйкой трудовой; согласно нашему идеалу, общество—это армія труда. Ну, а въ каждой арміи есть рядовые и офицеры, нижніе и высшіе чины; грань между ними не особенно рѣзка и въ вооруженной арміи, а въ арміи труда опредѣленной грани даже совсѣмъ нѣтъ, но все же можно и должно различать и здѣсь верхъ и низъ общественной пирамиды.—Кто же такіе эти офицеры? Разумѣется, не одни только чиновники, а всякій, кто болѣе командуетъ, чѣмъ повинуется, кто служитъ обществу скорѣе умственнымъ, чѣмъ физическимъ трудомъ, и притомъ умственнымъ трудомъ большей, а не меньшей цѣнности: директора и мастера заводовъ, управляющіе коммерческими предпріятіями, землевладѣльцы или инспектора полевыхъ работъ, доктора, художники и т. д. — впрочемъ, въ различныя времена и составъ этой „элиты“ общества бывалъ различенъ. Они пользуются при нормальныхъ условіяхъ и большимъ достаткомъ въ сравненіи съ рядовыми, живутъ въ чистыхъ, свѣтлыхъ квартирахъ, а не въ конурахъ, углахъ и ночлежныхъ пріютахъ.—Какъ же попадаютъ люди на эти офицерскія мѣста? Вотъ въ этомъ и заключается характерное различіе между эпохами. Всегда критеріемъ, отличающимъ кандидата въ офицеры отъ кандидата въ рядовые, былъ цензъ; только цензъ этотъ былъ въ различныя времена различенъ. Первобытномъ цензомъ былъ вѣроятно цензъ грубой физической силы; въ культурныя эпохи мы видимъ вначалѣ цензъ происхожденія—мѣста у верхушки общественной пирамиды переходятъ по наслѣдству отъ благороднаго отца къ благородному сыну. Затѣмъ цензъ происхожденія смѣняется имущественнымъ цензомъ или скрещивается съ нимъ; въ настоящее время преобладающимъ является образовательный цензъ, и ему, очевидно, принадлежитъ будущее. Кандидаты въ офицеры арміи труда—это вы, кончающіе ученики средней школы.

Теперь, господа, мнѣ хотѣлось бы вызвать передъ вами

призракъ — призракъ грозный, внушительный, и увы, даже черезчуръ реальный. Это—юноша вашихъ лѣтъ; только одѣтъ онъ не въ чистую тужурку, а въ грязныя, вонючія лохмотья, и на головѣ у него, вмѣсто вашей опрятной фуражки, засаленный картузъ, на лицѣ—отпечатки лишеній и пороковъ, сопутствующихъ жизни „на днѣ“ общественной пирамиды. Вы представляетесь другъ другу: „я“, говорите вы, „Божьей милостью кандидатъ въ офицеры“; „а я“, отвѣчаетъ вамъ призракъ, „Божьимъ гнѣвомъ пролетарій“—и затѣмъ, вперяя въ васъ злобный взглядъ, спрашиваетъ: „а за что это ты, баринъ, попадаешь въ офицеры, а я нѣтъ?“—На этотъ вопросъ возможны два отвѣта, одинъ—очень скверный, другой—очень хорошій. Первый гласитъ такъ: „За то, что мой отецъ—человѣкъ сравнительно зажиточный, который платилъ за меня семь или восемь лѣтъ подъ рядъ въ среднюю школу и за это время давалъ мнѣ досугъ для занятій, а твой отецъ, буде таковой у тебя есть,—бѣднякъ, который кормилъ и воспитывалъ тебя на мѣдные гроши и въ то же время эксплуатировалъ твой трудъ“. Да, въ этомъ отвѣтѣ будетъ, къ сожалѣнію, большая доля правды: но, я думаю, у каждаго изъ васъ отъ него совѣсть сковырнется.—Другой отвѣтъ, безупречный, гласитъ такъ: „За то, что я преодолѣлъ такую массу умственнаго труда, какая тебѣ не по силамъ; ты только подумай—пятьдесятъ насъ поступило въ первый классъ, а кончаютъ только тридцать“.

А теперь позвольте васъ спросить: съ которымъ изъ этихъ двухъ отвѣтовъ вяжется идея легкой школы, выпускающей столько же учениковъ, сколько она приняла? Ужъ, конечно, не со вторымъ, а только съ первымъ, т.-е. съ такимъ, который вы и произнести не рѣшитесь, — языкъ не повернется. Теперь представьте себѣ, что эта идея легкой школы осуществлена; надпись „трудолюбіе и способности“ окончательно сорвана со школьныхъ дверей и замѣнена надписью: „милости просимъ — всѣмъ дипломъ обезпеченъ!“. Что будетъ послѣдствіемъ?—Да, милости просимъ! школа можетъ принять только пятьдесятъ, а желающихъ пятьсотъ... Или вы думаете, что ихъ столько не будетъ? Да вѣдь уже и теперь, когда трудность школы многихъ отпугиваетъ, желающихъ бываетъ вдвое и втрое больше, чѣмъ вакансій; что же будетъ тогда, когда легкость

курса и обезпеченность диплома послужатъ лишней приманкой? вѣдь каждый отецъ пожелаетъ видѣть сына на офицерскомъ мѣстѣ.—Нѣтъ, ужъ, конечно, не менѣе пятисотъ; какъ же выбрать изъ нихъ пятьдесятъ счастливцевъ? Одно средство—соотвѣтственно повысить школьную плату... т.-е. упрочить и узаконить имущественный цензъ, самый вредный и подлый изо всѣхъ, давъ ему въ довершеніе подлости прикрываться маской ценза образовательнаго. Другое средство — строгій вступительный экзаменъ, т.-е. перенесеніе борьбы и неудачничества изъ школьнаго возраста въ дѣтскій, причемъ, вопреки природѣ и наперекоръ разуму, за труднымъ до изнуренія дѣтствомъ послѣдуетъ легкое отрочество.—Нѣтъ, конечно; ни то, ни другое средство не годятся, а будетъ примѣнено третье, тѣмъ болѣе что оно имѣетъ у насъ очень прочный историческій и бытовой фундаментъ: это средство — протекція или взятка. Это будетъ тоже своего рода подборъ, но уже не подборъ естественный, ведущій къ совершенствованію, а коррупціонный, имѣющій послѣдствіемъ вырожденіе. — Впрочемъ, долго ему торжествовать не придется: не допуститъ этого тотъ призракъ, который я уже вызывалъ передъ вами, и о существованіи котораго забывать не годится. Примѣръ 18-го вѣка во Франціи знаменателенъ: если привилегированный классъ вздумаетъ упразднить или облегчить ту сумму труда, которая одна только и оправдываетъ его привилегіи, то онъ будетъ сметенъ революціей. Ради Бога, не требуйте и не вводите легкой школы; легкая школа—это соціальное преступленіе.

И вотъ почему я, какъ это ни было больно, предостерегалъ васъ отъ увлеченія чувствомъ гуманности и состраданія къ товарищамъ-неудачникамъ; эта гуманность — близорукая, кастовая, буржуазная гуманность. Вамъ жаль тѣхъ товарищей, которые, поступивъ вмѣстѣ съ вами въ гимназію, вслѣдствіе недостатка трудолюбія или способностей не кончаютъ ее вмѣстѣ съ вами; и мнѣ ихъ жаль—но мнѣ гораздо болѣе жаль тѣхъ вашихъ сверстниковъ, которые, несмотря на свое трудолюбіе и способности, въ силу внѣшнихъ условій остались за дверьми средней школы. Ихъ неудача гораздо прискорбнѣе неудачи тѣхъ первыхъ, такъ какъ отъ нея страдаетъ само общество, между тѣмъ какъ отъ неудачи тѣхъ первыхъ страдаютъ только

они сами; неудача способныхъ — тормозъ прогресса; неудача неспособныхъ—орудіе прогресса.

Вотъ почему идеаломъ школьной организаціи будетъ такая постановка дѣла, при которой неудачи трудолюбивыхъ и способныхъ учениковъ будутъ невозможны, хотя бы для этого и пришлось увеличить процентъ неудачъ нерадивыхъ и неспособныхъ; этотъ идеалъ будетъ достигнутъ, какъ и вообще всякій идеалъ, дѣйствіемъ обоихъ могучихъ рычаговъ прогресса, дифференціаціи и интеграціи. Требованіе дифференціаціи—возможное разнообразіе типовъ средней школы: есть у насъ школы классическія, реальныя, профессіональныя разныхъ категорій— и прекрасно; чѣмъ больше будетъ этихъ типовъ, тѣмъ больше шансовъ, что всякій способный мальчикъ найдетъ тотъ, который будетъ соотвѣтствовать его способностямъ. Требованіе интеграціи — соединеніе всѣхъ типовъ низшихъ, среднихъ и высшихъ школъ въ одинъ организмъ, одно величественное дерево. Корнями этого дерева будутъ низшія школы, городскія и сельскія; глубоко проникая въ народъ, онѣ должны отыскивать способныхъ къ умственному труду людей и доводить ихъ, по мѣрѣ ихъ способностей, до ствола, вѣтвей и верхушки дерева. Такая школа будетъ истинно народной—т.-е. по мысли поэта той, „что выводитъ изъ народа столько добрыхъ...“ —чего пока про нашу школу сказать еще нельзя, а про проектируемую нѣкоторыми легкую школу никогда нельзя будетъ сказать Легкая школа—это школа для барчуковъ, какое-то нелѣпое и оскорбительное возрожденіе крѣпостного права на капиталистической подкладкѣ.

И когда мы приблизимся къ тому идеалу, который я вамъ изображаю, тогда и вопросъ о неудачникахъ получитъ свое, хотя и не вполнѣ насъ удовлетворяющее, но все же нормальное разрѣшеніе. Ты не успѣваешь въ классической школѣ? попытай счастья въ реальной. Не выносишь реальной? переходи въ классическую. Ни здѣсь, ни тамъ не находишь себѣ мѣста? выбирай профессіональную по своему вкусу. Ты въ этихъ поискахъ потеряешь годъ-два своей жизни; что дѣлать, пеняй на себя или на своихъ родителей, что они не сразу нашли ту школу, для которой ты годишься. Или, можетъ быть, такой и нѣтъ вовсе? Ты неспособенъ къ умственному труду? Пере-

ходи въ мастерскую, поступай юнгой во флотъ, вернись къ матери-землѣ; не будешь офицеромъ, будешь рядовымъ въ арміи труда. Ты и къ физическому труду неспособенъ? ты слабъ, тщедушенъ, увѣченъ — или, можетъ быть, непреодолимо вялъ и лѣнивъ? Тогда, бѣдняга... мнѣ страшно сказать, что̀ тогда, но вы понимаете сами, какъ за меня отвѣтитъ въ этомъ случаѣ законъ подбора: „тогда—умри...“

Должны, можемъ ли мы съ этимъ закономъ мириться?

Господа, мы затронули тутъ очень важный вопросъ; между тѣмъ времени у насъ осталось мало, а намъ предстоитъ обсудить еще одинъ упрекъ по адресу античности—а именно, что она *ретроградна*. Но, быть можетъ, вы уволите меня отъ обстоятельнаго обсужденія этого пункта и отъ обязанности доказывать вамъ, что античность, этотъ источникъ всѣхъ освободительныхъ идей, которыми живетъ наша цивилизація, никакъ не можетъ быть названа ретроградной. Да я думаю, это достаточно уже доказано въ предыдущихъ моихъ лекціяхъ; много ли вы нашли въ нихъ ретроградняго?—Но, спросите вы, какъ же могло возникнуть это мнѣніе? Прежде всего, я думаю, какой-нибудь чиновникъ, не видѣвшій свѣта изъ-за своего зеленаго стола, могъ возымѣть геніальную идею, что съ помощью перфектовъ и супиновъ можно противодѣйствовать революціоннымъ наклонностямъ общества; такъ точно, вѣдь, и въ средніе вѣка, когда право на существованіе наукъ видѣли въ ихъ религіозно-нравственномъ воздѣйствіи, ариѳметикѣ ставилось въ заслугу то, что она отвлекаетъ умы людей отъ грѣшныхъ мыслей. А затѣмъ армія суетливыхъ публицистовъ, испугавшихся за либерализмъ своихъ будущихъ читателей, стала винить за эту идею ни въ чемъ неповинную античность. Который изъ нихъ былъ умнѣе, не знаю; но правъ, пожалуй, Цицеронъ, сказавшій въ схожемъ случаѣ: „Если согласно извѣстному изреченію самый мудрый человѣкъ тотъ, кто самъ можетъ придумать, что надо, а ближе всѣхъ къ нему по мудрости тотъ, кто повинуется мудрымъ совѣтамъ другого—то въ противоположномъ качествѣ дѣло обстоитъ наоборотъ: менѣе глупъ тотъ, кто ничего путнаго придумать не можетъ, чѣмъ тотъ, кто одобряетъ придуманную другимъ нелѣпость“. А что въ данномъ случаѣ дѣйствительно рѣчь идетъ о противоположномъ мудрости

качествѣ, это вы можете заключить изъ того, что это обвиненіе античности въ ретроградствѣ раздается только у насъ въ Россіи; я думаю, если бы перфектамъ и супинамъ дѣйствительно была свойственна та чудодѣйственная консервативная сила, которую имѣетъ въ виду лубочная психологія этихъ господъ, то хитроумный западъ врядъ ли предоставилъ бы имъ честь этого открытія.

А затѣмъ позвольте сдать всю эту нелѣпость въ архивъ и вернуться къ затронутому только-что интересному и важному вопросу.

Рѣчь шла у насъ о соціологическомъ значеніи средней школы вообще и классической школы въ частности; это значеніе заключается, какъ мы видѣли, въ выдѣленіи „кандидатовъ въ офицеры арміи труда", т.-е. въ выдѣленіи способныхъ къ умственному труду изъ числа всѣхъ призванныхъ или желающихъ. Для этого школа должна быть болѣе или менѣе трудной — легкая школа предполагаетъ и легкій трудъ, а изобрѣсть таковой предоставляется тому, кто изобрѣтетъ также и прохладный огонь и теплый снѣгъ: трудъ, поскольку онъ *трудъ*, всегда будетъ *труденъ*. — На меня нападали за эту соціологическую роль, которую я, будто бы, навязываю школѣ; значитъ, спрашивали, школа по-вашему должна быть рѣшетомъ? Я ничего не имѣю противъ того, чтобы склонные къ пустосмѣшеству люди представляли себѣ мою школу хотя бы подъ символомъ рѣшета: требую, однако, чтобы они то же рѣшето возвели въ символы также и всей жизни, всей природы. Вездѣ, гдѣ только есть жизнь, ведется борьба за нее, причемъ жизнеспособные организмы выживаютъ, нежизнеспособные вымираютъ; школа, если она хочетъ быть живой, не можетъ уклониться отъ общаго закона жизни. Но я протестую противъ мысли, что я навязываю школѣ эту роль, какъ такую, которую она должна исполнять непосредственно и сознательно. Нѣтъ, господа; эта мысль основана на непониманіи той *гетерогеніи цѣлей*, о которой я говорилъ вамъ въ первой лекціи, которая сказывается вездѣ тамъ, гдѣ дѣйствуетъ законъ подбора, и состоитъ, какъ помните, въ несоотвѣтствіи сознательной и непосредственной цѣли — цѣли безсознательной и косвенной. Сознательно и непосредственно школа должна стремиться лишь къ одному—къ

образованію своихъ питомцевъ; о другомъ ей и думать нечего. Но именно этимъ самымъ, ведя своихъ питомцевъ къ извѣстному уровню образованія и, стало быть, отпуская тѣхъ, для коихъ этотъ уровень не достижимъ—этимъ самымъ она, сама того не сознавая, служитъ и цѣлямъ подбора. И горе ей, если она, придя къ сознанію этого своего невольнаго, косвеннаго назначенія, вздумаетъ отказаться отъ него и соотвѣтственно измѣнить свою прямую, образовательную цѣль: такая школа будетъ неминуемо сметена съ арены другой школой, болѣе серьезно относящейся къ своимъ обязанностямъ. Да, мы имѣемъ передъ собой рѣзкую, но несокрушимую дилемму: школа будетъ либо орудіемъ подбора, либо его жертвой.

Но что же мы, въ концѣ концовъ, будемъ дѣлать съ нашимъ неудачникомъ? Мы пробовали его пристроить въ различнаго рода школахъ, подъ конецъ и къ физическому труду—вездѣ онъ оказался неспособнымъ. Что же, подпишемъ мы суровый приговоръ ему закона подбора—приговоръ: „умри"?

Нѣтъ; нашъ законъ нуждается въ дополненіи. Конечно, на всемъ пространствѣ живого міра царствуетъ борьба за существованіе и ея послѣдствіе, выживаніе жизнеспособныхъ, естественный подборъ; въ одномъ только человѣческомъ обществѣ этотъ законъ скрещивается съ другимъ, важнымъ и могучимъ принципомъ—съ принципомъ любви. Это, конечно, не исключеніе—такого законъ подбора не допускаетъ,—а наивысшее развитіе: любовь снизошла на землю не для того, чтобы нарушить нашъ законъ, но для того, чтобы исполнить его. Законъ подбора ведетъ человѣчество къ совершенствованію; совершенствованіе же бываетъ не только физическое и умственное, но и нравственное. Какъ въ дрожащемъ съ усиливающейся быстротой стержнѣ по достиженіи извѣстнаго предѣла быстроты зарождается новая сила, и онъ начинаетъ свѣтиться,—такъ точно и въ человѣческомъ обществѣ по достиженіи извѣстной степени культурнаго прогресса возжигается нѣчто новое и чудесное—нравственный законъ, который велитъ человѣку любить своего ближняго, не толкать падающаго, чтобы самому было вольнѣе, а напротивъ, протянуть руку помощи, подѣлиться съ нимъ своимъ избыткомъ. Пусть первобытныя общества убиваютъ неспособныхъ къ физическому труду стариковъ, какъ лишнюю

обузу, повинуясь одному только закону борьбы за существованіе — мы, культурное общество, дѣлимся со своими стариками своимъ трудовымъ хлѣбомъ, потому что любимъ ихъ. И когда намъ говорятъ: „зачѣмъ вы это дѣлаете? Что падаетъ, то слѣдуетъ толкать — въ видахъ достиженія еще большаго физическаго и умственнаго совершенства; поступая иначе, вы осуждаете себя на вырожденіе!“ — мы отвѣчаемъ: „нѣтъ! мы не желаемъ такого физическаго и умственнаго совершенствованія, которое окупается цѣною нравственнаго вырожденія“. Такъ же поступаемъ мы и съ нашими неудачниками; мы ихъ не истребляемъ, а заботимся о нихъ. Мы строимъ больницы для неудачниковъ физической жизни — больныхъ; убѣжища для неудачниковъ умственной жизни — идіотовъ и умалишенныхъ; тюрьмы для неудачниковъ нравственной жизни—преступниковъ; мы стараемся, чтобы имъ тамъ жилось сносно. Такъ-то внутри главной части нашего общества, живущаго по трудовой системѣ, прозябаетъ болѣе или менѣе значительное число людей, не участвующихъ въ общемъ трудѣ, людей, существованіе которыхъ оправдывается и нормируется такъ называемой каритативной системой; это — обозъ арміи труда. Мы дѣлимся съ нимъ своимъ избыткомъ, но не болѣе: нельзя допустить, чтобы жизненные соки здоровыхъ, трудоспособныхъ организмовъ шли на неудачниковъ — тогда дѣйствительно наступило бы то вырожденіе, которымъ насъ пугаютъ. Мы должны болѣе или менѣе искусно лавировать между двумя вырожденіями — вырожденіемъ нравственнымъ при чрезмѣрно крутомъ проведеніи закона борьбы за существованіе и пренебреженіи къ закону любви, и вырожденіемъ физическимъ и умственнымъ при увлеченіи этимъ послѣднимъ закономъ.

Теперь нашъ отвѣтъ готовъ. Мы не подпишемъ того суроваго приговора „умри“, который законъ подбора произнесъ нашему неудачнику; мы скажемъ ему: „ступай въ обозъ; тамъ ты получишь средства къ болѣе или менѣе сносному прозябанію — но, конечно, не болѣе“. Разумѣется, отраднаго тутъ мало; что дѣлать, мы при всемъ желаніи не можемъ устранить мрачныхъ сторонъ нашей жизни. И то будетъ хорошо, если намъ удастся въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ осуществить тотъ идеалъ, о которомъ говорится здѣсь — идеалъ ра-

зумной школьной организаціи при послѣдовательномъ и полномъ проведеніи какъ дифференціаціоннаго, такъ и интеграціоннаго принциповъ, съ обезпеченіемъ всѣмъ способнымъ и трудолюбивымъ людямъ соотвѣтственнаго ихъ пригодности мѣста въ арміи труда; и это будетъ огромнымъ прогрессомъ въ сравненіи съ тѣмъ, что было и что есть.

Прогрессомъ, да; это слово — настоящій заключительный аккордъ въ той симфоніи мыслей и чувствъ, которую я хотѣлъ вызвать въ васъ. Прогрессъ — лозунгъ той культуры, которая коренится въ античности; къ нему сводится вся та игра идей, которыя намъ завѣщала античность, или на которыя она натолкнула насъ во время нашего полуторатысячелѣтняго симбіоза съ ней; ему же служитъ и школа, имѣющая въ своемъ центрѣ античность, не только прямо, какъ разсадникъ прогрессивныхъ идей, но и косвенно, какъ орудіе соціологическаго подбора. Долго, очень долго одинъ только Западъ былъ носителемъ прогрессивныхъ идей — тотъ западъ, который одинъ и воспринялъ античность, какъ главную движущую силу своей культуры. На Востокѣ мы имѣли и имѣемъ не то — странную жизнь, тоже культурную, но основанную на предположеніи необходимости сходства завтрашняго дня съ сегодняшнимъ и вчерашнимъ. Удивительное впечатлѣніе производитъ, въ сравненіи съ вѣчно мечущейся, вѣчно безпокойной мыслью Запада, это величавое спокойствіе Востока, это безсознательное убѣжденіе, что все достижимое уже достигнуто, что стремиться дальше праздно, неразумно, грѣшно. — Россія поставлена исторіей какъ разъ на грани между Западомъ и Востокомъ; здѣсь сталкиваются оба идеала. Россія — единственная изъ странъ европейской культуры, гдѣ оспаривался прогрессъ и его необходимость, оспаривался законъ подбора и его цѣль, оспаривалась трудовая система общественной организаціи, оспаривались науки и искусства; гдѣ на тревожный вопросъ „да вѣдь это ведетъ къ вырожденію, къ вымиранію!“ слѣдовалъ спокойно-величавый отвѣтъ: „Такъ что же? И будемъ вырождаться и вымирать!“ Противъ этой точки зрѣнія я безсиленъ; всѣ мои доводы въ пользу античности имѣли основаніемъ вѣру въ прогрессъ, въ его возможность и необходимость. Рѣшитесь отрицать прогрессъ — и все, что я сказалъ, будетъ опровергнуто.

Что же, начать намъ новое разсужденіе на новую, всеобъемлющую тему? Нѣтъ; надо когда-нибудь и перестать. Всякая мысль, будучи додумана до конца, поднимаетъ вереницу новыхъ мыслей; если то же самое произойдетъ и здѣсь, съ вами, то это будетъ только хорошо для васъ. Я уже приглашалъ васъ видѣть въ античности не норму, а сѣмя; само собою разумѣется, что я и для своихъ лекцій объ античности не могу требовать бо̀льшаго. Пусть и онѣ будутъ сѣменемъ мысли для васъ; надѣюсь, когда-нибудь, если и не сейчасъ, это сѣмя взойдетъ и дастъ плоды... быть можетъ, вы тогда уже забудете о томъ, что было предметомъ нашихъ бесѣдъ, вы будете радоваться взошедшему житу, будете считать его своей полной собственностью—и вы будете правы: то, что человѣкъ въ себѣ переработалъ, изъ себя выработалъ, составляетъ его неотъемлемую собственность, другой умственной собственности и не бываетъ.—И все же мнѣ не хотѣлось бы оборвать свои лекціи на вопросительномъ знакѣ; но такъ какъ вы утомились, да и я утомился, то я послѣдую примѣру моего любимца Платона и заключу разсужденіе на затронутую только что тему въ рамку „миѳа“ —т.-е., по нашему, притчи. Итакъ, вотъ вамъ, на прощаніе и на добрую память, моя притча о прогрессѣ.

Когда совершилось грѣхопаденіе ангеловъ, и дерзновенный замыселъ понесъ заслуженную кару, то двое изъ падшихъ — то были Оріенцій и Окциденцій,—будучи менѣе виновны, были признаны достойными пощады. Они не были отвержены навѣки; имъ было дозволено искупить свой грѣхъ тяжелымъ подвигомъ съ тѣмъ, чтобы по его исполненіи вернуться въ небесную обитель. Подвигъ же состоялъ въ томъ, чтобы пройти пѣшкомъ, съ посохомъ въ рукѣ, путь во много милліоновъ миль. Когда этотъ приговоръ былъ имъ объявленъ, то старшій изъ нихъ, Оріенцій, взмолился къ Творцу и сказалъ: „Господи, окажи мнѣ еще одну милость: дай, чтобы мой путь былъ прямъ и ровенъ, чтобы никакія горы и долы не затрудняли меня, и чтобы я видѣлъ передъ собою конечную цѣль, къ которой направляюсь!“ — „Твоя просьба будетъ исполнена“, сказалъ ему Творецъ; затѣмъ, обратясь къ другому, спросилъ его: „А ты, Окциденцій, ничего не желаешь?“ Тотъ отвѣтилъ: „Нѣтъ, ни-

чего". Съ тѣмъ ихъ и отпустили. Тутъ мракъ забытья ихъ окуталъ; когда они пришли въ себя, они очутились каждый на томъ мѣстѣ, съ котораго имъ слѣдовало начать свое странствіе.

Оріенцій всталъ и оглянулся: недалеко отъ него лежалъ посохъ, кругомъ тянулась, точно сонное море, необозримая, плоская и гладкая равнина, надъ ней—голубое небо, безпредѣльное и однообразно-безоблачное; только въ одномъ мѣстѣ, далеко, на самомъ краю горизонта, свѣтилась бѣлая заря. Онъ понялъ, что это и есть то мѣсто, куда ему должно направлять свои шаги; схватилъ посохъ, пошелъ впередъ, пространствовалъ день-другой, затѣмъ опять оглянулся кругомъ — ему показалось, что разстояніе, отдѣлявшее его отъ его цѣли, не уменьшилось на на шагъ, что онъ все еще стоитъ на томъ же мѣстѣ, что его окружаетъ все та же необозримая равнина, что и раньше. „Нѣтъ", сказалъ онъ уныло, „этого разстоянія мнѣ ввѣкъ не пройти". Съ этими словами онъ бросилъ посохъ, опустился безнадежно на землю и заснулъ. Заснулъ онъ надолго—вплоть до нашихъ дней.

Въ одно время со старшимъ братомъ проснулся и Окциденцій. Всталъ, оглянулся—за нимъ море, передъ нимъ оврагъ, за оврагомъ лѣсокъ, за лѣскомъ холмикъ, на холмикѣ точно бѣлая заря горитъ. „Только то!" воскликнулъ онъ весело, „да тамъ я до вечера буду!" Схватилъ лежавшій у его ногъ посохъ, отправился въ путь; дѣйствительно, вершины холмика онъ достигъ еще до вечера, но тамъ онъ увидѣлъ, что ошибался. Это ему только издали такъ показалось, что заря горитъ на холмикѣ, на самомъ же дѣлѣ на немъ ничего не было, кромѣ нѣсколькихъ яблонь, плодами которыхъ онъ утолилъ голодъ и жажду; а по ту сторону былъ спускъ, внизу текла рѣчка, за рѣчкой подымалась горка, а на горкѣ сіяла все та же бѣлая заря. „Ну, что же", сказалъ Окциденцій, „отдохну, а затѣмъ въ путь; дня черезъ два буду тамъ, и тогда — прямо въ рай". Опять разсчетъ оказался вѣрнымъ, только рая онъ опять не нашелъ: за горкой была новая, широкая долина, за долиной болѣе высокая гора, вершину которой вѣнчало сіяніе знакомой зари. Конечно, нашъ странникъ почувствовалъ нѣкоторую досаду, но не надолго: гора неотра-

зимо манила къ себѣ, тамъ-то ужъ навѣрно были ворота въ рай. И такъ все дальше и дальше, день за днемъ, недѣля за недѣлей, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, годъ за годомъ, вѣкъ за вѣкомъ; надежда смѣняется разочарованіемъ, изъ разочарованія выростаетъ новая надежда. Онъ шествуетъ и понынѣ; овраги, рѣки, скалы, непроходимыя болота затрудняютъ его путь; много разъ онъ заблуждался, теряя путеводное сіяніе, совершалъ обходы, возвращался назадъ, пока ему не удавалось вновь примѣтить отблеска вожделѣнной зари. И теперь онъ бодро, со своимъ вѣрнымъ посохомъ въ рукѣ, взбирается на высокую гору; имя ей—„соціальный вопросъ“. Гора крутая и утесистая, много ему приходится преодолѣвать промоинъ и чащъ, отвѣсныхъ стѣнъ и пропастей, но онъ не отчаивается: онъ видитъ передъ собою сіяніе зари и твердо увѣренъ, что стоитъ ему добраться до вершины — и ворота рая откроются передъ нимъ.

ЭКСКУРСЫ.

ЭКСКУРСЪ ПЕРВЫЙ.

Педагогическія иллюзіи.

Ведя стезей Израил чудесной,
Господь заразъ два чуда сотворилъ:
О верзъ уста ослицѣ безсловесной
И говоритьророкамъ запретилъ.

Вл. Соловьевъ.

I.

Однажды Сократъ, повстрѣчавшись на пути въ Пирей съ Критономъ, остановилъ его движеніемъ руки и предложилъ ему слѣдующій вопросъ:

— Скажи мнѣ, Критонъ: если твои сапоги причиняютъ тебѣ боль, и тебѣ въ нихъ неловко ходить, — къ кому обратишься ты за выясненіемъ причины зла и его исправленіемъ?

— Къ сапожнику! — отвѣтилъ, ничуть не задумавшись, Критонъ.

— Прекрасно. А если стѣна твоего дома покачнулась и грозитъ паденіемъ—кого пригласишь ты совѣтникомъ и, если возможно, предотвратителемъ бѣдствія?

— Плотника,—столь же рѣшительно отвѣтилъ Критонъ.

— Превосходно. А если въ воспитаніи твоихъ сыновей то или другое тебѣ кажется несоотвѣтствующимъ цѣли, если у тебя, однимъ словомъ, возникнутъ сомнѣнія педагогическаго характера,—къ кому обратишься ты за совѣтомъ и помощью?

На лицѣ Критона выразилось недоумѣніе; послѣ нѣкото-

раго размышленія онъ неувѣренно и скорѣе въ тонѣ вопроса отвѣтилъ:

— Тоже къ плотнику?

Но Сократъ съ кроткой улыбкой отрицательно покачалъ головой.

— Къ врачу?.. Къ химику?.. Къ криминалисту?.. Къ жрецу Юпитера?

Сократъ продолжалъ отрицательно качать головой. Критонъ, смутившись, нѣкоторое время промолчалъ; но вдругъ, точно осѣненный новой мыслью, онъ ударилъ себя по лбу и съ тономъ вполнѣ увѣреннаго въ себѣ человѣка воскликнулъ:

— Къ журналисту!

Но къ его удивленію, и этотъ разъ со стороны Сократа одобренія не послѣдовало.

— Такъ къ кому же?—спросилъ Критонъ.

— Къ педагогу,—тихо и внушительно сказалъ Сократъ.

Критонъ выпучилъ глаза.

— Неужели? Первый разъ слышу.

II.

Этого разговора въ „Воспоминаніяхъ о Сократѣ“ нѣтъ,— я заимствовалъ его... ну, да это не такъ важно. Важно то, что педагогика дѣйствительно занимаетъ совершенно особое мѣсто среди не только наукъ (наукой ее не всѣ признаютъ), но и всѣхъ вообще спеціальностей. По всѣмъ труднымъ вопросамъ, которые намъ задаетъ жизнь, мы обращаемся къ „спеціалистамъ“; одни только педагогическія затрудненія мы склонны рѣшать своими средствами; или же, что еще хуже, признаемъ капраломъ того, кто взялъ педагогическую палку и орудуетъ ею на страницахъ какого-нибудь распространеннаго журнала. Правда, отчасти въ томъ же положеніи находится и медицина; все же разница въ томъ, что медицинское знахарство, по крайней мѣрѣ въ теоріи, признается явленіемъ, несовмѣстимымъ съ культурностью, между тѣмъ какъ педагогическіе Кузьмичи находятъ себѣ кліентовъ даже среди представителей науки, а иногда и сами къ нимъ принадлежатъ.

Но очевидная ненормальность этого явленія не избавляетъ насъ отъ обязанности выяснить его причину... или, говоря правильнѣе, его причины, такъ какъ этихъ причинъ очень много, и, взятыя вмѣстѣ, онѣ дадутъ добрую половину того недуга, которымъ страдаетъ наша интеллигенція. Но именно поэтому такое выясненіе не можетъ быть темой для настоящей вступительной бесѣды; намъ придется вернуться къ нему на разъ въ дальнѣйшемъ ходѣ нашихъ разсужденій, теперь же ограничимся одной изъ тѣхъ многихъ причинъ,—той, которая заключается въ невыясненности самаго понятія „педагогъ". Дѣйствительно, что такое педагогъ? Относительно врача, напримѣръ, никакихъ сомнѣній быть не можетъ: каждый врачъ оффиціально объявляется таковымъ въ особомъ дипломѣ, удостовѣряющемъ и его успѣхи въ соотвѣтствующихъ наукахъ, и его способность и умѣнье лѣчить. Ничего подобнаго нѣтъ въ педагогической сферѣ; вопросъ, что такое педагогъ, никакого оффиціальнаго отвѣта себѣ не находитъ.

Предвижу тутъ возраженіе слѣдующаго рода. Да кто же, спросятъ, виноватъ въ этой невыясненности, какъ не именно вы? Почему выдаваемые кандидатамъ въ учителя дипломы не удостовѣряютъ также и ихъ педагогической авторитетности? То есть, переспрошу я, почему у насъ, кромѣ научной сортировки, посредствомъ которой мы отдѣляемъ знающихъ отъ неучей,—нѣтъ еще сортировки педагогической, посредствомъ которой ученые педагоги отдѣлялись бы отъ ученыхъ-непедагоговъ? Отвѣчу откровенно: потому что у насъ для такой двойной сортировки матеріала не хватаетъ. А что его не хватаетъ, въ томъ виновата... ну, конечно, матеріальная необезпеченность преподавательскаго сословія, вслѣдствіе которой его положеніе является мало привлекательнымъ. Знаю, и ничуть не желаю умалять значеніе этой вопіющей соціальной несправедливости; посмотрите, однако, на земскихъ врачей. Ихъ положеніе ничуть не обезпеченнѣе преподавательскаго; все же имѣющагося въ наличности матеріала хватаетъ на двойную сортировку, и земскій врачъ—не только медикъ, но и врачъ. Не все, стало быть, въ обезпеченности. А что же еще нужно? Вспомните формулу Некрасова,—формулу ничуть не идеальную,

но все же достаточную для житейскаго обихода—о томъ, что нужно для того, чтобы человѣку хорошо жилось на Руси:

Почетъ, покой, богачество—

и спросите самихъ себя: что вами сдѣлано для того, чтобы положеніе педагога — разъ вы ему ни покоя, ни „богачества" дать не можете—стало по крайней мѣрѣ почетнымъ?

III.

Но мы увлеклись въ сторону; какъ-никакъ, а оффиціально утвержденныхъ педагоговъ у насъ нѣтъ. А педагоги все-таки есть;—гдѣ же они?

Посмотримъ сначала, гдѣ ихъ нѣтъ и никогда быть не можетъ. Вотъ вамъ одна изъ семей, имъ же имя легіонъ: мужъ, жена, дѣти. Мужъ днемъ на службѣ; послѣ службы—обѣдъ, затѣмъ—почивать изволятъ, затѣмъ—въ гостяхъ или въ одномъ изъ тѣхъ милыхъ учрежденій, въ которыхъ строго запрещается играть въ карты долѣе чѣмъ до половины шестого утра. Жена свободные отъ заботъ по хозяйству часы — допуская, что такія заботы у нея имѣются—заполняетъ пріемами, визитами, театромъ, чтеніемъ легкихъ романовъ. Дѣти посѣщаютъ школу. Выросши, они очень затруднятся дать отвѣтъ на вопросъ, какими свѣдѣніями, воззрѣніями, умственными наклонностями, какою вообще частью своего умственнаго естества они обязапы своимъ родителямъ: воспитывать ихъ „должна школа"... Ну, что собственно „должна школа", объ этомъ у насъ рѣчь будетъ впереди: пока я хотѣлъ только подчеркнуть фактъ, что среди родителей этого сорта — педагоговъ нѣтъ и быть не можетъ. То-есть, собственно не фактъ, а требованіе разума; фактъ же тотъ, что именно эти родители всѣхъ громче и назойливѣе разсуждаютъ о педагогическихъ вопросахъ... конечно въ томъ смыслѣ, что ихъ сыновья не успѣваютъ, и что въ этомъ „школа виновата". И этотъ типъ даже не изъ худшихъ.

Но, разумѣется, и не изъ лучшихъ; есть, къ счастью, и отцы, не отказывающіеся отъ своей доли въ воспитаніи своихъ

дѣтей; отцы, чуткіе къ потребностямъ молодой души, но въ то же время сознающіе, что ихъ обязанность—не столько угождать ея природѣ, сколько направлять ее; отцы, наконецъ, способные не только ученіемъ, но и собственнымъ примѣромъ вліять на умственный и нравственный складъ своихъ дѣтей. Когда-то именно такого рода отцы считались кандидатами въ педагоги высокаго чина; въ новонайденной книгѣ Аристотеля о государственномъ устройствѣ аѳинянъ мы читаемъ, что „по принятіи молодыхъ людей въ число гражданъ, ихъ отцы, собравшись по колѣнамъ и принеся присягу, избираютъ извѣстное число кандидатовъ, по три отъ каждаго колѣна и не моложе сорока лѣтъ,—*именно тѣхъ, кого они считаютъ наилучшими людьми и наиболѣе способными заботиться о молодежи*; изъ нихъ въ народномъ собраніи избираются такъ называемые софронисты, по одному на колѣно“ (гл. 42). Но это было уже очень давно; въ настоящее время было бы полнѣйшимъ анахронизмомъ спрашивать, при выборѣ или назначеніи софрониста, хорошо ли онъ справился съ задачей воспитанія въ собственной семьѣ.

Впрочемъ, это относится уже къ области фактовъ, грубыхъ и глупыхъ, какъ обыкновенно; здѣсь, въ теоретическомъ разсужденіи, да будетъ намъ разрѣшено иослушаться голоса разума и объявить отцовъ только что охарактеризованнаго типа единственными допустимыми кандидатами въ педагоги. Кандидатами,—не болѣе. Честь и слава отцу, сумѣвшему воспитать, и притомъ хорошо воспитать своихъ дѣтей... положимъ, это природная обязанность всякой скотины, съ которой она справляется и безмолвно и успѣшно, но въ нашей культурной средѣ и это приходится признать заслугой. Да, честь ему и слава; будемъ прислушиваться къ его голосу, когда рѣчь зайдетъ о домашнемъ воспитаніи, о нравственномъ и умственномъ воздѣйствіи отца на дѣтей, — но для педагога въ искомомъ смыслѣ этого мало. Педагогика обнимаетъ не одно только домашнее воспитаніе: чѣмъ шире она ставитъ свою задачу, чѣмъ болѣе включаетъ въ нее разнообразныхъ элементовъ, тѣмъ недостаточнѣе становится единичный опытъ единичнаго человѣка. Пусть же наши отцы удовольствуются именемъ хорошихъ исполнителей своего личнаго дѣла, хорошихъ рядовыхъ—если

можно такъ выразиться — въ педагогической арміи. И они сдѣлаютъ его охотно; не они вредны для дѣла, а тѣ, другіе, которые, не годясь въ рядовые, норовятъ попасть въ генералы.

Оставимъ ихъ до другого раза, вернемся къ нашимъ кандидатамъ. Что же требуется для того, чтобы получить нравственное право (другого у насъ не полагается) считать себя педагогами?

Очень и очень многое.

IV.

Дѣло въ томъ, что педагогъ имѣетъ дѣло главнымъ образомъ съ высшей единицей воспитанія, со *школой*. Конечно, школы бываютъ разныя—высшія, низшія и среднія, общеобразовательныя и профессіональныя; имъ всѣмъ соотвѣтствуютъ, въ теоріи по крайней мѣрѣ, различныя отрасли педагогики. Мы ограничиваемъ область своихъ разсужденій *общеобразовательной средней школой* какъ той, о которой господствуютъ въ обществѣ самыя закоренѣлыя, самыя распространенныя и самыя опасныя иллюзіи; но даже эта сравнительно ограниченная область требуетъ отъ педагога значительныхъ знаній и немалой опытности. Постараюсь это развить.

Желательно, прежде всего, чтобы нашъ педагогъ помнилъ себя ученикомъ... Положимъ, такія воспоминанія не рѣдкость. Очень многіе кандидаты и тѣмъ паче некандидаты (прошу позволенія употреблять эти слова въ вышеобъясненномъ смыслѣ) сохранили очень яркія воспоминанія о своей школьной жизни: какіе они устраивали своимъ учителямъ „бенефисы", сколько получали отъ нихъ двоекъ, какъ ловко умѣли обходить школьныя правила и т. д. Теперь они эти воспоминанія, изрядно привирая, печатаютъ; ну и пусть ихъ. — Для педагога такія воспоминанія скорѣе вредны; я убѣжденъ даже, что не одинъ молодой учитель ими былъ выбитъ изъ правильной педагогической колеи. Когда-то онъ самъ былъ дурнымъ ученикомъ и порядкомъ-таки досаждалъ своимъ многострадальнымъ преподавателямъ; теперь онъ и въ своихъ ученикахъ предполагаетъ

такое же настроеніе противъ себя. Вслѣдствіе этого онъ недовѣрчивъ, подозрителенъ, придирчивъ; въ каждой глупости склоненъ видѣть злой умыселъ, въ малѣйшемъ нечаянномъ движеніи или сказанномъ невпопадъ словѣ насмѣшку или пренебреженіе... Нѣтъ: драгоцѣнны въ педагогическомъ отношеніи хорошія воспоминанія, вынесенныя изъ хорошей школы. „Но что же дѣлать, если таковыхъ нѣтъ?“ Тѣмъ хуже для васъ; у васъ будетъ однимъ подспорьемъ меньше. А впрочемъ, поищите хорошенько: не нужно вѣдь представлять себѣ хорошаго учителя непремѣнно на манеръ шеллеровскаго Носовича и другихъ продуктовъ псевдогеніальнаго педагогическаго романтизма: бываютъ хорошіе преподаватели и между тѣми, которые не пропускаютъ уроковъ, готовятся къ нимъ и не преподносятъ ученикамъ, вмѣсто полагающагося по программѣ, импровизованной отсебятины.

Повторяю, желательно, чтобы педагогъ помнилъ себя хорошимъ ученикомъ хорошаго учителя, вспоминалъ о тѣхъ моментахъ, когда его душа съ особенной силой испытывала впечатлѣніе услышаннаго хорошаго слова,—о тѣхъ рѣдкихъ, неоцѣнимыхъ моментахъ непосредственнаго дѣйствія души на душу; это быстро и естественно откроетъ ему доступъ къ душѣ его учениковъ, котораго ему при иныхъ условіяхъ пришлось бы искать долго и съ трудомъ. Но это только одно условіе—притомъ только желательное, а не необходимое; зато необходима для педагога-теоретика практическая педагогическая дѣятельность, и притомъ дѣятельность успѣшная. Если ваши ученики васъ не любили, если они, по выходѣ изъ школы, не сохранили о васъ благодарнаго воспоминанія, если ваше слово скользило безслѣдно по поверхности ихъ души, то никакая ученость не дастъ вамъ подняться изъ области простого знанія въ область плодотворнаго умѣнія, не сдѣлаетъ васъ, однимъ словомъ, педагогомъ. Не сдѣлаетъ потому, что безъ этого живого нерва въ душѣ, вы не сможете разузнать, среди массы сухой эрудиціи, самыхъ драгоцѣнныхъ и жизнетворныхъ началъ; потому что безъ этого не укладывающагося въ опредѣленную формулу чутья, вырабатываемаго практикой, всѣ формулы теоріи останутся мертвымъ, безплоднымъ звукомъ.

V.

Это второе условіе,—на этотъ разъ уже не желательное, а необходимое. Кто ему удовлетворяетъ, тотъ будетъ — при наличности соотвѣтственныхъ знаній, различныхъ для различныхъ предметовъ—хорошимъ педагогомъ-исполнителемъ, но не болѣе. Его ли разумѣлъ Сократъ, когда рекомендовалъ Критону обращаться за разъясненіемъ педагогическихъ вопросовъ къ педагогу? Врядъ ли. Конечно, во многихъ случаяхъ онъ сумѣетъ дать хорошій совѣтъ (и всегда, замѣчу между скобокъ, дастъ лучшій совѣтъ, чѣмъ педагогъ - знахарь); во многихъ, но не во всѣхъ. Еще Эпиктетъ различалъ знанія самосозерцательныя, какъ онъ ихъ называлъ, отъ несамосозерцательныхъ; такъ, грамматика,—говорилъ онъ, — скажетъ вамъ, какъ слѣдуетъ писать вашему другу, но, слѣдуетъ ли ему писать или нѣтъ—этого она не скажетъ; она не „созерцательна въ отношеніи самой себя". Такъ и здѣсь. Хорошій преподаватель, скажемъ, физики дастъ вамъ хорошій совѣтъ во всемъ томъ, что касается частностей преподаванія; но, допустимъ, вы обратились къ нему съ вопросомъ: зачѣмъ вообще заставлять вашего сына учиться физикѣ, когда вы готовите его въ юристы, и онъ изъ физики получаетъ однѣ только двойки (для родителей это часто самое убѣдительное доказательство безполезности данной науки); вотъ на этотъ вопросъ онъ, если онъ только педагогъ-исполнитель, отвѣтить вамъ не сумѣетъ.

Итакъ, что же требуется для того, чтобы педагогъ-исполнитель сталъ педагогомъ въ полномъ смыслѣ слова?

Требуется, прежде всего, гораздо болѣе широкое *знаніе предмета*, чѣмъ то, какимъ обладаетъ педагогъ-исполнитель. Исполнитель имѣетъ свою опредѣленную рамку въ видѣ программы; для педагога въ полномъ смыслѣ никакихъ рамокъ быть не должно,—программа должна быть подвластна ему, а не онъ программѣ. Повторяю, объ образовательномъ значеніи физики можетъ говорить и судить только тотъ, кто ее знаетъ самымъ основательнымъ образомъ, — и такъ далѣе, для всѣхъ предметовъ безъ исключенія.

Это разъ. А затѣмъ, самое понятіе „образовательный" за-

ставляетъ насъ прибавить къ самой наукѣ и объектъ ея образовательнаго дѣйствія—человѣческую душу. Итакъ, знаніе этой души необходимо для педагога въ полномъ смыслѣ,—необходимо, другими словами, знаніе *психологіи*... Отвѣчу тутъ на возраженіе, которое мнѣ не разъ приходилось слышать: „какимъ это образомъ «для педагога въ полномъ смыслѣ?» А для педагога-исполнителя оно, стало-быть, не необходимо?“ Нѣтъ, не необходимо. Педагогъ-исполнитель долженъ быть психологомъ,—это такъ; но для того, чтобы быть психологомъ, вовсе не требуется знать разницы между чувствомъ и ощущеніемъ, между ассоціаціей и апперцепціей: всякій хорошій командиръ— „слуга царю, отецъ солдатамъ“ — бываетъ въ то же время и хорошимъ психологомъ, не имѣя въ то же время понятія обо всей этой премудрости. Итакъ, не будемъ смѣшивать разнородныхъ вещей: для педагога-исполнителя — психологическая практика, для педагога въ полномъ смыслѣ —и практика и теорія.

Конечно, будь психологическая теорія такой же точной наукой, какъ физика, ею можно было бы и закончить свои требованія: знаніе даннаго предмета, плюсъ знаніе человѣческой души и дали бы намъ самый точный отвѣтъ на вопросъ объ образовательномъ значеніи этого предмета. Но одни только знахари скрываютъ отъ себя и отъ другихъ, что психологія, какъ основаніе педагогіи, находится еще только въ зачаточномъ видѣ; конечно, и въ этомъ видѣ она должна быть извѣстна педагогу, но именно вслѣдствіе ея неготоваго еще состоянія онъ будетъ нуждаться въ дополненіи, въ коррективѣ. Въ чемъ же будетъ заключаться этотъ коррективъ? Въ наблюденіи—другими словами, въ изученіи *той роли, которую данный предметъ игралъ какъ образовательный факторъ въ теченіе цѣлаго ряда поколѣній*. Именно цѣлаго ряда поколѣній: одной только человѣческой жизни недостаточно, чтобы исключить случайности и вывести законы психическаго воздѣйствія данныхъ предметовъ образованія. Къ этому вопросу я еще намѣренъ вернуться; для настоящаго разсужденія достаточно, полагаю я, и этихъ главныхъ и основныхъ линій.

VI.

А теперь можемъ подвести итоги. Если вамъ, по высшимъ вопросамъ школьной педагогики, будутъ предлагать совѣты или высказывать мнѣнія, и вы захотите удостовѣриться, знахарь ли передъ вами, или педагогъ, — то вотъ вамъ вѣрный рецептъ: освѣдомившись, насколько это возможно, о достоинствахъ вашего совѣтчика какъ кандидата и какъ педагога-исполнителя, задайте ему... или, лучше, самимъ себѣ относительно него три вопроса. Первый: знаетъ ли онъ предметъ, объ образовательномъ значеніи котораго онъ распространяется? Второй: имѣетъ ли онъ понятіе о психологіи? И третій: знаетъ ли онъ исторію предмета, о которомъ идетъ рѣчь, какъ орудія воспитанія и вообще какъ фактора въ развитіи европейской культуры? Отвѣтомъ на эти три вопроса будетъ указана и педагогическая правоспособность даннаго лица.

Вполнѣ сознаю неловкое—съ точки зрѣнія многихъ—положеніе, въ которое я поставилъ себя этимъ результатомъ своей вступительной бесѣды. Я вѣдь и теперь разсуждаю о вопросахъ высшей педагогики и намѣренъ еще разсуждать о нихъ въ дальнѣйшемъ; выходитъ, такимъ образомъ, что я отвѣтилъ въ благопріятномъ для себя смыслѣ на вышепоставленные вопросы, а это, какъ будто, нескромно... Я, со своей стороны, полагаю, что если серьезный человѣкъ требуетъ слова въ серьезномъ дѣлѣ, то онъ всегда дѣлаетъ это въ сознаніи, что онъ обладаетъ соотвѣтственной квалификаціей; что же касается скромности, то не тотъ, на мой взглядъ, нескроменъ, кто много поработавъ надъ выясненіемъ извѣстнаго вопроса и поставивъ строгія требованія къ самому себѣ, считаетъ его въ предѣлахъ человѣческаго разумѣнія для себя выясненнымъ, а скорѣе тотъ, кто безъ надлежащей подготовки выступаетъ совѣтчикомъ и ораторомъ, разсчитывая взять не доказательствами, а апломбомъ и глумленіями. А отъ перечисленныхъ требобованій ни іоты сбавить нельзя: они поставлены самимъ разумомъ. Какъ не можетъ быть квадратомъ фигура, не обладающая четырьмя равными, пересѣкающимися подъ прямымъ угломъ сторонами, такъ и не можетъ быть педагогомъ человѣкъ, не удовлетворяющій этимъ требованіямъ.

А теперь можемъ приступить къ дѣлу—къ педагогическимъ иллюзіямъ, затемняющимъ здоровый, трезвый взглядъ на задачи и средства школьнаго воспитанія... Хотя, если читатель согласился съ тѣмъ, о чемъ у насъ была рѣчь до сихъ поръ, то одна изъ самыхъ распространенныхъ и зловредныхъ педагогическихъ иллюзій уже устранена — педагогическое знахарство. Но это—вопросъ личностей, а не фактовъ; переходя къ фактамъ, мы прежде всего, для расчищенія почвы, должны побороть принципіальную въ школьномъ дѣлѣ иллюзію,—иллюзію о возможности и желательности *легкой школы*. Съ нея и начнемъ мы въ слѣдующей бесѣдѣ.

* * *

Впрочемъ, нѣтъ, этой бесѣды не будетъ; ея содержаніе вошло, поскольку это было нужно, въ составъ послѣдней изъ предшествующихъ этому экскурсу лекцій. Замѣню ее разсказомъ о возникновеніи и судьбѣ этой самой статьи, съ которой и начинается настоящій первый экскурсъ; не потому, разумѣется, что эта судьба, какъ таковая, могла разсчитывать на интересъ и участіе читающей публики, а потому, что она дастъ мнѣ возможность на типичномъ примѣрѣ показать этой публикѣ, какъ у насъ терроризируютъ и ее и тѣхъ, кто, не считаясь съ настроеніемъ и нервами „душевладѣльцевъ“, желаетъ довести до ея свѣдѣнія свои честныя, выработанныя и выстраданныя мысли и убѣжденія.

Это было въ 1901 г. Былъ основанъ новый журналъ (его имени и вообще именъ я называть не буду, такъ какъ не въ нихъ суть); редакторъ обратился между прочимъ и ко мнѣ, любезно предлагая мнѣ быть и сотрудникомъ журнала и редакторомъ отдѣла „классическихъ наукъ“. Я охотно согласился, оговорившись, однако, что за массой занятій въ ближайшемъ будущемъ статьи обѣщать не могу; что касается редакторства, то тутъ я никакой оговорки не сдѣлалъ, такъ какъ особенно трудной работы спеціально по моему отдѣлу не предвидѣлось. На этомъ мы тогда и порѣшили.

Вскорѣ затѣмъ получаю отъ редактора письмо съ настоятельной просьбой доставить ему все-таки статью для перваго же нумера. Большого труда, полагалъ онъ, это мнѣ стоить не

будетъ, такъ какъ матеріалъ для этой статьи и для ряда слѣдующихъ уже готовъ: это—мои рѣчи и доклады, прочитанные годъ назадъ въ Боголѣповской коммиссіи по реформѣ средняго образованія и тогда же изданные на правахъ рукописи въ „Трудахъ“ этой коммиссіи. Остается ихъ слегка переработать, снабдить вступленіемъ—и рядъ журнальныхъ статей окажется налицо.—Просьба эта меня озадачила. Не работа меня пугала, нѣтъ; но въ этихъ рѣчахъ и докладахъ я не безъ энергіи и пожалуй не безъ нѣкоторой рѣзкости выступалъ защитникомъ классической школы — не столько существовавшей тогда, сколько такой, какую я считалъ и желательной и возможной. Отъ этой точки зрѣнія я отступиться не могъ — совѣсть не дозволяла; но имѣлъ ли я права навязывать ее журналу еще молодому, которому предстояло еще завоевать симпатіи читающей публики? Конечно, редакторъ долженъ былъ знать, что онъ дѣлаетъ, предлагая мнѣ такую работу; все же я счелъ необходимымъ переговорить съ нимъ лично по затронутому имъ вопросу. Отправившись къ нему, я сказалъ ему, что моей первоначальной мыслью было напечатать въ его журналѣ нѣсколько безобидныхъ очерковъ изъ области античности (въ родѣ тѣхъ, которые я впослѣдствіи издалъ въ моемъ сборникѣ п. загл. „Изъ жизни идей“); что если онъ пожелаетъ, чтобы я написалъ для него рядъ боевыхъ статей въ защиту оклеветанной и поруганной классической школы, то я сочту своимъ долгомъ исполнить его желаніе, но что я прошу его подумать, не отразится ли это вредно на подпискѣ. Онъ отвѣтилъ мнѣ, что онъ объ этомъ уже думалъ, но что если бы даже мое опасеніе оправдалось — онъ не задумается принести эту жертву дѣлу, которому самъ глубоко сочувствуетъ. Я разстался съ нимъ въ состояніи, близкомъ къ восторгу; для меня было ясно, что при указанныхъ условіяхъ исполненіе его желаній — для меня самый неотложный долгъ. Задуманному ряду статей я рѣшилъ дать заглавіе „Педагогическія иллюзіи“; придя домой, я тотчасъ принялся за составленіе первой изъ нихъ, вступительной (это—та самая, которая напечатана выше подъ приведеннымъ заглавіемъ). Окончивъ ее сравнительно быстро, я отправилъ ее редактору заблаговременно съ просьбой не забыть прислать мнѣ корректуру.

Проходятъ недѣли; появляется первый нумеръ журнала, за нимъ—второй, далѣе третій; моей статьи нѣтъ да нѣтъ. О ея судьбѣ я, все-таки, не тревожился—она была вѣдь „заказанная"—и рѣшилъ, что нашлись статьи поактуальнѣе, чему въ интересахъ журнала можно было только радоваться. Одно меня безпокоило — не была ли забыта моя просьба о корректурѣ; посылаю поэтому редактору краткое и вѣжливое напоминаніе на этотъ счетъ. Въ отвѣтъ получаю требуемую корректуру при письмѣ слѣдующаго содержанія.

„Къ величайшему огорченію моему и членовъ редакціи „ . . . . . . " блестящая вступительная статья Ваша по вопросу о средней школѣ вызвала въ большинствѣ членовъ редакціи, мнѣнію котораго я считаю себя нравственно обязаннымъ давать вѣсъ, серьезныя опасенія, которыя и Вы сами изволили предвидѣть: русское общество настроено въ настоящій моментъ черезчуръ фанатично противъ прежней школы. Быть можетъ, оно еще выслушало бы сравнительно покойно Ваше компетентное слово въ защиту классицизма, но въ формѣ строго научныхъ доводовъ, никого не задѣвающихъ; блестящая полемическая форма, иногда укоризненная и сатирическая, направленная и противъ родителей и противъ всей интеллигенціи, а въ частности, печати — признанныхъ Вами „знахарями" — можетъ вызвать бурю. А это опасно для зарождающагося журнала: у него еще черезъ-чуръ слабы силы для подобной борьбы, если бы даже редакція и признавала ее полезной въ извѣстныхъ предѣлахъ. И именно яркость и талантливость Вашего пріема является особенно возбуждающею опасеніе.

Въ виду всего вышеизложеннаго редакція горячо проситъ Васъ продолжать участіе въ ея журналѣ въ вопросахъ Вашей науки, которые не наступаютъ на больную мозоль русскаго общества, но она искренно сожалѣетъ, что вынуждена принести Вашу первую статью тому необходимому упроченію „position" журнала, безъ которой едва ли было бы возможно его дальнѣйшее прочное процвѣтаніе.

При этомъ редакція глубоко вѣритъ, что научная высота и слава, на которой Вы стоите, устраняютъ возможность съ Вашей стороны какихъ-либо настроеній или чувствъ, неблагопріятныхъ для нашего нарождающагося дѣтища, къ которому она проситъ Васъ сохранить то же доброе симпатичное отношеніе, съ котораго Вы начали.

Редакція почитаетъ нравственнымъ долгомъ предоставить въ Ваше распоряженіе въ первый платежный срокъ (. . . .) гонораръ за трудъ, потраченный на Вашу столь талантливо составленную статью [1]).

Съ чувствомъ и т. д. отъ имени редакціи

. . . .

Чувства, вызванныя во мнѣ этимъ письмомъ, были довольно сложнаго и смѣшаннаго характера. Прежде всего для меня было ясно, что выставленные противъ моей статьи пункты совершенно несостоятельны. Сатира, буде таковая у меня была, какъ исконное явленіе въ русской литературѣ, опалѣ не подлежитъ; не задѣвалъ я ни родителей, какъ таковыхъ, ни тѣмъ паче интеллигенціи, ни даже печати, а только тѣхъ ея недобросовѣстныхъ дѣятелей, которые судятъ о педагогическихъ вопросахъ, не имѣя на то никакой квалификаціи; о классицизмѣ я не обмолвился ни полъ-словомъ, такъ что опасенія редакціи могли быть вызваны не моей статьей, а только сообщеніями редактора объ ея предполагавшемся продолженіи.— Со всѣмъ тѣмъ я сразу понялъ, что статья была задушена тѣмъ же желѣзнымъ кольцомъ публицистическаго террора, въ существованіи и крѣпости котораго я и раньше имѣлъ случай убѣдиться; мнѣ думалось, однако, что редакторъ былъ обязанъ отстоять ее, зная, что я написалъ ее по его настоянію и вопреки собственному первоначальному намѣренію. Наконецъ, не могъ я не найти страннымъ, что „редакція" рѣшаетъ безповоротно участь моей статьи даже не пріобщивъ меня къ своимъ совѣщаніямъ, хотя я и самъ состоялъ „редакторомъ

[1]) Таковой былъ мнѣ дѣйствительно присланъ; само собою разумѣется, что я отъ него отказался. Долженъ, кромѣ того, замѣтить, что преувеличенно хвалебные эпитеты, которыми редакторъ здѣсь награждаетъ мой непритязательный очеркъ, были имъ взяты назадъ въ позднѣйшемъ письмѣ.

отдѣла" и былъ именуемъ таковымъ во всѣхъ объявленіяхъ. Въ виду всего этого я имѣлъ полное право обидѣться; и если я тѣмъ не менѣе сохранилъ благодушное настроеніе, то причиной этому была не столько густая позолота поднесенной мнѣ пилюли, сколько слѣдующее соображеніе. Раздражительность нашего брата литератора еще со временъ Горація пользуется дурной славой (genus irritabile vatum); въ пику ей я всегда дорожилъ славой человѣка необидчиваго и немелочного. Итакъ я рѣшилъ побороть всѣ горькія чувства, какъ ни было грустно разстаться съ героическимъ образомъ редактора-Катона; „педагогическія иллюзіи" я вмѣстѣ съ этой литературной заперъ въ конторку, и тотчасъ, чтобы засвидѣтельствовать свое миролюбіе, сталъ готовить для журнала новую, уже совершенно не мозольную статью. Дѣло въ томъ, что по хронологическимъ разсчетамъ одному изъ нумеровъ предстояло выйти какъ разъ въ сочельникъ Рождества; зная объ этомъ, я сталъ составлять для него научно-популярный рождественскій очеркъ п. загл. „Золотой вѣкъ".

Но увы! мое миролюбивое настроеніе было быстро нарушено. Появился четвертый нумеръ журнала; и вотъ въ числѣ его статей я, едва вѣря своимъ глазамъ, нашелъ одну, посвященную вопросу о классической школѣ и содержавшую самыя вульгарныя, нелѣпыя и беззубыя нападки на нее. Съ первыхъ же словъ защитники классической школы были отожествлены съ „реакціонерами"; столь же остроумны были и дальнѣйшіе доводы, самымъ вѣскимъ изъ которыхъ было проведенное съ большимъ апломбомъ доказательство, что въ той хваленой античности далеко не все обстояло такъ благополучно, какъ намъ, будто бы, говорятъ. И въ довершеніе доблести, авторъ статьи скрылъ свое имя, спрятавшись подъ маской псевдонимности. Вотъ, значитъ, ради кого и ради чего редакція сочла нужнымъ пожертвовать моей статьей,—статьей, если и не „блестящей", то все же честно подписанной честнымъ именемъ ея автора! Правда, передъ глазами виталъ достойный сожалѣнія образъ редактора, безпощадно затравленнаго своей неумолимой редакціей: мало того, что его заставили забраковать имъ же заказанную серію статей;—чтобъ испить до дна чашу униженія, онъ долженъ былъ, во искупленіе своей ереси,

принять и напечатать статью и очевидно нелѣпую, и противорѣчившую его собственнымъ убѣжденіямъ. Вотъ что̀ осталось отъ прежняго Катона!

Но, конечно, на мой образъ дѣйствій эти чувства жалости не должны были имѣть никакого вліянія. Напечатаніе статьи, какова бы она ни была, было грубымъ нарушеніемъ моихъ правъ, какъ редактора соотвѣтственнаго отдѣла; да если бы я и рѣшилъ пренебречь этимъ—не могъ же я отнестись безучастно къ тому, что отвѣтственнымъ за нее въ глазахъ читающей публики являлся я. Единственнымъ отвѣтомъ могъ быть мой немедленный выходъ изъ состава редакціи и сотрудниковъ. „Золотой вѣкъ" былъ положенъ въ конторку покоиться вмѣстѣ съ прочими „иллюзіями"—я напечаталъ его годомъ позже въ „Вѣстникѣ Самообразованія" и недавно переиздалъ въ своемъ сборникѣ; — редактору же я написалъ письмо съ заявленіемъ о своемъ выходѣ. Копіи съ того письма я не сохранилъ; помню только, что я, со ссылкою на стоящую въ девизѣ настоящей статьи эпиграмму Вл. Соловьева, выразилъ ему свое соболѣзнованіе по поводу незавидной роли, которую онъ игралъ въ своемъ собственномъ журналѣ.

* * *

Къ чему, однако, разсказываю я все это? Ужъ конечно не изъ чувства уязвленнаго самолюбія и не изъ мстительности: съ тѣхъ поръ столько воды утекло, что самая чувствительная и болѣзненная нервная система успѣла бы успокоиться. Равнымъ образомъ и не потому, чтобы я считалъ одиссею одной изъ своихъ заурядныхъ статей особенно важной для публики; да хранитъ меня Господь отъ такой самовлюбленности. Нѣтъ; басня сама по себѣ нимало не интересна, интересна только ея мораль.

Ея мораль—это то, что я назвалъ выше желѣзнымъ кольцомъ террора; въ данномъ случаѣ оно олицетворено въ „редакціи": „редакція" требуетъ предъ свой судъ и меня въ лицѣ моей статьи, какъ ересіарха, и редактора за преступное потворствованіе ереси; приговоръ—еретика безусловно отлучить, его же приспѣшнику дать время и нумеръ журнала на публичное отреченіе и покаяніе (amende honorable, какъ это нѣкогда

называлось технически) передъ идоломъ общественнаго мнѣнія. Грозно, неправда ли? Но да не подумаетъ читатель, тѣмъ не менѣе, что эта редакція состояла изъ какихъ-нибудь Торкемадъ или Робеспьеровъ. Ничуть не бывало; ея членовъ я отчасти зналъ, о другихъ имѣлъ достаточное представленіе. Робеспьера они могли напоминать развѣ только своимъ полнымъ и безусловнымъ несходствомъ, въ силу ассоціаціи идей по контрасту: это были люди науки, скромные, добродушные, даже робкіе... Такъ гдѣ же терроръ? спросятъ. Въ самомъ дѣлѣ, редакторъ—человѣкъ несомнѣнно доброжелательный и во всякомъ случаѣ порядочный, нѣкогда Катонъ, теперь скорѣе Раймундъ Тулузскій; члены редакціи—тоже люди ничуть не свирѣпые, а „скромные, добродушные, даже робкіе". Гдѣ же терроръ?—А въ этомъ самомъ: въ этой робости.

Это, дѣйствительно, фактъ очень интересный для психологіи общественнаго мнѣнія. Теперь вѣдь достаточно дознано, что и въ томъ пресловутомъ „комитетѣ общественнаго спасенія" большинство составляли вовсе не кровопійцы, а люди, дрожавшіе за собственную шкуру; они прекрасно знали, что если они сегодня не отправятъ на гильотину сотни невинныхъ людей—то ихъ отправятъ туда самихъ, заподозривъ ихъ съ „модерантизмѣ"... „Отправятъ"—кто? Люди такіе же робкіе, какъ и они сами, и по тѣмъ же побужденіямъ. Терроръ никогда не исходитъ отъ людей; онъ виситъ надъ ними, точно кошмаръ, дѣлая своими орудіями именно наиболѣе робкихъ и слабовольныхъ. И вотъ почему онъ нигдѣ не бываетъ столь страшенъ и опасенъ, какъ среди народа мягкаго и впечатлительнаго, „съ чувствами выше и съ волею ниже средняго уровня" европейскаго человѣчества...

Съ этимъ, читатель, вы *теперь*, надѣюсь, согласитесь.

— „Но позвольте: нашли что съ чѣмъ сравнивать! Комитетъ общественнаго спасенія—и ваша почтенная редакція; отправленіе на гильотину сотни людей—и отправленіе въ конторку забракованной статьи!".

Знаю и чувствую; но сравненіе не есть приравненіе, какъ подобіе не есть равенство; я имѣю право сравнивать очень малое съ очень большимъ, если я наблюдаю въ нихъ одинаковыя конфигураціи, вызванныя дѣйствіемъ однѣхъ и тѣхъ же

силъ. Здѣсь для меня важно установленіе факта, что наличность террора нимало не доказываетъ наличности соотвѣтственныхъ убѣжденій ни у совокупности, ни у большинства, ни даже у сколько нибудь значительнаго меньшинства тѣхъ, устами которыхъ онъ говоритъ, руками которыхъ онъ поражаетъ. Повторяю, терроръ есть кошмаръ; стоитъ какому-нибудь сильному человѣку, или какому-нибудь событію его разсѣять—и вчерашніе террористы становятся энтузіастами и рукоплещутъ тѣмъ, кого они вчера отправляли на гильотину. Одни и тѣ же люди до девятаго Термидора шли за Робеспьеромъ, а послѣ него за Талліеномъ—объ этомъ забывать не слѣдуетъ.

Оставимъ, однако, храмъ исторіи и вернемся въ свою обывательскую квартиру.

— „Какъ? неужто вся мораль тутъ?“

Нѣтъ, не вся; но для ея дополненія нужна новая басня, и, слѣдовательно, новый экскурсъ.

16 янв. 1905.

ЭКСКУРСЪ ВТОРОЙ.

Лѣвая шикаетъ.

'Ασυνέτημι τὰν ἀνέμων στάσιν.
τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται,
τὸ δ'ἔνθεν. ἄμμες δ'ἂν τὸ μέσσον
νᾶι φορήμεθα σὺν μελαίνᾳ...

Алкей.

„Литературный переводъ“:

Безсмысленна распря разгульныхъ вѣтровъ!
То слѣва шальная нагрянетъ волна,
То справа; а мы серединной тропой
Безстрашно несемся на вѣрной ладьѣ...

I.

Моя книга „Древній міръ и мы“ въ отдѣльномъ изданіи красовалась приблизительно годъ въ витринахъ книжныхъ магазиновъ, пока не разошлась. Въ теченіе этого года о ней много говорилось — я это знаю, отголоски этихъ разговоровъ порой до меня доходили, хотя, разумѣется, въ совершенно случайной выборкѣ. Не мало также о ней писалось: я самъ получилъ изрядное количество писемъ отъ незнакомыхъ мнѣ лицъ, за которыя приношу здѣсь мою сердечную благодарность ихъ авторамъ—отвѣчать на всѣ я, къ сожалѣнію, за массою другихъ занятій не могъ. Но зато печаталось о ней крайне мало—и притомъ вовсе не потому, чтобы она ускользнула отъ вниманія критики, или не возбудила ея

интереса. Вовсе нѣтъ: мнѣ извѣстенъ цѣлый рядъ случаевъ, когда рецензіи сотрудниковъ, даже наилучше „аккредитованныхъ“ при своихъ редакціяхъ, были имъ возвращаемы—иногда подъ предлогомъ, что война отвлекла интересъ публики отъ такого рода вопросовъ.

Разумѣется, для человѣка, мало-мальски знакомаго съ закулисной стороной фабрикаціи „общественнаго мнѣнія“, тутъ ничего неожиданнаго не было. Всякій „уважающій себя“ журналъ имѣетъ свое „направленіе“, которое и проводитъ со свойственной всѣмъ направленцамъ прямолинейностью. Такихъ направленій и соотвѣтствующихъ имъ направленскихъ трафаретовъ существуетъ у насъ около полудюжины; выходитъ новая книга — къ ней примѣряются имѣющіеся трафареты для обнаруженія ея направленія, а разъ направленіе обнаружено—вопросъ о томъ, хвалить ли ее или ругать, рѣшается самъ собою... Я не утверждаю, разумѣется, чтобы всѣ такъ поступали, но это во всякомъ случаѣ обычный пріемъ. Такъ вотъ по отношенію къ моей книгѣ онъ оказался совершенно непримѣнимымъ: изъ одного трафарета она однимъ угломъ вылѣзаетъ, изъ другого—другимъ: совершенно неясно, куда пристроить ея автора. Посмотришь съ одного бока—какъ будто нашъ; посмотришь съ другого — совсѣмъ не нашъ; не знаешь, что и дѣлать—хвалить или ругать. По тридцатилѣтней традиціи принято было друзей „классической системы“ упаковывать въ ящикъ, назначенный для „реакціонеровъ“: это было такъ удобно и неголоволомно. А этотъ, туда не лѣзетъ: законъ подбора, судъ присяжныхъ, притча о прогрессѣ—помилуй Богъ, реакціонеры прикажутъ святить свой ящикъ, если этакую ересь къ нимъ сунуть. Правда, нѣкоторые журналы рѣшили держаться мудраго правила: если не знаешь, хвалить или ругать, то безопаснѣе ругать—не за что иное, такъ за неясность направленія, за то, что поставилъ честныхъ, прямолинейныхъ людей въ глупое положеніе. Въ самомъ дѣлѣ, не возмутительно ли? Кажется, мы свое дѣло сдѣлали: накроили и нашили для васъ ливрей всѣхъ цвѣтовъ радуги. Надѣвай любую, по своему вкусу; что можетъ быть проще? Надѣлъ—и цѣлая система убѣжденій есть. Иной ихъ въ теченіе всей жизни вырабатываетъ, одно изъ другого выводя, одно къ другому при-

лаживая,—а тебѣ всего и работы, что правую да лѣвую руку вдѣть. Надѣлъ—и въ люди показаться можно. И тебѣ легче и намъ удобнѣе: сейчасъ видишь, съ кѣмъ имѣешь дѣло, хвалить тебя или ругать. — Такъ нѣтъ же: не хочетъ человѣкъ ливреи, хочетъ въ своемъ костюмѣ щеголять. Да кто же тебя послѣ этого разберетъ, кто ты... и чей ты?

Разсужденіе вполнѣ убѣдительное: и требованія и досада, и взысканіе, съ точки зрѣнія „слишкомъ многихъ", болѣе чѣмъ понятны. Понятны, да, но и мало интересны. Если я, еще не раскрывъ журнала, знаю, какова будетъ напечатанная въ немъ на меня рецензія—знаю потому, что и самъ рецензентъ, еще не раскрывъ моей книги, зналъ, какъ онъ ее напишетъ—то она особаго интереса для меня не представитъ. Оставляю поэтому безъ отвѣта и даже упоминанія всѣ рецензіи этого рода; ихъ авторы при всемъ томъ люди почтенные, и я усердно прошу ихъ не помнить зла на меня за тѣ нелѣпости, на которыя ихъ вдохновила моя книга.

Но на одну мнѣ все-таки хотѣлось бы отвѣтить.

II.

Слышу возраженія: къ чему? Кому это нужно? Рецензія появилась болѣе года тому назадъ и теперь всѣми забыта, включая, вѣроятно, и самого ея автора. Да и независимо отъ этого: отвѣчаютъ на рецензію люди либо обидчивые, либо чувствующіе, что она можетъ имъ повредить; благоразумно ли сопричислять себя къ лицамъ одной изъ этихъ двухъ категорій?

Именно потому и отвѣчаю, что этого сопричисленія не боюсь. Что рецензія моей книгѣ не повредила, доказывается тѣмъ, что она выходитъ новымъ изданіемъ. Что я необидчивъ, доказываютъ всѣ пасквили, направленные противъ меня за послѣднія 20 лѣтъ—пасквили, исправно оставленные мною безъ отвѣта. Изъ нихъ самый массивный—и по объему и по ругательной энергіи—пасквиль въ 112 страницъ убористаго шрифта, напечатанный въ „запискахъ Юрьевскаго Университета" (1896 № 4; имени автора я не называю, такъ какъ оно никому ничего не говоритъ). Полагаю, что всякій, кто прочтетъ хоть двѣ

страницы этой книги,—именно книги—выдастъ мнѣ свидѣтельство въ прямо таки рѣдкостной невозмутимости.

Теперь же я отвѣчаю потому, что авторъ той рецензіи—одинъ изъ талантливѣйшихъ нашихъ публицистовъ; споръ между нимъ и мной сводится отчасти къ спору между публицистикой и наукой, что̀ я и намѣренъ надлежащимъ образомъ освѣтить въ заключительной части этого экскурса. Полагаю, что это—тема общеинтересная. Затѣмъ: именно какъ хорошій публицистъ, онъ ловко выдвинулъ такія соображенія, которыя убѣдительны для обыкновеннаго, неподготовленнаго читателя—которыя, поэтому, и теперь, при второмъ изданіи книги, могутъ возникнуть въ его умѣ; вотъ почему моя полемика, дополняя и защищая матеріалъ „лекцій", будетъ органическимъ и умѣстнымъ прибавленіемъ къ нимъ. Съ этой стороны, такимъ образомъ, даже хорошо, что я отвѣчаю только теперь, а не тогда, непосредственно послѣ появленія рецензіи.

Все же я не хочу кривить душой и увѣрять читателя, будто я именно по этой причинѣ отложилъ свой отвѣтъ на полтора года; нѣтъ, виной тутъ было не мое разумное рѣшеніе, а „независящія обстоятельства". Мой противникъ—одинъ изъ редакторовъ журнала, напечатавшаго рецензію; онъ напалъ на меня изъ собственнаго дома, какъ домовладѣлецъ. Я — не домовладѣлецъ, а квартирантъ; ну, а въ частной квартирѣ вести бой неудобно—домохозяинъ можетъ запротестовать, особенно если онъ самому бою не сочувствуетъ (ср. первый экскурсъ). Что̀ дѣлать; таковы условія борьбы, которую я веду, и одна изъ ея прелестей. Паки говорю вамъ: надѣньте ливрею! Будетъ у васъ ливрея—сами будете знать, куда вамъ обратиться на случай напасти; двери замка Капулетовъ настежь открыты для всѣхъ, кто носитъ капулетовскую ливрею; входите смѣло, становитесь къ бойницѣ и храбро стрѣляйте въ своихъ супостатовъ, коли умѣете стрѣлять. А нѣтъ ливреи—сами на себя пеняйте, если васъ будутъ колотить и Монтекки, и Капулеты на улицахъ города; таковы условія жизни и жизненной борьбы „въ Веронѣ древней и прекрасной".

Я, однако, и этотъ разъ ливреи не надѣлъ, а терпѣливо ждалъ, пока не выстроилъ собственнаго дома; и пусть этотъ домъ—„хата зъ лободы" въ сравненіи съ журнальной крѣпостью

моего противника—зато онъ мой и я могу изъ него щелкать въ свое удовольствіе, не испрашивая ничьего разрѣшенія и не опасаясь ничьего протеста.

Рецензія, которую я имѣю въ виду, появилась въ ноябрьской книжкѣ журнала „Міръ Божій" за 1903 г. и подписана буквами А. Б. Такъ какъ всѣмъ читателямъ журнала извѣстно, что это иниціалы А. И. Богдановича, то я, полагаю, не совершаю никакой нескромности, называя его—его именемъ.

III.

Авторъ извѣстенъ какъ строгій, не идущій ни на какіе компромиссы, сторонникъ классической школы—съ этихъ словъ начинаетъ г. Богдановичъ свою характеристику моей книги. Сказано вѣско; откуда, однако, и какъ могъ я пріобрѣсть эту столь внушительную извѣстность? Своимъ университетскимъ слушателямъ я извѣстенъ, надѣюсь, своими лекціями, въ которыхъ мнѣ, однако, ни о какихъ компромиссахъ говорить не приходится. Остальной публикѣ я, можетъ быть, извѣстенъ своими статьями — но и онѣ не давали рецензенту никакого матеріала для его утвержденія. Самое естественное было, кажется, заглянуть въ мою книгу, благо именно въ ней и говорится подробно о классической школѣ; но тутъ-то мы и наблюдаемъ интересное явленіе. Дѣло въ томъ, что другой критикъ моей книги, г. Энгельгардтъ въ „Новомъ Времени" (1904 г. 23 ноября) вывелъ изъ нея заключеніе прямо противоположное заключенію г. Богдановича: *практическій выводъ его* (т.-е. мой) *очень скроменъ: „Вовсе не нужно, говоритъ онъ, чтобы всѣ члены даннаго общества прошли черезъ горнило классическаго воспитанія. Нужно, чтобы въ каждомъ обществѣ былъ извѣстный процентъ людей съ классическимъ образованіемъ, а среди нихъ опять сравнительно небольшая кучка людей, посвятившихъ свою жизнь изученію античности". Кучка! извѣстный процентъ! Вы видите, что pia desideria профессора весьма умѣренны.* Положимъ г. Богдановичъ и г. Энгельгардтъ привыкли видѣть вещи въ „супротивномъ свѣтѣ", какъ говорили астрологи, но вѣдь здѣсь рѣчь идетъ не объ освѣщеніи,

а о голыхъ, объективныхъ фактахъ. Г. Энгельгардтъ добросовѣстно ссылается на подлинныя слова критикуемой книги (ср. выше стр. 120); г. Богдановичъ голословно сочиняетъ отъ себя—само собою разумѣется, что правъ первый, и я ничего не имѣю прибавить къ его совершенно правильному и объективному выводу. Само собой разумѣется также, что и г. Б. сочиняетъ не зря, а въ угоду публицистической тенденціи своей рецензіи; но объ этомъ у насъ рѣчь впереди.

Послѣ такой характеристики моей личности рецензентъ передаетъ „въ самыхъ общихъ чертахъ положенія“ моей книги. Т.-е. это онъ говоритъ, что передаетъ ихъ; на самомъ же дѣлѣ онъ выбираетъ свои пункты такъ произвольно и такъ окрашиваетъ ихъ въ свой собственный колоритъ, что всякій ученикъ, который бы такъ передалъ содержаніе прочитаннаго произведенія, получилъ бы отъ учителя... когда-то единицу, но и теперь врядъ ли больше тройки. Гдѣ у меня сказано, напримѣръ, что *внѣ античности нѣтъ научной работы?* Но разумѣется, г. Б. знаетъ, что говоритъ, и грѣшитъ чѣмъ угодно, но только не ученической наивностью; а впрочемъ, и объ этомъ рѣчь впереди.

Всѣ эти публицистическія вольности имѣли цѣлью внушить читателю рецензіи, что онъ въ лицѣ меня имѣетъ дѣло съ человѣкомъ „увлекающимся“. Считая это внушеніе успѣшнымъ, критикъ тутъ же читаетъ нотацію и мнѣ: *когда имѣешь дѣло съ неподготовленной аудиторіей, не слѣдовало бы допускать нѣкоторыхъ болѣе чѣмъ странныхъ, можно сказать „гомерическихъ“ преувеличеній.* Гомерическая поэтика меня интересуетъ давно и изслѣдована мною, какъ полагаютъ спеціалисты, не безрезультатно; все же особыхъ „гомерическихъ преувеличеній“ мнѣ примѣчать не приходилось, и я склоненъ поставить ихъ на одну доску съ прочими открытіями г-на Б. въ области античности, о которыхъ скажу ниже. Самый характеръ нотаціи таковъ, что, судя по ней одной, можно бы было принять г-на Б. за окружного инспектора. Но въ чемъ же состоятъ эти мои гомерическія преувеличенія?

Объ этомъ слѣдуютъ пункты.

IV.

Эти пункты я считаю полезнымъ разобрать. Безплодной полемики и обыкновенной журнальной грызни я и самъ не люблю и отягчать ею свою книгу не намѣренъ; и конечно не для того возражаю я г-ну Б., чтобы убѣдить его или уронить его авторитетъ передъ читателями—первое невозможно, второе ненужно, — а потому, что эти возраженія даютъ мнѣ возможность развить тѣ положенія моей книги, которыя показались наиболѣе шаткими ему — а слѣдовательно, могутъ показаться таковыми и другимъ.

Первое изъ этихъ возраженій направлено противъ краткаго очерка развитія классическаго образованія на стр. 11 сл., гдѣ главные фазисы тысячелѣтней эволюціи разсказаны на двухъ страницахъ; понятно, что при такой сжатой передачѣ историческаго процесса, касающагося вводнаго, а не основного пункта моихъ лекцій, я не могъ тратить времени на иллюстраціи и далъ этимъ г-ну Б. благодарное поле для его глумленій. Прошу прочесть мои слова (стр. 11): „прежде всего, еще въ ранній періодъ среднихъ вѣковъ кажущейся цѣлью классическаго образованія было усвоеніе Священнаго Писанія и литургіи и т. д. Конечно, для этого былъ другой способъ, болѣе простой и удобный — переводъ всего этого на родной языкъ: такъ поступили народы христіанскаго востока, и послѣдствіемъ было то, что они остались въ сторонѣ отъ культурнаго движенія. Затѣмъ во вторую половину средневѣковья" и т. д. Въ этой самоочевидной истинѣ г-нъ Б. видитъ *насмѣшку надъ наивностью юныхъ слушателей. Неужели*, восклицаетъ онъ, *восточные славяне отстали отъ Запада потому, что Кириллъ и Меѳодій перевели Священное Писаніе на славянскій языкъ? Значитъ, въ глазахъ поклонника античности турки и татары—ничто въ сравненіи съ этимъ переводомъ?* Нѣтъ; но поклонникъ античности не настолько наивенъ въ области исторіи новыхъ народовъ, чтобы относить турецкій и татарскій погромы къ раннему средневѣковью. Это мой отвѣтъ г-ну Б. за его неумѣстное умничанье и щеголяніе своей дешевенькой эрудиціей. Моимъ же читателямъ имѣю по этому пункту сказать слѣдующее:

Я не стану здѣсь разсуждать о томъ, былъ ли переводъ Священнаго Писанія славянскими первоучителями по совокупности данныхъ желательнымъ или нежелательнымъ событіемъ; вопросъ этотъ имѣетъ свою религіозную, имѣетъ свою національную сторону, и по этимъ двумъ я своего мнѣнія здѣсь высказывать не намѣренъ; насъ здѣсь интересуетъ только одна сторона вопроса—вліяніе этого перевода, и притомъ косвенное, на умственную культуру славянскихъ народовъ, спеціально русскаго, понимая притомъ эту умственную культуру въ свѣтскомъ, а не въ духовномъ значеніи слова... Я былъ бы очень благодаренъ читателю, если бы онъ соблаговолилъ еще разъ прочесть послѣднюю фразу и запомнить всѣ заключающіяся въ ней оговорки... Итакъ, продолжаю. На Западѣ необходимость изученія Писанія и литургіи повела къ необходимости изучать латинскій языкъ, т.-е. къ классическому образованію; а разъ овладѣвъ этимъ языкомъ, интеллигентъ—не забудемъ, что средневѣковой интеллигенціей былъ клиръ—обладалъ ключемъ, который могъ открыть ему, и дѣйствительно открылъ, всю сокровищницу античной науки, имѣвшейся на латинскомъ языкѣ. Благодаря этому ключу, семь энциклопедическихъ наукъ стали достояніемъ всей духовной интеллигенціи; болѣе способные двигались дальше, изучали на Ливіи и Светоніи—исторію, на латинскомъ Аристотелѣ (Боэтія)—философію, на Пливіи Старшемъ—естествовѣдѣніе, на Цельсѣ—медицину, и т. д. Независимо отъ этого латинская поэзія—Вергилій, Овидій—оросила ниву родной поэзіи западныхъ народовъ, давая пѣвцамъ и образцы для усвоенія поэтической техники, и матеріалъ для частичнаго или полнаго заимствованія; результатомъ явилась средневѣковая поэзія западныхъ народовъ, представляющая собой въ извѣстномъ родѣ совершенство. Все это можетъ быть прослѣжено по отдѣльнымъ фазисамъ развитія. Повторяю: латинскій языкъ, ставшій обязательнымъ какъ языкъ церкви, открылъ западной интеллигенціи и античную науку и античную поэзію и этимъ положилъ начало возникновенію западноевропейской науки и поэзіи.—Что это, мое „увлеченіе"? „гомерическое" преувеличеніе? Или же—краткій перечень фактовъ, извѣстныхъ всѣмъ, кто хоть сколько-нибудь интересовался исторіею умственной культуры Запада? — А теперь перейдемъ къ намъ.

Представимъ себѣ на минуту, что нѣчто аналогичное произошло бы у насъ; что и у насъ церковнымъ языкомъ былъ бы одинъ изъ античныхъ, — т.-е., согласно направленію, данному русской религіозной жизни политикой князя Владиміра, греческій. Быть можетъ, это было бы въ другихъ отношеніяхъ очень дурно—напомню свою оговорку; но мы имѣемъ въ виду исключительно умственную сторону дѣла. Изученіе греческаго языка дѣлается обязательнымъ для русскаго духовенства; въ библіотеки русскихъ монастырей поступаютъ уже не слабыя латинскія передѣлки Платона и Аристотеля, а подлинный Платонъ и подлинный Аристотель; не Цельсъ, а Гиппократъ и Галенъ; не Плиній, а ботаникъ Θеофрастъ и тотъ же Аристотель, какъ зоологъ; не Вергилій съ Овидіемъ, а Гомеръ и Еврипидъ; не отраженія и подражанія, однимъ словомъ, а источники и подлинники. Неужели мы такъ лишены комбинаціонной способности, что не можемъ даже представить себѣ, хотя бы въ видѣ предположенія, того дѣйствія, которое это знакомство произвело бы на пытливую душу молодого, сильнаго и смѣлаго народа? — Но, разумѣется, ничего подобнаго не случилось; греческій языкъ не только не сталъ обязательнымъ—на него даже смотрѣли косо: у васъ есть Писаніе, литургія, житія на славянскомъ языкѣ—чего же вамъ больше? Да, конечно. Но позвольте поставить вопросъ: какую сокровищницу науки или поэзіи открылъ русской интеллигенціи (ими тому, чтò было ея суррогатомъ) церковно-славянскій языкъ? А если вы на этотъ вопросъ должны отвѣтить: никакой, ровно никакой, — то по какому праву оспариваете вы мое положеніе, что именно вслѣдствіе этого славянскаго перевода, заслонившаго греческіе подлинники и сдѣлавшаго ненужнымъ изученіе греческаго языка, народы христіанскаго Востока остались въ сторонѣ отъ развитія общеевропейской культуры, — задолго до турецкаго и татарскаго погрома?

V.

Второе возраженіе параллельно первому; оно направлено противъ одной фразы на стр. 8 „... что и въ настоящее время культурная сила народа тѣмъ значительнѣе, чѣмъ серьез-

нѣе въ немъ поставлено классическое образованіе, между тѣмъ какъ народы, лишенные его вовсе (напр. испанцы), не играютъ никакой роли въ мірѣ идей, несмотря на свою численность и славу своего прошлаго". Мой критикъ спрашиваетъ: стало быть, *испанцы отстали въ культурѣ не потому, что инквизиція и абсолютизмъ задержали ростъ этого народа?* — и, комбинируя это возраженіе съ вышеприведеннымъ, игриво продолжаетъ: *почтенному профессору остается для послѣдовательности прибавить, что нашествія турокъ и татаръ не было бы, если бы не было перевода Писанія, а въ Испаніи не было бы ни инквизиціи ни абсолютизма, если бы своевременно была введена классическая школа...* Нѣтъ, послѣдняго я ни для какой послѣдовательности не прибавлю, такъ какъ знаю, что и въ эпоху Возрожденія, и позже въ Испаніи была очень серьезная классическая школа, и что испанскій гуманистъ Вивесъ (16 в.) былъ общеевропейскимъ законодателемъ педагогики. На первую шалость позволю себѣ ничего не отвѣтить и, поздравляя моего критика съ его веселымъ настроеніемъ, сообщить ему нѣчто о немъ самомъ—для него, можетъ быть, и не новое... а впрочемъ, почемъ мнѣ знать.

Дѣло въ томъ, что всякое явленіе въ культурной исторіи народовъ происходитъ по закону параллелограмма силъ, представляя изъ себя „равнодѣйствующую" изъ опредѣленнаго... нѣтъ, вѣрнѣе, неопредѣленнаго и неопредѣлимаго числа „составляющихъ". Мы, историки культуры, стараемся установить хоть главныя изъ нихъ; мы считаемъ свою задачу рѣшенной, когда намъ удалось доказать, что и направленіе, и сила культурной равнодѣйствующей вполнѣ объясняется направленіемъ и силой обнаруженныхъ нами составляющихъ, понимая подъ послѣдними какъ способствующіе окончательному направленію, такъ и отклоняющіе и задерживающіе элементы. При этомъ пониманіи задачи она, конечно, представляется довольно сложною: не угодно ли имѣть въ виду каждый разъ цѣлую систему составляющихъ, опредѣлять ихъ направленіе, взвѣшивать ихъ силу... Что дѣлать, наука вообще дѣло не легкое.

Совершенно въ иномъ свѣтѣ видитъ свою задачу публицистика... правда, я ея сопоставленіе съ наукой приберегъ

для заключительной характеристики, но, пожалуй, будетъ умѣстно, разъ представился случай, обосновать уже здѣсь одинъ результатъ этого сопоставленія, чтобы имъ потомъ воспользоваться какъ готовымъ матеріаломъ. Всякому ремеслу свойственъ—либо какъ причина, либо какъ слѣдствіе—особый складъ ума, особые пріемы мышленія и выраженія; Дидро называетъ это idiotisme du métier. Публицистикѣ свойственъ симплизмъ; въ немъ заключается ея особый, специфическій „идіотизмъ“. Этотъ симплизмъ, въ которомъ она себѣ отчета не отдаетъ, — такой отчётъ былъ бы сугубо „антисимплистиченъ“—имѣетъ своимъ главнымъ требованіемъ сведеніе множества къ единицѣ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ это только возможно; одно изъ его главныхъ правилъ гласитъ: „всякое слѣдствіе имѣетъ только одну причину, всякая причина имѣетъ только одно слѣдствіе“; законъ параллелограмма силъ замѣненъ закономъ прямолинейности. Спѣшу оговориться: я этимъ не хочу сказать, чтобы всякій публицистъ вездѣ и всегда мыслилъ симплистически,—это было бы симплизмомъ съ моей стороны; я говорю только, что законъ симплизма—одна изъ главныхъ составляющихъ, да пожалуй, главная, среди законовъ его мышленія; что предрасположеніе къ симплистическому мышленію сказывается всегда съ бóльшей или меньшей силой въ зависимости отъ наличности или отсутствія задерживающихъ элементовъ. Скажу болѣе: публицистъ тѣмъ талантливѣе, чѣмъ сильнѣе въ немъ развитъ симплизмъ; психологическое обоснованіе этого факта откладываю до заключительной характеристики.—Теперь перехожу къ г. Б. и тѣмъ его возраженіямъ, которыя дали поводъ къ этому моему разсужденію.

Въ самомъ дѣлѣ, прошу читателя еще разъ взглянуть на эти возраженія; не правда ли, съ какой яркостью въ нихъ сказывается законъ симплизма! Я усматриваю въ славянскомъ переводѣ Писанія причину культурной отсталости восточныхъ славянъ; *значитъ*, отвѣчаетъ мнѣ г. Б., *турки и татары — ничто?* Я называю отсутствіе классической школы причиной низкаго уровня нынѣшней испанской науки — *значитъ, не инквизиція и абсолютизмъ задержали ростъ этого народа?* Вездѣ предполагается симплистическое правило „всякое слѣдствіе имѣетъ только одну причину“; кто видитъ въ славян-

скомъ переводѣ Писанія причину отсталости восточныхъ славянъ, тотъ этимъ самымъ отрицаетъ вредное вліяніе татарскаго погрома и т. д.

„А вы сами“,—спросятъ меня,—„этимъ симплизмомъ не грѣшите?“ Помилуйте, гдѣ же? Гдѣ у меня сказано, что славянскій переводъ единственная причина отсталости славянъ, или что отсутствіе классической школы — единственная причина отсталости испанцевъ? Да и на что мнѣ эта исключительность? Я вижу въ античности одну изъ составляющихъ въ культурномъ параллелограммѣ, притомъ такую, которая всегда благотворно отзывается на направленіи равнодѣйствующей; это я стараюсь доказать, и этого вполнѣ достаточно для того вывода, который я на стр. 5 формулирую въ словахъ: „берегите классическое образованіе пуще зѣницы ока!“ Но, спросятъ, почему же не говорю я о другихъ составляющихъ? Да просто потому, что это не входитъ въ мою задачу. Я вовсе не задался цѣлью обнаружить всѣ составляющія современной культуры, а только выяснить роль, которую въ ней играетъ античность, въ качествѣ одной изъ нихъ; повѣрьте, что и это было достаточно трудной и едва посильной задачей.

А впрочемъ, — сколько бы я ни сдѣлалъ оговорокъ, они г-ну Б. все-таки бы не помогли. Онъ просто бы ихъ проглядѣлъ. Таковъ уже складъ его ума; при своемъ чисто прямолинейномъ мышленіи онъ прямо-таки неспособенъ обнять параллелограммъ силъ въ области умственности, точно такъ же какъ существа одного измѣренія (буде таковыя есть) неспособны понять явленія плоскости. Это не предположеніе, а фактъ; ниже (гл. VII) будутъ приведены доказательства.

VI.

Еще болѣе строгій выговоръ дѣлается мнѣ въ дальнѣйшемъ: *Странно*, говоритъ г. Б., *и не совсѣмъ понятно, какъ могъ онъ проглядѣть всю современность*, (подчеркнуто), *которая съ античностью имѣетъ такъ мало общаго*. Это я-то ее проглядѣлъ — я, который только о ней и о значеніи для нея античности и толкую во всей моей книгѣ! Но, конечно, г. Б.

въ свою очередь все это проглядѣлъ; отсюда его *такъ мало общаго*. Смотря по тому, какая современность, г. Б!; та, которая окружаетъ насъ, имѣетъ съ ней очень много общаго—начиная съ логики; но ваша не имѣетъ съ ней даже этого соединительнаго звена. Въ самомъ дѣлѣ, вы продолжаете: *классическая школа перестала удовлетворять духу демократизма*. Отсюда я, воспитанный на античной логикѣ, вывожу заключеніе, что раньше она этому духу удовлетворяла—и готовлюсь къ неутѣшительной и безплодной борьбѣ съ моллюсками безформенныхъ и расплывчатыхъ понятій. Ничуть не бывало, однако: нѣсколько дальше вы говорите про ту же классическую школу, что *въ свое время она отвѣчала духу аристократизма, преобладающему въ обществѣ, будучи школой для немногихъ избранныхъ*. Ну, теперь уже борьба не трудна, но неутѣшительной она все-таки остается. Какъ вамъ не совѣстно, г. Б., вступать со мною въ споръ о классической школѣ, не зная даже азовъ въ исторіи ея развитія! Замѣчательно аристократической, неправда ли, была та классическая школа, въ которой учился сынъ эйслебенскаго рудокопа, Мартинъ Лютеръ? Да развѣ изъ аристократовъ набиралась тогдашняя университетская молодежь, будущіе священники, врачи, юристы? Загляните въ ихъ пѣсенники: вы увидите, что передъ вами— сыны народа, отъ него пошедшіе и къ нему возвращающіеся. Загляните въ главное орудіе этихъ классическихъ школъ еще въ 18, еще въ 19 в., въ изданія классиковъ, будь то цвейбрюкенскаго (Bipontinae) или галльскаго производства: скверная бумага, неясный шрифтъ—такъ и видно, что они назначались для мальчиковъ, воспитываемыхъ на мѣдные гроши. А аристократы развѣ въ гимназіи посылали своихъ дѣтей? Нѣтъ; для нихъ было домашнее воспитаніе, были гувернеры. Конечно, въ число предметовъ преподаванія были включаемы и древніе языки, до поры до времени; но уже въ 17 в., когда демократическія тенденціи Возрожденія пошли на убыль, положеніе дѣлъ измѣнилось. Было рѣшено, что классическая школа хороша для простыхъ смертныхъ—пусть они и корпятъ надъ латинской и греческой грамматиками,—а для аристократовъ нужны были „галантныя" науки. Латынь, скрѣпя сердце, оставили, такъ какъ она была „еще" нужна; но греческій

языкъ изгнали, замѣнивъ его — знаете, чѣмъ?—Физикой! она среди „галантныхъ" наукъ стояла на первомъ мѣстѣ. Вотъ какой „аристократической" была классическая школа въ 17 и 18 вв. А теперь развѣ дѣло измѣнилось? Возьмите толстовскую эпоху; гдѣ вы найдете знаменитыхъ „кухаркиныхъ сыновей": въ лицеѣ ли съ его захудалой латынью, или въ классической школѣ „съ обоими древними языками"?

Итакъ, заявленіе г-на Б. опять діаметрально противоположно истинѣ: именно классическая школа всегда была, есть и будетъ истинно демократическая [1]), именно она *не* соотвѣтствовала аристократическому духу, который всегда инстинктивно отъ нея отворачивался. Почему? Потому, что классическая школа—школа трудовая, а трудъ—истинно демократическое мѣрило человѣческой цѣнности. Потому, что она даетъ образовательный цензъ, а таковой не нуженъ тому, кто уже обладаетъ цензомъ происхожденія. Но это, конечно, не я первый замѣчаю. Прочтите интересную книгу Фулье, les études classiques et la démocratie; я съ нимъ не во всемъ согласенъ, но этотъ принципъ имъ хорошо проведенъ. Недурно, также сказалъ другой французъ: l'enseignement classique ne s'adresse pas à une élite; *il en fait une*. А эта „элита" — элита способностей и трудолюбія — всегда намъ будетъ нужна, и притомъ тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе будетъ прогрессировать демократизація нашего общества, чѣмъ болѣе умственный цензъ будетъ затемнять всѣ прочіе.

Впрочемъ, эта мысль у меня достаточно развита въ моихъ

---

[1]) Иллюстрацій можно привести массу, но особенно характерной мнѣ кажется слѣдующая справка, любезно сообщенная мнѣ моимъ уважаемымъ коллегой Е. В. Тарле. Это—отвѣтъ редакціи журнала Irish People, органа феніанской партіи (наиболѣе крайней изъ всѣхъ ирландскихъ революціонныхъ партій) на одинъ изъ многочисленныхъ запросовъ къ ней ирландской молодежи на тему о томъ, что читать, какъ образовываться и т. д.; онъ гласитъ такъ: „...и прежде всего мы совѣтуемъ вамъ закрѣпить въ своей памяти все, что вы усвоили изъ латинскаго и греческаго языковъ, и постараться усвоить больше, такъ какъ эти языки -- единственная надежная основа для всякой высшей культуры" (...and first we tell you to keep a fast hold of whatever Latin and Greek you have got and try to get more; for these languages are the only basis for any high culture. — См. Recollections of fenians and fenianism, by John O'Leary, II, 82.—Лондонъ. 1896).

лекціяхъ, стр. 135 сл.; внимательное чтеніе этихъ страницъ должно бы было удержать г-на Б. отъ его неосновательныхъ обвиненій на стр. 3—если бы его вообще можно было удержать.

VII.

Но, разъ попавъ на эту колею, мой рецензентъ по роковой силѣ энерціи несется по ней далѣе и далѣе. Выходитъ, что *современность*, представителемъ которой г. Б. считаетъ себя, *ничего не имѣетъ противъ античности самой по себѣ*. Что же, очень радъ; значитъ, сговориться можно будетъ. Но, продолжаетъ онъ, *мы всегда будемъ возражать противъ античности, какъ единственной* (подчеркнуто) *основы школы, подавляющей и подчиняющей все остальное*. Да гдѣ же я требовалъ, чтобы античность считалась единственной основой? Не говоря уже о томъ, что я рядомъ съ классической школой для людей соотвѣтствующаго дарованія допускаю и требую школъ другихъ типовъ — гдѣ у меня сказано, что даже въ классической школѣ античность должна быть единственной основой? Нигдѣ; зато на стр. 18 сказано прямо противоположное. Здѣсь я совершенно ясно и недвусмысленно требую *трехъ* основъ для классической школы, видя въ античности лишь одну изъ нихъ. Вотъ и извольте разговаривать съ симплистомъ! У него самъ собою, какъ шишка на ушибленномъ лбу, выростаетъ силлогизмъ „основа — значитъ, единственная основа"; и замѣтьте, никакія оговорки, какъ бы онѣ ни были ясны, не спасаютъ отъ этого роковаго проявленія закона симплизма.

Ничего не спасаетъ: шишка растетъ и растетъ. *Когда намъ говорятъ, что нѣтъ спасенія внѣ античности, мы готовы отвѣчать: тогда и не надо намъ вашего спасенія! „Ужъ лучше смерть, чѣмъ жизнь поносна!" И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть „поноснѣе", презрѣннѣе, чѣмъ видѣть свои идеалы позади, а не въ будущемъ?* Г. Б., боюсь, не представляетъ себѣ какъ слѣдуетъ всего ребяческаго характера своего возраженія. Такъ точно вѣдь и ребенокъ говоритъ „не надо мнѣ вашего здоровья!" когда ему предлагаютъ осво-

бодиться отъ своего „поноснаго“ состоянія посредствомъ не очень вкуснаго, но очень благодѣтельнаго лѣкарства. Но это уже его личное дѣло; мое же дѣло вотъ какое.

Гдѣ и когда говорилъ я, что *вижу свои идеалы позади, а не въ будущемъ?* Нигдѣ и никогда. Зато на стр. 76 я говорю слѣдующее: „Нормативная точка зрѣнія a priori неправильна не только по отношенію къ античности, но и по отношенію къ чему бы то ни было. Мы всѣ, работающіе на почвѣ античности съ сознаніемъ важности и плодотворности нашей работы для нашихъ современниковъ и потомковъ—мы всѣ въ одинъ голосъ протестуемъ противъ этой точки зрѣнія, которую намъ навязываютъ иногда не по разуму усердные союзники, чаще же—невѣжественные или злонамѣренные противники (видно, не обмануло меня мое предчувствіе). Нѣтъ, господа; мы не намѣрены васъ вернуть къ тому, что было; наши взоры устремлены впередъ, а не назадъ (кажется, ясно?). Если дубъ глубоко пускаетъ свои корни въ почву, на которой онъ растетъ, то не потому, чтобы ему хотѣлось обратно вростать въ землю, а потому, что онъ изъ этой почвы черпаетъ силу, которая даетъ ему возможность подниматься къ небесамъ, переростая всѣ живущіе одною только поверхностью кусты и злаки. Античность должна быть не нормой, а *живительной силой* современной культуры“. Да, „не норма, а сила“, „не норма, а сѣмя“... я такъ часто повторялъ эти слова въ своихъ лекціяхъ, что боялся даже надоѣсть ими. Это — самое основное изъ всѣхъ моихъ основныхъ положеній. И что же? Ничего не помогло. Г-нъ Б. не только пропускаетъ его тамъ, гдѣ онъ резюмируетъ мои положенія — онъ и здѣсь приписываетъ мнѣ мысли, діаметрально противоположныя тѣмъ, которыя я высказалъ и развилъ.

Что же это такое? Невѣжество, или злонамѣренность? — Попросту, симплизмъ.

VIII.

При всемъ томъ г. Богдановичъ обвиняетъ меня въ *страшной односторонности* (стр. 6); что же, это обычный публицистическій пріемъ. Въ доказательство онъ приводитъ, выпи-

сывая ее in extenso, мою параллель между ивами Гомера и соснами Пушкина (стр. 66 сл.) и затѣмъ продолжаетъ такъ. *Почтенный профессоръ въ пылу увлеченія забылъ мудрое правило древнихъ: заниматься предметомъ—sine ira et studio. Иначе онъ не допустилъ бы нѣсколькихъ ошибокъ, очень странныхъ въ данномъ случаѣ. Конечно, самое сопоставленіе приведенныхъ мѣстъ и притомъ съ точки зрѣнія натуралиста заключаетъ въ себѣ нѣчто высоко комичное.* Ну, это дѣло вкуса, а о таковомъ я съ гоголевскимъ мичманомъ препираться не намѣренъ. *Но уже разъ мы пустились въ натуралистическую оцѣнку поэзіи, то надо быть освѣдомленнымъ въ самомъ предметѣ. „Сосенъ холостяковъ не бываетъ; того явленія, которое здѣсь нарисовала фантазія поэта, онъ въ дѣйствительности наблюдать не могъ". Очень тяжелый упрекъ такому правдивому поэту, какъ Пушкинъ; но, къ счастью, этотъ упрекъ всецѣло слѣдуетъ возвратить по адресу филолога, а не поэта. Дѣйствительно, сосны однодомны, но одно и то же дерево само себя не опыляетъ, а размножается всегда* (подчеркнуто) *перекрестнымъ опыленіемъ... Такъ что сосна, стоящая „одна поодаль", и не сможетъ дать потомство, которое бы тѣснилось подъ сѣнью ея какъ „дѣти" и пушкинское сравненіе такой сосны, съ „угрюмымъ старымъ холостякомъ" совершенно вѣрно.* Это, стало быть, вторая моя *странная ошибка.*

Г. Б. по своей университетской спеціальности — натуралистъ; естественно, что онъ почувствовалъ потребность прочесть нотацію филологу по этой части. Его замѣчаніе о необходимости *быть освѣдомленнымъ въ самомъ предметѣ*, разумѣется, вполнѣ основательно; могу сказать по совѣсти, что я самъ ее сознавалъ. Моимъ пособіемъ было сочиненіе, хотя и популярное, но все же для неспеціалиста достаточно подробное—двухтомная „Жизнь растеній" Кернера фонъ-Марилаунъ: изъ его изложенія (II стр. 247 сл. русскаго перевода 1900 г. подъ ред. проф. Бородина) я узналъ, что однодомныя растенія, къ которымъ принадлежитъ и сосна, „протерогиничны", т.-е. что у нихъ плодники раньше дѣлаются воспріимчивы, чѣмъ созрѣетъ тычинковая пыль; что такимъ образомъ въ промежуточное время оплодотвореніе плодниковъ возможно лишь посредствомъ перекрестнаго опыленія; но впослѣдствіи, когда

собственная пыль ихъ созрѣетъ, наступаетъ полная возможность самоопыленія. На этомъ основаніи я и рѣшилъ, что одинокая сосна, предполагая невозможность перекрестнаго опыленія, вполнѣ приспособлена къ тому, чтобы оплодотворяться путемъ самоопыленія—въ противоположность одинокой ивѣ при тѣхъ же условіяхъ.

Но, разумѣется, послѣ прочитанной мнѣ г-номъ Б. нотаціи, я этимъ пособіемъ уже не удовольствовался и обратился за разъясненіемъ къ моему почтенному коллегѣ, профессору ботаники В. И. Палладину; разъясненіе я просилъ дать мнѣ письменное, предупредивъ его, что желалъ бы имъ воспользоваться въ печати. В. И. очень любезно исполнилъ мое желаніе; съ его разрѣшенія печатаю данное имъ разъясненіе.

С.-Петербургъ, 29 янв. 1904 г.

Многоуважаемый Ѳ. Ф. Спеціальныхъ изслѣдованій надъ способомъ опыленія сосны произведено не было. По аналогіи со сходными растеніями принимается существованіе перекрестнаго опыленія, что не исключаетъ, по моему мнѣнію, возможности самоопыленія.

Преданный Вамъ В. Палладинъ.

На чьей же сторонѣ теперь *странная ошибка?* Авторитетное разъясненіе профессора Палладина, полагаю я, докажетъ г-ну Б., что ему было бы не безполезно обновить свои университетскія тетрадки. Конечно, ему, какъ натуралисту, нетрудно было сдѣлать это и раньше; онъ предпочелъ, однако, торжествовать легкую побѣду надъ „филологомъ“, безцеремонно пустивъ пыль въ глаза своимъ читателямъ... да еще „перекрестную“.

IX.

Какое, однако, дѣло Пушкину до этой пыли и до всего прочаго? Ровно никакого, и я, въ сущности, могъ опровергнуть г-на Б. и не заглядывая въ Кернера, не тревожа многоуважаемаго коллеги; съ меня вполнѣ достаточно того, что сосна— однодомное и, стало быть, обоеполое дерево. Сравнивать одинокаго гермафродита съ холостякомъ, быть можетъ, правильно

по эстетикѣ г-на Б., но не по поэтической эстетикѣ Пушкина, и онъ первый взялъ бы свое сравненіе назадъ, если бы зналъ, въ чемъ дѣло. Обратись г. Б. къ нему—онъ, какъ *правдивый поэтъ*, не задумался бы отвѣтить: „я дѣйствительно представлялъ себѣ двѣ сосѣднія сосны какъ самца съ самкой, или мужа съ женой, а одинокую — какъ мужчину-холостяка; но разъ полового различія между соснами нѣтъ, то я сознаю, что было бы лучше взять иву или тополь, какъ это сдѣлалъ Гомеръ“.

Какъ бы то ни было, но читатель знаетъ теперь, какая моя вторая *странная ошибка*. Правда, г. Б. обѣщалъ представить ихъ *нѣсколько*; но такъ какъ онъ самъ объ этомъ обѣщаніи забылъ, то дѣлать съ нимъ нечего. Но въ чемъ же моя *односторонность*—да еще *страшная?*

Вѣрно одно: все, что я написалъ—если не считать нѣсколькихъ бездѣлушекъ — объединялось общей идеей античности; она, какъ спеціальная область моего труда, была моей всегдашней вѣрной вдохновительницей. Быть можетъ, это односторонность; не буду спорить. И само собой разумѣется, что г. Б. этимъ грѣхомъ не грѣшенъ: сегодня пишетъ онъ объ античности, завтра—о современной литературѣ, послѣ завтра — о рабочемъ вопросѣ, другой разъ—объ инородцахъ, о войнѣ и т. д. Несомнѣнно, разносторонность огромная. Но мнѣ приходитъ въ голову слѣдующее сравненіе. Вотъ г. Мальцевъ; какой онъ, въ самомъ дѣлѣ, односторонній производитель! Только и можете у него купить, что фарфоръ да хрусталь; а если вамъ нужна, скажемъ, солонина, то и не ходите къ нему — только зря время потеряете. А г. Колупаевъ — о, это дѣло другое. Чего у него только нѣтъ: и фарфоръ, и желѣзо, и крупа, и мыло, и солонина, и коленкоръ, и бумага чулочная. Можно себѣ представить, съ какимъ пренебреженіемъ онъ смотритъ на Мальцева, Морозова и тому подобныхъ одностороннихъ людей!

Нѣтъ сомнѣнія, что „популяризація“ предметовъ потребленія — полезное дѣло. Только черезчуръ зазнаваться г-дамъ мелочнымъ торговцамъ, какъ будто, не пристало...

X.

Извѣстенъ анекдотъ про сапожника, указавшаго Апеллу промахъ въ изображенiи сандалiи; художникъ тотчасъ принялъ его указанiе къ свѣдѣнiю. Возгордившись успѣхомъ, почтенный мастеръ сталъ критиковать картину уже съ художественной точки зрѣнiя, за что и получилъ отъ Апелла классическiй отвѣтъ: ne sutor ultra crepidam!

Г. Б., правда, въ роли сапожника не оказался на высотѣ положенiя: его поправка по части перекрестнаго опыленiя не могла быть мною принята къ свѣдѣнiю. Все же онъ въ собственныхъ глазахъ былъ побѣдителемъ; и вотъ онъ въ дальнѣйшемъ пошелъ по стопамъ своего классическаго первообраза и сталъ мнѣ читать наставленiя уже по части самой античности. *Уже одно то*, говоритъ онъ, *что эта блестящая античная культура была основана на рабствѣ, лишаетъ ее нравственной основы.* Хлестко сказано; я думаю, однако, что намъ слѣдовало бы прежде самимъ уничтожить у себя рабство — экономическое и духовное — а затѣмъ уже лишать античную культуру ея нравственной основы. А впрочемъ, я долженъ сознаться, что я этой *нравственной основы* не понимаю; точку зрѣнiя исторической критики на затронутый вопросъ я выяснилъ выше, стр. 70. Но это не все: *эта культура не знала личности, а знала только члена общины, гражданина въ лучшемъ случаѣ.* Нужно много разъ прочесть эту фразу, чтобы повѣрить. Античная культура не знала личности? Откуда г. Б. это взялъ? Периклъ въ своей надгробной рѣчи подчеркиваетъ, что именно въ Аѳинахъ общество допускаетъ безпрепятственное развитiе личности, не видя въ немъ ущерба для государства. Цицеронъ требуетъ, чтобы всякiй стремился, въ предѣлахъ общеобязательной морали, къ развитiю своей личности и ея умственныхъ и нравственныхъ задатковъ. Пиндаръ сказалъ мѣткое, хотя и неудобопереводимое слово „познай, что ты есть, и будь имъ“ — слово, память о которомъ воскресилъ крайнiй индивидуалистъ Ницше. А впрочемъ, стыдно повторять такiя избитыя истины. Но вотъ что курьезно: эту античность, этотъ источникъ культа личности, обвиняетъ въ неуваженiи къ личности — кто? Представитель той самой журнальной публицистики,

которая по принципу не уважаетъ и не допускаетъ личнаго мнѣнія, признавая одни только партійные трафареты и партійныя ливреи!

Еще одно наставленіе (стр. 8): *само чувство природы, пейзажъ древнимъ было почти чуждо...* Но нѣтъ, будетъ: ne sutor ultra crepidam!

Всего не переберешь. Отказываюсь слѣдовать за г-номъ Б. въ его американскія педагогическія эльдорадо, о которыхъ онъ намъ разсказываетъ всякія небылицы (вродѣ упраздненія закона подбора), забывая лишь одно — а именно, что какъ разъ Америка, познавъ свои нужды и наскучивъ своей идейной зависимостью отъ Европы, за послѣднее время стала усердно и успѣшно насаждать у себя классическую школу. Отказываюсь разбираться въ тѣхъ помояхъ, которыми онъ обливаетъ русскую классическую школу... впрочемъ, нѣтъ, одинъ образчикъ мнѣ хотѣлось бы привести, такъ какъ онъ лучше всего прочаго свидѣтельствуетъ о замѣчательномъ — скажемъ, самоотверженіи моего критика. На стр. 4 мнѣ достается по поводу закона подбора. *Ибо не станетъ онъ отрицать, что далеко не лучшіе, умнѣйшіе сильнѣйшіе и способнѣйшіе оканчивали гимназію, а только* (замѣтьте: *только) приспособившіеся, лишенные рѣзко выраженныхъ личныхъ особенностей, готовые подчиниться любому шаблону, потому что ихъ натуры изъ глины, а не изъ мрамора...*

Г. Б., какъ же это мы съ вами гимназію кончили? Про себя я знаю, что ко мнѣ ваша характеристика не подходитъ, да и другіе меня, слава Богу, глинянымъ идоломъ не ставили. Ну, а про васъ—ужъ вамъ лучше знать.—Только откуда эта потребность самооплеванія? А вотъ откуда. Партійная дисциплина не шутитъ: „самъ въ лужу прыгни, да противника забрызгай“—такъ гласитъ приказъ Капулета всѣмъ его ливреепосцамъ.

XI.

Я до сихъ поръ опровергалъ г-на Б., стоя на своей точкѣ зрѣнія—какой, это я скажу тотчасъ. А теперь позволю себѣ, переходя на его точку зрѣнія, сказать въ его пользу нѣсколько словъ.

Дѣло въ томъ, что моя точка зрѣнія — точка зрѣнія ученаго. Ну, а мы, ученые, въ силу самаго характера нашихъ занятій, находимся въ особенно интимныхъ отношеніяхъ къ истинѣ. Тотъ „кодексъ чести мыслителя", о которомъ не разъ говорилось въ „лекціяхъ", опредѣляетъ нашъ взглядъ на все, съ чѣмъ мы сталкиваемся въ области нашей науки—а въ силу привычки также и внѣ ея. Бывало, открылъ человѣкъ какой-нибудь законъ, цѣнный для выясненія цѣлаго ряда явленій. Постороннимъ людямъ трудно описать этотъ творческій восторгъ, это діонисическое состояніе ума, въ которомъ тогда живешь. Послѣдовательность изысканія заводитъ тебя все глубже и глубже въ спеціальныя области твоей науки, подчасъ въ такія дебри, въ которыя уже никто, это можно сказать навѣрное, за тобой не послѣдуетъ; здѣсь ты самъ себѣ хозяинъ, никакого контроля надъ тобой нѣтъ. Число фактовъ растетъ и растетъ, изслѣдованіе округляется, получается восхитительная стройность системы—какъ вдругъ гдѣ-то, точно бѣсъ изъ болота, вылѣзаетъ новый фактъ, опровергающій открытый законъ, разрушающій до основанія все построеніе. Фактъ этотъ никому кромѣ тебя неизвѣстенъ, да и допустить нельзя, чтобы онъ сталъ извѣстнымъ,—если его не обнародуешь ты; замолчи же его, выпусти свое изслѣдованіе, благо оно готово, получишь успѣхъ, славу... Нѣтъ; это я теперь, углубляясь въ психологію научнаго творчества, высказываю эту скверную мысль; на дѣлѣ же такое искушеніе настоящему ученому и въ голову не придетъ. Нѣтъ; спрячь свое изслѣдованіе въ конторку, если оно еще у тебя; если же оно отправлено—пиши въ редакцію письмо, что, убѣдившись въ неправильности своихъ выводовъ, просишь вернуть тебѣ статью; если уже напечатано—торопись тамъ же напечатать опроверженіе, пока еще никто въ заблужденіе не введенъ. Таковъ законъ, которому мы слѣдуемъ не разсуждая, слѣпо, инстинктивно. Почему слѣдуемъ? Потому, что, уклоняясь отъ него, мы ввели бы „копье противорѣчія" въ свой умственно-нравственный организмъ, отъ котораго онъ зачахнетъ и погибнетъ; потому, что разъ одержавъ незаслуженный успѣхъ завѣдомо неправильнымъ выводомъ, я навсегда лишаю себя той свѣтлой, радостной отваги, которая одна

только и даетъ мнѣ силы для дальнѣйшей творческой работы въ области моей науки.

Такъ-то истина является нашей единственной кормчей звѣздой въ безпредѣльномъ морѣ знанія. Конечно, мы вѣруемъ, что истина должна въ концѣ концовъ восторжествовать, и что ея торжество благодѣтельно; но это—разсчетъ посторонній, надъ которымъ мы большею частью не задумываемся. Нѣтъ; психологически разсуждая, истина – наша конечная и самодовлѣющая цѣль, не нуждающаяся ни въ обоснованіи, ни въ оправданіи. Я отстаиваю такое то положеніе потому, что считаю его истиннымъ; я опровергаю такое то потому, что считаю его ложнымъ—безотносительно къ тому, имѣю ли я шансы на успѣхъ въ томъ или другомъ. Будетъ успѣхъ — тѣмъ лучше, очень радъ; но ради него я не только ни на іоту не измѣню хода своего разсужденія—я ни на одинъ день не потороплю и не задержу его обнародованія. Это равнодушіе къ успѣху составляетъ нашу отличительную черту, какъ ученыхъ; мы не умѣемъ „разсчитывать моментовъ", мы люди „не отъ міра сего", méchants hommes d'affaires и т. д. Повторяю: кормчая звѣзда у насъ только одна—истина.

Остался ли я вѣренъ этой кормчей звѣздѣ и въ томъ, что составляетъ содержаніе настоящей книги? Насколько объ этомъ можетъ судить самъ авторъ—да. Многіе по прочтеніи моихъ „лекцій" говорили мнѣ, что я кончилъ тѣмъ, съ чего слѣдовало бы начать, и наоборотъ: дѣйствительно, у меня самыя благодарныя темы оставлены напослѣдокъ, первая же пара лекцій посвящена извѣстному пугалу классической школы—грамматикѣ. А между тѣмъ аудиторія у меня была вольная: ея численность на второй парѣ лекцій и слѣдующихъ зависѣла отъ интереса, который возбудила бы въ ней первая. Но все-таки я не пожертвовалъ этому разсчету интересами истины, которая требовала, чтобы зданіе строилось съ фундамента, а не съ крыши; когда меня поздравляли съ „успѣхомъ", сказавшемся въ томъ, что билеты на первыя двѣ лекціи были разобраны всѣ и для многихъ желающихъ не хватило мѣста въ огромномъ залѣ перваго реальнаго училища, я отвѣчалъ, что это—не моя публика, своей же я буду считать лишь ту, которая придетъ на слѣдующія двѣ. И я не ошибся: на вторую

пару пришла лишь половина, но зато эта половина осталась мнѣ вѣрна до конца.—Равнымъ образомъ меня упрекали въ томъ, что я „не понялъ психологіи“ учениковъ-восьмиклассниковъ, предлагая ихъ вниманію такія трудныя вещи, какъ апперцепцію, гетерогенію цѣлей, психологическое науковѣдѣніе и т. д.; опять позволю себѣ отвѣтить, что дѣло тутъ вовсе не въ непониманіи. Научная цѣль, которую я себѣ поставилъ, не дозволяла мнѣ пожертвовать наиболѣе вѣскими доказательствами того, что̀ я стремился доказать. Конечно, имѣя въ виду не только доказательство, но и поученіе, я объяснялъ и иллюстрировалъ всякій вновь вводимый терминъ; но дальше я идти не могъ. Если кто меня пойметъ—благо ему; если нѣтъ—то онъ долженъ понять хоть то, что онъ еще не созрѣлъ для сужденія о пользѣ или вредѣ классической школы.

А теперь? Я опровергаю возраженія г-на Богдановича потому, что они несостоятельны, считая своимъ долгомъ передъ той же своей публикой—доказать ей еще разъ правильность тѣхъ положеній, которыя я передъ ней отстаивалъ два года назадъ. Въ этомъ все мое оправданіе; удачно ли я выбралъ моментъ, не надоѣмъ ли я читателю и т. д. — все это посторонніе разсчеты. И съ этой моей точки зрѣнія г. Богдановичъ, разумѣется, осужденъ безповоротно.

Но въ томъ-то и дѣло, что эта моя точка зрѣнія для него вовсе не обязательна.

XII.

Предвосхищаю его возраженіе, котораго онъ мнѣ въ печати, разумѣется, не выскажетъ. „Да что же вы, въ сущности, доказали? Что я сказалъ неправду? Да развѣ я стремился къ правдѣ? на что она мнѣ, эта ваша правда? Мнѣ, какъ публицисту, нуженъ былъ успѣхъ. Достигъ я его, или нѣтъ?“ И я долженъ буду отвѣтить: да, вы правы; поскольку этотъ успѣхъ былъ для васъ достижимъ—вы его достигли.

Дѣйствительно, стоитъ только перемѣнить объективъ въ подзорной трубѣ, черезъ которую мы смотрѣли на рецензію г-на Б., вставить вмѣсто объектива „истины“ объективъ

„успѣха“—и всѣ исковерканныя линіи мгновенно выпрямляются, получается разумная, правдоподобная, цѣлесообразная картина. Что нужно было г-ну Б.? Уронить мою книгу въ глазахъ читателей Міра Божья; посмотрите, какъ разсудительно принялся онъ за дѣло. Прежде всего онъ запугиваетъ ихъ заявленіемъ, что я—непримиримый классикъ; для большинства это—жупелъ. Затѣмъ полезно подорвать мой научный авторитетъ, представить меня человѣкомъ „увлекающимся“: берется славянскій переводъ Писанія, берутся испанцы... Цитата неправильна, хронологическая рамка пропущена—ничего: кто же изъ читателей станетъ контролировать рецензента? Его выводъ тоже неправиленъ, онъ—результатъ симплистическаго мышленія; опять ничего: средній читатель и самъ симплистъ. Все же это еще область довольно туманная; но вотъ авторъ вступилъ на почву точныхъ наукъ — здѣсь удобнѣе всего его поддѣть. И вотъ наносится „филологу“ главный ударъ — по части „перекрестнаго опыленія...“ Я не преувеличиваю: это дѣйствительно главный ударъ, вѣрно разсчитанный и мѣтко нанесенный, — въ этомъ я самъ убѣдился. Пусть читатель самъ не знаетъ, что такое перекрестное опыленіе: мнѣ онъ этого незнанія все-таки не проститъ. Помню, въ одной гимназіи директоръ, читавшій съ учениками Горація, неправильно разбиралъ алкееву строфу, скандируя ее на манеръ асклепіадовой; восьмиклассники, даже и замѣчая этотъ недостатокъ, мирились съ нимъ, пока не назрѣлъ одинъ выпускъ, рѣшившій настоять на своемъ. Всѣ, сговорившись, читали строфу правильно, поправки директора отвергались, поднялась „исторія“. Былъ призванъ третейскій судья въ лицѣ старшаго преподавателя-классика, который и рѣшилъ споръ въ пользу учениковъ. Въ гимназіи дѣло произвело сенсацію: даже средніе, даже младшіе классы имъ заинтересовались. „А директоръ-то нашъ, каковъ?“ говоритъ малышъ, „алкеевой строфы читать не умѣетъ!“—„А самъ ты знаешь, что такое алкеева строфа?“ —„Ну, вотъ еще! На что мнѣ она?“

А на созданной такимъ образомъ почвѣ можно уже строить что угодно. Пусть читатели вѣрятъ, что я считаю античность единственной основой воспитанія, или, что я вижу свой идеалъ позади себя: положимъ, я утверждалъ прямо противоположное,

но кто же станетъ контролировать? А возражать противъ этихъ вымышленныхъ положеній такъ легко, такъ благодарно! Любой читатель мысленно пожметъ руку борцу за разносторонность образованія и за прогрессъ. Такъ-то туманъ все сгущается и сгущается, и вокругъ автора и вокругъ защищаемой имъ античности. Интересуется кто мнѣніемъ г-на Б. о роли этой послѣдней въ школѣ? Узнать его не такъ-то легко. На стр. 3 рецензентъ ее признаетъ. *Современность*, говоритъ онъ, *съ ея требованіями новой школы, прежде всего, ничего не имѣетъ противъ античности самой по себѣ. Античный міръ съ его искусствомъ, философіей и религіей, какъ одинъ изъ элементовъ будущей школы, признается всѣми, кромѣ развѣ такихъ слѣпыхъ его противниковъ* и т. д. Превосходно сказано, столковаться можно. Но вотъ на него повѣяло магноліями съ американскихъ эльдорадо, и подъ вліяніемъ ихъ одуряющаго запаха дѣло, на стр. 6, представляется ему уже въ другомъ видѣ. Недостатки американской школы, говоритъ онъ, устранимы въ недалекомъ будущемъ, *безъ всякаго призыва къ спасительной античности. Общество въ заботѣ о будущемъ поколѣніи знать ея не хочетъ и отлично дѣлаетъ. Да и зачѣмъ здѣсь античность? Рѣшительно непонятно. Такая школа не знаетъ никакихъ, столь восхищающихъ г. Зѣлинскаго, интеллектуальныхъ свойствъ античности, здраво разсуждая, что живой міръ, живая жизнь куда вліятельнѣе мертвой старины и т. д.* Такое противорѣчіе самому себѣ съ точки зрѣнія истины совершенно непростительно, и его обнаруженіе было бы для рецензента убійственнымъ: „Вамъ ли насъ учить, когда вы сами не знаете, чего вамъ надо?“ Но съ точки зрѣнія успѣха оно совершенно безвредно. Вѣдь все это пишется для читателей, которые не привыкли дважды читать одну и ту же вещь; память у нихъ предполагается слабая, и повидимому не безъ основанія, но зато огромная восприимчивость къ магноліямъ и всякому другому дурману. Тамъ они вмѣстѣ съ рецензентомъ серьезно разсуждали: „да, конечно, античность: нельзя безъ нея!“ — а здѣсь, заразившись его игривымъ настроеніемъ, весело кричатъ: „да ну ее совсѣмъ, эту античность! на что намъ она?“

Повторяю: все въ рецензіи г-на Б. разсчитано на успѣхъ.

Она должна была имѣть успѣхъ, будучи вполнѣ приноровлена къ складу ума средняго читателя; мало того—она имѣла успѣхъ среди тѣхъ, на кого была разсчитана. Случалось, преподаватель, бесѣдуя съ развитыми учениками объ изученіи античности, приводилъ имъ мысли изъ моихъ лекцій—а на слѣдующемъ урокѣ одинъ изъ нихъ „съ торжествующей улыбкой" преподносилъ ему рецензію г-на Б. Конечно, преподавателю нетрудно бывало въ такихъ случаяхъ выяснить ученику разницу между золотомъ истины и мишурой успѣха; но много ли такихъ преподавателей?..

Да, г-нъ Б. несомнѣнно талантливый публицистъ. Я еще не прощаюсь съ нимъ—онъ мнѣ еще нуженъ для одного разсужденія по школьной политикѣ; но сначала обращусь къ читателю съ очень важнымъ и давно наболѣвшимъ вопросомъ.

XIII.

А именно вотъ съ какимъ.

Передъ вами, читатель, два противоположныхъ мнѣнія по вопросу о средней школѣ. Забудьте, что ихъ представители—Зѣлинскій и Богдановичъ: имена тутъ безразличны; поставьте дѣло на болѣе широкое основаніе. Вѣдь г. Б. не задумался признать меня *талантливымъ ученымъ;* такъ же откровенно и искренно и я назвалъ его талантливымъ публицистомъ. Итакъ, въ данномъ случаѣ вы имѣете уже не мнѣнія двухъ, случайно встрѣтившихся, индивидуевъ; вы имѣете голосъ науки съ одной, голосъ публицистики—съ другой стороны. Вопросъ ставится такъ: къ которому изъ нихъ желаете вы прислушаться?

Замѣтьте: я не сказалъ „присоединиться"—вы должны сохранить полную свободу сужденія и ничего не брать на вѣру. Я, кромѣ того, и не думаю утверждать, чтобы представители науки стояли всѣ на моей сторонѣ; напротивъ, я знаю, что это не такъ. Нѣтъ, я здѣсь о другомъ говорю. Вотъ уже годы и десятки лѣтъ, какъ вопросъ о средней школѣ представляетъ изъ себя благодарную тему для всякой публицистической болтовни, гораздо болѣе низкопробной, чѣмъ та, съ которой я

васъ познакомилъ; желаете вы, чтобы и впредь онъ оставался на ея попеченіи?

Конечно, публицистъ представитъ вамъ дѣло въ гораздо болѣе легкомъ видѣ; никакого умственнаго усилія онъ отъ васъ не потребуетъ; ни одной оригинальной мысли, ни одного затруднительнаго пріема разсужденія не введетъ; все одна и та же, тысячу разъ прожеванная, въ высшей степени удобоглотаемая и удобоваримая жвачка. Отъ ученаго вы такъ легко не отдѣлаетесь; онъ вамъ преподнесетъ и психологію, и науковѣдѣніе, и тысячу частностей, заимствованныхъ изъ изслѣдуемой области; онъ не станетъ поддерживать въ васъ пріятной иллюзіи, будто вы уже теперь, безъ особой подготовки, обладаете достаточными данными для того, чтобы рѣшить вопросъ о среднемъ образованіи. Нѣтъ: сплошь и рядомъ при чтеніи его аргументаціи у васъ явится мысль, что тутъ есть нѣчто, вамъ пока недоступное и тѣмъ не менѣе необходимое для рѣшенія поставленнаго вопроса.—Затѣмъ: публицистъ постарается вообще дѣйствовать не столько на вашъ разсудокъ, сколько на ваши нервы. Заботясь прежде всего объ успѣхѣ и зная, что таковой создается сочувствіемъ возможно бо̀льшаго числа читателей, онъ обратитъ особенно нѣжное вниманіе на ту невзыскательную, но очень многочисленную часть своей публики, для которой полученныя ею или ея сыновьями двойки являются вполнѣ достаточнымъ доказательствомъ противъ цѣлесообразности того предмета, по которому онѣ были получены. Ученый —тотъ въ этомъ случаѣ выскажетъ предположеніе, что получившій оныя, пожалуй, не получилъ бы ихъ, если бы соблаговолилъ старательнѣе подготовиться къ уроку; публицистъ же...

— „Но, позвольте: гдѣ же г. Б. говоритъ о двойкахъ?“

Не онъ; я уже сказалъ, что есть другіе. А впрочемъ, чтобы не быть голословнымъ, приведу образчикъ таковаго, посвящая ему слѣдующую главу, а затѣмъ вернусь къ обрываемой здѣсь темѣ.

XIV.

Публицистъ, котораго я имѣю въ виду, все-таки не самой низкой пробы; это—сотрудникъ „Новостей“, г. Федоръ Фальковскій. Въ нумерѣ этой газеты отъ 21 ноября 1904 г. по-

явилась его статья подъ загл. „Холмъ въ 203 метра"... Неохотно привожу это заглавіе; всѣмъ извѣстно, вѣдь, чѣмъ была потеря этой высоты для нашей многострадальной крѣпости, и не одинъ мой читатель, прочтя тѣ четыре роковыя слова, съ негодованіемъ спроситъ: да есть ли такой наглецъ или такой идіотъ, который дерзнулъ воспользоваться ими какъ вывѣскою для своей нытвы по поводу гимназическихъ двоекъ. Называйте его какъ хотите, а только г. Фальковскій именно этой вывѣской и пожелалъ вызвать соболѣзнованіе публики къ означеннымъ двойкамъ. Его, изволите ли видѣть, три раза выгоняли изъ гимназіи, два года держали въ восьмомъ классѣ и все-таки прогнали окончательно съ клеймомъ „незрѣлаго въ умственномъ отношеніи человѣка". Для опроверженія этой оцѣнки онъ проводитъ параллель между гимназіей и холмомъ въ 203 метра. *Неправильные глаголы! Эти глаголы—фугасы и колючая проволока вокругъ холмовъ. Есть еще удивительныя исключенія, которыя попадаются только у Овидія. Ихъ необходимо имѣть въ виду. Это шрапнели. Вы не вѣрите?* Ей Богу, не вѣрю; но не въ томъ дѣло.

„Неправильные глаголы—это фугасы". Возьмемъ примѣръ. Вотъ неправильный глаголъ: solvo; его супинъ, не въ примѣръ прочимъ, solutum, а никакъ не solvitum. Гдѣ же тутъ фугасъ? Solutum, такъ solutum; такъ и будемъ знать.—Такъ нѣтъ же: по теоріи г. Фальковскаго никакой силы человѣческаго разумѣнія не хватитъ на усвоеніе этого solutum. Мы можемъ постигнуть и дрожаніе эѳира, и жизнь морской глубины, можемъ вычислить отдаленность Сиріуса и быстроту нервной реакціи, но рѣшительно не въ состояніи пріобщить къ своему знанію супинъ отъ solvo. Ученикъ Фальковскій такъ и не заглядывалъ въ грамматику, будучи заранѣе убѣжденъ, что противъ этой роковой силы всякая человѣческая воля безпомощна. Его вызываютъ — „впередъ, ребята, подъ картечь!" слышится ему. „Какъ супинъ отъ solvo?" „Solvitum", отвѣчаетъ онъ съ мрачной отвагой. Фугасъ взрываетъ. Десять такихъ взрывовъ и—двойка готова. Полсотни такихъ двоекъ—и злополучнаго героя прогоняютъ, холмъ въ 203 метра окончательно остается въ рукахъ врага.

Таковъ нашъ доблестный портъ-артурецъ, раненый и изу-

вѣченный въ войнѣ съ неправильными глаголами. Повѣсимъ ему Георгія на шею и вернемся къ нашей темѣ.

XV.

Впрочемъ, мы отъ нея въ сущности и не удалялись. Новая иллюстрація отношенія публицистики къ школьному дѣлу только подтверждаетъ умѣстность вопроса, съ которымъ я обратился къ читателю: желаетъ ли онъ и впредь черпать свои свѣдѣнія о немъ и, главное, свое настроеніе изъ того же мутнаго источника?

Прежде всего я желалъ бы и тутъ протестовать противъ обвиненія, будто я оскорбляю печать—обвиненія, взведеннаго на меня тѣмъ пугливымъ редакторомъ, о которомъ была рѣчь въ первомъ экскурсѣ. Во-первыхъ, я и самъ къ ней принадлежу и поэтому оскорбить ее въ ея совокупности не могъ; а во-вторыхъ, могу отвѣтить, варьируя извѣстныя слова А. Толстого, что есть печать и печать: коль она не твердитъ „я все знаю"— я такую печать уважаю. Я говорю здѣсь о публицистикѣ, поскольку она занималась и занимается вопросомъ о средней школѣ. Двадцать лѣтъ я слѣдилъ за этой стороной ея дѣятельности, и за эти двадцать лѣтъ могу ей вынести по этой части лишь безусловно отрицательный приговоръ.

Во-первыхъ, она обливала помоями все преподавательское сословіе, не разбирая праваго и виноватаго; этимъ она по мѣрѣ своихъ силъ противодѣйствовала улучшенію его состава. Мнѣ хотѣлось бы предложить тѣмъ, которые составляли и составляютъ хлесткія статьи противъ преподавателей, обзывая ихъ всѣхъ поголовно бездушными формалистами, фабрикантами отмѣтокъ и т. д.—хотѣлось бы, повторяю, предложить имъ вопросъ: какъ представляютъ они себѣ, на основаніи своего знанія человѣческаго сердца, дѣйствіе своего остроумія на настоящихъ и будущихъ преподавателей? А въ ожиданіи ихъ отвѣта скажу отъ себя слѣдующее.

1) На настоящихъ... Замѣчу, что я говорю тутъ съ полнымъ и непосредственнымъ знаніемъ дѣла. Я самъ былъ довольно долгое время преподавателемъ, да и впослѣдствіи, какъ воспита-

тель таковыхъ, сохранилъ достаточно чуткое преподавательское сердце. И вотъ я долженъ сказать, что я журнальную публицистику ни однимъ добрымъ словомъ помянуть не могу. Если общеніе съ молодежью—когда-то школьною, а затѣмъ университетской — наполняло меня бодростью и жаждой потрудиться на неблагодарной нивѣ родного просвѣщенія, то чтеніе газетныхъ статей внушало мнѣ только уныніе, уныніе и уныніе. Прочтешь утромъ, за чаемъ, грязное изверженіе какой-нибудь публицистической сопки — а послѣ того предстоитъ урокъ или лекція. Пріятно, неправда ли, взойти на каѳедру и излагать свой предметъ послѣ такой милой и бодрящей „общественной“ оцѣнки? И сколько неудачныхъ уроковъ, сколько вялыхъ лекцій—если сосчитать всѣхъ и все—придется поставить въ счетъ этимъ ласковымъ педагогамъ отъ публицистики! А въ противовѣсъ имъ укажите мнѣ хоть одного преподавателя, который бы сказалъ, что онъ изъ газетныхъ статей о средней школѣ почерпнулъ какое-нибудь цѣнное указаніе для своей педагогической дѣятельности, что онъ послѣ нихъ сталъ относиться къ своему дѣлу съ бо̀льшимъ рвеніемъ, съ большей любовью, съ большей свѣжестью ума и сердца!

2) На будущихъ... Не забывайте же, въ самомъ дѣлѣ, что педагоги не составляютъ какой-нибудь націи, малолѣтніе члены которой съ такой же физической необходимостью дѣлаются педагогами, съ какой маленькій французъ по достиженіи совершеннолѣтія дѣлается взрослымъ французомъ. Нѣтъ: будетъ ли человѣкъ педагогомъ или нѣтъ—это зависитъ отъ его доброй воли, а эта воля направляется различными побужденіями, среди которыхъ почетъ, окружающій его предполагаемую дѣятельность, играетъ далеко не послѣднюю роль. Молодежь наша вообще настроена великодушно: ни труда, ни бѣдности она не боится, но ей дорогъ почетъ, ее привлекаетъ ореолъ общественнаго уваженія, общественной любви. Итакъ, позвольте спросить: какъ должны отзываться газетныя глумленія на волѣ молодого человѣка, видящаго передъ собой нѣсколько путей жизни и колеблющагося между ними?

А если такъ, господа публицисты, то вы дѣйствительно можете гордиться! Вы отбили отъ насъ десятки и сотни живыхъ и дѣятельныхъ молодыхъ людей, которые, вступивъ въ

наши ряды, дали бы намъ возможность произвести, кромѣ научной, и ту педагогическую сортировку, о которой была рѣчь выше (стр. 153), и этимъ довести нашъ преподавательскій составъ до требуемаго совершенства. Вы исправно примѣшивали ядъ вашего злословія къ скудному насущному хлѣбу преподавателя. лишая его жизненной энергіи и превращая его мало-по-малу, противъ его воли, изъ живого человѣка въ самодвижущуюся машину. Вашими дружными усиліями созданъ тотъ желтый туманъ общественной враждебности и недовѣрія, въ которомъ задыхается все преподавательское сословіе, противъ котораго оно, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, тщетно напрягаетъ свои лучшія силы... О да, слава вамъ! у васъ есть чѣмъ гордиться.

Но это — тема нескончаемая; и мнѣ пришлось бы написать цѣлую книгу для того, чтобы высказать вамъ въ лицо все, чего я натерпѣлся отъ васъ въ теченіе своей 20-лѣтней дѣятельности въ лицѣ и самого себя, и своихъ товарищей и учениковъ. Быть можетъ, прочтя эту книгу, лучшіе изъ васъ устыдились бы своей дѣятельности, о послѣдствіяхъ которой они и не задумывались,—какъ не задумываются мальчики, скатывающіе камни въ оврагъ, о послѣдствіяхъ своей шалости для проходящихъ по дну оврага людей. — Но, спросите вы, что же намъ было дѣлать? Молчать о вопіющихъ злоупотребленіяхъ?—Нѣтъ, не молчать, а, какъ было сказано выше, разбирать правыхъ и виноватыхъ; писать, да, но писать такъ, чтобы наказанными почувствовали себя виновные, а не всѣ. Ветхозавѣтный Авраамъ нѣкогда настаивалъ на томъ, чтобы наличность хоть десяти праведниковъ спасла отъ заслуженной кары весь развращенный городъ; по вашему гуманному приговору достаточно было нѣсколькихъ зловредныхъ единицъ, чтобы обречь незаслуженной карѣ общественной ненависти цѣлое сословіе, честное и работящее. Но, повторяю, это тема нескончаемая, а между тѣмъ ваша вина передъ обществомъ далеко не исчерпывается сказаннымъ.

Во-вторыхъ, вы и своими теоретическими утвержденіями, и нагляднымъ примѣромъ своихъ собственныхъ невѣжественно-хлесткихъ статей внушили публикѣ убѣжденіе, будто самый неподготовленный изъ ея среды все же достаточно подготов-

ленъ къ тому, чтобы судить о такомъ пустяшномъ дѣлѣ какъ средняя школа. Все, что появлялось серьезнаго по этому вопросу и въ нашей, и чаще—въ заграничной литературѣ, старательно вами замалчивалось; но стоило какому-нибудь Леметру помѣстить въ Фигаро невѣжественную филиппику противъ классической школы — и всѣ ваши органы, всѣ сорокъ сороковъ, принялись распространять этотъ благовѣстъ по всей Россіи... Правда, нѣсколько недѣль спустя тотъ же Леметръ написалъ такую же невѣжественную филиппику противъ русской литературы, обливая помоями своего бульварнаго остроумія самые дорогіе намъ образы Толстого и Достоевскаго. Вы отмѣтили въ минорномъ тонѣ это заблужденіе вашего любимца, но никто не имѣлъ смѣлости сказать, что обѣ филиппики имѣли одинъ и тотъ же источникъ — псевдо-націоналистическое самообольщеніе и убожество. Да, этого человѣка вы хвалили, и въ то же время старательно скрывали отъ вашей публики всѣ серьезныя разсужденія на тему о классической школѣ—и сочиненія Іегера, Кауера и др., и баденскую „анкету“ 1900 г., на которую отозвались столпы германской науки, и даже такое крупное, взволновавшее весь западный міръ явленіе, какъ рѣчи Виламовица и Гарнака на „іюньской“ конференціи того же 1900 г., благодаря которымъ обреченный было на гибель греческій языкъ вышелъ изъ конференціи невредимымъ, какъ одинъ изъ главныхъ образовательныхъ факторовъ въ прусской классической школѣ. Да и къ чему тутъ серьезныя разсужденія? Развѣ гимназическія двойки не предрасполагаютъ ихъ получателей къ одобренію вашихъ легковѣсныхъ приговоровъ, не обезпечиваютъ этимъ приговорамъ заранѣе успѣха среди нихъ? И развѣ вамъ что-либо еще нужно кромѣ успѣха?

Въ-третьихъ, вы наклеили на классическую школу, а съ нею и на античность, ненавистный ярлыкъ реакціонерства и сдѣлали этимъ среднюю школу орудіемъ и жертвой партійной борьбы... впрочемъ, къ этому мнѣ придется еще вернуться.

Въ четвертыхъ, вы распространяли среди школьной молодежи убѣжденіе, что гимназическія двойки — роковая сила, противъ которой никакой трудъ, никакія усилія разума и воли не помогутъ; вы заранѣе заставляли ихъ опускать руки передъ за-

трудненіями, встрѣчающимися на ихъ пути, вмѣсто того, чтобы побороть ихъ бодрой, веселой работой... Да, веселой; я самъ это испытывалъ, когда мнѣ приходилось, еще будучи ученикомъ, репетировать другихъ учениковъ, чтобы зарабатывать крохи для собственнаго существованія, да и потомъ сколько разъ. Вижу — мой паренекъ просто пріунылъ, заранѣе отчаявается въ себѣ и въ своихъ силахъ; первое лѣкарство—здоровая дружелюбная насмѣшка: „Ну, чего ты, скажи на милость, нюни распустилъ? Вотъ тебѣ solvo «рѣшаю», отъ него супинъ solutum. Не постигаешь? — Слово «резолюція» знаешь? Такъ вотъ въ немъ-то этотъ страшный супинъ и скрывается: re-solut-io. Теперь будешь помнить? Да вотъ заодно и резолюцію постигъ—что она значитъ собственно «рѣшеніе». Видишь, какъ хорошо. Теперь ты будешь употреблять это слово сознательно и съ «революціей» смѣшивать не станешь? Будешь умнѣе многихъ.—Ну, и все остальное въ томъ же родѣ. Ты только за умъ возьмись и знай заранѣе, что ничего непреодолимаго тутъ нѣтъ“. Да, такъ приходится дѣйствовать намъ, вселяя въ ученикахъ бодрость, отвагу, увѣренность въ себѣ и своихъ силахъ. А вы намъ противодѣйствуете: вы связываете молодую волю этимъ кошмаромъ рока, вами выдуманнымъ и внушеннымъ вашей легковѣрной публикѣ; вы имъ говорите, что неправильный глаголъ — это фугасъ, который взрываетъ подъ ученикомъ чужой силой, не поддающейся ни его разуму, ни его воли. Растлѣніе этого разума, растлѣніе этой воли—вотъ ваше дѣло; его послѣдствіе—то всеобщее безволіе которымъ болѣе всего страдаетъ современная молодежь.

Да, безволіе. А оно, въ свою очередь, самая удобная почва для обильнѣйшей культуры бациллъ террора.

XVI.

Знаю вашъ отвѣтъ. „Пусть все это такъ; зато мы освободили русское общество отъ другого кошмара—отъ классической системы. Подъ давленіемъ нами представляемаго общественнаго мнѣнія школьный классицизмъ, расшатанный уже реформами 1890 г., въ 1901 г. издохъ, и издохъ такъ осно-

вательно, что *даже осиноваго кола не понадобилось на его могилу*. А потому не присвоивайте себѣ исключительной работы на нивѣ родного просвѣщенія: на ней и мы пахали".

Съ своей стороны поставлю два вопроса: допуская, что это была ваша побѣда, — есть ли основаніе радоваться ей 1) съ общей точки зрѣнія русскаго просвѣщенія, и 2) съ вашей спеціальной, партійной точки зрѣнія. Другими словами: было ли упраздненіе „классической системы" мѣрой 1) вообще благотворной и 2) освободительной—въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы понимаете это слово.

Первый вопросъ. Кто утверждаетъ, что упраздненіе „классической системы" было мѣрой благотворной, тотъ этимъ самымъ говоритъ, что та школа, которая завелась у насъ послѣ 1890 и особенно послѣ 1901 года, лучше прежней классической — это, кажется, ясно. Зная, что имѣю дѣло съ симлистами, я еще разъ оговариваюсь, что, утверждая противное, я ничуть не выдаю прежней классической школы (т.-е. до 1890 г.) за идеальную и даже за хорошую; я хочу только сказать, что всѣ ея недостатки перешли неприкосновенными и въ новую школу, между тѣмъ какъ реформѣ подверглись только ея хорошія стороны, и что поэтому новая школа стала не лучше, а хуже той, прежней. Это послѣднее, впрочемъ, говорю не я, а рѣшительно всѣ, кто имѣетъ дѣло либо съ ней, либо съ ея результатами.

Разберемъ ее по предметамъ, начиная съ тѣхъ, которые были усилены за счетъ урѣзанныхъ древнихъ языковъ. Тутъ на первомъ планѣ стоитъ законъ Божій: что же, стала молодежь за послѣднее десятилѣтіе благочестивѣе? Увѣренъ, вы только разсмѣетесь на этотъ вопросъ; да и кому же смѣяться, коли не вамъ?—Затѣмъ, русскій языкъ; стала молодежь грамотнѣе? Справьтесь о результатахъ конкурсныхъ экзаменовъ въ высшія учебныя заведенія за послѣднее десятилѣтіе: они достаточно внушительны. Да и нечего вамъ ходить такъ далеко: ваши собственныя редакціи вамъ скажутъ, что съ каждымъ годомъ становится затруднительнѣе находить толковыхъ исполнителей даже для черной журнальной работы, несмотря на обильное предложеніе.—Далѣе, математика, физика: въ архивѣ Ученаго Комитета хранится любопытный документъ,

сюда относящійся, а именно записка профессоровъ физико-математическаго факультета нашего университета отъ 1899 г., въ которой авторитетнѣйшимъ образомъ удостовѣряется ухудшеніе состава первокурсниковъ именно „за послѣдніе годы".— Но, можетъ быть, эта повсемѣстная убыль знанія уравновѣшивается общимъ подъемомъ научнаго духа? Можетъ быть, интересъ къ наукѣ, умѣніе справляться съ ея задачами возросли послѣ сокращенія ненавистной „мертвечины?" Увы, только-что упомянутая записка удостовѣряетъ именно паденіе этого научнаго духа среди питомцевъ новой гимназіи; да и нѣтъ никого, полагаю я, кто могъ бы предаваться на этотъ счетъ малѣйшимъ иллюзіямъ. Восьмидесятники, какъ ихъ ни брани, высоко держали знамя науки, которую они же и помогали насаждать въ Россіи; то почетное положеніе, которымъ пользуется русская наука въ Европѣ, въ значительной степени ихъ дѣло. Тогда появленіе такого дрянного пасквиля, какъ книжка Гегидзе (столь восхитившая, къ слову сказать, г-на Богдановича) было бы невозможно. Закрытіе университетовъ и, стало быть, пріостановленіе жизни русской науки въ тѣ времена считалось репрессивной мѣрой со стороны правительства: теперь наука—первый предметъ, летящій во всепожирающую партійную печь при первомъ признакѣ общественнаго неудовольствія. Нѣтъ, о чемъ угодно говорите, только не о подъемѣ научнаго духа въ новой школѣ. — „Ну, что же; зато молодежь свободнѣе вздохнула и окрѣпла, будучи освобождена отъ экстемпоралій и прочей классической рухляди; сбереженная энергія пошла въ прокъ ея физическому развитію!" Прочтите отчеты нашего университетскаго врача за послѣднее десятилѣтіе; онъ удостовѣряетъ увеличеніе процента заболѣваемости среди студентовъ, особенно въ рубрикѣ нервныхъ болѣзней. Обращаю ваше особенное вниманіе на этотъ послѣдній пунктъ; догадываетесь, куда ушла сбереженная умственная энергія? Поставьте его въ связь, съ одной стороны, съ вышеприведеннымъ (стр. 70) глубокимъ словомъ Жанъ-Поля „современное человѣчество опустилось бы въ бездонную пропасть, если бы юношество на пути къ ярмаркѣ жизни не проходило черезъ тихій храмъ великой классической старины"—а съ другой, съ восторгами г-на Богдановича передъ американскими педагоги-

ческими эльдорадо. Дѣло въ томъ, что по свидѣтельству медицинской науки, американскій народъ (вмѣстѣ съ еврейскимъ) среди всѣхъ цивилизованныхъ народовъ даетъ наибольшій процентъ неврастениковъ: и это одна изъ причинъ, заставившихъ Америку искать другихъ путей средняго образованія — какъ было сказано выше (стр. 189).

Таковъ результатъ вашей реформы съ общепросвѣтительной точки зрѣнія; кажется, хвастать нечѣмъ. Знаю и повторяю, что въ старой классической школѣ было много недостатковъ; одно въ ней было хорошо или почти хорошо, это — учебный планъ, общая рамка преподаванія. Она не была заполнена [illegible] слѣдуетъ; матерія слишкомъ преобладала надъ духомъ; [illegible]это зло было поправимо, и медленное одухотвореніе школы, [illegible]астіи болѣе живыхъ и свѣжихъ преподавателей, про[illegible]о видимо на нашихъ глазахъ. И я могу сказать про [illegible], что участвовалъ въ этой борьбѣ за духъ противъ буквы; [illegible]зсчитываю представить въ дальнѣйшемъ доказательства и [illegible]разцы этой моей работы (экск. V). Теперь у насъ и эта [illegible]адежда и это поле отняты. Вы предоставили въ наше распоряженіе жалкую, до нельзя суженную рамку; и конечно, мы рукъ опускать не будемъ, мы постараемся поддержать потухающій огонь, чтобы онъ тлѣлъ подъ золой до лучшихъ временъ. Но особеннаго блеска отъ него и отъ насъ не ждите.

Второй вопросъ. Какъ-ни-какъ, а школьный классицизмъ палъ; а такъ какъ онъ былъ плодомъ реакціонной политики семидесятыхъ годовъ, то побѣда надъ классицизмомъ была также побѣдой надъ этой реакціонной политикой. Такова, дѣйствительно, та мысль утѣшенія, которую вы развиваете на столбцахъ своихъ органовъ, чаще подъ сурдинкой, но иногда и безъ оной. Да, конечно, побѣда тутъ была; только чья? Вотъ вопросъ.

Чтобы рѣшить его, достаточно присмотрѣться къ тѣмъ личностямъ, которыя усерднѣе всего упраздняли „классицизмъ“, и къ тому направленію, которое онѣ проводили. Я намекаю здѣсь, разумѣется, не на покойнаго министра Ванновскаго, который былъ случайнымъ и кратковременнымъ орудіемъ этой новой школьной политики, а на лицъ живыхъ... слишкомъ даже живыхъ, на горе Россіи. Нѣтъ, господа, полноте наивничать; вы сами прекрасно знаете, что классицизмъ погибъ во-

все не въ силу вашихъ умныхъ статей, а потому, что онъ „не оправдалъ надеждъ“. Чьихъ надеждъ? Увы, не вашихъ, а тѣхъ „испанцевъ“, о которыхъ у меня сказано на стр. 88. Да и г. Богдановичъ это чувствуетъ. Онъ очень недвусмысленно заявляетъ на стр. 3 и 9, что нынѣшняя школа ниже старой классической, и свидѣтельствуетъ, что *съ еще большей ненавистью* (чѣмъ къ классической) *отнеслось бы общество, а вмѣстѣ съ нимъ и мы, къ школѣ, такъ называемой, національной.* Что же, господа-общество, точите ножи вашей ненависти! они вамъ понадобятся противъ „искаріотовской“ школы. Не вѣрите? Отсылаю васъ къ слѣдующему экскурсу. А пока скажу вамъ вотъ что: вы дѣйствительно пахали; вы боролись усердно и далеко не безуспѣшно; своимъ усердіемъ вы помогли побѣдить... тѣмъ, которые побѣдили.

Но гордиться этимъ вамъ не пристало. Нѣтъ, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! мы съ добродушной усмѣшкой прощаемъ слова „мы пахали!“ безобидной мухѣ, смирно сидѣвшей на рогу у пашущаго вола; но мы возмущаемся, когда ихъ произноситъ зловредный оводъ, который все время мѣшалъ его работѣ, жужжалъ надъ его головой и выискивалъ его самыя чувствительныя мѣста, чтобъ его побольнѣе, нестерпимѣе ужалить.

XVII.

Послѣднее разсужденіе само собою привело насъ къ вопросу о школьной политикѣ, затронутому на стр. 140 „лекцій“. Г. Богдановичъ не совсѣмъ доволенъ предложеннымъ тамъ рѣшеніемъ этого вопроса. Онъ съ одобреніемъ выписываетъ мои слова, поскольку они касаются „чиновника“ и „зеленаго стола“, но противъ сказаннаго о „суетливыхъ публицистахъ“ онъ заявляетъ протестъ. *Увы!* говоритъ онъ (стр. 4), *почтенный профессоръ не по тому адресу направляетъ свои стрѣлы. Во-первыхъ, эти публицисты были тогда слишкомъ связаны, чтобы нападать* (ну, разсказывайте!), *а во-вторыхъ, не античность вообще винили они, а тотъ отвратительный суррогатъ, который и т. д.* Да, это теперь говорится; но тогда они это не такъ строго различали, а общество и подавно.

Выскажусь, однако, подробнѣе по означенному вопросу...

съ одной только оговоркой. Я пишу эти строки въ самый день учрежденія „особаго совѣщанія“ по пересмотру цензурныхъ правилъ. Въ добрый часъ! Все же результатовъ его трудовъ пока еще нельзя предусмотрѣть, и потому... прошу быть снисходительнымъ къ моимъ многоточіямъ и ковычкамъ.

Въ началѣ, непосредственно послѣ школьной реформы графа Толстого, правительство не рѣшалось предоставить нѣжное растеньице новаго классицизма на произволъ бури общественнаго мнѣнія; на него, какъ и на „все прочее“, было наложено табу. Для публицистики это была, конечно, настоящая лафа; ни о чемъ она такъ, вѣдь, не любитъ говорить, какъ о томъ, о чемъ говорить нельзя — что, впрочемъ, вполнѣ естественно. Молодечество здѣсь было двойное. Во-первыхъ, надлежало на публицистической колесницѣ какъ можно ближе подъѣхать къ табу, едва-едва задѣвъ его край, но такъ, чтобы колесъ не разбить. Во-вторыхъ, была возможность прямо въѣхать въ кисельную гору этого табу, на особой, спеціально для этого приспособленной колесницѣ, именовавшейся „эзоповскимъ“ или „рабскимъ языкомъ“. Оба средства практиковались усердно, къ великому удовольствію общества, очень не любившаго табу со всѣмъ, что оно покрывало. Все же классическая школа отъ этого спорта не особенно страдала: ей доставалось, конечно, но наравнѣ со „всѣмъ прочимъ“, такъ что на ея долю пришлась сравнительно сносная порція публицистическихъ ласкъ.

Но вотъ, уже къ началу восьмидесятыхъ годовъ, съ классицизма было снято табу—потому ли, что онъ „не оправдалъ надеждъ“, или по другой причинѣ, этого я уже сказать не умѣю. А между тѣмъ, „все прочее“ не только осталось подъ табу—его область чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе была расширяема, подъ него подводились все новые и новые институты, до резиновыхъ шинъ включительно... Оно и понятно. Публицисты, вѣдь, народъ бѣдовый, силы размаха не разсчитываютъ; иной замахнется на шины, а попадетъ въ того, кто на нихъ, то бишь, надъ ними сидитъ. А мало ли кто можетъ надъ ними сидѣть? Нѣтъ, господа, вы лучше резиновыя шины оставьте въ покоѣ, а коли васъ одолѣлъ цивизмъ, то браните классическую школу. Такъ то классическая школа была изъята изъ-подъ колпака табу; для нея уже ни ловкихъ подъѣздовъ,

ни рабскаго языка не требовалось — трепать ее могъ всякій. И началась трепка. О „равной порціи“ и рѣчи ужъ быть не могло: чѣмъ бы кто ни былъ недоволенъ изъ „всего прочаго“—онъ исправно бранилъ классическую школу, такъ какъ ее вѣдь только одну и можно было бранить; такъ то ей и пришлось отвѣчать за „все прочее“, съ резиновыми шинами включительно. Общество, не вполнѣ понимавшее причинной связи указанныхъ явленій, поддалось иллюзіи и тоже стало винить классическую школу за все, что ему не нравилось. Не было наводненія, не было недорода или иного бѣдствія, котораго бы не ставили въ счетъ проклятому классицизму; выходило какъ въ пѣсенкѣ Виктора Гюго:

On est laid à Nanterre,—
C'est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,—
C'est la faute à Rousseau.

Вольтера и Руссо замѣнила классическая школа.

Помните сказку про лису и собакъ? Лиса, спасаясь отъ собакъ, благополучно спряталась въ нору. Тутъ она стала сама съ собой разсуждать, какая часть тѣла ей менѣе всего нужна, и вскорѣ рѣшила, что это—хвостъ. И такъ, „на-те, собаки, ѣшьте хвостъ!“ Собаки ухватились за хвостъ и вытащили лису.

Сказка очень лаконична, но всякій одаренный фантазіей человѣкъ можетъ представить себѣ, во что обратился нашъ злополучный хвостъ послѣ этой азартной, коллективной и послѣдовательной грызни. А между тѣмъ онъ былъ поистинѣ „невинно пострадавшимъ“: вовсе не его хотѣлось собакамъ, а скорѣе „всего прочаго“...

— „Ну, а лису то, все-таки, вытащили?“

Ужъ объ этомъ вы, господа, другихъ спросите: это—„не по моей спеціальности“...

25 янв. 1905 г.

Примѣчаніе. Настоящій экскурсъ былъ уже не только написанъ, но отчасти и набранъ, когда я прочелъ въ мартовскомъ выпускѣ „Міра Божія“ (1905) чудовищную по своей безпричинной грубости рецензію г. Богдановича на мою книгу „Изъ жизни идей“; конечно, прочти я эту рецензію раньше, я не оказалъ бы ему чести вступать съ нимъ въ полемику. Мнѣ пріятно удостовѣрить, что онъ явился въ данномъ случаѣ единственнымъ уродомъ въ журнальной семьѣ; желаю ему и впредь такой же splendid isolation невоспитанности.

ЭКСКУРСЪ ТРЕТІЙ.

Правая шикаетъ.

Φράζεο, Κεκροπίδη, κύνα Κέρβερον ἀνδραποδιστήν.

Аристофанъ.

Литературный переводъ (не мой):

Тише, тише, господа:
Господинъ Искаріотовъ,
Патріотъ изъ патріотовъ,
Приближается сюда.

I.

А впрочемъ, одно я предрекаю: если не вытащили до сихъ поръ, то ужъ и не вытащатъ—по крайней мѣрѣ, за хвостъ. Лиса-то, вѣдь, не даромъ лиса: убѣдившись, что ея хвостъ основательно общипанъ, истрепанъ и поруганъ собаками и уже болѣе ни въ украшеніе, ни въ утѣшеніе ей не годится, она сама его отгрызла и отдала имъ.

Тогда пошла новая порода чиновниковъ...

Господь съ ними, однако, и съ хвостами и съ чиновниками; совсѣмъ не о нихъ хотѣлъ я говорить. Хотя, съ другой стороны, для присказки они не очень неумѣстны: они настраиваютъ умъ читателя на ретроградный тонъ, а это именно здѣсь и требуется. Дѣйствительно, исходной точкой для настоящаго моего экскурса будетъ отображеніе моей книги въ умѣ г-на Искаріотова.

— „Послушайте, выражайтесь яснѣе. Какое тамъ «отображеніе?» Рецензія, что-ли, или отзывъ? Гдѣ и когда напечатанный? Или, быть можетъ,—доносъ? И что это за фигура, этотъ вашъ Искаріотовъ?"

Пожалуйста, читатель, не смущайте меня щекотливыми вопросами: то, что я имѣю вамъ разсказать, и безъ того достаточно интересно. Я выражаюсь, какъ могу, и стараюсь подбирать самыя подходящія слова. Я уже вамъ сказалъ, что теперь пошла новая порода чиновниковъ; ну и слова для нихъ новыя. Итакъ, еще разъ прошу позволенія познакомить васъ съ отображеніемъ моей книги въ умѣ г. Искаріотова—или, что одно и тоже, разсказать вамъ легенду о маломъ инквизиторѣ.

II.

Къ первому замѣчанію дало поводъ г-ну Искаріотову мое разсужденіе на стр. 58 сл. Прошу читателя сначала прочесть само разсужденіе, а затѣмъ ужъ посмотрѣть, что̀ изъ него сдѣлалъ мой судья. А именно вотъ что̀:

Въ этихъ лекціяхъ авторъ, между прочимъ, характеризуетъ себя. На стр. 57 мы узнаемъ, что онъ недостаточно благоразуменъ, такъ какъ рѣшился выдвинуть учебно-нравственную точку зрѣнія вопреки совѣтамъ людей, мнѣнію которыхъ онъ придаетъ значеніе, въ надеждѣ, что юные слушатели поймутъ и оцѣнятъ его взгляды на этотъ счетъ лучше, чѣмъ нѣкоторые изъ тѣхъ, которые слышали ихъ отъ него раньше („выдвиганіе точки зрѣнія" и „взгляды на этотъ счетъ" суть подлинныя выраженія автора). Затѣмъ, на стр. 57 онъ объявляетъ себя склоннымъ къ нравственнымъ подвигамъ [1]) *и разсказываетъ одинъ изъ таковыхъ. Когда онъ былъ начинающимъ преподавателемъ, между нимъ и однимъ ученикомъ возникъ споръ по поводу перевода фразы Горація: scribendi recte sapere est et principium et fons. Ученикъ отнесъ recte къ scribendi и перевелъ „быть умнымъ—вотъ начало и источникъ того, чтобы правильно писать; г-ну же З., какъ*

---

[1]) Разумѣется, я нигдѣ ничего подобнаго не „объявлялъ"; но на этихъ цвѣточкахъ искаріотовщины останавливаться не стоитъ.

онъ выражается, „почему-то показалось“ [1]*, что recte слѣдуетъ отнести къ sapere, и онъ перевелъ: „правильно мыслить —вотъ начало и источникъ писательства“ На слѣдующемъ урокѣ ученикъ, однако, доканалъ учителя, поднеся ему изъ Горація изреченіе „sapere aude“—„рѣшись быть умнымъ“. Учитель сдался.*

Этотъ инцидентъ, повидимому, можетъ служить для доказательства только того положенія, что г. З. уже издавна отличался неблагоразуміемъ, такъ какъ, еще не изучивъ достаточно Горація, онъ рѣшается вступать въ споръ по поводу его изреченія и дѣлаетъ это только потому, что ему „почему-то показалось“.

Не нахожу лучшаго отвѣта на это столь же остроумное по формѣ, сколь благородное по содержанію разсужденіе, какъ тѣ же слова Оскара Iегера, на которыя я намекнулъ въ текстѣ лекцій (стр. 59). Вотъ эти слова въ точномъ русскомъ переводѣ (Aus der Praxis 16 сл.).

„Знаешь, когда я впервые почувствовалъ величіе науки (die Majestät der Wissenschaft)? Когда нашъ покойный учитель—человѣкъ, передъ которымъ самый бойкій изъ насъ готовъ былъ спрятаться въ мышиную норку, хотя онъ наказывалъ только словами—объявилъ намъ, бѣдняжкамъ, что такой-то изъ насъ былъ правъ, переводя вчера такое-то мѣсто, и что онъ самъ (а былъ онъ лучшимъ филологомъ страны) перевелъ неправильно. Ему было свыше шестидесяти лѣтъ, а мы были 15-лѣтними мальчишками (dumme Jungen); тутъ мы почувствовали, что есть нѣчто выше и его и насъ—истина“.

Конечно, можно предположить, что, употребляя мѣстоименіе „мы“, Iегеръ разумѣлъ лишь лучшую и, надѣемся, бо́льшую часть класса съ собою включительно; вполнѣ возможно, что среди упомянутыхъ имъ „мальчишекъ“ были и такіе, которые издѣвались надъ своимъ учителемъ, попрекая его тѣмъ, что онъ недостаточно изучилъ своего автора, и злорадствуя по поводу того, что ученикъ доканалъ учителя, и что учитель сдался. Что дѣлаетъ! въ семьѣ не безъ урода, и среди всѣхъ dumme Jungen встрѣчаются обязательно и dümmste Jungen.

[1]) Т.-е. по причинамъ, которыя я или успѣлъ позабыть въ теченіе 20 лѣтъ, или не считаю достаточно важными, чтобы о нихъ говорить.

Со всѣмъ тѣмъ я вывода г-на Искаріотова не оспариваю. Да, конечно: я уже издавна „отличался неблагоразуміемъ“, но только не потому, что недостаточно изучилъ Горація; я зналъ добрую его половину наизусть, и отъ ошибки, подобной моей, никакое изученіе не спасаетъ, какъ доказалъ и приведенный Іегеромъ примѣръ. Нѣтъ, мое неблагоразуміе заключается въ другомъ; а въ чемъ, это я покажу, сопоставивъ съ собою „благоразумнаго“ преподавателя искаріотовской школы. Съ нимъ, дѣйствительно, „инцидентъ“ сокращается до минимальныхъ размѣровъ:

Ученикъ. Позвольте, Иванъ Ивановичъ: не правильнѣе-ли будетъ отнести recte къ scribendi?

Учитель. Прошу не разсуждать! Вы больше моего знаете, что-ли? Переводите, какъ вамъ сказано, а то я вамъ поставлю двойку!

И ужъ, конечно, этимъ аргументомъ учитель доканалъ бы ученика.

Нѣтъ, что правда, то правда: я уже издавна былъ неблагоразумнымъ человѣкомъ, остался имъ и понынѣ, ut figura docet, и останусь имъ, надѣюсь, и „по гробъ жизни моей“. Да хранитъ меня Господь отъ искаріотовскаго благоразумія.

Это—по части содержанія; но что̀ сказать о формѣ, о томъ специфическомъ остроуміи, которое ее отличаетъ? Конечно, остроуміе бываетъ удачное и неудачное, и вольно всякому относить напр., мое собственное къ этой послѣдней категоріи. Но помимо этого, такъ сказать, количественнаго дѣленія, обусловливаемаго большей или меньшей дозой esprit, есть еще качественное; и вотъ мнѣ кажется, что отъ этихъ искаріотовскихъ тирадъ на сто шаговъ вѣетъ запахомъ... нѣкоей жилой комнаты. Великолѣпный образецъ этого специфическаго остроумія представилъ Достоевскій въ томъ пасквилѣ на князя Мышкина, послѣ чтенія котораго одинъ изъ присутствующихъ замѣчаетъ: „точно пятьдесятъ лакеевъ собрались вмѣстѣ сочинять и сочинили!“ Ну, пятьдесятъ не пятьдесятъ, но что вообще безъ лакея тутъ дѣло не обошлось, въ этомъ я готовъ биться объ закладъ.

III.

Теперь г. З—ому почему-то [1]) *кажется, что на основаніи подобныхъ инцидентовъ можно раздѣлить предметы гимназическаго преподаванія на благопріятно дѣйствующіе на нравственность или моральные, неблагопріятно дѣйствующіе на нравственность или иммoральные и безразличные или аморальные. Къ первымъ относятся древніе языки, ко вторымъ—новые языки, къ третьимъ — математика, потому что будто бы „она не учитъ отказываться отъ прежняго мнѣнія вслѣдствіе большей убѣдительности доводовъ противника“. На стр. 145 авторъ заявляетъ, что „всякая мысль, будучи додумана (sic!) до конца, поднимаетъ вереницу новыхъ мыслей; если то же самое произойдетъ и здѣсь съ вами, то это будетъ только хорошо для васъ“. Желая, чтобы мнѣ было хорошо, я рѣшился обсудить, къ какой категоріи предметовъ долженъ быть отнесенъ православный законъ Божій. Я убѣдился, увы, что изъ всѣхъ предметовъ это—самый иммoральный.*

Я не думаю, чтобы мой отобразитель имѣлъ право возлагать на меня отвѣтственность за тѣ вереницы новыхъ идей, которыя въ немъ поднимаетъ моя правильно додуманная до конца мысль; ихъ характеръ зависитъ, вѣдь, въ значительной степени отъ его собственной индивидуальности. Ткните хоть золотымъ посохомъ въ дно илистой канавы — въ результатѣ получится все-таки грязь; допустите воздѣйствіе хоть самой благородной въ мірѣ идеи на мыслительный центръ тупого, злобнаго и лицемѣрнаго критика — въ результатѣ получится искаріотовщина.

Относительно же Закона Божьяго—и православнаго, и всякаго другого—дѣло обстоитъ слѣдующимъ образомъ.

Методовъ его преподаванія много, но всѣ они сводятся къ двумъ кореннымъ. Первый — это тотъ, при которомъ учитель ласково наставляетъ ученика, снисходитъ къ его сомнѣніямъ, помогаетъ ему выпутаться изъ лабиринта предубѣжденій и

---

[1]) Не „почему-то“, а на основаніи причинъ, которыя ясно изложены на стр. 57 и о которыхъ критикъ „почему-то“ счелъ нужнымъ умолчать.

скороспѣлыхъ выводовъ на путь, ведущій къ душевному миру. Этотъ методъ—тотъ самый, которымъ пользовались первые учители христіанства среди язычниковъ; мы вправѣ его, поэтому, назвать методомъ апостольскимъ. Будетъ ли законъ Божій, преподаваемый по этому методу, „моральнымъ“ предметомъ—по моей терминологіи? Безусловно да; вѣдь согласно этой терминологіи критеріемъ моральности предмета является (стр. 60) преклоненіе передъ силой доводовъ противника, то нравственное усиліе надъ собой, вслѣдствіе котораго человѣкъ говоритъ: „въ началѣ я спорилъ съ вами, но теперь вижу, что былъ не правъ“. А именно это-то и преслѣдуется тѣмъ методомъ, который я имѣю въ виду. Доказательствомъ можетъ служить одинъ изъ первыхъ памятниковъ христіанства на римской почвѣ, „Октавій“ Минуція Феликса; здѣсь, въ заключеніе спора, язычникъ Цецилій, уступая доводамъ своего противника-христіанина, говоритъ ему: „мы побѣдили оба: ты восторжествовалъ надо мною, а я надъ заблужденіемъ“. — Почему же мой критикъ, основываясь на моей же терминологіи, объявляетъ Законъ Божій, яко бы съ моей точки зрѣнія, имморальнымъ предметомъ? Очевидно потому, что онъ съ апостольскимъ методомъ его преподаванія незнакомъ.

Другой методъ, діаметрально противоположный первому, состоитъ въ слѣдующемъ. Учитель требуетъ главнымъ образомъ, чтобы религіозныя убѣжденія ученика соотвѣтствовали утвержденному свыше катехизису; всѣ сомнѣнія подавляются авторитетнымъ „такъ сказано“; а если этотъ аргументъ кажется ученику недостаточно убѣдительнымъ, то ему сбавляется баллъ. Этотъ методъ я называю методомъ инквизиторскимъ; согласно моей собственной терминологіи (стр. 61 „возникаетъ споръ—его рѣшаетъ тотъ же авторитетъ; противъ приговора «такъ говорятъ» спорить и доказывать напрасно“) я призналъ бы преподаваемый по этому методу Законъ Божій имморальнымъ предметомъ, производящимъ явныхъ и тайныхъ атеистовъ и нигилистовъ. Если же мой рецензентъ это обозначеніе распространяетъ на Законъ Божій вообще, то это происходитъ очевидно оттого, что онъ, по всему складу своей натуры, никакого другого метода его преподаванія, кромѣ инквизиторскаго, не знаетъ и не допускаетъ.

Послѣдовательно ли это? О да, вполнѣ. Законоучитель-инквизиторъ выросъ на той же трясинѣ искаріотовской педагогики, какъ и тотъ „благоразумный“ преподаватель, о которомъ рѣчь была выше. Оба они — такіе же нигилисты и гасители, безъ чувства въ сердцѣ, безъ идеаловъ въ душѣ. Имъ ли знать эти священные восторги передъ истиной, когда она, точно Божье солнце, выплываетъ изъ-за грозовыхъ тучъ сомнѣнія? Они ее замѣнили своей бюрократической истиной; истина—это то, чтó „сказано“, сказано тѣмъ, кто чиномъ выше васъ. Вполнѣ понятно, что они другой и не знаютъ: въ тѣ канцеляріи, гдѣ прозябаетъ ихъ бюрократическая истина, не заглядываетъ лучъ Божьяго солнца, не доносятся раскаты Божьей грозы. И прекрасно. Храните все это „благоразумное“ племя въ нѣдрахъ своей искаріотовской семьи, награждайте его окладами, чинами, орденами—но, ради Бога, держите его вдали отъ школы, отъ науки, отъ молодежи! А въ школѣ оставьте тѣхъ „апостоловъ“, въ которыхъ она нуждается, и равныхъ имъ по духу преподавателей—неблагоразумныхъ, увы, но съ яснымъ умомъ и теплымъ сердцемъ; и на этомъ вамъ будетъ... брезгливое, да, но искреннее спасибо!

IV.

Уже на стр. 100 авторъ ставитъ вопросъ: „желательно ли, чтобы откровеніе было единственной санкціей нравственнаго долга?“ и объявляетъ, что въ возрастѣ его слушателей-гимназистовъ религіозный скептицизмъ есть явленіе біологическое и что онъ, авторъ, жалѣетъ того, кто имъ не зараженъ.

Нѣтъ ничего хуже инквизиторовъ-дилеттантовъ. Инквизиторъ-спеціалистъ—тотъ, по крайней мѣрѣ, свое дѣло знаетъ и не станетъ выдавать за ересь вполнѣ ортодоксальнаго сужденія. Что откровеніе не должно быть единственной санкціей нравственнаго долга, въ этомъ согласны всѣ авторитеты христіанской церкви, начиная со св. Амвросія Медіоланскаго; вы, г. Искаріотовъ, никакого понятія о богословіи не имѣете и

даже не чувствуете того смѣшного положенія, въ которое вы себя ставите своими теологическими придирками.

Итакъ, первая цитата вполнѣ безобидна; со второй она поставлена рецензентомъ въ насильственную и безсмысленную связь, которой въ подлинникѣ нѣтъ, — но объ этомъ пріемѣ г. Искаріотова еще будетъ рѣчь ниже. Равнымъ образомъ слово „зараженъ" употреблено рецензентомъ, а не мною, и притомъ невпопадъ: разъ идетъ рѣчь о явленіи біологическомъ, т.-е. о продуктѣ самостоятельнаго развитія организма, то ясно, что ни о какой заразѣ не можетъ быть рѣчи; не говоримъ же мы: „юноша зараженъ переломомъ голоса" или „старикъ зараженъ сѣдиной".

А затѣмъ мнѣ совсѣмъ неясно, что въ моихъ словахъ можетъ быть найдено предосудительнаго. Конечно, я признаю, на ряду со скептицизмомъ безнадежнымъ и окончательнымъ, еще скептицизмъ, какъ преходящее явленіе, свойственное переходному отъ отрочества къ юности возрасту и поэтому ничуть не страшное. Мой рецензентъ, повидимому, съ этимъ разграниченіемъ не согласенъ; и дѣйствительно, съ инквизиторской точки зрѣнія тутъ никакой разницы нѣтъ.

Сверхъ того онъ, повидимому (къ сожалѣнію, онъ еще не разъ заставитъ меня прибѣгнуть къ этому слову: онъ по свойственному ему „благоразумію" не только не додумываетъ, но и не договариваетъ своихъ мыслей) неодобрительно относится къ тому, что я отдалъ предпочтеніе человѣку, который черезъ пустыню сомнѣній дошелъ до положительнаго міросозерцанія, передъ тѣмъ, который никогда никакихъ сомнѣній не испытывалъ. Что же, буду утѣшать себя тѣмъ, что на моей сторонѣ—Іисусъ Христосъ съ Его чудной притчей о блудномъ сынѣ, притчей, столь ненавистной всѣмъ инквизиторамъ.

Но я вижу на лицѣ моего противника скверную, „карамазовскую" улыбку. Нѣтъ, оставимъ въ сторонѣ Евангеліе, разговаривая съ этимъ нигилистомъ; сосредоточимся на почвѣ общечеловѣческаго мышленія. Итакъ, я утверждаю слѣдующее:

1) Я знаю по собственному, довольно таки продолжительному опыту, что этотъ „біологическій", преходящій скептицизмъ бываетъ свойственъ именно наиболѣе живымъ, наиболѣе вдумчивымъ и отзывчивымъ юношамъ; и именно этотъ опытъ на-

велъ меня на то объясненіе указаннаго явленія, которое дано въ моихъ лекціяхъ и котораго я, разумѣется, не выдаю за новое. На другой сторонѣ я, въ исключительныхъ случаяхъ, правда, находилъ людей съ ангельски тихой и незлобивой душой, но чаще — либо тупыхъ и по своей тупости немыслящихъ далѣе того, что „сказано", либо такихъ, которые были себѣ на умѣ и дѣйствовали по правилу:

expedit esse deos—et ut expedit esse putemus [1]),

будущихъ Чичиковыхъ, Молчалиныхъ и—Искаріотовыхъ.

2) Мы въ каждомъ юношѣ должны видѣть также будущаго отца, т.-е. будущаго воспитателя молодежи; и тутъ-то ясно, полагаю я, что человѣкъ, въ самомъ себѣ пережившій и поборовшій бурю сомнѣній, легче пойметъ душевную борьбу у тѣхъ юношей, которые будутъ ввѣрены его руководительству, чѣмъ тотъ, кто ея не зналъ. Есть хорошее слово нѣмецкаго поэта Иммермана: „только тѣ люди никогда не заблуждаются, вся жизнь которыхъ составляетъ одно сплошное, сухое заблужденіе". Такой „вѣчно позитивный" человѣкъ, полагаю я, и въ собственной семьѣ будетъ причиной и жертвой той роковой розни „отцовъ и дѣтей", о которой намъ столько говорятъ; но поистинѣ разрушительной будетъ его дѣятельность, если судьба отдастъ на его попеченіе болѣе или менѣе значительную часть учебнаго дѣла. Своимъ полнымъ непониманіемъ молодой души, своимъ грубоинквизиторскимъ вторженіемъ въ ея міръ онъ лишь усилитъ ту смуту, которую его призовутъ устранить, и станетъ виновникомъ гибели десятковъ и сотенъ молодыхъ жизней.

V.

На слѣдующей 101-й страницѣ авторъ заявляетъ, что „борьба есть единственное и необходимое средство совершенствованія", что „такая борьба предстоитъ и намъ" (т.-е. гимназистамъ) и что „въ такія эпохи усиленной борьбы не годится замы-

---

1) „Для насъ выгодно, чтобы были боги; пусть же они будутъ таковыми, какъ это для насъ выгодно".

каться въ предѣлы одной какой-нибудь, хотя-бы и христіанской морали", а слѣдуетъ „черезъ этотъ наносный слой ходячей морали проникнуть въ дѣйствительную нравственность". Затѣмъ слѣдуетъ прославленіе Ницше.

Конечно, объявляя—заодно со всѣми представителями не только науки, но и религіи—борьбу единственнымъ средствомъ совершенствованія, я разумѣлъ совершенствованіе нравственное и умственное, а отнюдь не служебное; что для послѣдняго гораздо болѣе дѣйствительнымъ средствомъ является угодничество, низкопоклонство и фискальство, это теоретически извѣстно и мнѣ. А затѣмъ имѣю сказать вотъ что. Цитаты подобраны и соединены съ такимъ разсчетомъ, чтобы читатель или слушатель изъ нихъ вывелъ заключеніе, что, по моему мнѣнію, христіанская мораль есть наносный слой, дѣйствительная же мораль есть мораль Ницше. Я же прошу читателя прочесть мои подлинныя слова на указанной страницѣ примѣрно отъ: „И вотъ почему..." Мнѣ кажется, если я неоспоримый успѣхъ ученія Ницше признаю лишь симптомомъ, и даже однимъ изъ симптомовъ, общественнаго интереса къ нравственнымъ вопросамъ, то этимъ самымъ я исключаю всякую мысль о томъ, чтобы его ученіе было рѣшеніемъ этихъ вопросовъ, было дѣйствительной моралью. А затѣмъ обращаю вниманіе на мою ясную полемику съ моралью Ницше на стр. 143. Правда, здѣсь имени Ницше не названо; что же, не зналъ мой рецензентъ, что слово „was fällt, das muss man stossen" принадлежитъ Ницше? Но это его самый знаменитый афоризмъ; кто даже его не знаетъ, тотъ поступаетъ очень „неблагоразумно", (въ умственномъ и нравственномъ, а не въ служебномъ отношеніи) заводя рѣчь о Ницше вообще. На одномъ „сверхчеловѣкѣ" съ варіаціями (сверхстудентѣ и т. п. пошлостяхъ) далеко не уѣдешъ.

Еще укажу на мелкую, но характерную передержку: передавая мои слова „такая борьба предстоитъ и намъ", рецензентъ поясняетъ: *(т.-е. гимназистамъ)*. Поясненіе вдвойнѣ вздорное: 1) грамматически, такъ какъ, говоря о гимназистахъ какъ о „насъ", я этимъ самымъ и себя бы къ нимъ причислилъ, и 2) логически, такъ какъ по всей связи мыслей видно, что подъ „мы" разумѣется современное общество. Но цѣль

этой искаріотовской передержки ясна: я, изволите ли видѣть, подстрекаю гимназистовъ къ борьбѣ, къ протесту, къ . . . . . Да, есть чѣмъ любоваться; но все же, читатель, и это еще только цвѣточки.

VI.

Возвращаясь къ стр. 100, отмѣтимъ заявленіе автора, что въ болѣе зрѣломъ возрастѣ человѣкъ „отрезвляется, соразмѣряетъ свои силы со своей задачей, учится съ уваженіемъ относиться къ тѣмъ санкціямъ, которыя нѣкогда отвергалъ...“ Это, конечно, говорится о человѣкѣ культурномъ. а на стр. 11 читаемъ, что въ средніе вѣка „кажущейся цѣлью классическаго образованія было усвоеніе Священнаго Писанія и литургіи... Конечно, для этого былъ другой способъ, болѣе простой и удобный: переводъ всего этого на родной языкъ; такъ поступили народы христіанскаго востока, и послѣдствіемъ было то, что они остались въ сторонѣ отъ культурнаго движенія...“ Бѣдные православные славяне со своими Первоучителями, бѣдные нѣмцы съ Мартиномъ Лютеромъ — ради простоты и удобства вы отстали отъ культурнаго движенія и нынѣ вы лишены возможности успокоить свои религіозныя сомнѣнія въ лонѣ католицизма!

Переходъ отъ первой цитаты, вполнѣ безобидной съ самой искаріотовской точки зрѣнія, ко второй — „а на стр. 11 читаемъ“—заставляетъ ожидать какого-нибудь контраста между ними; на дѣлѣ же связи между ними нѣтъ никакой, и ихъ насильственное соединеніе въ рецензіи производитъ впечатлѣніе какого-то оллендорфовскаго сумбура, вродѣ какъ еслибы кто сказалъ „въ Италіи растутъ кипарисы, а мой дядя сегодня съѣлъ селедку“. Но, быть можетъ, критику это-то и нужно было; быть можетъ, онъ разсчитывалъ, что его слушатели поставятъ этотъ сумбуръ въ счетъ ничуть неповинному въ немъ автору; быть можетъ, онъ не ошибся въ своемъ разсчетѣ...

Но главное, повидимому, вторая цитата. Опять попрошу читателя прочесть то мѣсто подлинника, изъ котораго она заимствована, стр. 11: „Прежде всего, еще въ ранній періодъ среднихъ вѣковъ кажущейся цѣлью классическаго образованія

было“ и т. д. На это критикъ отвѣчаетъ восклицаніемъ: *Бѣдные нѣмцы съ Мартиномъ Лютеромъ! ради* и т. д. Итакъ, онъ относитъ Мартина Лютера къ раннему средневѣковью; вотъ какова его . . . не знаю, сказать ли „ученость“ или „добросовѣстность“. Но это не все; кромѣ нѣмцевъ, онъ сожалѣетъ еще и о *православныхъ христіанахъ съ ихъ Первоучителями*: и къ нимъ относится ироническое продолженіе *ради простоты . . . . . католицизма.* Спрашивается, при чемъ тутъ католицизмъ? Во-первыхъ, всякому ребенку извѣстно, что славянскіе Первоучители жили до раздѣленія церквей и были поэтому столь же католическими, сколь и православными угодниками, каковыми они и признаются въ обѣихъ церквахъ. Во-вторыхъ, усвоеніе Писанія на греческомъ языкѣ (выше стр. 177) не сдѣлало бы Россію католической, а, наоборотъ, еще болѣе укрѣпило бы ея связь съ православной Византіей. Въ-третьихъ, какія такія *религіозныя сомнѣнія?* Выходитъ, что *православные христіане* поголовно *заражены религіознымъ скептицизмомъ?*

Но полно, не будемъ наивничать. При чемъ тутъ католицизмъ? Да очень просто: для того, чтобы заподозрить меня въ католической пропагандѣ. Выше мой критикъ обвинялъ меня въ *прославленіи Ницше*; положимъ, Ницше былъ очень сомнительнымъ католикомъ, но съ точки зрѣнія искаріотовскаго фискальства всѣ противорѣчія благополучно уживаются, если ихъ прикрыть общимъ колпакомъ неблагонадежности. Правда, г. Искаріотовъ по прирожденному „благоразумію“ не ставитъ точекъ на *i*; другой его единомышленникъ былъ смѣлѣе, обозвавъ меня, все равно гдѣ, „инородцемъ и иновѣрцемъ“, не заслуживающимъ никакого довѣрія со стороны „истинно русскихъ людей“. Да, конечно, г. Искаріотовъ; для васъ и для вашей артели я инородецъ и иновѣрецъ. Мало того: я сынъ того народа, который далъ этой артели матеріалъ для безчисленныхъ доносовъ; того народа, на многострадальной спинѣ котораго ея члены привыкли выколачивать свою служебную карьеру. Все это такъ; но при всемъ томъ я—уроженецъ той земли, которая издавна входитъ въ предѣлы россійской имперіи, и потомокъ рода, съ незапамятныхъ временъ въ ней обитавшаго. Вмѣстѣ съ соками родной земли я всосалъ въ себя

и то гордое право, которое греки называли своимъ прекраснымъ словомъ parrhêsia—право вездѣ и всегда выражать свое мнѣніе наравнѣ съ прочими гражданами русской земли по всѣмъ вопросамъ, касающимся русской государственной или общественной жизни; это право я закрѣпилъ за собою двадцатилѣтнимъ служеніемъ русскому народу, оно признано за мною всѣми моими товарищами и слушателями—и уже, конечно, я не отступлюсь отъ него въ угоду той черной артели, которую вся честная Россія ненавидитъ и презираетъ не менѣе моего!

VII.

Впрочемъ о нѣмцахъ авторъ не упоминаетъ, зато о Россіи говоритъ слѣдующее (стр. 10): „Россія долгое время не имѣла классической школы, — но зато все это время она и не была культурной страной; она стала таковой лишь съ тѣхъ поръ, какъ завела у себя классическую школу. Это фактъ, и притомъ фактъ, вполнѣ подтверждающій нашъ выводъ“. Авторъ не указываетъ точно момента, съ котораго Россія стала культурной страной; интересно, однако, что скажутъ нашему автору историки Россіи по поводу открытаго имъ „факта“!

„Авторъ не указываетъ точно момента, съ котораго Россія стала культурной страной...“ ахъ да, это упущеніе важное: въ самомъ дѣлѣ, отъ какого дня и мѣсяца и за какимъ нумеромъ поступило въ канцелярію г-на Искаріотова отношеніе, что Россія стала культурной страной, о чемъ имѣетъ честь увѣдомить его превосходительство? Въ этомъ каюсь; что же касается того интереса, который возбуждаетъ въ немъ откликъ русскихъ историковъ на мое мнимое открытіе, то онъ пока не удовлетворенъ и, боюсь, никогда удовлетворенъ не будетъ. Русскіе историки — люди науки; они знаютъ, что хронологія культурно-историческихъ событій далеко не такъ точна, какъ хронологія входящихъ бумагъ; знаютъ, что требовать точнаго указанія момента, съ котораго Россія стала культурной страной, могутъ только люди, способные также относить Лютера къ раннему средневѣковью. Но это еще не все.

Для всякаго читающаго мою книгу ясно, что я употребляю

выраженіе „культурный“ въ болѣе узкомъ смыслѣ умственной культуры, обусловленной участіемъ въ общеевропейской научной работѣ, каковое въ свою очередь обусловливается наличностью высшихъ и среднихъ школъ и научно образованной интеллигенціи. А поэтому мой критикъ поступилъ бы гораздо проще и честнѣе, еслибы онъ—вмѣсто того, чтобы безпомощно взывать къ русскимъ историкамъ, — самъ опровергъ меня указаніемъ такого момента, когда Россія имѣла бы все это, не имѣя въ то же время классической школы.

А впрочемъ, все это пока — опять-таки только цвѣточки искаріотовщины; со слѣдующей главы пойдутъ уже ягодки.

VIII.

Любопытный взглядъ на душу русскаго народа проводитъ авторъ на стр. 38. Говоря о происхожденіи слова „совѣсть“, авторъ заявляетъ: „въ русскомъ народномъ сознаніи это слово корней не имѣетъ... И такихъ переводныхъ словъ много, и знать ихъ нужно для того, чтобы не приписывать русской народной душѣ того, что ей чуждо“. Вотъ какъ раздѣлываютъ передъ учениками Россію и русскій народъ съ античной точки зрѣнія!

Очевидно мой критикъ, произвольно соединяя два клочка моего разсужденія, хотѣлъ вызвать, гдѣ слѣдуетъ, впечатлѣніе, будто я отрицаю наличность у русскаго народа совѣсти, онъ такъ увѣренъ въ успѣхѣ своей клеветы, что нѣсколько далѣе (см. гл. X) патетически возглашаетъ: *итакъ, даже куполы нашихъ храмовъ являются символами нечестности безсовѣстнаго русскаго народа!* Прошу поэтому читателя и здѣсь прочесть in extenso все мое разсужденіе на стр. 38 и сл. отъ слова „для примѣра приведу“ и т. д. Сказано ли здѣсь то, въ чемъ меня обвиняетъ почтенный г. Искаріотовъ? Вѣдь еслибы я тутъ даже отрицалъ совѣсть у русскаго народа, то это относилось бы только къ эпохѣ до принятія христіанства; а въ этомъ, полагаю я, ничего обиднаго для него бы не было. Не станетъ же мой противникъ, этотъ усердный радѣтель объ интересахъ православнаго Закона Божія, этотъ суровый обличитель всякой, даже самой незамѣтной католической пропа-

ганды—не станетъ онъ, повторяю, отрицать, что принятіе православнаго христіанства содѣйствовало нравственному возвышенію русскаго народа! Итакъ, что же тутъ обиднаго, еслибы, вмѣстѣ съ другими нравственными понятіями, и понятіе совѣсти оказалось пріобщеннымъ къ сознанію русскаго народа лишь съ эпохи Владиміра Святого?

Но я даже этого не говорю; я не думаю отрицать, что и у языческихъ полянъ могла быть совѣсть, какъ она имѣется теперь у языческихъ якутовъ и другихъ нехристіанскихъ народностей. Мой критикъ не пожелалъ выставить на видъ, что мое разсужденіе касается вовсе не нравственнаго чувства совѣсти, какъ внутренняго регулятора нашего поведенія, а только интеллектуальнаго представленія объ этомъ чувствѣ, извлекаемаго изъ этимологическаго разбора самаго слова „совѣсть". Кто первый, все равно на какомъ языкѣ, обозначилъ внутренній регуляторъ нашего поведенія соединеніемъ понятій „со" и „вѣсть", тотъ ясно представлялъ его себѣ, какъ обитающую въ насъ силу „вѣдающую вмѣстѣ съ нами" наши дѣла. И вотъ въ этомъ-то представленіи, имѣющемъ въ своемъ основаніи совершенно нехристіанскую идею раздвоенія души, я говорю, что оно было первоначально (т.-е. до Владимира Святого) чуждымъ русской народной душѣ и явилось только путемъ книжнаго перевода съ греческаго. Самый фактъ, къ слову сказать, не подлежитъ никакому сомнѣнію; точно такъ же, впрочемъ, и нѣмецкое Gewissen переведено съ латинскаго conscientia (извѣстно даже имя переводчика: имъ былъ монахъ 10—11 вѣка Notker Labeo), и этотъ фактъ приводится даже въ такой ультратевтонской книгѣ, какъ O. Weise, Charakteristik der deutschen Sprache (изд. 3, стр. 7).

И это совершенно безобидное, чисто филологическое разсужденіе, которымъ я хотѣлъ доказать самобытный характеръ греческаго языка и важность его изученія для пониманія русскаго—оно дало моему критику поводъ къ его патетическому возгласу: *вотъ какъ раздѣлываютъ передъ учениками Россію и русскій народъ съ античной точки зрѣнія!* Нѣтъ, г. критикъ; нигдѣ я не отрицалъ наличности совѣсти у русскаго народа. Но зато своей клеветой вы дали мнѣ полное право отрицать наличность этого драгоцѣннаго чувства у васъ.

IX.

Приведу еще два замѣчанія автора о Россіи. На стр. 137, говоря о пріемныхъ экзаменахъ въ школѣ и о необходимости изъ 500 желающихъ принять только 50, авторъ указываетъ, что этого можно достигнуть повышеніемъ платы за ученіе или усиленіемъ строгости вступительнаго экзамена, и продолжаетъ: „ни то, ни другое средство не годятся, а будетъ примѣнено третье, тѣмъ болѣе, что оно имѣетъ у насъ очень прочный историческій фундаментъ—протекція или взятка.

Не знаю, спроста ли представилъ критикъ дѣло въ томъ видѣ, будто я говорю о нынѣ существующей необходимости (между тѣмъ какъ я представляю ее только какъ могущую наступить въ будущемъ, въ случаѣ введенія „легкой школы"); объ этомъ я предоставилъ бы ему спросить собственную совѣсть, если бы таковая у него была. Но оставимъ это: что̀ усмотрѣлъ онъ предосудительнаго въ моихъ словахъ? То ли, что у меня протекція и взятка оказываются „имѣющими у насъ очень прочный историческій фундаментъ"? Да развѣ тутъ есть хоть доля неправды?...

Виноватъ, я опять наивничаю; какъ будто вопросъ о правдѣ или неправдѣ имѣетъ для г. Искаріотова малѣйшій интересъ! У него своя, бюрократическая правда; а въ чемъ она состоитъ, это мы еще увидимъ. Не буду входить въ его монастырь со своимъ уставомъ; ставлю этотъ вопросъ себѣ, своей совѣсти, и отвѣчаю на него такъ: я сказалъ не правду, а только полуправду. Мнѣ вспомнились возраженія моихъ противниковъ, будто классическая школа „не имѣетъ у насъ историческаго фундамента"; это возраженіе и подсказало мнѣ мое ироническое замѣчаніе. А то я бы конечно, памятуя о черной артели и о принципахъ того коррупціоннаго подбора, которымъ она пополняется, сказалъ бы: „протекція и взятка имѣютъ у насъ очень прочный историческій и бытовой фундаментъ"; вотъ это—была бы чистая правда. Въ настоящемъ второмъ изданіи она возстановлена.

Но, разумѣется, не этой недомолвкой заслужилъ я не-

одобреніе г-на Искаріотова; вопроса о правдѣ онъ нигдѣ не ставитъ, считая его, повидимому, дѣломъ послѣдней важности.

Насколько можно понять его критическій лаконизмъ, онъ, вѣрный своему инквизиторскому методу, довольствуется приложеніемъ къ моимъ разсужденіямъ трафарета педагогической ортодоксальности. „Нельзя говорить ученикамъ среднихъ учебныхъ заведеній, что протекція и взятка имѣютъ у насъ очень прочный историческій фундаментъ“—вотъ, повидимому, смыслъ его обвиненія. Но если такъ — почему же не исключаете вы изъ ученическихъ библіотекъ Гоголя, Грибоѣдова и др.? У нихъ куда ярче выражена та самая мысль, которую я ввожу вскользь, какъ общеизвѣстный фактъ!

X.

На стр. 113 читаемъ: „возьмите русскій стиль и его характерную особенность — луковичный куполъ; и онъ представляетъ изъ себя структивный абсурдъ [1]), возможный лишь, благодаря искусственнымъ подпоркамъ, скрытымъ внутри купола; стало быть, то, чѣмъ онъ держится, старательно скрывается отъ взора наблюдателя, показывается же его взору то, что само по себѣ удержаться не можетъ; вы согласитесь, что это принципъ, прямо противоположный принципу архитектурной честности“. Итакъ, даже купола нашихъ храмовъ являются символомъ нечестности безсовѣстнаго русскаго народа!

Этотъ разъ г. Искаріотовъ не удовольствовался скрытой и молчаливой передержкой—онъ допустилъ ее открыто въ своемъ заключительномъ „патріотическомъ“ возгласѣ, разсчитывая, что только этотъ его патріотизмъ будетъ замѣченъ и оцѣненъ, гдѣ слѣдуетъ, а не его передержка. Позволю себѣ поэтому объяснить, въ чемъ она заключается. Въ эстетикѣ и спеціально въ теоріи стиля слово „честность“ имѣетъ опредѣленное услов-

---

[1]) Въ научной терминологіи слово „абсурдъ“ означаетъ просто нѣчто противорѣчивое, ирраціональное (ср. deductio ad absurdum, credo quia absurdum) и какъ научный терминъ ничего обиднаго въ себѣ не заключаетъ.

ное значеніе: подъ нимъ понимаютъ, говоря кратко, соотвѣтствіе формы содержанію или основной идеѣ. Понятно, что я не могъ предполагать знакомства съ этимъ значеніемъ у своихъ слушателей; поэтому я имъ его предварительно и объяснилъ стр. 110, и г. Искаріотовъ тамъ же долженъ былъ прочесть мое объясненіе. Само собою разумѣется, что эта стилистическая честность не тожественна съ честностью нравственной; и если мой критикъ изъ моего чисто стилистическаго замѣчанія о луковичныхъ куполахъ выводитъ заключеніе, что я выставляю ихъ символами „нечестности безсовѣстнаго русскаго народа“, то онъ этимъ характеризуетъ лишь себя и свою собственную честность. Приведу другой примѣръ. Я имѣю полное право, въ области стиля текстильнаго искусства—основываясь на принципахъ, развитыхъ Земперомъ во II томѣ его классическаго сочиненія „о стилѣ“—сказать, что продольные погоны удовлетворяютъ требованію текстильной честности, такъ какъ ихъ направленіе соотвѣтствуетъ направленію плечевой линіи, а поперечные погоны—нѣтъ. Но попробуй я сказать это передъ г. Искаріотовымъ! Онъ тотчасъ представитъ, куда слѣдуетъ, доносъ: „итакъ, даже поперечные погоны являются символомъ нечестности чиновниковъ министерства народнаго просвѣщенія!“

Впрочемъ, я боюсь не столько этой открытой передержки, благородный характеръ которой очевиденъ, сколько другой, скрытой; боюсь, какъ бы изъ вышесказанныхъ моимъ критикомъ словъ не было выведено заключеніе, что я отношусь отрицательно къ русскому стилю въ архитектурѣ. Считаю поэтому полезнымъ напомнить мои дальнѣйшія слова о русскомъ архитектурномъ стилѣ, о которыхъ критикъ „благоразумно“ умолчалъ—прошу ихъ прочесть на стр. 114, отъ слова „обыкновенно...“ до красной строки. Читатель увидитъ, что я вовсе не отрицаю русскаго стиля, но что я предвижу и желаю его совершенствованья въ будущемъ подъ вліяніемъ усиленныхъ занятій античностью. Вся вторая часть моей книги имѣетъ своимъ содержаніемъ роль античности въ современной культурѣ; понятно, что я не могъ обойти молчаніемъ искусства, а въ области искусства—архитектуру.

XI.

Послѣдніе три пункта въ критикѣ г. Искаріотова объединены общей точкой зрѣнія: онъ видимо хочетъ выставить меня ненавистникомъ Россіи и всего русскаго. Я знаю положительно, что его критика произвела именно такое впечатлѣніе тамъ, гдѣ слѣдовало; да и трудно было вынести другое изъ патетическихъ возгласовъ вродѣ приведенныхъ въ гл. VIII и X. Насколько патріотическій пылъ рецензента оправдывается фактами, это я показалъ выше; все же, въ виду серьезности обвиненія—обвиненія профессора русскаго университета въ ненависти къ Россіи—я считаю и своимъ правомъ, и своимъ долгомъ привести еще нѣкоторыя соображенія по этому вопросу.

Прежде всего, я хочу показать, какъ я въ дѣйствительности „раздѣлываю передъ учениками Россію и русскій народъ съ античной точки зрѣнія". Прошу прочесть сказанное у меня на стр. 37 по поводу слова „прости", на стр. 48 о стилистикѣ русскаго языка, на стр. 50 о русской литературной рѣчи, на стр. 72 о Пушкинѣ, и т. д. Конечно, это замѣчанія случайныя; моей темой, вѣдь, была античность, а не Россія. Но я вправѣ спросить, почему мой рецензентъ, разъ онъ интересовался моимъ отношеніемъ къ Россіи, не обратилъ своего вниманія на указанныя мѣста и не представилъ и ихъ, куда слѣдуетъ?

Но суть, конечно, не въ этихъ отдѣльныхъ замѣчаніяхъ, а въ томъ, какое впечатлѣніе производитъ моя книга въ своей совокупности на русскаго патріота. Мой рецензентъ, очевидно, считаетъ таковымъ самого себя; но въ томъ-то и дѣло, что слово „патріотъ" имѣетъ не одно, а два значенія. Въ одной изъ своихъ давнишнихъ статей [1]) я слѣдующимъ образомъ ихъ разграничилъ... положимъ, я сдѣлалъ это „съ античной точки зрѣнія", но разграниченіе все-таки получилось самое современное: „Патріотизмъ бываетъ двухъ родовъ: есть патріотизмъ дѣла, есть и патріотизмъ слова. Патріотъ дѣла видитъ свою задачу въ томъ, чтобы своими заслугами украшать національ-

[1]) Подъ загл. „Античная гуманность". (Вѣстн. Евр. 1898, янв., стр. 220).

ное знамя; патріотъ слова пользуется этимъ знаменемъ для того, чтобы прикрывать имъ свою собственную позорную наготу". Само собою разумѣется, что для меня тутъ драгоцѣнны исключительно патріоты перваго рода — патріоты труженики, патріоты герои. Въ нихъ, слава Богу, недостатка нѣтъ; переживаемая нами тяжелая эпоха достаточно ихъ выдвинула, сдѣлавъ ихъ носителями надеждъ всего русскаго народа; но можно ли требовать или ожидать, чтобы они интересовались моей книгой?

Я счастливъ, что могу сослаться на заступничество одного такого патріота-героя, и притомъ того, котораго каждый назоветъ въ числѣ первыхъ—покойнаго нынѣ адмирала Макарова. Этотъ рѣдкій по своей образованности и по разносторонности своихъ интересовъ человѣкъ обратилъ свое вниманіе и на мои лекціи, которыя онъ прочелъ еще въ Ж. М. Н. П.; въ своей послѣдней статьѣ, помѣщенной въ „Морскомъ Сборникѣ" (1903 нб.), онъ ссылается на „талантливыя статьи Ѳ. Ф. З-скаго", который „съ убѣдительностью человѣка, вѣрящаго въ правоту своего дѣла, вѣскими аргументами защищаетъ свою мысль"; онъ приводитъ нѣсколько соображеній, которыя показались ему наиболѣе интересными, и въ довершеніе всего „рекомендуетъ прочесть эту статью тѣмъ, которые интересуются этимъ вопросомъ". Думаю, что рекомендація этого истиннаго патріота даетъ мнѣ право относиться со спокойнымъ презрѣніемъ къ клеветѣ г. Искаріотова; вѣдь все достоинство, все благоденствіе Россіи зависитъ отъ того, чтобы въ ней было какъ можно больше такихъ патріотовъ дѣла, патріотовъ-героевъ, какъ адмиралъ Макаровъ—и какъ можно меньше патріотовъ слова, патріотовъ-инквизиторовъ и клеветниковъ.

Вообще, если бы г. Искаріотовъ со всей его черной артелью дѣйствительно любили свою родину — они поняли бы, что они только компрометируютъ патріотизмъ своими патріотическими возгласами, и наложили бы печать молчанія на свои уста. Они до того опротивѣли русскому обществу, что оно отрекается отъ патріотизма и на словахъ, и, къ сожалѣнію, въ образѣ мыслей—изъ боязни быть причисленнымъ къ означенной черной артели. То же самое замѣчаемъ мы и въ области религіи. Я слышалъ и читалъ жалобы ревнителей рели-

гіозности на несправедливое къ нимъ отношеніе русскаго общества, которое всякаго религіознаго человѣка склонно считать ханжей, дѣлая этимъ религіозное чувство предметомъ насмѣшки и презрѣнія для подростающаго поколѣнія. Да, это такъ, и это очень прискорбно; но почему это такъ? Вы говорите о религіозности? Искаріотовы болѣе чѣмъ кто-либо кричатъ объ интересахъ религіи и православія въ особенности; какой честный человѣкъ пожелаетъ быть похожимъ на нихъ? Вы говорите о патріотизмѣ? Искаріотовы корчатъ изъ себя такихъ патріотовъ, которые одни „словомъ и дѣломъ" заботятся о достоинствѣ Россіи; хотите, чтобы и васъ уподобили имъ? Поистинѣ, если бы въ этой черной артели была хоть искра истиннаго патріотическаго и религіознаго чувства — она бы открыто перешла въ лагерь своихъ противниковъ; тогда клеймо искаріотовщины было бы снято съ религіозности и патріотизма, и искренно благочестивые люди, искренніе друзья своего отечества моглибы, не опасаясь недоразумѣнія, открыто заявлять о своихъ честныхъ и благородныхъ чувствахъ!

XII.

Кромѣ національной неблагонадежности, мой рецензентъ старается обвинить меня также и въ политической: таковъ повидимому смыслъ слѣдующаго его замѣчанія.

Интересныя и поучительныя мысли сообщаетъ авторъ своимъ слушателямъ на стр. 105, а именно, что государство не есть нѣчто стихійное,—отъ насъ [?] зависитъ устроить и перестроить его соотвѣтственно той цѣли, которую мы признаемъ за лучшую. Такъ вѣровали древніе греки, такъ отъ нихъ научились вѣровать и мы.

Я долго недоумѣвалъ, въ чемъ тутъ ересь; вѣдь въ томъ-то и состоитъ разница между европейскими государствами, съ Россіей включительно, и остальными (большинствомъ восточныхъ, напр.), что первыя доступны реформамъ, которыя создаются нами, т.-е. людьми, между тѣмъ какъ послѣднія представляются чѣмъ-то стихійнымъ, не дающимъ никакого простора иниціативѣ человѣка. Конечно, было ясно, что коварство заключается въ вопросительномъ знакѣ, поставленномъ

послѣ слова „насъ“, но именно этотъ знакъ меня и озадачивалъ: что „отъ насъ“ значитъ „отъ людей“, это видно было и изо всей связи мыслей, и особенно изъ противоположенія понятію „стихія“.

Вдругъ я вспомнилъ, что мой критикъ уже разъ по отношенію къ этому невинному „насъ“ допустилъ одну изъ излюбленныхъ имъ подтасовокъ, а именно въ 4-омъ пунктѣ (выше стр. 217), гдѣ онъ мою безобидную фразу „такая борьба предстоитъ и намъ“ переискаріотилъ такъ: *т.-е. гимназистамъ*. Не желалъ ли онъ и здѣсь своимъ знакомъ подсказать, гдѣ слѣдуетъ, такую же метаморфозу и навлечь на меня подозрѣніе, будто я предлагаю гимназистамъ перестроить по-своему россійское государство? Извѣстно, что доносчики искаріотовскаго типа—т.-е. доносчики умные: я не льщу—„не всякое слово въ строку пишутъ“, чаще всего они просто, съ соотвѣтственной интонаціей, читаютъ, гдѣ слѣдуетъ, избранную фразу своей жертвы и затѣмъ значительно покрякиваютъ: „гмъ... понимаете?“ И эхо отвѣчаетъ: „гмъ... понимаю!“

XIII.

Зато совершенно ясную передержку имѣемъ мы въ слѣдующемъ пунктѣ: *На послѣдней страницѣ авторъ предлагаетъ слушателямъ „взбираться на высокую гору; имя ей—соціальный вопросъ“ Хорошія наставленія для гимназистовъ!*

Мои слова гласятъ такъ: „И теперь онъ (т.-е. геній европейскаго человѣчества) бодро, со своимъ вѣрнымъ посохомъ въ рукѣ, взбирается на высокую гору; имя ей—соціальный вопросъ“. Такимъ образомъ, я ничего не предлагаю, и тѣмъ паче ничего не предлагаю гимназистамъ (дались-же г-ну Искаріотову эти гимназисты!), а только указываю на фактъ, что европейское человѣчество переживаетъ тотъ фазисъ своего развитія, который характеризуется преобладающимъ интересомъ къ соціальному вопросу. Итакъ, мой критикъ опять самымъ беззастѣнчивымъ образомъ приписалъ мнѣ свой собственный вымыселъ.

Но, быть можетъ—объ этомъ приходится догадываться—онъ хотѣлъ испугать кого слѣдуетъ страшнымъ словомъ „со-

ціальный вопросъ"? Быть можетъ, по инквизиторскому трафарету, „нельзя передъ учениками среднихъ школъ произносить слово «соціальный вопросъ»"? Почему нельзя? „Потому что оно напоминаетъ другое страшное слово: «соціализмъ»". Я съ инквизиторскимъ трафаретомъ незнакомъ; но всякій образованный и даже полуобразованный человѣкъ знаетъ, что соціализмъ есть только одно изъ рѣшеній соціальнаго вопроса, и что надъ его рѣшеніемъ, въ томъ или другомъ смыслѣ, трудится теперь всякій, кто вообще работаетъ на государственномъ или общественномъ поприщѣ. Самъ г. Искаріотовъ не составляетъ тутъ исключенія: въ одну сторону влечетъ нашъ вопросъ его черная артель, въ другую—ея кажущаяся противница, красная артель, а правда и разумъ—„серединной тропой".

XIV.

Еще одно замѣчаніе въ отвѣтъ на послѣдній возгласъ критика: *хорошія наставленія для гимназистовъ!* Вообще онъ любитъ выставлять на видъ, что моими слушателями были „ученики", „гимназисты", вызывая гдѣ слѣдуетъ иллюзію, будто я говорилъ передъ аудиторіей, безразлично составленной изъ всѣхъ классовъ. Между тѣмъ на заглавномъ листѣ моей книги ясно сказано, что читалъ я ученикамъ только выпускныхъ классовъ, да еще весной, т.-е. передъ молодыми людьми, которыхъ только нѣсколько недѣль отдѣляло отъ аттестата зрѣлости, и нѣсколько мѣсяцевъ—отъ университета; а этотъ маленькій хронологическій недочетъ съ лихвой возмѣщался тѣмъ обстоятельствомъ, что мои слушатели, жертвовавшіе своимъ воскреснымъ отдыхомъ ради лекцій объ античности, несомнѣнно принадлежали къ самымъ развитымъ и серьезнымъ въ своихъ классахъ. Я и обращался съ ними, поэтому, такъ, какъ привыкъ обращаться съ моими университетскими слушателями, стараясь говорить и научно, и понятно, и—главное—откровенно. Знаю, что г. Искаріотовъ считаетъ эту откровенность недопустимой. „Нельзя говорить съ восьмиклассниками о соціальномъ вопросѣ! нельзя упоминать передъ восьмиклассниками имя Ницше! нельзя разрушать въ восьмиклассникахъ вѣру, что матери находятъ

дѣтей въ капустѣ!“ и т. д.; сколько мнѣ приходилось бороться съ этою благонамѣренностью! Ея результаты налицо. Вы обращаетесь съ восьмиклассниками какъ съ дѣтьми—они отвѣчаютъ вамъ „сѣверными“ и другими союзами; вы имъ подносите рожокъ—они начинаютъ спасать Россію. Одна нелѣпость рождаетъ другую; силѣ акціи соотвѣтствуетъ реакція.

Я въ этой акціи, слава Богу, никогда не участвовалъ; въ основѣ моей педагогики всегда лежала откровенность. Въ этой моей откровенности ни одинъ здравомыслящій человѣкъ ничего опаснаго или вреднаго усмотрѣть не могъ; мои идеалы—зиждительные, а не разрушительные, какъ и подобаетъ ученику самой зиждительной эпохи въ исторіи человѣчества. Опасаться ея, поэтому, могутъ лишь тѣ нигилисты, которые, будучи лишены зиждительныхъ идеаловъ, основываютъ свою власть на обманѣ и въ разрушеніи этого обмана видятъ сигналъ къ своему паденію. Да что тутъ разсуждать! Я поступилъ, какъ только и могъ поступить, и это было правильно; въ этомъ меня убѣждаетъ всегдашній руководитель моихъ дѣйствій—моя совѣсть.

Но, конечно, на г-на Искаріотова это заявленіе никакого дѣйствія не произведетъ; человѣческой совѣсти у него соотвѣтствуетъ пустое мѣсто. Я радъ, поэтому, что кромѣ этой личной оцѣнки могу привести еще объективное свидѣтельство о правильности моего образа дѣйствій именно съ педагогической точки зрѣнія. Это свидѣтельство—благодарственный адресъ, которымъ меня почтили всѣ директора С.-Петербургскихъ гимназій и реальныхъ училищъ съ г. Помощникомъ Попечителя во главѣ. Не въ моихъ правилахъ хвастать благосклонной оцѣнкой моей дѣятельности со стороны другихъ людей; я и этотъ адресъ намѣренъ былъ хранить про себя, какъ драгоцѣнный залогъ добраго мнѣнія обо мнѣ стольких столь уважаемыхъ мною лицъ. Но въ виду взведеннаго на меня моимъ противникомъ обвиненія въ непедагогичномъ характерѣ моихъ лекцій, въ виду того, что это обвиненіе было доносомъ, и что этотъ доносъ имѣлъ весь тотъ успѣхъ, котораго отъ него ожидалъ его беззастѣнчивый авторъ—я не считаю нескромностью прибѣгнуть къ ихъ заступничеству; я счастливъ, что могу противопоставить единоличному осужденію г-на Искаріо-

това—единогласный сочувственный отзывъ корифеевъ С.-Петербургскаго педагогическаго міра.

Вотъ онъ.

Многоуважаемый

Ѳаддей Францевичъ.

По приглашенію С.-Петербургскаго учебнаго округа Вы приняли на себя трудъ освѣтить передъ учениками старшихъ классовъ гимназій и реальныхъ училищъ вопросъ о пользѣ изученія, для умственнаго и эстетическаго развитія, классическихъ языковъ и вообще античнаго міра.

Поставленную Вамъ задачу Вы блестящимъ образомъ разрѣшили въ четырехъ лекціяхъ. Отнюдь не умаляя значенія такъ называемаго реальнаго образованія, Вы раскрыли передъ слушателями въ блестящей рѣчи, проникнутой искреннимъ поклоненіемъ передъ гуманизмомъ, тѣ сокровища, которыя могутъ быть почерпнуты ими путемъ изученія классиковъ, и дали въ то же время и педагогамъ не мало драгоцѣнныхъ указаній относительно метода преподаванія древнихъ языковъ. Отъ начала до конца молодежь, видимо, съ глубокимъ интересомъ внимала Вашимъ одушевленнымъ рѣчамъ и громкими рукоплесканіями выразила Вамъ свою благодарность.

Мы же, руководительству которыхъ поручена эта молодежь, твердо увѣрены, что ясность и сила Вашихъ доводовъ и благородное воодушевленіе въ пользу защищаемаго дѣла имѣютъ глубокое воспитательное значеніе для молодежи, въ особенности въ наше время. Исходя изъ этой увѣренности, собраніе начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній столицы почитаетъ пріятнымъ долгомъ выразить Вамъ, многоуважаемый профессоръ, глубокую свою признательность.

С.-Петербургъ, 14 мая 1903 года.

(Подписи г. Помощника Попечителя и 22 гг. Директоровъ).

Полагаю, что этотъ отзывъ даетъ мнѣ право—на ироническій возгласъ моего критика *хорошія наставленія для гимназистовъ!* серьезно и со спокойной совѣстью отвѣтить: да, хорошія.

XV.

Упомяну еще о стр. 63, гдѣ говорится о „баллистической кривой, возвращающейся къ плоскости своего исхода“, и о стр. 110, гдѣ сказано: „два столба и перекладина —такова первоначальная схема греческой архитектуры; тяжесть давитъ исключительно сверху внизъ; ее выдерживаетъ колонна, силы которой направлены поэтому исключительно снизу вверхъ; интересно видѣть, какъ вся колонна представляется какъ-бы оживлённой этой дѣйствующей снизу вверхъ силой. Но здѣсь насъ интересуетъ только одно: глубокая честность, такъ сказать, греческой архитектуры“. Привожу эти выдержки какъ совершеннѣйшіе образчики претенціозной галиматьи.

И здѣсь тотъ же пріемъ, что̀ выше: клочекъ мысли вырывается изъ того связнаго разсужденія, внутри котораго онъ только и понятенъ, соединяется съ другимъ, столь же безсвязно приводимымъ клочкомъ—и произведенное этой перестановкой впечатлѣніе сумбура ставится въ вину автору. Доказательствъ приводить нечего: остается просить читателя самому убѣдиться въ правильности сказаннаго, прочтя все разсужденіе, изъ котораго вырванъ первый клочекъ со словъ „съ точки зрѣнія отношенія разума къ волѣ“...

Еще осталось упомянуть о *претенціозной галиматьѣ*. Повидимому, г. Искаріотовъ настолько увѣренъ въ успѣхѣ своего доноса, гдѣ слѣдуетъ, что находитъ возможнымъ сбросить личину сдержанности и, вмѣсто значительныхъ покрякиваній, разразиться по моему адресу настоящей грубой руганью. И право, такъ лучше; эта грубость несравненно болѣе гармонируетъ со всей его фигурой, чѣмъ то лакейское остроуміе, которымъ отмѣчено начало его пасквиля, или святошеское лицемѣріе въ дальнѣйшемъ его ходѣ.

XVI.

Закончу свои замѣчанія указаніемъ на стр. 87, гдѣ авторъ говоритъ о преподаваніи исторіи. Начиная съ объясненія готтентотской морали, по которой „если мой сосѣдъ уведетъ у

меня жену, то это зло, а если я уведу у него жену, то это добро", *авторъ говоритъ о примѣненіи ея въ области національныхъ интересовъ, упоминаетъ объ испанцахъ и португальцахъ и заявляетъ, что, „вникая въ древнюю исторію, мы учимся быть справедливыми. Но именно это не на руку нашимъ испанцамъ: они требуютъ изгнанія изученія древней исторіи изъ школы или, по крайней мѣрѣ, ея сокращенія въ пользу новой, особенно испанской исторіи..." Намекнувъ затѣмъ, что подъ испанцами понимаются русскіе и предоставляя догадываться, кого онъ разумѣетъ подъ португальцами, авторъ говоритъ: „чего только не требуютъ отъ школьнаго преподаванія исторіи! Оно должно насадить духъ патріотизма, духъ... другой, третій, четвертый. Боюсь, однако, что изъ всѣхъ этихъ древонасажденій ничего путнаго не выйдетъ, „око" же исторіи окажется при этомъ окончательно вышибленнымъ"*.

Въ началѣ тотъ же методъ—всячески производитъ впечатлѣніе сумбура; конечно, никто по умѣлому резюме моего критика не пойметъ, причемъ тутъ готтентоты, испанцы, португальцы и древняя исторія, и какимъ образомъ, вникая въ эту послѣднюю, мы учимся быть справедливыми. А затѣмъ, напустивъ достаточно туману, онъ прибѣгаетъ къ другому своему орудію—передержкѣ.

Передержка № 1: рецензентъ скрываетъ и здѣсь (см. выше глава IX), что я критикую не существующій строй преподаванія, а только имѣющійся въ виду нѣкоторыми, угрожающій намъ съ ихъ стороны. А между тѣмъ, это ясно сказано во вступительныхъ словахъ (стр. 87): „именно теперь исторической истинѣ, этому оку исторіи, какъ его называетъ Полибій, угрожаетъ сильнѣйшая опасность".

Передержка № 2: рецензентъ коротко и ясно заявляетъ: *намекнувъ затѣмъ, что подъ испанцами понимаются русскіе, и предоставивъ догадываться, кого онъ разумѣетъ подъ португальцами"*...

Здѣсь опять то значительное покрякиванье, которое я на основаніи своего знакомства со всѣмъ складомъ натуры г. Искаріотова, съ ручательствомъ за безошибочную правильность толкую слѣдующимъ образомъ: „Гмъ... понимаете? Подъ португальцами-то разумѣются поляки. Авторъ—полякъ и католикъ;

какъ онъ выше (см. гл. VI) занимался скрытой католической пропагандой, такъ онъ здѣсь подъ дымкой проводитъ полонофильскія тенденціи. Итакъ, videant consules!“ И consules viderunt.

Настоящую свою защиту я веду не передъ г. Искаріотовымъ и его консулами, а передъ русскимъ обществомъ, въ глазахъ котораго я нимало бы не проигралъ, — я это знаю, — если бы я открыто сознался: да, я дѣйствительно имѣлъ въ виду поляковъ и готтентотскую мораль тѣхъ изъ русскихъ, которые, возмущаясь по поводу насилій польскихъ властей надъ русскими въ Галиціи, въ то же время защищаютъ еще бо̀льшія насилія русскихъ властей надъ поляками въ Царствѣ Польскомъ; я увѣренъ, что русское общество, нимало неповинное въ этихъ насиліяхъ, меня бы вполнѣ одобрило.—Но я не хочу утверждать, чего не было. Въ началѣ своего разсужденія—всякій непредубѣжденный читатель съ этимъ согласится—я подъ испанцами и португальцами никого опредѣленно не разумѣлъ; это была для меня просто этнографическая алгебра, также какъ въ томъ же разсужденіи карлисты и республиканцы—политическая алгебра, своего рода $a + b$. Только ниже (стр. 88) со словъ „но, вѣдь, наши испанцы...“ это „наши испанцы“ получаетъ у меня опредѣленное значеніе; подъ ними я дѣйствительно разумѣю кого-то... но кого?

„Русскихъ“, рѣшительно заявляетъ г. Искаріотовъ, — и по обыкновенію передергиваетъ. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, какой бы получился абсурдъ, если бы предложенное имъ рѣшеніе заинтересовавшаго его x'а было правильно. Вѣдь тогда, вставляя значеніе этого x'а въ приведенную имъ фразу, мы получили бы слѣдующее: „русскіе требуютъ изгнанія древней исторіи изъ школы...“; но вѣдь ясно, что, если бы русскіе этого требовали, то ихъ требованіе давно было бы уважено, такъ какъ въ Россіи русскіе, полагаю я, сопротивленія бы не встрѣтили. Да и гдѣ у меня дано понять, что испанцы—русскіе? „Намекъ“, который мой критикъ имѣлъ въ виду, гласитъ у меня такъ (стр. 89): „Впрочемъ, господа, вы, конечно, давно поняли, что я говорю здѣсь объ испанцахъ только потому, что они живутъ далеко и т. д. Нѣтъ, вернемся домой!“ Отсюда слѣдуетъ только одно: тѣ, которыхъ я разумѣю подъ

„нашими испанцами“, находятся у насъ дома—вотъ и все. Но кого же, еще разъ, разумѣю я подъ ними?

Кого?—Васъ, г. Искаріотовъ, и всю вашу черную артель. Васъ и всѣхъ тѣхъ, которые требуютъ искаженія исторической истины въ угоду націонализму и партійности; небольшую, къ счастью, но очень усердную кучку нестолько педагоговъ, сколько чиновнковъ и публицистовъ. Ихъ мнѣній я наслышался въ комиссіи покойнаго Н. П. Боголѣпова и начитался на столбцахъ нѣкоторыхъ газетъ. Прекрасно помню, какъ одинъ изъ нихъ, когда кто-то протрубилъ похоронный маршъ классической школѣ, воскликнулъ: „Слава Богу! теперь выкинутъ національный флагъ!“ Это—именно тѣ, которые недовольны нынѣшнимъ научнымъ духомъ преподаванія исторіи въ гимназіяхъ, гдѣ таковой есть, и въ университетѣ,—между тѣмъ какъ этотъ духъ находитъ себѣ защитниковъ въ громадномъ большинствѣ русской интеллигенціи и, за единичными жалкими исключеніями, во всѣхъ профессорахъ исторіи всѣхъ русскихъ университетовъ.

XVII.

Сдѣлавъ свое дѣло, г. Искаріотовъ преподноситъ мнѣ въ назиданіе выписку изъ книги Лексиса „Die Reform des höheren Schulwesens in Preussen“, спеціально изъ вошедшей въ этотъ сборникъ статьи Neubauer'а, преподавателя въ Галле, подъ загл. Der Unterricht in der Geschichte (стр. 227—240); онъ, очевидно, убѣжденъ, что г. галльскій преподаватель для меня, петербургскаго профессора, долженъ быть подавляющимъ авторитетомъ. Выписка заимствована изъ стр. 228 сл., гдѣ говорится о цѣли преподаванія исторіи. Въ началѣ, читая ее, я недоумѣвалъ, относится ли мой критикъ къ ней съ одобреніемъ, или нѣтъ. Страшное слово „соціальный“ встрѣчается въ ней четыре раза; авторъ говоритъ о „соціальной“ задачѣ преподаванія исторіи, требуетъ, чтобы оно внушало ученикамъ „чувство участія въ особенности также къ нижнимъ слоямъ народа, что̀ въ тѣсномъ смыслѣ именуется соціальнымъ чувствомъ...“ Могу представить себѣ, какой анаѳемѣ подверглись бы со стороны рецензента мои лекціи, если бы я развивалъ въ

нихъ подобныя мысли! Помните, съ какою яростью онъ набросился на меня за то, что я, будто бы, *предлагаю слушателямъ взбираться на высокую гору, имя ей—„соціальный вопросъ“*? Нейбауеръ уже не будто бы, а подлинно рекомендуетъ ученикамъ это восхожденіе; что же, отчего г. Искаріотовъ забылъ здѣсь свой припѣвъ: *хорошія наставленія для гимназистовъ!?*

Отчего? Оттого, что онъ — г. Искаріотовъ, очень просто. Оставимъ въ сторонѣ эту искаріотовщину и перейдемъ къ сути дѣла. А суть дѣла очевидно заключается для г. Искаріотова въ дальнѣйшемъ разсужденіи Нейбауера съ его заключеніемъ: „преподаваніе исторіи... должно пробудить въ ученикѣ глубокое чувство долга и безпредѣльной преданности своему народу“, „должно воспитать и укрѣпить любовь и преданность къ монархіи“ (переводъ не мой). Въ этихъ словахъ рецензентъ, повидимому, усматриваетъ противорѣчіе съ вышеизложенными мною взглядами.

Скажу безъ обиняковъ: это противорѣчіе есть, и притомъ довольно рѣзкое А такъ какъ 1) книга Лексиса, насколько мнѣ извѣстно, у насъ не получила каноническаго значенія какъ мѣрило ортодоксальности, и 2) Нейбауеръ, какъ умственная величина, не является для меня авторитетомъ—то я могу возражать противъ означенной выписки на общихъ основаніяхъ и могъ бы требовать отъ своего рецензента, чтобы и онъ возражалъ мнѣ на общихъ основаніяхъ и не пытался побить меня постороннимъ авторитетомъ, признавать который я вовсе не обязанъ.

Ставлю вопросъ ребромъ: желательно ли, чтобы преподаваніе исторіи пробуждало въ ученикѣ любовь къ тому народу, къ которому онъ принадлежитъ, къ тому государственному строю, при которомъ ему придется дѣйствовать? Отвѣчаю: да, желательно,—и увѣренъ, что всѣ здравомыслящіе люди безъ различія партій въ этомъ принципіально утвердительномъ отвѣтѣ со мною согласятся. Вѣдь любовь, настоящая разумная любовь, не должна быть слѣпой, не должна закрывать своихъ глазъ на недостатки любимаго предмета, напротивъ: она учитъ насъ ихъ видѣть и внушаетъ намъ желаніе ихъ исправленія.

Итакъ, повторяю: да, это желательно. Весь вопросъ въ томъ, какъ этого достигнуть; здѣсь начинается разногласіе между

мною съ одной стороны и г-дами Нейбауеромъ и Искаріотовымъ съ другой.

Дѣйствительно, какъ этого достигнуть? У покойнаго боярина Бермяты было на этотъ счетъ — если вѣрить его біографу Островскому — очень простое средство: „издать приказъ". Да, конечно; издать приказъ, чтобы преподаваніе исторіи внушало ученикамъ патріотическія и вѣрноподданническія чувства. Такъ полагаетъ и Нейбауеръ: „Представляя исторію націи въ ея неразрывной связи съ исторіей королевскаго дома, внушая ученикамъ безъ навязчивости и прикрасъ, но съ теплотой любовь къ личности нашихъ королей и очерчивая ихъ дѣятельность въ различныхъ областяхъ, преподаваніе исторіи должно воспитать и укрѣпить любовь и преданность къ монархіи". Итакъ, господа преподаватели, вотъ вамъ инструкція [1]); извольте ею руководиться — и результаты не заставятъ себя ждать.

Да, разумѣется; но какіе? А вотъ какіе.

1) *Карьеризмъ у преподавателей.* Отъ нихъ требуютъ, чтобы ихъ чувства выливались въ опредѣленную форму; несомнѣнно, что это требованіе куда легче будетъ исполнить Реганамъ и Гонерильямъ, чѣмъ Корделіямъ. И вотъ Реганы и Гонерильи обласканы начальствомъ; для нихъ — одобрительные отзывы, награды, повышенія; мало-по-малу всѣ лучшія преподавательскія мѣста заполняются людьми безъ убѣжденій, патріотами и гражданами словъ... Выражусь яснѣе: инструкція, регламентирующая патріотическія *чувства* преподавателей, будетъ невыносима для искреннихъ патріотовъ. Искренняя любовь стыдлива; она возмущается, когда отъ нея *требуютъ* того, чтò она съ радостью готова была исполнить добровольно. Замѣчательное психологическое чутье Шекспира съ особенною яркостью сказалось въ той чертѣ, на которую я намекнулъ только что: та

[1]) Въ свою бытность въ Германіи и спеціально въ Пруссіи лѣтомъ истекшаго (1904) года я воспользовался случаемъ, чтобы навести въ прусскомъ педагогическомъ мірѣ справку о возникновеніи столь рискованной инструкціи. Мнѣ было отвѣчено вотъ чтó: „Это разсужденіе было вставлено по личному желанію императора Вильгельма II (которому вся книга посвящена); для насъ оно тягостно, и нашъ единственный исходъ—игнорировать его и поступать такъ, какъ мы поступали до сихъ поръ". И это мнѣ было сказано въ самомъ вѣрноподданническомъ округѣ Пруссіи.

самая Корделія, которая съ такимъ жаромъ говоритъ о своей любви къ отцу въ позднѣйшихъ сценахъ—смущенно молчитъ тамъ, гдѣ онъ приказываетъ ей о ней говорить. „Что дѣлать Корделіи? Любить и молчать". То же будетъ и здѣсь. Издайте *приказъ*, чтобы преподаватели исторіи внушали ученикамъ чувства любви къ отечеству и царю; что̀ будутъ дѣлать искренніе патріоты? Любить и молчать.

2) *Инквизиторство у контролирующей власти.* Не забудемъ, что искренніе патріоты—это тѣ, которые любятъ прежде всего будущность своей страны; но чѣмъ свѣтлѣе, чѣмъ прекраснѣе они представляютъ себѣ этотъ идеалъ будущаго, тѣмъ жгучѣе будетъ обида, вызванная извращеніемъ этого идеала въ прошломъ и настоящемъ. Искренній другъ способенъ не только съ жаромъ похвалить за дѣло, но и съ горечью упрекнуть — тоже за дѣло; въ этомъ его отличіе отъ льстеца. Теперь представимъ себѣ контролирующую власть съ инструкціей въ рукѣ на урокахъ исторіи, все подгоняющей къ своему инквизиторскому трафарету; каковы будутъ ея отзывы? „Преподаватель Шульцъ излагаетъ исторію картофельной войны не съ прусской точки зрѣнія"; „преподаватель Мюллеръ недостаточно почтительно относится къ личности Фридриха-Вильгельма III"—а затѣмъ, какъ водится: доносы по начальству, выговоръ, переводъ (Strafversetzung) въ померанское захолустье, отставка.

Итакъ, карьеризмъ у преподавателей, инквизиторство у контролирующей власти—и все-таки худшее еще впереди. Это

3) *Недовѣріе у учениковъ.* Въ этомъ пора бы убѣдиться, особенно намъ, благо этотъ опытъ обошелся намъ очень дорого. Ученики, особенно старшихъ классовъ, — очень ревниво относятся ко всякимъ воздѣйствіямъ на ихъ чувства; всегда они, сознательно или инстинктивно, ставятъ преподавателю вопросъ: „да самъ-то ты по убѣжденію говоришь?" — Почему всякія оппозиціонныя ученія, даже самыя несостоятельныя, такъ сочувственно воспринимаются учениками? Потому что ученики знаютъ: „говоря намъ это, учитель рискуетъ своею карьерой—значитъ, онъ убѣжденъ". Внутренніе критеріи правды доступны немногимъ; большинство замѣняетъ ихъ внѣшними: „правда—это то, за что человѣкъ готовъ пострадать".—Теперь представимъ себѣ, что пламенное патріотическое изложеніе является

исполненіемъ инструкціонныхъ правилъ; результатомъ будетъ чувство: „излагая исторію именно такъ, учитель способствуетъ своей карьерѣ“. Остальное, кажется, ясно.

Итакъ, если я отношусь отрицательно къ *требованію*, чтобы преподаваніе исторіи внушало ученикамъ патріотическія и гражданскія чувства, то не потому, чтобы я считалъ этотъ *результатъ* нежелательнымъ, — совершенно напротивъ, — а потому, что я въ оцѣнкѣ предлагаемаго средства держусь истиной психологіи Шекспира и Островскаго, а не лубочной гг. Бермяты, Нейбауера и Искаріотова.

Но если это средство не годится, то какое же годится? Какъ достигнуть того, чтобы преподаваніе исторіи внушало ученикамъ здравыя патріотическія и гражданскія чувства?

Отвѣчу: *никакъ*. Отъ начальства зависитъ лишь устраненіе препятствій, которыя лишаютъ эмоціональную часть преподаванія главнаго залога ея вліянія на умы—добровольности; остальное будетъ зависѣть отъ личности преподавателя. *Требовать* отъ него можно только того, что касается интеллектуальной части его преподавательской работы—а именно, чтобы онъ держался въ преподаваніи строго научнаго духа, духа правдивости и справедливости; а затѣмъ — сѣйте сѣмена правды и вѣруйте, что они дадутъ урожай добра.

Или, повторяя тѣ заключительныя слова моей лекціи, за которыя на меня такъ ополчился мой критикъ: если бы дѣло зависѣло отъ меня, я, какъ выросшій на античности человѣкъ, сказалъ бы скромно, но рѣшительно: „преподаваніе исторіи должно насаждать духъ правдивости и справедливости а затѣмъ... поставилъ бы точку“.

XVIII.

Отвѣтилъ ли я г. Искаріотову? — Я вовсе не хотѣлъ ему отвѣчать. Я хотѣлъ, во-первыхъ, освѣтить тѣ пункты изъ моихъ разсужденій, которые подали поводъ къ его заключеніямъ; я хотѣлъ, во-вторыхъ, освѣтить его самого и въ его лицѣ ту черную артель, которая является такой же язвой для нашей государственной жизни, какой... но объ этомъ „какой“ еще придется поговорить. Самъ г. Искаріотовъ—лишь иллюстрація;

его яркость, въ качествѣ таковой, обусловливается тѣмъ, что его доносъ въ данномъ случаѣ увѣнчался полнымъ успѣхомъ: онъ хотѣлъ убить мою книгу гдѣ слѣдуетъ—и онъ ее убилъ. Этимъ доказано, что онъ долженъ быть признанъ еще болѣе талантливымъ и умнымъ представителемъ своей черной артели, нежели г. Богдановичъ—того другого, параллельнаго учрежденія.

А затѣмъ оставимъ его и обратимся къ ней самой, къ этой черной артели. Чтó должны мы, прежде всего, подъ нею разумѣть? Бюрократію?—Не въ моихъ нравахъ нападать на того, на кого нападаютъ всѣ; рыцарское правило Лессинга „über wen alle herfallen, der hat vor mir Ruhe“ стало давно однимъ изъ девизовъ моей жизни. Нѣтъ, она не есть бюрократія, но она въ ней заключается и задаетъ ей тонъ; задаетъ до того, что тотъ особый привкусъ, который слышится въ словѣ „бюрократія“, та особая интонація, съ которой оно произносится, должна быть поставлена въ счетъ ей.—Люди, кричащіе нынѣ „долой бюрократію!“, имѣютъ въ виду, конечно, бюрократическій принципъ; но азартъ, съ которымъ они это кричатъ, объясняется тѣмъ, что каждый изъ нихъ ассоціируетъ его съ какимъ-нибудь ему спеціально извѣстнымъ и ему спеціально ненавистнымъ Искаріотовымъ. Безъ бюрократіи мы, разумѣется, никогда не обойдемся; но ей слѣдуетъ самой позаботиться о томъ, чтобы какъ можно скорѣе и полнѣе выдѣлить изъ себя черную артель, какъ организмъ выдѣляетъ вредныя для его жизни вещества. Вы знаете, какъ нѣмцы переводятъ русское слово „чиновникъ“? А вотъ какъ: der Tschinownik. Но почему же такъ? Вѣдь у нихъ есть свое слово: der Beamte! А потому, что это слово, совпадая съ нашимъ по представленію, не совпадаетъ съ нимъ по сопровождающему это представленіе чувству: того привкуса черной артели, который слышится въ нашемъ словѣ, въ томъ нѣмецкомъ нѣтъ. Да и мы это сознаемъ. Какъ переводимъ мы нѣмецкое слово der Beamte? А вотъ какъ: „должностное лицо“. Мы предпочитаемъ прибѣгнуть къ неуклюжему перифразу, чтобы только выдѣлить привкусъ черной артели.

Угодно поставить вопросъ объ отношеніи черной артели къ античности? Онъ потерялъ свою актуальность съ тѣхъ поръ какъ „пошла новая порода чиновниковъ“, съ тѣхъ поръ какъ

черная артель, извѣрившись въ античности, сняла съ нея свой черный ореолъ. Но это, конечно, не лишаетъ его интереса, и въ книгѣ, озаглавленной „древній міръ и мы“, его постановка вполнѣ умѣстна, такъ какъ черная артель, къ сожалѣнію, отчасти еще „мы“.

Отношеніе черной артели къ античности опредѣляется ея лозунгомъ, гласящимъ такъ: „долой правду, долой талантъ, да здраствуетъ выживаніе худшихъ—коррупціонный подборъ!“

„Долой правду“—конечно, понимая ее въ нашемъ научномъ смыслѣ, согласно которому правдой признается то, что̀ доказано; а впрочемъ, у этихъ господъ имѣется своя правда—та самая, которую я выше назвалъ бюрократической. Въ чемъ же она состоитъ? А вотъ въ чемъ—начиная съ самаго простого случая: если обозначить буквой a чинъ одной изъ спорящихъ сторонъ, а буквой b—чинъ другой, то формула $a—b$ будетъ выражать собой въ точности то, что̀ я назвалъ бюрократической правдой. Это, повторяю, самый простой случай; осложненія получатся тогда, когда $a—b=0$. Тутъ вступаютъ въ дѣйствіе разные посторонніе факторы, какъ-то: протекція, оговоръ, разныя формы заискиванія, а кое-гдѣ, въ медвѣжьихъ углахъ провинціи, какъ говорятъ—и взятка. Соотвѣтственно осложняется и формула. Такъ, обозначая протекцію буквой p, мы получимъ, дѣлая ее коэффиціентомъ, величину pa... или пожалуй, правильнѣе будетъ возвести a въ степень p, a^p... нѣтъ, я вижу, съ помощью гимназическаго курса алгебры задачи не рѣшить, тутъ высшая математика нужна.

Нѣтъ, серьезно. Ни одна бюрократія, понятно, не обходится безъ бюрократической дисциплины, и формула $a—b=$ *правда* примѣняется болѣе или менѣе вездѣ; разница между честной бюрократіей и черной артелью состоитъ, однако, въ томъ, что тамъ превосходительный a чувствуетъ отвѣтственность своего положенія и старается отожествить $a—b$ съ научной правдой, здѣсь же—нѣтъ. Иллюстраціей того пріема можетъ служить слѣдующій анекдотическій случай. Какой-то поручикъ, зная, что его полковой командиръ интересуется военной исторіей, собралъ свои школьныя воспоминанія и преподнесъ ему исторію такого рода: „Когда Александръ Великій разбилъ Аннибала при Мараѳонѣ...“, послѣ чего командиръ оборвалъ его сухимъ

замѣчаніемъ. Herr Lieutenant, ich erkläre Ihnen hiemit *dienstlich*, das die Sache sich ganz anders verhalten hat. Споръ былъ рѣшенъ формулой *a—b;* другого рѣшенія тотъ болтунъ и не заслуживалъ; но *a—b* было научной правдой. Совершенно иначе смотритъ на дѣло черная артель: ея *a—b* не состоитъ ни въ какомъ отношеніи къ научной правдѣ. Возьмемъ г. Искаріотова. Пытается ли онъ хоть гдѣ-нибудь выставить мои положенія какъ несоотвѣтствующія истинѣ? Нигдѣ. Всѣ его замѣчанія оказались лживыми, ихъ лживость мною доказана—а все-таки онъ имѣлъ успѣхъ, гдѣ слѣдуетъ. Почему? Потому что $a—b=2$.

Не менѣе правды наша артель боится и талантовъ. Сравните опять критику г. Искаріотова; посмотрите, какія низкія ворота тамъ вездѣ поразставлены; можетъ-ли мало-мальски талантливый человѣкъ черезъ нихъ пройти, не нагибаясь до потери человѣческаго достоинства? Не смѣй заикаться о соціальномъ вопросѣ; не смѣй упоминать имени Ницше; не смѣй называть борьбу средствомъ къ совершенствованію; не смѣй разсуждать о луковичныхъ куполахъ и т. д.; да кто же послѣ этого станетъ работать тамъ, гдѣ его работу критикуютъ гг. Искаріотовы? Да, долой таланты, это главное. „Мнѣ не таланты нужны, а люди, безпрекословно исполняющіе мою волю". Здѣсь мы имѣемъ, въ неизбѣжно карикатурномъ видѣ, возобновленіе спора между пелагіанизмомъ и августинизмомъ, между принципомъ заслуги и принципомъ самодовлѣющей благодати: черная артель горой стоитъ за принципъ самодовлѣющей начальственной благодати. Талантъ? Заслуга? На что они? Человѣкъ талантливый и заслуженный уже тѣмъ нехорошъ, что онъ сознаетъ за собою и талантъ и заслугу; онъ знаетъ, что онъ имъ обязанъ своимъ положеніемъ; у него есть чувство собственнаго достоинства; онъ, однимъ словомъ, въ роли подчиненнаго неудобенъ: бѣленькихъ, вѣдь, всякій полюбитъ. Нѣтъ, мы любимъ черненькихъ, гаденькихъ, скромненькихъ: они, всѣмъ будучи обязаны намъ, а не себѣ, будутъ во всемъ насъ слушаться. А выростутъ—станутъ и сами изъ черненькихъ черными, и нашей артели прибудетъ.

Результаты налицо. Жизнь не ждетъ, задачи зрѣютъ—онѣ тутъ, онѣ требуютъ умныхъ, дѣятельныхъ, талантливыхъ

исполнителей. Талантливые люди, гдѣ вы? Увы! Кадры заполнены любимчиками, черненькими; „человѣками“ хоть прудъ пруди, а человѣка—ищите! Всюду низкія ворота; іерархическая лѣстница поставлена такъ, что только низкорослые могутъ по ней взбираться. А жизнь не ждетъ, задачи зрѣютъ. „Долой эту лѣстницу! подавай намъ другую“—громче и громче раздается въ рядахъ общества.

Вотъ онъ, коррупціонный подборъ. Вы помните ярость г. Искаріотова по поводу того мѣста моей книги, гдѣ о немъ говорилось? Ярость понятная: не въ бровь, а въ глазъ. Но отъ своихъ словъ я, все-таки, не отступлюсь; съ тѣхъ поръ какъ я ихъ написалъ въ 1903 г., ихъ подписала исторія—и подписала кровью.

XIX.

Мы уклонились отъ темы: мы хотѣли, вѣдь, освѣтить отношенія черной артели къ античности, т.-е. къ классической школѣ.—Нѣтъ, мы отъ нея не уклонились: соединяя результаты предыдущей главы съ результатами восьмой лекціи, мы получимъ самый полный, самый удовлетворительный отвѣтъ. Черная артель органически и инстинктивно ненавидитъ правду, ненавидитъ таланты и стоитъ за коррупціонный подборъ; классическая школа именно при своей наилучшей постановкѣ есть школа правды, школа талантовъ и орудіе естественнаго подбора. А коли такъ, то: „нате, собаки, ѣшьте хвостъ!“

Съ этимъ мы, стало быть, покончили. А теперь, комбинируя нашъ третій экскурсъ со вторымъ, додумаемъ свою мысль до конца. Мы оборвали ее выше (XVIII) на половинѣ, разсуждая о той черной артели, „которая является такой же язвой для нашей **государственной** жизни, какой“... Что же, договоримъ: „какой красная—для **общественной**.

Повѣрю вамъ, читатель, одну мысль, которую вы навѣрное услышите въ первый разъ: эти двѣ артели, кажущіяся вамъ непримиримыми противницами, съ пѣной у рта говорящія другъ о другѣ—на самомъ дѣлѣ состоятъ въ тѣсномъ, интимномъ и прочномъ союзѣ, основанномъ на общности взаимныхъ интересовъ и на одинаковой враждѣ къ правдѣ. Еще Аристо-

фанъ сравнилъ такую милую игру двухъ фиктивныхъ противниковъ съ движеніями людей, вдвоемъ распиливающихъ лежащее между ними на подставкѣ бревно („Осы“ 634):

ξυνθέντε τὸ πρᾶγμα δύ' ὄντε
ἐσπουδάκατον, κᾆθ' ὡς πρίονες, ὁ μὲν ἕλκει, ὁ δ'ἀντενέδωκε.

Издали кажется, что они другъ съ другомъ борются, другъ у друга вырываютъ пилу; а на дѣлѣ они дѣйствуютъ дружно, и это дѣйствіе направлено на то, что между ними лежитъ. Разница лишь въ томъ, что наши двѣ артели сознаютъ только свою кажущуюся вражду, а своей дѣйствительной солидарности не сознаютъ; но это уже прямое дѣйствіе той *гетерогеніи цѣлей*, о которой рѣчь была выше (стр. 10), и которая не удивитъ ни біолога, ни соціолога.

А солидарность эта несомнѣнна: она состоитъ прежде всего и главнымъ образомъ во взаимооправданіи. Не было бы черныхъ—не было бы надобности въ красныхъ, и наоборотъ. И смотрите, какъ эта солидарность иногда у наблюдателей подымается надъ порогомъ сознанія. Красными совершено какое-нибудь особенно гнусное злодѣяніе—тотчасъ является подозрѣніе: а что, если его подстроили черные, чтобы доказать гдѣ слѣдуетъ свою необходимость? Черными издано какое-нибудь особенно вредное постановленіе—тотчасъ напрашивается мысль: а что, если его внушили красные, чтобы усилить свои ряды массой недовольныхъ и добыть новыя средства къ борьбѣ? Конечно, эта борьба имѣетъ свои подчасъ серьезные симптомы, которые придаютъ ей внѣшній видъ искренности и сбиваютъ съ толку тѣхъ, кто не знакомъ съ принципомъ гетерогеніи цѣлей. Наступаетъ напряженіе, оно растетъ, усиливается; вдругъ щелкъ справа—и красный летитъ въ мѣста болѣе или менѣе отдаленныя; щелкъ слѣва—и черный отправляется въ мѣста уже несомнѣнно отдаленныя. Потомъ напряженіе ослабѣваетъ, наступаетъ затишье, потомъ новое усиленье, новое перещелкиванье и т. д. Все это серьезно, не спорю: и тѣмъ не менѣе это—лишь кажущаяся вражда. Истиное же взаимоотношеніе обѣихъ артелей сказывается тогда, когда добрый геній Россіи отстраняетъ черную артель отъ кормила правленія, когда представитель правды, добра и разума беретъ власть въ руки.

Какое озлобленіе воцаряется тогда въ обѣихъ артеляхъ! „Онъ насъ упразднилъ!“—кричатъ черные; „онъ ослабилъ недовольство, которымъ мы питаемся!“ вопятъ красные. Волненіе растетъ, кризисъ усиливается, злодѣянія множатся, положеніе становится все нестерпимѣе... а черные злорадствуютъ: „ну, что, голубчикъ? каково безъ насъ?“—И вотъ они, наконецъ, побѣждаютъ; наступаетъ сравнительное успокоеніе, и опять начинается та же милая игра, то же перещелкиванье, въ которомъ исторія научила насъ видѣть „нормальное теченіе русской государственной жизни“.

Но гдѣ же выходъ изъ этого заколдованнаго круга? Гдѣ тѣ, которые одни только и могутъ освободить Россію отъ обѣихъ терзающихъ ее язвъ—поборники правды, добра и разума?

Да, гдѣ вы, наши друзья? Гдѣ вы—*возрожденцы?*

14 февр. 1905 г.

ЭКСКУРСЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Естественно-историческій методъ и вопросъ о средней школѣ.

Науки храмъ,
Ея друзьямъ
Недостижимый вѣчно,
Открытъ тому,
Кто врагъ уму;
Онъ въ немъ царитъ безпечно.

Вѣдьма.

(Гете, Фаустъ).

I.

Отцомъ естественно-историческаго метода считается — справедливо или нѣтъ, это другой вопросъ — знаменитый Фр. Бэконъ; несомнѣнно то, что онъ первый представилъ его всесторонній и подробный анализъ, одинаково пригодный для обѣихъ его разновидностей, *наблюденія* и *эксперимента*. Былъ ли этотъ анализъ дѣйствительно великимъ и полезнымъ дѣломъ? Маколей это оспариваетъ; но зато Дж. Стюартъ Милль въ своей извѣстной „Системѣ дедуктивной и индуктивной логики“ (кн. III гл. 7 и сл.) воспроизводитъ, съ развитіями и примѣненіями, анализъ Бэкона, и Либихъ въ одномъ изъ своихъ извѣстнѣйшихъ сочиненій горячо благодаритъ Милля за этотъ его трудъ и даже сознается, что его собственная заслуга заключается только въ дальнѣйшемъ развитіи и примѣненіи въ

болѣе спеціальныхъ областяхъ выясненныхъ въ этомъ анализѣ принциповъ.

Скептическій взглядъ Маколея имѣетъ своимъ основаніемъ его убѣжденіе, что анализъ Бэкона является лишь анализомъ того, чѣмъ мы и безъ того всѣ руководимся въ теченіе всего дня и даже ночью во снѣ. Онъ представляетъ себѣ простого человѣка, желающаго узнать, отчего у него желудокъ испортился; „онъ никогда не слыхалъ о Бэконѣ, но въ точномъ соблюденіи изложенныхъ во второй книгѣ его «Novum Organum» правилъ устанoвляетъ фактъ, что причина его заболѣванія—мясные паштеты. «Въ понедѣльникъ и среду, разсуждаетъ онъ, я ихъ ѣлъ—и вслѣдствіе боли въ животѣ всю ночь не спалъ» (вотъ—первая фигура Бэкона); «во вторникъ и четвергъ не ѣлъ—и чувствовалъ себя превосходно» (вторая фигура); «въ воскресенье ѣлъ мало — и чувствовалъ легкія боли, но въ день Рождества не ѣлъ почти ничего другого — и едва не умеръ» (третья фигура); «водка, которую я при этомъ пилъ, не можетъ быть причиной — она мнѣ никогда не вредила» (четвертая фигура). Затѣмъ—заключеніе: виноваты мясные паштеты“.

II.

Не знаю, быть можетъ, сэръ Джонъ дѣйствительно такъ разумно разсуждаетъ; я съ нимъ ближе незнакомъ. Зато я знаю навѣрное, что нашъ общій знакомый Иванъ Ивановичъ—допуская, что дѣло касается не паштетовъ, а блиновъ, *коихъ онъ большой любитель*,—никогда такъ разсуждать не станетъ. А будетъ онъ разсуждать вотъ какъ: „Въ понедѣльникъ чувствовалъ боли, да, но не отъ блиновъ, а оттого, что, соблазнившись оттепелью, не надѣлъ шубы. Въ среду тоже; на обѣдѣ у Петра Петровича сотернъ былъ подозрительный. Въ воскресенье чуть Богу души не отдалъ—видно, пломбиръ повредилъ. А блины—вещь хорошая“.

Наша жизнь была бы раемъ, а не жизнью, если бы мы въ ней чаще руководились естественно-историческимъ методомъ: съ его воцареніемъ исполнилась бы и завѣтная мечта древняго міра—возвращеніе дѣвы-Правды въ нашу земную оби-

тель. Но въ томъ-то и бѣда, что мы, если и руководимся имъ, то тогда только, когда наши симпатіи и антипатіи не подсказали намъ заранѣе нашего рѣшенія; во всѣхъ же случаяхъ послѣдняго разряда — а они преобладаютъ — колющій глаза научный методъ за непригодностью бракуется, и является на сцену б. ч. другой, вольно-риторическій, какъ я позволилъ бы себѣ его назвать, имѣющій своимъ основаніемъ выписанный въ заголовкѣ девизъ гетевской вѣдьмы. Выгородить во что бы то ни стало предметъ нашей симпатіи, обвинить во что бы то ни стало предметъ нашей антипатіи — вотъ наше стремленіе, и всякія соображенія, служащія этой цѣли, всякіе извороты, всякія натяжки и передержки признаются законными. Появляется ораторъ, защищающій предметъ нашей симпатіи, — мы ему хлопаемъ; появляется другой, неотразимыми доводами доказывающій, что наша симпатія пошла по ложному пути — мы недовольны; слышится ропотъ, шиканіе. Но вотъ выступаетъ третій, возражающій второму; его возраженіе построено по силлогизиму фигуры „чижикъ въ лодочкѣ", тѣмъ не менѣе мы ему восторженно апплодируемъ; онъ — герой вечера, и печать въ своемъ отчетѣ о нашемъ засѣданіи не преминетъ подчеркнуть, что „софизмы г-на В. встрѣтили надлежащій отпоръ со стороны г-на С., который въ блестящей рѣчи доказалъ" и т. д.

Да, было бы недурно, если бы естественно-историческій методъ дѣйствительно примѣнялся нами въ жизни; но до этого еще очень и очень далеко.

III.

Мало кому, я думаю, извѣстно, что его мнимый отецъ серьезно мечталъ объ его примѣненіи также и въ вопросахъ воспитанія. „Философы-моралисты", говоритъ онъ въ своей книгѣ De augmentis" (кн. VII гл. 3), „должны бы постараться опредѣлить, какія фактическія дѣйствія имѣютъ различныя системы воспитанія—путемъ поощренія опредѣленныхъ наклонностей, путемъ изученія опредѣленныхъ книгъ, путемъ вліянія среды, соревнованія и подражанія — на нравственный складъ людей. Тогда мы могли бы надѣяться, что намъ удастся уста-

новить, какая изъ нихъ самая пригодная для сохраненія и возстановленія нравственнаго здоровья". Конечно, примѣненіе естественно-историческаго метода въ области соціальныхъ наукъ, къ которымъ принадлежитъ также и педагогика, сопряжено, вслѣдствіе сложности наблюдаемыхъ явленій, со значительными трудностями; эти трудности однако не вліяютъ на правильность дѣлаемыхъ заключеній, если только изслѣдованіе велось съ надлежащей тщательностью. Не забудемъ, что число случаевъ, подлежащихъ нашему наблюденію, очень велико, а при этой многочисленности сложность каждаго отдѣльнаго случая перестаетъ быть помѣхой правильности заключеній.

Цѣль настоящей статьи—показать, какимъ образомъ естественно-историческій методъ могъ бы быть примѣненъ къ рѣшенію вопроса о средней школѣ. Моя задача, такимъ образомъ, чисто методологическая: я хочу установить не рѣшеніе вопроса, а только путь, который можетъ привести къ его рѣшенію. Этотъ путь—спѣшу это оговорить—не единственный; но онъ отличается отъ прочихъ своею сравнительной легкостью и удобопонятностью, будучи въ то же время вполнѣ солиднымъ и надежнымъ. Я былъ бы, поэтому, очень благодаренъ Ивану Ивановичу, если бы онъ удостоилъ мою статью своего вниманія; результатъ выйдетъ во всякомъ случаѣ благодѣтельный. А именно: или онъ одолѣетъ ее — тогда онъ убѣдится, что практикуемый имъ вольно-риторическій методъ рѣшительно непригоденъ къ рѣшенію подлежащаго обсужденію вопроса; или онъ ее, за трудностью и скукой, не одолѣетъ — тогда онъ убѣдится хоть въ томъ, что рѣшеніе этого вопроса вообще не его ума дѣло, такъ какъ всѣ другіе пути, повторяю, много труднѣе намѣчаемаго здѣсь.

IV.

Требуется опредѣлить пригодность или непригодность такъ назыв. классическаго образованія, т.-е. такого, составною частью котораго является изученіе древнихъ языковъ. Пригодность—для чего? Скажемъ, въ видахъ упрощенія задачи—для успѣшнаго прохожденія университетскаго курса (это—не единственное назначеніе средней школы, но все же то, въ которомъ

ея вліяніе легче контролировать). Допустимъ теперь, что нашему наблюденію подлежатъ исключительно бывшіе воспитанники классическихъ гимназій, проходящіе курсы высшихъ наукъ въ университетѣ: тогда наиболѣе удобнымъ способомъ для рѣшенія задачи будетъ такъ назыв. „методъ сопровождающихъ измѣненій", формула котораго гласитъ у Милля такъ: „явленіе, измѣняющееся, когда особеннымъ образомъ измѣняется другое явленіе, состоитъ съ этимъ явленіемъ въ причинной связи". Отсылая читателя за разъясненіями и подробностями къ Миллю, перехожу непосредственно къ конкретному случаю.

Какъ извѣстно, программа нашихъ гимназій подверглась въ 1890 г. существеннымъ измѣненіямъ; эти измѣненія имѣли своею цѣлью, главнымъ образомъ, ослабить преподаваніе древнихъ языковъ (остальные результаты реформы менѣе важны). Теперь надлежитъ установить, измѣнился ли послѣ этой реформы умственный уровень университетской молодежи, и если да, то въ какомъ направленіи. Для этого слѣдуетъ обратиться въ отдѣльные факультеты съ запросомъ, сталъ ли контингентъ ихъ слушателей удовлетворительнѣе или менѣе удовлетворителенъ послѣ происшедшей реформы. Вопросъ этотъ слѣдуетъ предложить всѣмъ факультетамъ; но, разумѣется, отрицательный отвѣтъ историко-филологическихъ факультетовъ, вслѣдствіе ихъ гораздо большей связи съ древними языками и литературами, былъ бы гораздо менѣе знаменателенъ, чѣмъ если бы физико-математическіе и медицинскіе факультеты установили ухудшеніе состава своихъ слушателей за послѣдніе годы.

Замѣчу, — хотя это уже выходитъ за предѣлы поставленнаго вопроса — что въ случаѣ отрицательнаго отвѣта, не слѣдуетъ торопиться осужденіемъ реформы 1890 г. Возможно вѣдь: 1) что она достигла своей цѣли въ области тѣхъ предметовъ, преподаваніе которыхъ было усилено на счетъ преподаванія древнихъ языковъ и 2) что уменьшеніе умственной работы, послѣдовавшее за ослабленіемъ преподаванія древнихъ языковъ, выгодно отозвалось на физическомъ развитіи молодыхъ людей. По первому пункту получается рядъ вопросовъ, подлежащихъ отдѣльному разсмотрѣнію: стала ли молодежь религіознѣе прежняго? стала ли она лучше говорить и писать

по-русски? и т. д. По второму пункту самое лучшее — просмотрѣть отчеты университетскихъ врачей о состоянiи здоровья студентовъ до и послѣ реформы, съ обращенiемъ особаго вниманiя на процентъ нервныхъ заболѣванiй.

Не безынтересны извороты Ивана Ивановича по отношенiю къ нашей задачѣ. Когда ему приводишь данныя, говорящiя за отрицательный результатъ реформы—онъ презрительно смѣется и говоритъ: „значитъ, для полученiя идеальнаго состава студентовъ-естественниковъ слѣдуетъ пичкать гимназистовъ исключительно древними языками!"—Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, вовсе не значитъ. Вы забываете, что нашъ методъ дѣйствителенъ только въ области наблюденiя; для гипотезъ же, въ родѣ вашей, онъ намъ достаточнаго основанiя не даетъ. Приведу примѣръ. Производя наблюденiя надъ дыханiемъ животнаго при нормальномъ и при уменьшенномъ процентѣ кислорода въ воздухѣ, я имѣю основанiе сказать, что оно въ первомъ случаѣ находится въ лучшихъ условiяхъ, чѣмъ во второмъ; но это не даетъ вамъ права высмѣять мой выводъ, говоря: „значитъ, для полученiя идеальныхъ условiй слѣдуетъ окружить животное однимъ только кислородомъ!"

V.

Выше мы имѣли дѣло съ „методомъ сопровождающихъ измѣненiй"; къ счастiю, мы имѣемъ возможность воспользоваться также и „соединеннымъ методомъ совпаденiй и различiй", формулу котораго даетъ третье правило Милля. Оно гласитъ такъ: „если два или болѣе случаевъ, въ которыхъ наступаетъ данное явленiе, имѣютъ общимъ только одно обстоятельство, между тѣмъ какъ два или болѣе случаевъ, въ которыхъ оно не наступаетъ, ничего общаго не имѣютъ, кромѣ отсутствiя этого обстоятельства,—то это обстоятельство, образующее единственное различiе между обоими родами случаевъ, является причиной или дѣйствiемъ того явленiя".

Чтобы воспользоваться этимъ методомъ, мы должны имѣть: 1) группу юношей, различныхъ по происхожденiю, характеру и т. д. и имѣющихъ только одно общее качество—именно то, что они кончили классическую гимназiю; 2) группу юношей,

ничего общаго между собой не имѣющихъ, кромѣ того, что они не воспитывались въ классической гимназіи, и 3) общую арену, гдѣ мы могли бы наблюдать тѣхъ и другихъ. Имѣемъ ли мы всѣ эти данныя? Конечно, да. Добрая часть нашей молодежи получаетъ среднее образованіе не въ гимназіяхъ, а въ реальныхъ училищахъ и въ другихъ среднеучебныхъ заведеніяхъ безъ древнихъ языковъ; общею ареной для тѣхъ и другихъ юношей являются технологическіе и другіе высшіе техническіе институты, число которыхъ, къ сожалѣнію, все еще не соотвѣтствуетъ потребности страны. Здѣсь-то и должны быть производимы наблюденія. Слѣдуетъ обратиться къ руководителямъ всѣхъ упомянутыхъ высшихъ техническихъ заведеній съ запросомъ, которая изъ обѣихъ группъ — классики или не классики — съ наибольшимъ успѣхомъ проходитъ въ нихъ курсъ: сравнительно большая успѣшность прохожденія курса и будетъ тѣмъ „явленіемъ“, причина котораго подлежитъ установленію.

При этомъ, однако, не слѣдуетъ ограничиться результатомъ пріемныхъ экзаменовъ или даже перваго курса: необходимость включить въ область наблюденія все время ученія студентовъ вытекаетъ изъ опыта, часто производившагося и еще недавно удостовѣреннаго проф. Куссмаулемъ. „Я не разъ имѣлъ случай“, — пишетъ этотъ корифей медицинской науки въ Германіи (Badische Landeszeitung, 7 апрѣля 1900), — „обучать въ клиникахъ бывшихъ воспитанниковъ реальныхъ гимназій и т. п. учебныхъ заведеній, и постоянно замѣчалъ, что было гораздо труднѣе ввести ихъ въ пріемы медицинскаго мышленія, особенно—научить ихъ діагностическому заключенію, чѣмъ ихъ гуманистически образованныхъ товарищей. Другіе мои бывшіе коллеги по страсбургскому университету сдѣлали тотъ же опытъ. При этомъ мнѣ вспоминается, что̀ мнѣ сказалъ 40 лѣтъ назадъ Юстусъ Либихъ по поводу разговора о значеніи гуманистической подготовки для медиковъ и натуралистовъ. Совмѣстныя занятія въ лабораторіи убѣдили его, что практиканты, поступившіе къ нему со свидѣтельствомъ зрѣлости гуманистическихъ гимназій, вначалѣ отставали отъ другихъ, получившихъ болѣе реалистическую подготовку (напр., отъ опытныхъ и ловкихъ фармацевтовъ,

поработавшихъ уже въ аптекарскихъ лабораторіяхъ), но въ концѣ концовъ опережали ихъ и дѣлались болѣе полезными ассистентами, чѣмъ они“.

Но одно — Либихъ и Куссмауль, другое — Иванъ Ивановичъ: его отношеніе къ нашей задачѣ поражаетъ своею странностью. Онъ силится установить какое-нибудь другое различіе между обѣими группами, чтобы его объявить причиной „явленія“, о которомъ идетъ рѣчь, и находитъ его — какъ бы вы думали, въ чемъ? Въ бѣлой и черной кости. (Замѣчу въ скобкахъ, такъ какъ это къ естественно-историческому методу касательства не имѣетъ,—что это утвержденіе не только фактически не вѣрно, но и совершенно не къ лицу Ивану Ивановичу, которому, какъ убѣжденному либералу, не слѣдовало бы прохаживаться на счетъ черной кости. Но, можетъ быть, онъ думаетъ, что для благой цѣли можно слегка и поретроградничать—простится, дескать. А можетъ быть, онъ и вовсе ничего не думаетъ).

VI.

Самымъ положительнымъ изъ всѣхъ своихъ методовъ Милль считаетъ второй, „методъ различій“, формула котораго гласитъ (въ сокращенномъ видѣ) такъ: „если случай, въ которомъ данное явленіе наступаетъ, и случай, въ которомъ оно не наступаетъ, отличаются другъ отъ друга только однимъ обстоятельствомъ, имѣющимся въ первомъ и не имѣющимся во второмъ,—то это обстоятельство и есть причина явленія“. Иванъ Ивановичъ утверждаетъ, что классическая система (т.-е. древніе языки) виновата въ огромномъ процентѣ „неудачниковъ“, „загубленныхъ жизней“ и т. д. среди гимназистовъ; примѣнимъ къ этому утвержденію методъ различій.

Есть у насъ среднеучебныя заведенія съ древними языками; есть и другія, которыя, при столь же серьезной постановкѣ преподаванія, отличаются отъ первой отсутствіемъ древнихъ языковъ, это—реальныя училища. Если бы теперь оказалось, что процентъ неудачниковъ только въ первыхъ высокъ, во вторыхъ же низокъ,—то, при схожести прочихъ условій, можно бы было дѣйствительно считать доказаннымъ, что въ неудачникахъ

виноваты древніе языки; если же процентъ въ обоихъ типахъ средней школы окажется приблизительно одинаковымъ, то ясно, что причину этого общаго явленія слѣдуетъ искать въ общемъ условіи (напр., въ серьезной постановкѣ преподаванія), а не въ такомъ, которое отличаетъ одинъ типъ отъ другого.

Вообще Иванъ Ивановичъ въ своихъ разсужденіяхъ о классическомъ образованіи исправно забываетъ, что добрая треть нашей интеллигентной молодежи получаетъ образованіе въ реальныхъ училищахъ, и сплошь и рядомъ обвиняетъ гимназію въ такихъ явленіяхъ, которыя общи ей и съ реальнымъ училищемъ и со всякой другой порядочной школой. Спеціально вопросъ о неудачникахъ имѣетъ еще другую, соціальную сторону (выше стр. 135); но ея я теперь, за непримѣнимостью къ ней естественно-историческаго метода, не касаюсь.

VII.

Еще одинъ примѣръ. Иванъ Ивановичъ называетъ классическую систему „гасительницей души". Этотъ выводъ, добытый съ помощью вольно-риторическаго метода согласно девизу вѣдьмы, требуется провѣрить съ помощью метода естественно-историческаго.

Въ выводѣ Ивана Ивановича заключаются три отдѣльныхъ утвержденія: 1) что при поступленіи въ классическую гимназію у объектовъ нашего наблюденія души имѣются; 2) что при оставленіи ими гимназіи таковыхъ въ наличности не оказывается; 3) что въ ихъ исчезновеніи виновата именно классическая система (т.-е. древніе языки), а не другія свойства гимназіи.

Первое положеніе въ доказательствѣ не нуждается, и я привелъ его только ради логической полноты.

Второе положеніе равносильно утвержденію, что оставляющая гимназію молодежь (т.-е. молодежь университетская) неспособна къ такимъ дѣйствіямъ, для которыхъ требуется „душа": такъ, въ области частной жизни — къ поддержкѣ матери, товарища, къ безкорыстному исканію знаній, а въ области общественной жизни — къ отклику на народныя нужды во время эпидемій, недородовъ и т. д. При этомъ допускается, во избѣ-

жаніе абсурда, что Иванъ Ивановичъ употребилъ слово „душа“ въ нравственномъ смыслѣ, а не въ смыслѣ религіозномъ (по коему она, будучи безсмертна, гашенію не подлежитъ) или психологическомъ (по коему она, будучи тожественна съ непрерываемостью сознанія, равнымъ образомъ при наличности сознанія не можетъ считаться угасшей).

Хотя Иванъ Ивановичъ, узнавъ объ этомъ логическомъ послѣдствіи его утвержденія, поспѣшитъ благородно ретироваться, тѣмъ не менѣе мы, ради той же логической полноты, должны разсмотрѣть и третье положеніе. Тутъ примѣнимъ „методъ различій“, т.-е. Иванъ Ивановичъ обязанъ доказать, что исчезновеніе души, наблюдаемое въ гимназіяхъ, не наблюдается въ то же время въ другихъ среднеучебныхъ заведеніяхъ. Разумѣется, доказать это и подавно невозможно, и потому все положеніе должно быть признано принадлежащимъ къ тѣмъ „жалкимъ словамъ“, назначеніе которыхъ — внести мракъ и путаницу въ дѣло, болѣе всего нуждающееся въ свѣтѣ и ясности.

VIII.

Я привелъ четыре примѣра примѣненія естественно-историческаго метода къ рѣшенію вопроса о средней школѣ,—изъ нихъ два въ положительномъ, два въ отрицательномъ смыслѣ: въ первыхъ двухъ случаяхъ нашъ методъ помогалъ намъ находить правильные пути, въ послѣднихъ двухъ—помогалъ обличать неправильность ложныхъ путей. Стоитъ ли доказывать, что я съ обѣихъ точекъ зрѣнія могъ привести лишь образчики? Область изслѣдованія обширна и обильна; она обнимаетъ не одну только Россію, а весь районъ европейско-американской цивилизаціи, обнимаетъ не только послѣднія десятилѣтія, но и всю исторію нашей культуры. Если добытые на почвѣ Россіи результаты подтверждаются — путемъ примѣненія методовъ „совпаденія“ и „различій“—результатами на почвѣ всего пріобщеннаго къ нашей культурѣ міра, если методъ „сопровождающихъ измѣненій“ обнаруживаетъ для всей многовѣковой исторіи западной цивилизаціи знаменательный параллелизмъ между интенсивностью классическаго образованія и интенсив-

ностью умственной культуры вообще — то можно будетъ, думается мнѣ, признать надежность добытыхъ изъ столь громаднаго эмпирическаго матеріала выводовъ.

Моя задача — позволю себѣ на этомъ настаивать—заключалась въ томъ, чтобы доказать примѣнимость естественно-историческаго метода въ означенной области; *рѣшать* съ его помощью вопросъ о средней школѣ я не брался. Конечно, я не считаю нужнымъ скрывать отъ читателя своего убѣжденія, добытаго путемъ многолѣтняго примѣненія нашего метода, а убѣжденіе это — 1) что идеалъ классическаго образованія — самый совершенный изъ всѣхъ намѣченныхъ по сіе время идеаловъ образованія, 2) что даже дѣйствующая у насъ въ Россіи классическая школа, несмотря на ея крупныя несовершенства (которыхъ я никогда не оспаривалъ), все-таки является, какъ орудіе умственной культуры, наиболѣе совершеннымъ изъ существующихъ у насъ типовъ, и 3) что классическая школа представляетъ изъ себя, именно вслѣдствіе своего духовнаго, чуждаго всякой ремесленности [1]) характера, безконечно совершенствуемый, подвижной и отзывчивый къ требованіямъ современности типъ. Но, разумѣется, это — мое убѣжденіе, доказательствъ котораго (они наполнили бы цѣлую книгу) я здѣсь не привелъ, и я покорнѣйше прошу читателя отличать тѣ положенія, которыя я постарался доказать, отъ тѣхъ, доказывать которыя я здѣсь и не пытался.

Въ заключеніе два слова о методѣ.

Я назвалъ его „естественно-историческимъ“ потому, что онъ обыкновенно такъ называется, и Бэконъ съ Миллемъ выяснили его на заимствованныхъ изъ естественныхъ наукъ примѣрахъ. Его научное имя, однако, „методъ чистой индукціи“, и его примѣнимость далеко не ограничивается естественно-исторической областью. Примѣняется онъ и въ филологіи во всѣхъ ея отрасляхъ, не исключая и латинскаго синтаксиса;

---

[1]) Мнѣ очень жаль, что у насъ нѣтъ другого слова, выражающаго требуемое понятіе безъ обиднаго намека на почтенную отрасль человѣческаго труда: слова, которое соотвѣтствовало бы нѣмецкому слову Banausentum, взятому съ греческаго, но получившему съ легкой руки Бисмарка право гражданства въ Германіи.

въ области соціально-политическихъ наукъ исторія Бокля является однимъ изъ самыхъ извѣстныхъ примѣровъ его примѣненія. Очень желательно его введеніе и въ высшую педагогику, въ видахъ противодѣйствія одной изъ опаснѣйшихъ язвъ учебнаго дѣла—педагогическому авантюризму.

26 ноября 1900.

ЭКСКУРСЪ ПЯТЫЙ.

О чтеніи судебныхъ рѣчей Цицерона въ гимназіи.

Меня упрекаютъ въ томъ, что я ищу новыхъ путей краснорѣчія, пренебрегая извѣстными; но я открыто заявляю, что я своимъ ораторскимъ значеніемъ, буде оно есть и поскольку оно есть, обязанъ не мастерскимъ риторовъ, а широкимъ ристалищамъ Академіи.

Цицеронъ.

Мм. гг. [1]).

Какъ извѣстно каждому изъ насъ, ни одна область человѣческихъ знаній не подвергалась и не подвергается въ такой мѣрѣ набѣгамъ воинствующаго дилеттантизма и невѣжества, какъ именно та наука, во имя которой мы собрались сегодня сюда — педагогика. Отчего это такъ — объ этомъ нѣтъ надобности распространяться теперь; самый же фактъ, о которомъ я говорю, столь несомнѣненъ и вмѣстѣ съ тѣмъ прискорбенъ для тѣхъ, кого онъ заставилъ страдать, что имъ вполнѣ оправдывается и узаконивается недовѣріе, съ которымъ педагоги-спеціалисты относятся къ совѣтамъ, исходящимъ не изъ ихъ эсотерическаго круга. Будь среди самозванныхъ совѣтчиковъ въ области педагогики менѣе невѣждъ, или преподноси они свои откровенія въ менѣе назойливой и заносчивой формѣ — тогда, конечно, можно было бы требовать отъ педагоговъ-спеціали-

[1]) Рефератъ, читанный въ С.-Петербургскомъ и Кіевскомъ отдѣленіяхъ Общества классической филологіи и педагогики.

стовъ, чтобы они внимали имъ безъ предубѣжденія, помня объ извѣстномъ изреченіи Плинія, что „нѣтъ столь скверной книги, чтеніе которой не приносило бы хоть нѣкоторой пользы"; но при нынѣшнемъ положеніи дѣлъ нельзя удивляться тому, что это предубѣжденіе существуетъ, что спеціалисты, прежде чѣмъ удостоить своего вниманія автора новаго совѣта или предложенія, спрашиваютъ о тѣхъ данныхъ, которыя уполномочиваютъ его выступить съ этимъ совѣтомъ или предложеніемъ — о томъ, однимъ словомъ, что̀ греческіе реторы назвали бы его ἀφορμή.

Я, съ своей стороны, признаю это требованіе вполнѣ законнымъ и подчиняюсь ему тѣмъ охотнѣе, что выясненіе этой ἀφορμή можетъ въ значительной мѣрѣ выяснить и суть того, что̀ я имѣю предложить. Моя ἀφορμή двойная: представляя на судъ преподавателей-спеціалистовъ планъ реформы, которую по моему мнѣнію было бы желательно ввести въ гимназическое чтеніе судебныхъ рѣчей Цицерона, я основываюсь отчасти на тѣхъ данныхъ, которыми меня снабдила моя довольно продолжительная, чисто филологическая дѣятельность въ области эксегезы Цицерона, отчасти же и на тѣхъ, которыми я обязанъ своей практической дѣятельности, какъ университетскій преподаватель. Вполнѣ сознаю недостаточность этой квалификаціи для обсужденія вопроса, имѣющаго предметомъ спеціально-гимназическую педагогику; но вѣдь я требую для себя не рѣшающаго, а только совѣщательнаго голоса, а для таковаго, полагаю я, достаточно и указанной ἀφορμή.

Позволю себѣ, однако, не желая выносить соръ изъ избы, ограничиться здѣсь моими наблюденіями, какъ филолога. Свою рѣчь я поведу издалека, умалчивая до поры до времени о томъ положеніи, которое я намѣренъ доказать; это необходимо для того, чтобы это положеніе не показалось слишкомъ неожиданнымъ и рѣзкимъ.

I.

Въ ту глубокую старину, къ которой мы относимъ начала государственной жизни народовъ, былъ составленъ словесный, не писанный, сводъ законовъ, опредѣляющихъ отно-

шенія отдѣльныхъ единицъ другъ къ другу и къ высшей единицѣ. Мы знаемъ въ настоящее время, что составленіе этого свода не было послѣдствіемъ „соціальнаго договора", какъ полагали раньше—такой договоръ заставлялъ бы предполагать у договаривающихся наличность качествъ, которыя могли явиться лишь какъ результатъ ихъ государственной жизни—а что онъ былъ данъ народамъ свыше въ силу того обаянія, которое имѣла въ ихъ глазахъ религія. Такъ дѣло обстояло у евреевъ, эллиновъ, римлянъ; вездѣ государственный уставъ былъ дѣтищемъ религіи, вездѣ fas породило jus. Вслѣдствіе такого своего происхожденія и правовыя нормы народовъ пользовались въ началѣ той же неприкосновенностью, какой требуетъ для себя религія; никакого другого толкованія, кромѣ буквальнаго, онѣ не допускали, jus было понимаемо исключительно какъ summum jus.—Но вотъ человѣческая мысль проснулась и окрѣпла; она могла и должна была потребовать для себя участія въ примѣненіи права; спрашивалось, въ какое отношеніе станетъ она къ тому, что̀ эллины называли ῥητόν, т.-е. къ точно и опредѣленно формулированнымъ правовымъ нормамъ, обязательнымъ въ своемъ прямомъ, буквальномъ смыслѣ для тѣхъ, кто ихъ принялъ. Въ этомъ отношеніи народы пошли каждый своей дорогой. У евреевъ мысль безоговорочно преклонилась передъ ῥητόν и покорилась ему; раввины изощряли свою сообразительность, чтобы создать, какъ они выражались, „изгородь вокругъ закона"; благодаря ихъ усиліямъ, образовался современемъ такъ называемый талмудъ, и къ еврейскому праву стало примѣнимо слово Лукреція:

caput a coeli regionibus ostendebat,
Horribili super aspectu mortalibus instans.

У эллиновъ, напротивъ, человѣческая мысль, вольная и мятежная въ сознаніи своей юношеской силы и отваги, стала съ самаго начала во враждебныя отношенія къ ῥητόν; признавая священный въ глазахъ народа авторитетъ законодателя, который ея нимало не стѣснялъ, она отказывалась понимать данныя имъ нормы въ ихъ буквальномъ смыслѣ и требовала, чтобы толкователи доискивались его *мысли и воли*, лишь несовершеннымъ образомъ выраженной въ избранныхъ имъ сло-

вахъ. Такъ-то со времени геніальнаго иниціатора этого направленія—мы имѣемъ основаніе считать таковымъ Ѳрасимаха Халкедонскаго—толкователямъ приходилось считаться съ двумя дѣйствительностями вмѣсто одной; былъ выставленъ великій юридическій дуализмъ, выражаемый словами ῥητὸν καὶ διάνοια и давшій современемъ родственный дуализмъ justum et aequum. Не мудрено, что въ началѣ дѣйствіе этого дуализма было преимущественно разрушительнаго характера, изъ обѣихъ дѣйствительностей одна, ῥητόν, стояла на виду у всѣхъ, въ формѣ старинныхъ письменъ на священныхъ скрижаляхъ; она, сверхъ того, имѣла за собой традицію, а съ ней и симпатіи всѣхъ тѣхъ, которые считали себя и, быть можетъ, были устоями государства. Другая дѣйствительность, διάνοια, покоилась въ могилѣ вмѣстѣ съ тѣми, кому она приписывалась; вызванная оттуда, она блуждала призракомъ среди людей, пугая тѣхъ, кто обладалъ не особенно сильнымъ духомъ. Задачею поборника διανοίας было оживить эту призрачную дѣйствительность, влить въ нее свою кровь, сдѣлать такъ, чтобы она потеряла все страшное для людей и плѣняла ихъ своей силой, свѣжестью, красотой. Того, кому удавалось это чудо, эллины называли ῥήτωρ; способность творить его называлась ῥητορική, — была ли она искусствомъ, или наукой, или простымъ умѣніемъ, объ этомъ древніе долго спорили.

Ея родителями были, какъ мы видѣли, суровый законъ и вольная мысль; неудивительно, что она пошла скорѣе въ мать, чѣмъ въ отца. А такъ какъ общественная этика была въ силу традиціи на сторонѣ послѣдняго, то она обратилась къ той сторонѣ души человѣка, которая одна только и могла служить противовѣсомъ его нравственнымъ чувствамъ — къ его эстетическимъ потребностямъ. Реторика стала настоящей территоріей прекраснаго; здѣсь впервые законы прекраснаго были оформлены и изучены; отсюда требованіе красоты — я разумѣю реторическую, т.-е. сознательную красоту—распространилось на всѣ прочія проявленія человѣческой жизни, не исключая ея послѣдняго проявленія—смерти.

Въ силу сказаннаго ясно, что построенная на нравственныхъ началахъ философія должна была отнестись отрицательно къ реторикѣ; Платонъ, ея первый и главный представитель,

предалъ анаѳемѣ и Ѳрасимаха (въ Государствѣ), и Горгія. Но современемъ, когда юношеская отвага реторики уступила мѣсто болѣе спокойному настроенію, взаимныя отношенія улучшились. Съ одной стороны реторика поняла, что, имѣя своею цѣлью πειθώ и своимъ объектомъ человѣческую душу, она не можетъ обойтись безъ психологіи, а слѣдовательно, безъ философіи; съ другой стороны и философія, получивъ благодаря Аристотелю энциклопедическій, универсальный характеръ, не могла обойти своимъ вниманіемъ эстетику и, слѣдовательно, реторику. Плодомъ этого сліянія была ῥητορική Аристотеля; съ этихъ поръ въ реторикѣ уже не два, а три элемента: къ юридическому и собственно реторическому, т.-е. эстетическему, прибавился философскій.

Къ сожалѣнію, сліянія этихъ трехъ элементовъ въ одномъ лицѣ не произошло; примыкая къ философіи, реторика отдѣлилась отъ юриспруденціи. Самъ Аристотель, принимая реторику подъ свое покровительство, отнесся крайне недружелюбно къ ея юридическому элементу и, слѣдовательно, къ судебному краснорѣчію; онъ даже упраздняетъ его, ставя требованіе, чтобы стороны ограничивались представленіемъ однихъ такъ называемыхъ πίστεις ἄτεχνοι, т.-е. свидѣтельскихъ показаній и грамотъ, законодатель же формулировалъ свои постановленія такъ полно и ясно, чтобы подведеніе факта подъ законъ не представляло ни малѣйшей трудности; позднѣйшіе философы, въ особенности стоики, отнеслись къ судебному краснорѣчію болѣе доброжелательно, но, не будучи юристами, не могли его разработать, какъ надлежало. Такимъ образомъ, въ эпоху Аристотеля происходитъ роковой для греческаго краснорѣчія расколъ въ реторикѣ; одинъ лагерь составляютъ реторы-юристы, другой — реторы-философы; нарождается и третья категорія — реторы-невѣжды.

Но вотъ настала пора для греческой образованности завоевать весь міръ, вступивъ въ знаменательный для исторіи человѣчества союзъ съ римской силой. Къ счастью для римскаго краснорѣчія, учителемъ римлянъ былъ реторъ-философъ (или, вѣрнѣе, философъ-реторъ) — стоикъ Панэтій. Я говорю: къ счастью, такъ какъ изъ трехъ элементовъ, вошедшихъ въ составъ высокой реторики—какъ я позволю себѣ называть ее—

юридическій былъ римлянамъ наименѣе нуженъ; наименѣе нуженъ потому, что они могли прибавить его отъ себя. Панэтій сталъ душой той блестящей плеяды римлянъ, которую мы привыкли называть Сципіоновымъ кружкомъ; его учениками были, прямо или косвенно, Сципіонъ Младшій, Лелій, оба Сцеволы, ораторъ Крассъ, *а затѣмъ и ученикъ Сцеволъ и Красса—Цицеронъ*. Важность указаннаго факта очевидна: сліяніе трехъ элементовъ высокой реторики, которое не могло состояться на почвѣ Эллады, состоялось само собой въ Римѣ. Отсюда слѣдуетъ, такъ какъ рѣчи Красса не дошли до насъ, несомнѣнный выводъ—*что Цицеронъ является для насъ единственнымъ представителемъ высокой реторики*.

II.

Причина того сліянія заключалась, какъ было замѣчено выше, въ томъ, что Панэтій, учитель римлянъ, былъ философомъ-реторомъ: но, конечно, эта внѣшняя и случайная причина не могла быть единственной. Ученіе Панэтія не нашло бы себѣ почвы въ Римѣ, если бы внутреннія условія римской жизни и спеціально — такъ какъ рѣчь идетъ о судебномъ краснорѣчіи—римскаго судопроизводства сложились менѣе благопріятно. Благопріятность условій римскаго судопроизводства заключалась:

1) Въ томъ, что судъ допускалъ *представительство*, какъ потерпѣвшей стороны, такъ и подсудимаго, въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Только благодаря этому представительству, котораго не знала Грецiя, могло вообще появиться судебное краснорѣчіе въ смыслѣ высокой реторики.

2) Въ томъ, что пренія происходили *устно*. Нечего и говорить, что защитникъ, подающій свою защиту въ видѣ писаннаго mémoire коронному судьѣ — какъ это было въ новой Европѣ въ эпоху инквизиціоннаго процесса—не можетъ претендовать на имя оратора.

3) Въ томъ, что судили *присяжные* — стало быть, неспеціалисты, а не судьи-юристы [1]). Рѣчь, произнесенная передъ

[1]) „Всякому, мало-мальски знакомому съ бытовыми условіями судебной дѣятельности, извѣстно, какая громадная разница между судоговореніемъ

спеціалистами, всегда сама будетъ имѣть спеціальный характеръ; общіе взгляды, психологія, реторика—все это отходитъ на задній планъ, главную роль играютъ ссылки на статьи законовъ, на responsa prudentium, на res judicatae.

4) Въ томъ, что римскій судъ не зналъ такъ называемыхъ обязательныхъ (или законныхъ) доказательствъ, признавая за судьями полную *свободу въ оцѣнкѣ приводимыхъ сторонами обвинительныхъ и защитительныхъ соображеній*. Только такой „судъ совѣсти" можетъ дать оратору возможность вполнѣ развернуться; гдѣ судъ направленъ на установленіе не матеріальной, а лишь формальной истины, гдѣ приговоръ судьи зависитъ не отъ его убѣжденія, а отъ наличности данныхъ, требуемыхъ неумолимой „теоріей доказательствъ" (law of evidence) — тамъ судебное краснорѣчіе играетъ довольно жалкую роль.

5) Въ томъ, что суды происходили *публично* въ присутствіи народа. Глѣбъ Успенскій въ одномъ своемъ разсказѣ не то въ шутку, не то серьезно доказываетъ, что настоящій энциклопедистъ — это крестьянинъ; въ самомъ дѣлѣ можно сказать, что умственно развитый, но не получившій спеціальнаго образованія человѣкъ всегда склоненъ къ энциклопедизму. Вотъ почему слушатели Цицерона были столь благодарной публикой для представителя высокой реторики [1]); рѣчь судебная (т.-е. юридическая) по содержанію, философская по духу и реторическая по формѣ должна была болѣе всего плѣнять ихъ.

Отсюда слѣдуетъ, что высокая реторика въ области римскаго судопроизводства не могла пережить тѣхъ судебныхъ

при участіи или *безъ участія* присяжныхъ засѣдателей. Насколько въ первомъ случаѣ стороны оживляются, видя передъ собой горячо интересующихся дѣломъ судей, настолько на коронномъ судѣ и стороны, и судъ затягиваются тиною рутины и скучнаго ремесла. Обвинитель произноситъ «казенную рѣчь»", и т. д. Джаншіевъ, Основы судебной реформы, стр. 281.

[1]) Совершенно правильно замѣчаніе Vargha (стр. 47): Man hat nur zu häufig übersehen, dass der Kern der Unwiderstehlichkeit jener classischen Redner nicht etwa in geschwätziger Ueberredungskunst, sondern vielmehr darin lag, dass sie die Richter auf die Culturhöhe ihrer Zeit emporhoben und ihnen grossartige Gesichtspuncte zur Beurteilung menschlicher Individualitäten und Verhältnisse erschlossen.

порядковъ, которые были въ эпоху Цицерона; когда при императорахъ какъ разъ наиболѣе благодарныя дѣла — дѣла уголовныя—стали все болѣе и болѣе переходить отъ присяжныхъ къ такъ называемымъ cognitiones extraordinariae, высокая реторика начала все болѣе и болѣе опускаться. Современемъ юридическій элементъ отъ нея совсѣмъ отошелъ; а такъ какъ политическое краснорѣчіе еще ранѣе прекратилось, то область реторики стала обнимать только γένος ἐπιδειχτιχόν, панегирики и т. п., для которыхъ философскій духъ былъ скорѣе вреденъ, чѣмъ полезенъ. Такимъ образомъ реторика одеревенѣла; въ концѣ концовъ отъ нея осталась только орнаментальная часть, ученіе о синекдохахъ и метониміяхъ, однимъ словомъ—наша „риторика", степень популярности которой вполнѣ соотвѣтствуетъ ея образовательному значенію.

Вообще, чѣмъ болѣе мы удаляемся отъ эпохи римской республики, тѣмъ болѣе жалкой представляется намъ картина уголовнаго судопроизводства. Подсудимый все болѣе и болѣе изъ стороны превращается въ предметъ суда; его неограниченное нѣкогда право молчанія и защиты—палладіумъ древнеримскаго и новѣйшаго судовъ—все болѣе и болѣе урѣзывается; наконецъ, уголовное судопроизводство поздней имперіи изобрѣтаетъ гнусный институтъ—*пытку* подсудимаго, которой суждено было лежать позорнымъ пятномъ на европейской цивилизаціи въ теченіе $1^1/_2$ тысячелѣтія. Нечего и говорить, что при такихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи о судебномъ краснорѣчіи. Не допускалъ его также и наивный германскій процессъ съ его клятвами сторонъ и ордаліями, а равно и инквизиціонный процессъ, замѣнившій его съ развитіемъ въ Европѣ абсолютизма. Судебное краснорѣчіе стало возможнымъ лишь со времени введенія преобразованнаго процесса [1]) — т.-е. во

[1]) Реформа уголовнаго процесса континентальной Европы въ 1791 — 1864 г. называется у Vargha (стр. 625) безусловно правильно *„возрожденіемъ* состязательнаго судопроизводства" (die Renaissance des accusatorischen Processes). Вообще же юристы бываютъ склонны умалять эту заслугу классической древности, называя, напр., судъ присяжныхъ „твореніемъ англосаксонскаго генія"; на филологахъ лежитъ обязанность протестовать противъ этого недоразумѣнія и сохранить во всей неприкосновенности фактъ, что греко-римская древность была и въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ, источникомъ освободительныхъ идей.

Франціи со времени революціи, въ Германіи съ 1848 г., въ Австріи съ 1850 г., а у насъ — съ 1864 г. Этотъ преобразованный процессъ далъ намъ вновь всѣ пять условій, которыя въ эпоху римской республики благопріятствовали процвѣтанію судебнаго краснорѣчія: и представительство сторонъ, и устность преній, и участіе присяжныхъ, и свободную оцѣнку доказательствъ, и гласность.

Я долженъ, однако, сдѣлать оговорку относительно одного западно-европейскаго государства, не принимавшаго участія въ развитіи (если это слово примѣнимо) западно-европейскаго судопроизводства; это — Англія. Здѣсь мы рано встрѣчаемъ присяжныхъ (jury) — правда, сначала въ качествѣ особаго рода свидѣтелей подсудимаго, но затѣмъ и какъ судей; рано появляется также и устность, и гласность, а съ 17 вѣка—и представительство подсудимаго. Здѣсь поэтому скорѣе всего могло появиться и дѣйствительно появилось судебное краснорѣчіе; но, конечно, оно не могло такъ свободно развиться, какъ въ древнемъ Римѣ, такъ какъ law of evidence продолжала стѣснять судебнаго оратора.

III.

Со всѣмъ тѣмъ, рѣчи Цицерона уцѣлѣли. Каково же было отношеніе къ нимъ публики новой Европы?

Въ эпоху гуманистовъ, говорятъ намъ, ими восхищались. Это не совсѣмъ правильно. Конечно, гуманисты-*филологи* не могли не благоговѣть передъ человѣкомъ, который писалъ полатыни такъ, какъ хотѣли бы писать и они, и это стилистическое увлеченіе заставляло ихъ забыть все прочее: комментаріи Мануція, Менарда, статейки Мурета свидѣтельствуютъ, какъ объ искренности, такъ и о поверхностности ихъ похвалъ. Но кромѣ гуманистовъ-филологовъ были и гуманисты-*юристы*— Hotomanus, Passeratius и др.; не имѣя понятія объ исторіи права, они, съ Дигестами въ рукахъ, по-своему обличали нашего оратора, не признавая за нимъ права не знать того, что около 200 лѣтъ спустя зналъ Ульпіанъ. Когда, благодаря главнымъ образомъ Савиньи и нахожденію Гая, была создана исторія римскаго права, мнѣніе юристовъ о Цицеронѣ улуч-

шилось, но понять его они не могли потому, что не могли стать на реторическую точку зрѣнія. Тѣ изъ нихъ, которые были философски образованы, обладали воспріимчивостью къ *этикѣ* права; но уразумѣть, такъ сказать, *эстетику* права, т.-е. понять, какъ можетъ и долженъ измѣниться способъ натиска и защиты, когда ораторъ руководится, кромѣ юридическихъ, еще и эстетическими, иначе реторическими соображеніями,—этого они не могли.

Все же юристы могли по крайней мѣрѣ читать Цицерона сознательно; филологи и этого не могли. Высокая реторика имѣла содержаніемъ юридическіе вопросы, а таковые стояли и стоятъ внѣ рубежа философскихъ факультетовъ. Оставалась форма, а съ нею и низшая реторика со стилистикой; до поры до времени пробавлялись ею — я говорю преимущественно о Германіи. Но одна только форма не согрѣваетъ сердца; мало-по-малу стилистическое увлеченіе прошло и уступило мѣсто чувству неудовлетворенности; неудовлетворенность повела къ протестамъ, которые стали раздаваться все чаще и чаще и имѣли, наконецъ, послѣдствіемъ цѣлый походъ противъ Цицерона. Знаменосцемъ нѣмецкихъ ученыхъ въ этомъ походѣ былъ, какъ извѣстно, Друманъ, хотя мелкія вылазки происходили и ранѣе. Друманъ писалъ свою исторію агоніи римской республики въ то время, когда инквизиціонный процессъ, этотъ позоръ новой Европы, былъ еще въ полномъ ходу; не мудрено, что онъ судитъ о судебныхъ рѣчахъ Цицерона съ невинностью младенца. Его приговоры, тѣмъ не менѣе, остались въ силѣ и послѣ введенія преобразованнаго процесса, котораго филологи такъ и не замѣтили; послѣдовавшіе за Друманомъ ученые повторяли и варіировали ихъ на всѣ лады; дѣло дошло до того, что послѣдній по времени историкъ римской литературы назвалъ Цицерона „eine gefallene Grösse“, торжественно констатируя такимъ образомъ *неспособность свою и своихъ единомышленниковъ понять эту богатую и истинно художническую натуру, этого единственнаго представителя высокой реторики.*

.... Теперь, мм. гг., я высказалъ ту мысль, съ которой я боялся начать свой рефератъ; она гласитъ такъ: преподаватели германскихъ гимназій, читающіе судебныя рѣчи Цицерона со

своими учениками, учатъ послѣднихъ тому, чего они сами не понимаютъ. Понять Цицерона можетъ только тотъ, кто съ юридическими познаніями соединяетъ философскій взглядъ и реторико-эстетическое чутье; тѣ же, о которыхъ я говорю, рѣдко бываютъ философами, еще рѣже знаютъ реторику—я говорю о серьезной и живой греко-римской реторикѣ, а не о презрѣнной „риторикѣ“ новѣйшихъ временъ—и никогда не изучаютъ юриспруденціи. Благодаря этому, богатѣйшій кладезь общеобразовательныхъ знаній и мыслей приходитъ все болѣе и болѣе въ запущеніе; кто знаетъ, далеко ли время, когда Цицеронъ будетъ совсѣмъ изгнанъ изъ школъ.

А между тѣмъ есть страна, въ которой, хотя она и не претендуетъ на гегемонію въ классической филологіи, изученіе Цицерона поставлено правильно: это—та же страна, которая, какъ мы видѣли, имѣла счастье сохранить во всѣ времена нѣкоторое подобіе древне-римскаго процесса. Англичане хотя и коверкаютъ безбожно благозвучныя слова арпинскаго оратора, но извлекаютъ изъ него то, что можетъ и долженъ извлечь образованный или стремящійся къ образованію человѣкъ; путемъ юридико-реторическихъ анализовъ судебныхъ рѣчей Цицерона они на практикѣ изучаютъ теорію доказательствъ и теорію возраженій, способы убѣжденія и способы разубѣжденія; каждый англійскій ораторъ, будь онъ адвокатъ, или депутатъ, среди своихъ учителей съ благодарностью назоветъ и Цицерона. Правда, вслѣдствіе замкнутости англійской жизни для нѣмецкой филологической науки, и мы, преимущественно пользующіеся результатами этой науки, мало о ней узнаемъ; лишь изрѣдка такіе факты, какъ появленіе трехъ изданій рѣчи за Клуенція съ англійскимъ комментаріемъ, обращаютъ на себя вниманіе представителей нѣмецкой филологіи. Неужели въ англійскихъ гимназіяхъ читается эта столь трудная въ юридическомъ отношеніи рѣчь (что она легче рѣчи за Архія, этого они, конечно, не сознаютъ)? Да, и повидимому очень усердно... Зато какъ внушительно звучитъ слѣдующая выдержка изъ біографіи одного виднаго великобританскаго дѣятеля, которую я беру изъ энциклопедическаго словаря: „Онъ — лордъ Брумъ (Brougham)—тщательно развивалъ свой талантъ посредствомъ изученія древнихъ ораторовъ, а также и упражненій

на практикѣ, и въ 1800 г. началъ свою карьеру, какъ повѣренный". Мы легко понимаемъ, что такія явленія были долгое время возможны только въ Англіи; но неужели такъ должно быть всегда? Im modernen Strafverfahren, говоритъ Frydmann (стр. 311), gewinnen die Regeln der antiken Rhetorik wieder an Actualität; неужели филологъ континентальной Европы долженъ чуждаться жизни, въ то время какъ жизнь зоветъ его къ себѣ?

Causa quae sit videtis; nunc quid agendum sit considerate.

IV.

У насъ гимназическое чтеніе авторовъ въ силу естественнаго хода вещей слѣдовало и слѣдуетъ тѣмъ нормамъ, которыя были выработаны въ теоріи и на практикѣ нѣмецкой педагогикой. Получивъ самъ филологическое образованіе въ нѣмецкихъ университетахъ, я достаточно способенъ, полагаю я, оцѣнить ту серьезную умственную выдержку, которую сообщаетъ духу учащихся нѣмецкій педагогическій методъ; но чтеніе Цицерона было, какъ мы видѣли, сухою и мертвой вѣтвью нѣмецкаго педагогическаго дерева, переносить которую къ намъ не годилось. Отсюда слѣдуетъ, что мы своими силами должны выработать методъ плодотворнаго чтенія Цицерона. Эта необходимость стала еще ощутительнѣе со времени новаго гимназическаго устава; послѣ изгнанія грамматики изъ 7 и 8 классовъ — о нихъ исключительно идетъ рѣчь — должна была образоваться пустота; чѣмъ ее заполнить? Стилистика гимназисту почти недоступна; правда, мы можемъ перейти къ реаліямъ, къ *исторіи*. Но для историческаго толкованія Цицеронъ даетъ слишкомъ мало матеріала; сверхъ того, спеціально историческое толкованіе должно быть признано прямо опаснымъ, и вотъ почему. Историческихъ дѣйствительностей двѣ: есть исторія въ смыслѣ historia и есть исторія въ смыслѣ memoria; первая живетъ въ книгахъ, вторая — въ умахъ и сердцахъ людей; первая всегда истиннѣе, вторая часто правдивѣе; съ первой имѣетъ дѣло историкъ, со второй — ораторъ. Кто этой важной разницы не уразумѣлъ, тотъ не имѣетъ права

толковать Цицерона съ исторической точки зрѣнія; а чтобы уразумѣть ее, надобно знать высокую реторику.

Но вотъ выдвигается новая точка зрѣнія — *нравственная*. Съ этой точки зрѣнія одинъ нѣмецкій педагогъ подвергъ рѣчи Цицерона пространному обсужденію; но увы! шемякинъ судъ лакедемонянъ надъ платейцами, о которомъ повѣствуетъ Θукидидъ, былъ идеаломъ правосудія въ сравненіи съ этимъ судомъ. И здѣсь появилось на сцену τὸ ἐρώτημα τὸ βραχύ: кто изъ васъ—замѣшанныхъ въ процессѣ лицъ—оказалъ благодѣянія человѣчеству? А такъ какъ нашъ міръ при всѣхъ его недостаткахъ не такъ еще испорченъ, чтобы благодѣтели человѣчества имѣли своимъ обычнымъ мѣстопребываніемъ скамью подсудимыхъ, то результатъ получился плачевный. Впрочемъ, я тутъ отчасти заглядываю въ будущее: до сихъ поръ почтенный педагогъ подвергъ опалѣ изъ судебныхъ рѣчей только Rosciana, вторая, которую онъ изгналъ, была рѣчь сенатская— Филиппика II; но по приводимымъ имъ соображеніямъ видно, что участь прочихъ уже рѣшена.

Но что же остается отъ судебной рѣчи, если устранить возможность грамматическаго, стилистическаго, реальнаго и этическаго толкованій? Остается, полагаю я, *судебная рѣчь*. А что такое судебная рѣчь Цицерона, это мы видѣли: это литературный памятникъ, юридическій по содержанію, философскій по духу, реторическій по формѣ. Мы прослѣдили исторію сліянія и исторію разложенія этихъ трехъ элементовъ, которые образовали высокую реторику; мы можемъ теперь поставить требованіе, *чтобы всякій, кто берется толковать Цицерона, предварительно соединилъ ихъ въ себѣ*. А для этого нужна прежде всего и главнымъ образомъ добрая воля.

Это касается, болѣе всего, того элемента, которому я отвелъ первое мѣсто. Слово „юридическій“, несмотря на геніальный починъ Моммзена, продолжаетъ внушать филологу какой-то суевѣрный ужасъ; но для того, чтобы понять causas publicas Цицерона—читаются въ гимназіяхъ исключительно онѣ—нѣтъ надобности вникать въ самыя таинственныя дебри римскаго права, ломать себѣ голову надъ различными видами облигацій и сервитутовъ, надъ тонкой разницей между possessio и quasi possessio, между actio directa и actio utilis. Конечно, и это

не помѣшаетъ, и филологъ, прочитавшій Іеринга или ознакомившійся, съ помощью хорошаго пособія, съ институціями Гая, Юстиніана или съ Дигестами, навѣрное не сочтетъ посвященнаго этимъ занятіямъ времени потеряннымъ; но и тутъ главнымъ пріобрѣтеніемъ для него будетъ не фактическое знаніе и не умѣніе огорошить своихъ слушателей полудюжиной мудреныхъ юридическихъ терминовъ, а скорѣе способность юридическаго мышленія, очень драгоцѣнная при чтеніи судебныхъ рѣчей. Прямо же къ дѣлу относится область *уголовнаго права*, [1]) да и то не вся; убійство, repetundae, ambitus, vis, majestas — вотъ и все, что нужно; необходимыя же свѣдѣнія по этой части права пріобрѣтаются сами собой при чтеніи судебныхъ рѣчей Цицерона, если только читать ихъ, какъ судебныя рѣчи, а не какъ что-нибудь иное, такъ что руководства римскаго уголовнаго права—Geib'a, Rein'a, Zumpt'a, Mommsen'a—имѣютъ значеніе лишь желательныхъ, но не необходимыхъ, подспорій. Не слѣдуетъ забывать, что уголовное право—наиболѣе доступная изъ всѣхъ областей юридической науки; здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, можетъ быть рѣчь объ естественномъ, врожденномъ правѣ, и въ этомъ заключается причина, почему мы такъ воспріимчивы къ уголовно-правовымъ нормамъ, почему мы такъ легко усваиваемъ условія и огра-

---

[1]) Никому не совѣтую читать скверную брошюру Niemeyer'a (увы, директора кильской Gelehrtenschule) über den Process gegen A. Cluentius Habitus (1871); но все-таки она имѣетъ нѣкоторое значеніе какъ превосходный образецъ той durch keinerlei Sachkenntnis getrübte Unbefangenheit des Urteils (какъ выразился одинъ нѣмецкій публицистъ), которая со времени Друмана стала модой по отношенію къ Цицерону. Скамандръ попалъ на скамью подсудимыхъ за то, что въ его рукахъ „былъ захваченъ ядъ“, заготовленный для отравленія Клуенція; какъ онъ, такъ и его патронъ Фабрицій были осуждены единогласно. Нимейеръ считаетъ ихъ невиновными, замѣчая (стр. 7), dass das Verbrechen der Vergiftung nicht nur nicht zur Ausführung gelangte, sondern auch in einem so frühen Stadium der Ausführung entdeckt und vereitelt wurde, dass auch von den dasselbe notwendig vorbereitenden Handlungen keine einzige perfect ward. За что же, спрашивается, были они осуждены? Дѣло въ томъ, что по римскому уголовному праву (lex Cornelia) dolus, сказывавшійся въ venenum habere, наказывался такъ же, какъ и само дѣйствіе (умышленное veneno occidere). Объ этомъ можно было справиться въ Дигестахъ XLVIII 8, 3; но легче было, разумѣется, критиковать зря.

ниченія наказуемости и такъ трудно ихъ забываемъ, почему, наконецъ, эта отрасль права—и только она—завоевала себѣ даже область беллетристики, создавъ такъ называемые уголовный романъ и уголовную драму.

Нѣсколько труднѣе родственная и еще болѣе необходимая область уголовнаго *судопроизводства*; къ счастью, условія нашей жизни сложились такъ, что усвоить себѣ хоть нѣкоторыя познанія по этой части сдѣлалось долгомъ не только всякаго филолога, но и всякаго мыслящаго человѣка. Всякій полноправный гражданинъ россійскаго государства исправляетъ повинность присяжнаго засѣдателя; правда, законъ, налагая на него эту повинность, не требуетъ отъ него никакихъ другихъ данныхъ, кромѣ тѣхъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ, которыя предполагаются у каждаго правоспособнаго человѣка; но тутъ уже врожденная каждому мыслящему человѣку пытливость заставитъ его поинтересоваться окружающей его обстановкой, спросить себя и другихъ, откуда взялся этотъ обвинительный актъ, чтó онъ собою представляетъ, какія обстоятельства предшествовали преданію обвиняемаго суду, почему у подсудимаго есть адвокатъ, а у потерпѣвшаго — нѣтъ, почему свидѣтелей приводятъ къ присягѣ, а подсудимаго — нѣтъ, и т. д. Мнѣ кажется, выясненіе всѣхъ этихъ вопросовъ для мыслящаго человѣка—предметъ простой душевной потребности; иначе онъ будетъ чувствовать себя какъ бы покинутымъ въ неизвѣстномъ лѣсу. Правда, все это пока только — русское уголовное судопроизводство; но вотъ нашъ присяжный засѣдатель возвращается къ своимъ занятіямъ и принимается за Цицерона. Какъ тутъ не постараться выяснить себѣ и довольно существенное различіе, и еще болѣе существенное сходство между римскимъ и русскимъ судопроизводствомъ? Кто не призадумается надъ такими знаменательными фактами, какъ тотъ, что подсудимый и здѣсь, и тамъ признается *стороной* съ неограниченнымъ правомъ молчанія и защиты; или тотъ, что и здѣсь и тамъ участь его зависитъ отъ вердикта присяжныхъ засѣдателей, а не приговора короннаго судьи; или тотъ, что и здѣсь и тамъ признаніе его виновнымъ является результатомъ свободной оцѣнки доказательствъ, при полномъ отсутствіи обязательности той или другой ихъ категоріи? Какъ, съ другой стороны, не

отмѣтить, что у римлянъ потерпѣвшій имѣлъ представителя своихъ интересовъ, а у насъ онъ его не имѣетъ; что у римлянъ пренія предшествовали слѣдствію, а у насъ принятъ обратный порядокъ; что у насъ слѣдствіе открывается чтеніемъ обвинительнаго акта, а у римлянъ изложеніе дѣла лежало на обязанности представителя сторонъ? Какъ не спросить себя, какое вліяніе эти различныя отъ нашихъ условія должны были имѣть на характеръ рѣчей? Могу заявить на основаніи опыта, что отвѣты получаются интересные. Что же, отсюда слѣдуетъ, значитъ, что читающій Цицерона долженъ ознакомиться съ римскимъ уголовнымъ судопроизводствомъ? Да, слѣдуетъ несомнѣнно; но слѣдуетъ также, что это трудъ легкій, интересный и благодарный. Правда, безъ постороннихъ пособій тутъ не обойтись—Цицеронъ въ своихъ рѣчахъ предполагаетъ порядки судопроизводства извѣстными — и на русскомъ языкѣ я никакого пособія указать не могу, если не считать перваго тома „исторіи адвокатуры“ Стоянова, который, однако, развиваетъ только одну сторону римскаго процесса. Зато могутъ быть названы руководства Geib'a (d. röm. Criminalprocess), Zumpt'a (d. Criminalproc. d. röm. Rep.), Poiret (Essai sur l'éloquence judiciaire à Rome pendant la république), изъ которыхъ въ особенности послѣднія двѣ [1]) вполнѣ хорошо оріентируютъ читателя-неюриста въ интересующей насъ области.

Еще менѣе затрудненія представляетъ второй, *философскій* элементъ. Что онъ играетъ не маловажную роль въ краснорѣчіи Цицерона, доказывается, независимо отъ нашего историческаго очерка, еще и словами самого оратора, который заявляетъ въ своемъ сочиненіи orator, вообще очень любопытномъ въ этомъ отношеніи (§ 12): fateor me oratorem, si modo

[1]) Правда, для сочиненія Poiret придется сдѣлать довольно существенную оговорку. Во-первыхъ, онъ нерѣдко ошибается въ изложеніи юридической стороны своего вопроса; во-вторыхъ, онъ страдаетъ маніей обобщенія единичныхъ случаевъ (тѣмъ болѣе, если они пикантны), такъ что картина получается невѣрная. При всемъ томъ онъ по характеру изложенія доступнѣе Zumpt'a и можетъ быть рекомендованъ для перваго ознакомленія съ вопросомъ.—Въ настоящее время (1905) всѣхъ затмилъ **Моммзенъ** своимъ Römisches Strafrecht (1899); это — грандіозный трудъ, вполнѣ достойный своего великаго автора; все же онъ для неюриста значительно труднѣе вышеназванныхъ.

sim aut etiam quicunque sim, non ex rhetorum officinis, sed ex Academiae spatiis exstitisse; съ другой стороны совершенно ясно, что для чтенія рѣчи за Сестія нужна другая философія, чѣмъ для чтенія Тимея Платона или Метафизики Аристотеля. Та философія, которой проникнуто Цицероново краснорѣчіе, какъ тѣло проникнуто кровью, отъ главныхъ артерій доказательствъ и возраженій до крайнихъ развѣтвленій отдѣльныхъ loci, до мельчайшихъ троповъ и фигуръ, сводится къ двумъ, обязательно извѣстнымъ каждому филологу дисциплинамъ — къ логикѣ и психологіи, причемъ даже эта послѣдняя предстаетъ передъ нами не въ строго научной формѣ, а въ формѣ той житейской философіи, которую мы находимъ также въ уголовныхъ романахъ Достоевскаго. Такимъ образомъ и здѣсь требованіе, которое Цицеронъ ставитъ къ своимъ толкователямъ, состоитъ въ простомъ sapere aude. Онъ самъ не былъ философомъ-спеціалистомъ: плоды уроковъ, которые онъ бралъ у Филона и Антіоха, Федра и Зенона, Діодота и Посидонія, заключались гораздо болѣе въ общефилософскомъ складѣ ума, чѣмъ въ положительныхъ знаніяхъ; но этотъ философскій складъ ума легко замѣтенъ для внимательнаго и надлежаще-подготовленнаго читателя на каждой страницѣ его рѣчей: въ логически ли выдержанномъ построеніи доказательствъ и возраженій, или въ психологически разсчитанномъ ихъ порядкѣ, въ склонности ли видѣть общую идею въ единичныхъ явленіяхъ, avocare (какъ онъ самъ выражается or. 45) controversiam a propriis personis et temporibus, или въ столь же несомнѣнной склонности вдумываться въ душу замѣшанныхъ въ дѣлѣ лицъ и производить то, что называется нынѣ психологическимъ анализомъ.

Итакъ, Цицеронъ былъ и юристомъ, и философомъ; отчего же, могутъ насъ спросить, и юристы, и философы относятся къ нему большею частью недоброжелательно? Оттого, во-первыхъ, что онъ былъ и тѣмъ, и другимъ, а его судьи бываютъ или тѣмъ, или другимъ; но, во-вторыхъ и главнымъ образомъ, оттого, что онъ былъ еще кромѣ того *реторомъ въ смыслѣ вышеописанной высокой реторики*, что у него и философскія, и юридическія соображенія должны были считаться съ требованіями красоты, для того, чтобы въ результатѣ полу-

чился не наборъ мыслей, а рѣчь, т.-е. художественное цѣлое. Ознакомиться съ этими требованіями, т.-е. съ эстетикой краснорѣчія, долженъ поэтому всякій мыслящій читатель и толкователь Цицерона. Для этого есть два метода; во-первыхъ, теорія — т.-е. изученіе одного или нѣсколькихъ изъ сохранившихся намъ руководствъ древней реторики: Аристотеля, т. наз. Корнифиція, Цицерона, Квинтиліана. Гермогена, причемъ комментаріемъ можетъ служить извѣстная книга Volkmann'a; во-вторыхъ, практика, т.-е. реторическій анализъ рѣчей Цицерона. Который изъ этихъ двухъ методовъ предпочтительнѣе — вопросъ праздный: оба они безусловно необходимы.

Вотъ, стало-быть, въ чемъ заключается новое требованіе, которое Цицеронъ ставитъ къ своимъ толкователямъ... хотя, право, я затрудняюсь даже назвать это требованіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ же именно требуется? „Реторическій анализъ" рѣчей Цицерона, т.-е., другими словами, сознательное ихъ чтеніе; затѣмъ, изученіе законовъ краснорѣчія, т.-е. другими словами облегченіе той умственной работы, которой потребовало бы сознательное чтеніе само-по-себѣ. Мы справедливо считаемъ чтеніе „Поэтики" Аристотеля обязательнымъ для всѣхъ, кто занимается греческой (или какой бы то ни было) драмой; будемъ же послѣдовательны и объявимъ знакомство съ древней реторикой обязательнымъ для всѣхъ, кто толкуетъ Цицерона.

Скажу болѣе; умъ свѣжій, пытливый и дѣятельный этимъ не удовольствуется. Конечно, пріятно сказать себѣ, что понимаешь того, съ кѣмъ имѣешь дѣло, т.-е. что можешь его мѣрить его же мѣрой; но еще пріятнѣе сказать себѣ, что можешь мѣрить ее самое, эту его мѣру, мѣрой общей и вѣчной. Законы краснорѣчія были выведены эмпирическимъ путемъ изъ готовыхъ образцовъ, а не наоборотъ: самъ Цицеронъ говоритъ намъ (de or. I, 146) non esse eloquentiam ex artificio, sed artificium ex eloquentia natum. А если такъ, то и въ этихъ законахъ, помимо индивидуальнаго и случайнаго, должны содержаться общія и вѣчныя начала; отдѣлить одни отъ другихъ, полагаю я, стоитъ; какъ же это сдѣлать? Такъ же, какъ мы это дѣлаемъ въ прочихъ случаяхъ — путемъ сравненія. *Мы должны сравнивать древнюю теорію съ нашей теоріей, древнюю практику съ нашей практикой*. Послѣднее не предста-

вляетъ никакихъ затрудненій. Всѣ мы бываемъ присяжными и прислушиваемся, поэтому, съ тѣмъ напряженнымъ вниманіемъ, котораго требуетъ отъ насъ, помимо всего прочаго, наша присяга, къ рѣчамъ прокурора и адвокатовъ. Правда, не каждому удается слышать при этомъ корифеевъ русскаго краснорѣчія; но зато эти корифеи — Кони, Спасовичъ и др. — сдѣлали свои лучшія рѣчи доступными всей интеллигентной публикѣ тѣмъ, что издали ихъ въ особыхъ сборникахъ. Если же кто предпочитаетъ оставаться на почвѣ романскаго краснорѣчія, разсчитывая при этомъ — что̀ вполнѣ основательно — получить болѣе точекъ соприкосновенія, то къ его услугамъ корифеи французской адвокатуры: Lachaud, Jules Favre, Гамбетта, съ которыми можно завести знакомство,—правда, поверхностное,—по тѣмъ образцамъ, которые стоятъ въ общедоступной и по цѣнѣ (3 фр.), и по содержанію книгѣ *J. Reinach*'а „L'éloquence française" (Парижъ, 1894).—Нѣсколько труднѣе вопросъ о теоріи. Теоріи русскаго судебнаго краснорѣчія не существуетъ [1]), чѣмъ и объясняется жалкое положеніе этого послѣдняго—я говорю, разумѣется, не о корифеяхъ, которыхъ выручаетъ врожденный имъ талантъ, а объ адвокатахъ средней руки, издѣлія которыхъ давно возбудили бы сѣтованія публики, если бы эта послѣдняя имѣла понятіе о томъ, чѣмъ должно быть истинное краснорѣчіе. Есть руководства на иностранныхъ языкахъ *Berryer*, Leçons et modèles d'éloquence judiciaire; *Whately*, Elements of rhetoric 1873 [есть нѣмецкій переводъ Hildebrand'а подъ загл. Grundzüge der Rhetorik]; *Schall* u. *Boger*, Vorschule der gerichtlichen Beredsamkeit; *Frydmann*, Systematisches Handbuch der Vertheidigung; *Vargha*, Die Vertheidigung in Straf-

---

[1]) Существующее въ русскомъ переводѣ Унковскаго (Москва, 1863) сочиненіе Миттермайера „Руководство къ судебной защитѣ по уголовнымъ дѣламъ" (Anleitung zur Verteidigungskunst im deutschen Strafprocess, 4 Aufl., Regensburg 1845) не можетъ, разумѣется, считаться руководствомъ русскаго судебнаго краснорѣчія. Книга Л. Владимірова „Ученіе объ уголовныхъ доказательствахъ" (Харьковъ 1882 сл.) обнимаетъ лишь часть — правда, очень существенную—интересующей насъ области; нельзя, сверхъ того, не пожалѣть--притомъ не только въ интересахъ нашего, но и въ интересахъ его дѣла, о томъ, что онъ обратилъ такъ мало вниманія на греко-римскую теорію судебнаго краснорѣчія.

sachen; *Ortloff*, Die gerichtliche Redekunst) [1]), къ которымъ и приходится прибѣгать. Вообще, новѣйшая реторическая теорія отличается отъ древней гораздо болѣе своими дидактическими пріемами, чѣмъ своимъ содержаніемъ; древняя теорія теряется въ частностяхъ, современная—въ общихъ взглядахъ; древняя, будучи добыта эмпирически, боязливо цѣпляется за практику, современная старается подчинить практику себѣ; древняя мѣстами слишкомъ откровенна, современная часто неискренна [2]). Но въ этомъ, пожалуй, особаго вреда нѣтъ; ознакомившись надлежащимъ образомъ съ той и другой, читатель безъ труда найдетъ средній, вѣрный путь.

---

[1]) Изъ названныхъ здѣсь сочиненій я изучилъ послѣднія три; болѣе всѣхъ заслуживаетъ рекомендаціи, на мой взглядъ, сочиненіе Vargha. Во-первыхъ, читатель найдетъ здѣсь достаточно подробную исторію уголовнаго процесса у цивилизованныхъ народовъ отъ древнѣйшихъ до новѣйшихъ временъ (правда, съ однимъ важнымъ пробѣломъ: русскій уголовный процессъ оставленъ авторомъ въ сторонѣ); во-вторыхъ, авторъ менѣе прочихъ своихъ собратьевъ грѣшитъ неискренностью и вообще, по занимаемой имъ относительно правъ защиты позиціи, болѣе всѣхъ приближается къ древней теоріи.—Фридманъ усвоилъ себѣ совершенно превратное представленіе о мнимомъ всемогуществѣ римскаго государства, забывая, что правило nullum crimen sine lege въ эпоху уголовныхъ коммиссій соблюдалось такъ же строго, какъ и нынѣ (см. Rein, Criminalrecht 220); вслѣдствіе этой роковой ошибки (раздѣляемой, къ сожалѣнію, многими), всѣ проводимыя Фридманомъ параллели съ римской древностью хромаютъ Оба названныя сочиненія имѣютъ ту общую черту, что они главное вниманіе обращаютъ на защиту, разсматривая послѣднюю гораздо болѣе съ матеріальной (т.-е. въ смыслѣ совокупности дѣйствій защитника въ пользу обвиняемаго), чѣмъ съ формальной точки зрѣнія (т.-е. въ смыслѣ защитительной рѣчи). Исключительно формальной сторонѣ дѣла, при томъ не только защиты, но и обвиненія, посвящено сочиненіе Ortloff'a, которое можетъ быть названо очень солидной и серьезной теоріей нѣмецкаго судебнаго краснорѣчія, тѣмъ болѣе заслуживающей рекомендаціи, что авторъ обладаетъ очень почтенными познаніями въ области древней реторики. Правда, незнакомство съ условіями римской жизни зачастую дѣлаетъ его несправедливымъ къ этой послѣдней; читатель-филологъ обязанъ это имѣть въ виду.

[2]) Древняя реторика чистосердечно высказываетъ принципы, которымъ безъ всякаго колебанія слѣдуетъ новѣйшая практика, но отъ которыхъ стыдливо открещивается новѣйшая теорія. Слова Фридмана „dass die Lehrsätze der antiken Rhetorik nur noch mit der allergrössten Einschränkung acceptirt werden können" (стр. X) не болѣе, какъ плодъ самообольщенія.

V.

Такова школа, которую долженъ пройти толкователь судебныхъ рѣчей Цицерона. Школа серьезная, не спорю, но пріятная, полезная и необходимая. Многіе читаютъ Цицерона, воображая, что понимаютъ его, и находятъ его скучнымъ; *послѣ такой школы они поймутъ его и найдутъ его интереснымъ.* — Меня тутъ могутъ остановить: „какимъ это образомъ, «воображая, что понимаютъ его?» Почему, читая какое-нибудь изслѣдованіе о линейныхъ функціяхъ, я вполнѣ сознаю, что не понимаю его, а читая судебную рѣчь Цицерона не сознаю этого?" Въ отвѣтъ сошлюсь на то, что я говорилъ выше о мертвой вѣтви нѣмецкаго педагогическаго дерева, которую мы слишкомъ поспѣшно пересадили къ себѣ. Ученикъ приготовилъ заданное мѣсто изъ Цицерона; если онъ мальчикъ не глупый, у него рождается смутное ощущеніе, что онъ чего-то не понялъ, что онъ не знаетъ, почему Цицеронъ сказалъ именно *это*, а не другое или даже прямо противоположное. Съ этимъ ощущеніемъ онъ является въ классъ; тутъ онъ слышитъ вопросы и отвѣты о словахъ и конструкціяхъ, но нѣтъ того, кто бы ему истолковалъ это его смутное ощущеніе такъ, чтобы оно перешло въ ясное и сознательное представленіе, кто бы ему помогъ облечь его въ форму опредѣленнаго вопроса и далъ бы на этотъ вопросъ опредѣленный же отвѣтъ. Такъ это ощущеніе глохнетъ; пройдутъ двѣ-три недѣли—и оно не просыпается болѣе: рождается увѣренность, что онъ все понялъ, что тутъ и понимать-то нечего.

Итакъ, первымъ результатомъ означенной школы будетъ *сознательное* отношеніе къ автору. Здѣсь я могъ бы остановиться; само собой разумѣется, что, ставъ самъ въ сознательное отношеніе къ автору, опытный преподаватель съумѣетъ поставить въ такое же отношеніе къ нему и своихъ учениковъ. Но въ интересахъ ясности, чтобы не подавать повода къ недоразумѣніямъ въ такой матеріи, гдѣ недоразумѣнія были бы крайне нежелательны, позволю себѣ хоть вкратцѣ указать главные принципы сознательнаго толкованія судебныхъ рѣчей Цицерона.

Primum naturam causae videat, quae nunquam latet, гово-

ритъ Цицеронъ самъ (de or. II 132),—т.-е. тотъ пунктъ, на которомъ защита можетъ скорѣе всего разсчитывать на успѣшное сопротивленіе обвиненію; подробности даетъ ученіе περὶ στάσεων, которое въ древней реторикѣ развито гораздо яснѣе и обстоятельнѣе, чѣмъ въ многословной новѣйшей теоріи. Этотъ пунктъ нужно имѣть съ самаго начала передъ глазами при чтеніи судебныхъ рѣчей, въ особенности защитительныхъ (а къ таковымъ принадлежатъ, за однимъ исключеніемъ, всѣ читаемыя въ гимназіяхъ судебныя рѣчи Цицерона); а такъ какъ защитительная рѣчь есть отвѣтъ на рѣчь обвинительную, а эта послѣдняя потеряна, то толкователь долженъ хоть въ главныхъ чертахъ возсоздать эту обвинительную рѣчь, для чего можно найти достаточно указаній въ защитѣ. — Затѣмъ нужно представить себѣ настроеніе судей въ ту минуту, когда Цицеронъ начинаетъ говорить. Древняя теорія обратила надлежащее вниманіе на этотъ важный пунктъ, отъ котораго зависитъ выборъ мотивовъ для *вступленія:* разница между exordium и insinuatio имѣетъ основаніемъ именно это настроеніе, и въ защитительныхъ рѣчахъ Цицерона можно замѣтить по тону и характеру вступленія—сдержанному и осторожному, или смѣлому и торжествующему,—говоритъ ли онъ подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ обвинительной рѣчи (какъ въ рѣчахъ за Клуенція, за Милона), или же его товарищи по защитѣ уже успѣли расчистить почву для него (ср. рѣчи за Мурепу, за Сестія). Именно въ выборѣ вступительныхъ мотивовъ сказался замѣчательный тактъ, замѣчательное психологическое чутье Цицерона.—За вступленіемъ слѣдуетъ изложеніе фактовъ, *narratio.* Неподражаемость Цицероновыхъ narrationes признаетъ и новѣйшая теорія (см. Ortloff 208); но ихъ достоинства замѣтны только для тѣхъ, кто относится къ нимъ сознательно, съ точки зрѣнія высокой реторики. Необходимо твердо помнить разницу между исторической и судебной narratio, необходимо знать, что субъективизмъ въ изложеніи фактовъ не только дозволяется, но и вмѣняется въ обязанность повѣренному, что онъ долженъ считать фактами всѣ сообщенныя ему подсудимымъ и говорящія въ его пользу подробности, поскольку онѣ не противорѣчатъ удостовѣреннымъ фактамъ, — принимая во вниманіе, что противоположная окраска событій дана обвиненіемъ. Разъ уразу-

мѣвъ это, толкователь — въ особенности если онъ пріобрѣлъ нѣкоторое чутье въ этомъ отношеніи чтеніемъ новѣйшихъ процессовъ—найдетъ богатое и благодарное поле для своихъ наблюденій въ narrationes Цицерона; нерѣдко намекъ, вопросъ, или даже самая старательность, съ которой ораторъ подчеркиваетъ тотъ или другой пунктъ, помогаетъ намъ открыть мнѣніе, отстаиваемое обвиненіемъ, — не говоря уже о тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы, какъ въ рѣчи за Милона, имѣемъ независимые источники; тутъ-то и интересно обратить вниманіе читающихъ на то искусство, съ которымъ Цицеронъ группируетъ факты, выдвигаетъ впередъ выгодныя для защиты обстоятельства, приводитъ соображенія, смягчающія значеніе невыгодныхъ обстоятельствъ, оставаясь, разумѣется, внутри предѣловъ дозволеннаго обычаемъ и нравственностью.—Затѣмъ идетъ *tractatio*, главная арена наблюденій и упражненій читающихъ. Считаю нужнымъ, однако, замѣтить, что толкователь не долженъ тутъ впадать въ ту ошибку, въ которую впадаютъ очень многіе изъ новѣйшихъ писателей о Цицеронѣ: не будучи вышколены высокой реторикой, они воображаютъ, что имѣютъ право рѣшать вопросъ о виновности и невиновности подсудимыхъ на основаніи тѣхъ матеріаловъ, которые даетъ Цицеронъ. Настоящія юридическія monstra въ этомъ отношеніи можно найти у Друмана. Наше дѣло заниматься не процессомъ Сестія, который рѣшенъ давно, а рѣчью за него Цицерона; мы должны, поэтому, ограничиться тѣмъ, что мы можемъ контролировать. О свидѣтельствахъ, грамотахъ и т. п. мы судить не можемъ; мы должны, поэтому, предполагать, что свидѣтели показывали то, что имъ влагаетъ въ уста Цицеронъ, и что они опровергнуты не были. То же самое о грамотахъ и т. п.; подкапываться подъ эти πίστεις ἄτεχνοι — работа столь же легкая, сколько безплодная, на которую не слѣдуетъ терять время [1]). Мы должны, повторяю, ограничиваться тѣмъ, что̀ поддается нашему контролю. Тутъ, прежде всего, нужно будетъ установить разницу между тѣми loci, которые вводятъ *новое* юридическое соображеніе, и тѣми, которые должны лишь усугубить силу приведеннаго раньше соображенія; первые называются argu-

[1]) Сошлюсь и здѣсь на вышеназванную (стр. 273) брошюру Нимейера.

menta, вторые — amplificationes; разница эта, извѣстная уже Аристотелю, проходитъ черезъ всю древнюю реторику, и только новѣйшіе комментаторы позорно забываютъ о ней; результатомъ бываетъ то, что въ ученикахъ подавляется всякое юридическое чутье, и что Цицеронъ изъ остроумнаго и мыслящаго оратора превращается въ какую то болтливую бабу, нагромождающую до 10 доказательствъ одного и того же положенія. Затѣмъ всю юридическую критику придется сосредоточить на argumenta: нужно рѣшить, имѣемъ ли мы передъ собой доказательство или улику, — причемъ свѣдущій толкователь не упуститъ случая развить своимъ ученикамъ роль уликъ въ уголовномъ процессѣ различныхъ временъ и подчеркнуть еще разъ сходство въ отношеніи къ уликѣ между древне-римскимъ и современнымъ русскимъ судопроизводствомъ. Затѣмъ, интересно будетъ выдѣлить изъ числа argumentorum доказательства психологическія: „если бы подсудимый былъ виновенъ, онъ, разумѣется, поступилъ бы такъ-то, а не такъ, какъ онъ въ дѣйствительности поступилъ“, играющія такую важную роль въ судебныхъ рѣчахъ нашихъ временъ. Затѣмъ—или, пожалуй, съ самаго начала—нужно будетъ отнестись къ доказательству съ логической точки зрѣнія: рѣшить, примыкаетъ ли данное доказательство къ дедукціи или къ индукціи, т.-е., другими словами, имѣемъ ли мы передъ собой энтимему или примѣръ. За теоріей доказательства идетъ теорія возраженія. Нужно разбить прежде всего возраженія на двѣ группы: я могу либо *прямо* опровергать приводимыя противникомъ соображенія, разбирая ихъ (κατ' ἀνατροπήν), либо *косвенно*, противопоставляя имъ другое, болѣе убѣдительное соображеніе (κατ' ἀντιπαράστασιν) — дѣленіе вѣчное и признаваемое, поэтому, и новѣйшей теоріей (см., напр., Vargha, стр. 146, Frydman, стр. 196; Владиміровъ, стр. 190); а затѣмъ нужно показать различное построеніе возраженія κατ' ἀνατροπήν по отношенію къ энтимемѣ и къ примѣру. Наконецъ, и амплификація не должна ускользать отъ нашего вниманія; какъ всякое воздѣйствіе на душу человѣка, она представляетъ благодарный объектъ для психологической критики. Правда, это—едва ли не самая трудная область краснорѣчія; древняя реторика разработала ее лишь внѣшнимъ образомъ, а современная, вслѣдствіе своей не-

искренности, совсѣмъ оставила ее безъ вниманія. Но даже внѣшнія категоріи древней рето́рики могутъ помочь намъ уловить схожія черты въ различныхъ амплификаціяхъ и, такимъ образомъ, принести пользу. — Таковъ можетъ и долженъ быть *анализъ* трактаціи; но послѣ анализа нужно заняться синтезомъ, т.-е. поставить вопросъ, насколько вся совокупность доказательствъ, возраженій и амплификацій соотвѣтствуетъ главной цѣли рѣчи—убѣжденію или разубѣжденію. Тутъ придется обратить вниманіе на распорядокъ доказательствъ, который у Цицерона всегда глубоко обдуманъ и имѣетъ основаніемъ отчасти психологическія, отчасти эстетическія соображенія; затѣмъ—на тѣ средства, къ которымъ ораторъ прибѣгаетъ, чтобы слушатели, углубляясь въ одно какое-нибудь соображеніе, не теряли изъ виду прочихъ; здѣсь нашъ ораторъ обнаруживаетъ такую обдуманность, такую заботливость объ интересахъ своихъ слушателей — т.-е., косвенно, своего кліента — что одна эта сторо́на его характера, какъ оратора, заставила бы насъ признать его образцовымъ. Но это—тема нескончаемая.—Остается послѣдняя часть рѣчи — *peroratio* съ ея двумя элементами: enumeratio и commiseratio. Тутъ въ особенности послѣдній даетъ толкователю случай поговорить о важной темѣ—о роли аффектовъ въ судопроизводствѣ, т.-е. о томъ, позволительно ли или непозволительно оратору взывать, кромѣ разума, еще и къ чувствамъ судей. Различное отношеніе къ этому вопросу древней и новой теоріи, древней и новой практики не должно остаться незамѣченнымъ; но это не все: нужно поставить вопросъ о причинѣ этого различнаго отношенія и, разумѣется, дать на него посильный отвѣтъ.

Все сказанное относится къ конструктивной части реторики (inventio и dispositio); но кромѣ того, есть и орнаментальная часть реторики—главнымъ образомъ ученіе о фигурахъ и тропахъ. О немъ-то и привыкла думать публика, когда рѣчь идетъ о реторикѣ; отъ него она перенесла свое отвращеніе и на реторику вообще. Это—положеніе ненормальное, которое не можетъ быть терпимо. Прежде всего, ученики должны знать, что не реторика выдумала тропы и фигуры, что они существовали всегда и вездѣ, реторика же только привела ихъ въ систему. Неправда, затѣмъ, что рѣчь фигуральная непремѣнно нѣчто

неестественное и вычурное; совершенно напротивъ: противоестественное представляетъ собой чинная, сѣрая цвѣтная рѣчь. *Чѣмъ ближе человѣкъ къ природѣ, тѣмъ …ральнѣе его рѣчь.* Многіе ли подозрѣваютъ, что стихотворенія Кольцова и Некрасова едва ли не богаче въ реторическомъ отношеніи, чѣмъ оды Державина? Многіе ли знаютъ, что народная пѣсенка, которую поютъ наши дѣти—пѣсенка „Вдоль да по рѣчкѣ"—содержитъ въ своихъ первыхъ двухъ строфахъ довольно сложную реторическую фигуру (подчеркнутое двойной анафорой ἰσόκωλον), какую даже у Цицерона не сразу найдешь?—Неправда, наконецъ, что формальная реторика есть нѣчто шаблонное, мертвое: попробуйте построить ее на психологіи—и вы увидите, что̀ это за живой, интересный предметъ. Правда, философская реторика — задача будущаго; но для школьныхъ надобностей достаточно и того, что̀ можетъ дать учитель, соединяющій съ теоретическими познаніями и начитанностью въ древней и родной литературѣ—философскій складъ ума и, главное, добрую волю.

15 марта 1894 г.

ЭКСКУРСЪ ШЕСТОЙ.

„Школа должна..“

Μὴ ἐπίτασσ' ἃ μὴ κρατεῖς.
Софоклъ.

Что не во власти твоей, то тщетно приказывать, другъ мой.

Мм. гг. [1])

Антагонизмъ между семьей и школой имѣетъ свои сознаваемые предлоги и свои несознаваемыя причины; одну изъ послѣднихъ я желалъ бы обнаружить въ нижеслѣдующемъ докладѣ.

„Искренняя дружба возможна лишь тамъ, гдѣ взаимныя обязательства точно оговорены“—такъ можемъ мы перифразировать извѣстную итальянскую пословицу patti chiari, amici cari. Оговорены ли взаимныя обязательства между семьей и школой?—Сколько разъ приходилось мнѣ слышать въ теченіе нашихъ преній слова „школа должна . . . “; я жадно прислушивался, не раздадутся ли хоть разъ и соотвѣтственныя слова „семья должна . . . “, но мои ожиданія были обмануты. Все должно быть въ вѣдѣніи школы: и умственнное, и нравственное, и физическое воспитаніе; это — какая-то аксіома. Лишь только явится у человѣка мысль о какомъ-нибудь цѣнномъ

[1]) Докладъ, читанный въ Коммиссіи по вопросу объ улучшеніи средней школы подъ предсѣдательствомъ (покойнаго) министра народнаго просвѣщенія Н. П. Боголѣпова.

вкладѣ въ воспитаніе юноши — какъ сама собою, автоматически, является и дальнѣйшая мысль, что этотъ вкладъ должна сдѣлать школа. Приведу одинъ характерный фактъ.

Въ одномъ изъ предыдущихъ засѣданій была высказана въ высшей степени симпатичная и заслуживающая полнаго вниманія идея—что наша молодежь дожна быть обучаема плаванію. Дѣйствительно, не говоря уже о несчастныхъ случаяхъ, повторяющихся ежегодно — не позоренъ ли самый фактъ, что въ нашемъ Петербургѣ съ его Невой, съ его взморьемъ, съ массой окружающихъ его озеръ—большинство людей не умѣютъ плавать и почти никто не умѣетъ плавать раціонально, т.-е. такъ, чтобы при наименьшей затратѣ силъ достигать наибольшей быстроты движенія. Итакъ, школы плаванія необходимы; кому же ихъ заводить? Казалось бы, тѣмъ, въ вѣдѣніи которыхъ находятся и Нева, и взморье, и озера, т.-е. городской управѣ и дачнымъ властямъ. Такъ нѣтъ же: обучать дѣтей плаванію должна школа: она должна заводить у себя искусственные бассейны, должна выписывать изъ-за границы швиммейстеровъ (у насъ ихъ не найдешь), должна удѣлить изъ скуднаго школьнаго времени особые часы на обученіе этому предмету...

И такъ во всемъ; хромой силлогизмъ „такое-то знаніе полезно юношѣ, слѣдовательно, дать его должна школа“ лежитъ въ основѣ всѣхъ ходячихъ сужденій о воспитательной роли школы. Изъ анекдотовъ, которыми насъ дразнятъ наши западные сосѣди, особенной популярностью пользуется анекдотъ о помѣщикѣ, который хотѣлъ убѣдить своихъ собесѣдниковъ-нѣмцевъ, что у него въ имѣніи пчелы величиной съ кулакъ, — и на ихъ недоумѣвающій вопросъ, какимъ образомъ пчелы такого калибра влѣзаютъ въ улей, бойко отвѣтилъ на своемъ нѣмецко-нижегородскомъ жаргонѣ: „bei uns der Bien muss!“ Сознаюсь, что когда въ какомъ-нибудь обществѣ изъ устъ какого-нибудь оратора раздаются торжественныя слова „школа должна . . . “ — эти слова у меня мысленно сами собой переводятся на тотъ же діалектъ: „der Schul muss!“

Вотъ въ этомъ и заключается первая фальшь, въ корень испортившая отношенія между семьей и школой; въ сущности, эта фальшь—наслѣдіе екатерининской эпохи, т.-е. перенесен-

наго на русскую почву французскаго просвѣщенія, когда воображали, что можно путемъ интернатовъ, корпусовъ, институтовъ и т. д. создать „новую породу людей". Съ тѣхъ поръ много воды утекло: явился на западѣ неогуманизмъ, романтизмъ, у насъ — славянофильство, народничество, но аксіома „школа должна" осталась незыблема. Оно и понятно: съ одной стороны, воспитанное въ интернатахъ и институтахъ и, слѣдовательно, ничѣмъ своей семьѣ необязанное поколѣніе естественно считало и себя свободнымъ отъ обязательствъ относительно своихъ дѣтей; съ другой стороны, аксіома „школа должна" имѣетъ своимъ логически неоспоримымъ выводомъ прекрасную теорему „школа виновата . . . " и, дѣйствительно, кто, какъ не школа, виноватъ въ томъ, что въ ней не умѣщаются такія крупнокалиберныя пчелы, какъ умственное, нравственное и физическое воспитаніе? Несомнѣнно, школа виновата; этимъ результатомъ нельзя было пожертвовать. Онъ былъ слишкомъ удобнымъ предлогомъ для отцовъ и матерей семействъ: онъ давалъ вѣдь возможность самимъ ничего не дѣлать и со спокойной душой валить съ больной головы на... нѣсколько болѣе здоровую.

Наша Коммиссія окажетъ огромную услугу всему учебному дѣлу, если она рѣшительно порветъ съ этой традиціонной фальшью и создастъ, наконецъ, тѣ ясныя условія, тѣ patti chiari, которыя, взаимно опредѣляя участіе въ дѣлѣ воспитанія семьи и школы, послужатъ основаніемъ прочной дружбы между ними; надежду, что она не откажется отъ этой задачи, мнѣ подаютъ слова въ циркулярѣ г-на министра, въ которыхъ критикуется „ошибочное представленіе" общества „о всесильномъ значеніи школы". Ясныя условія, которыя я имѣю въ виду, должны касаться одинаково и физическаго, и нравственнаго, и умственнаго воспитанія; оставляя въ сторонѣ первые два пункта, которымъ посвящены занятія особыхъ подкоммиссій, перехожу прямо къ третьему.

Это, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая сильная позиція нашихъ противниковъ, т.-е. защитниковъ устраненія семьи отъ дѣла воспитанія: на то и школа, говорятъ они, чтобы ребенокъ въ ней учился и пріобрѣталъ полезныя для его дальнѣйшей жизни знанія; причемъ же тутъ еще семья?—Когда я слышу подоб-

ныя рѣчи, мнѣ представляется прямо загадочнымъ, какъ это могли мы всѣ родиться на свѣтъ, несмотря на то, что нашихъ матерей не обучали, въ ихъ бытность гимназистками, гигіенѣ беременности и уходу за новорожденными. А между тѣмъ это фактъ; итакъ, есть же группа очень полезныхъ знаній, которыя сообщаются человѣку помимо школы, путемъ семейной традиціи и при участіи представителей врачебной науки. Посмотримъ, нельзя ли ее расширить.

Вопросъ поставленъ; онъ гласитъ такъ: „Какіе предметы, будучи желательны и даже необходимы для образованнаго человѣка, могутъ тѣмъ не менѣе быть предоставлены его внѣшкольному обученію?“ Замѣчу тутъ же, что слово „внѣшкольный“ слѣдуетъ понимать какъ въ отношеніи времени, такъ и въ отношеніи пространства. Не все то, что желательно видѣть въ сокровищницѣ образованнаго человѣка, должно непремѣнно имѣться въ ней въ моментъ оставленія имъ школы; не все желательное для него въ этотъ самый моментъ должно быть пріобрѣтено именно на школьной скамьѣ. Границу между обѣими группами внѣшкольныхъ знаній не всегда можно, да и не всегда нужно точно опредѣлить: слѣдуетъ только помнить, что терминъ „законченный кругъ знаній“ (который, будто бы, „школа должна“ дать) — наслѣдіе средневѣковой эпохи съ ея семью artes, лишенное въ настоящее время не только смысла, но и содержанія.

Итакъ: какіе предметы могутъ быть отнесены къ области внѣшкольныхъ знаній? Отвѣтъ врядъ ли можетъ представиться спорнымъ. Если изъ двухъ предметовъ, приблизительно одинаково желательныхъ и необходимыхъ, одинъ настолько труденъ или мало интересенъ, что безъ нѣкотораго давленія человѣкъ (тѣмъ болѣе мальчикъ) врядъ ли за него примется, — другой же, напротивъ, настолько легокъ и интересенъ, что самъ привлекаетъ къ себѣ вниманіе людей, составляя предметъ и разговоровъ, и публичныхъ лекцій, и журнальныхъ статей — то школа, обязанная выбирать между этими двумя предметами, несомнѣнно изберетъ первый и откажется отъ второго; это не будетъ пренебреженіемъ къ этому послѣднему, а лишь признаніемъ того факта, что онъ въ ней не нуждается, будучи

самъ по себѣ достаточно силенъ. Въ связи съ этимъ различіемъ стоитъ другое, котораго я поэтому и не выдѣлилъ въ особую рубрику: есть предметы, такъ сказать, удобонаверстаемые и неудобонаверстаемые. Первые — такого рода, что если я ихъ въ школьномъ возрастѣ не усвоилъ и затѣмъ, уже взрослымъ человѣкомъ, пришелъ къ сознанію соотвѣтственнаго пробѣла въ своемъ образованіи, то я безъ особаго затрудненія могу его заполнить, посвятивъ нѣсколько часовъ досуга на чтеніе двухъ-трехъ книжекъ; вторые, неудобонаверстываемые предметы, таковы, что ихъ усвоеніе въ позднѣйшей жизни связано съ огромными, для большинства людей непреодолимыми затрудненіями. — Все же это, какъ уже сказано, лишь одна точка зрѣнія. Затѣмъ: если изъ двухъ предметовъ одинъ по способу своего усвоенія приноровленъ именно къ школьной обстановкѣ, при которой учитель имѣетъ передъ собой (при нормальныхъ условіяхъ) 30 учениковъ, другой же требуетъ совершенно другого обученія (т.-е. либо лекціоннаго съ неопредѣленнымъ числомъ слушателей, либо личнаго при непосредственномъ обращеніи учителя къ ученику) — то школа опять-таки отдастъ первому предмету предпочтеніе передъ другимъ, что́, однако, опять-таки не будетъ знакомъ пренебреженія къ этому послѣднему. — Вотъ два ясныхъ, безспорныхъ критерія; есть, однако, и третій. Именно: школа не должна посягать на предметы опасные. Подъ опасными предметами я понимаю такіе, въ которыхъ я, какъ отецъ, считаю себя единственнымъ призваннымъ руководителемъ моего сына и поэтому нравственно обязаннымъ безцеремонно столкнуть съ моего пути всякаго непрошеннаго посредника между мною и имъ.

Резюмируемъ: къ группѣ внѣшкольныхъ предметовъ мы относимъ: 1) предметы самоинтересные и, поэтому, удобонаверстаемые, 2) нешкольные по своей обстановкѣ, и 3) опасные. Разсмотримъ теперь съ этихъ трехъ точекъ зрѣнія предметы, составляющіе программу средней школы и предлагаемые для включенія въ нее. Мы безъ труда найдемъ среди нихъ: 1) такіе, которые во всемъ своемъ объемѣ, признанномъ желательнымъ для образованія молодежи, должны быть введены въ школу; 2) такіе, которые можно раздѣлить между школой и

внѣшкольной средой, и 3) такіе, которые смѣло можно предоставить этой послѣдней.

Къ первой группѣ относятся древніе языки и математика. Съ первой точки зрѣнія это — несомнѣнно предметы трудные и не настолько самоинтересные, чтобы интересъ ихъ изученія могъ заставить мальчика самостоятельно преодолѣть его трудности; по той же причинѣ это—предметы въ высшей степени неудобонаверстаемые. Это доказываетъ и практика: если человѣкъ не посвящаетъ себя спеціально изученію классической филологіи или математики, то его свѣдѣнія по этимъ предметамъ уже въ теченіе всей его послѣшкольной жизни не увеличиваются. Исключенія встрѣчаются, но крайне рѣдко. Напомню еще разъ слова Пушкина Погодину: „какъ рву я на себѣ волосы часто, что у меня нѣтъ классическаго образованія!“ (выше, стр. 72); въ этихъ словахъ ясно признана неудобонаверстаемость древнихъ языковъ. Это — съ одной точки зрѣнія; съ другой же, древніе языки и математика — предметы какъ нельзя болѣе пригодные для класснаго преподаванія, для совмѣстной работы учителя съ нормальнымъ числомъ учениковъ. Опытомъ дознано, что лекціонное ихъ преподаваніе не достигаетъ своей цѣли, такъ какъ одного воспринимания безъ упражненія мало для ихъ усвоенія; и равнымъ образомъ, что ихъ частное преподаваніе, одинъ на одинъ, (не говоря объ его дороговизнѣ) уступаетъ классному, чрезмѣрно напрягая вниманіе ученика, лишая его примѣра другихъ и возможности соревнованія и, вообще, не внося въ дѣло той оживленности, которая ему такъ полезна. Нѣтъ, поэтому, ничего несправедливѣе той жалобы на мнимое преобладаніе древнихъ языковъ въ гимназическомъ преподаваніи, которую приходится сплошь и рядомъ слышать: она имѣетъ смыслъ лишь для тѣхъ, кто въ противорѣчіи съ фактами и со здравой теоріей, отожествляетъ школьное преподаваніе съ образованіемъ вообще; она сразу исчезнетъ если припомнить, что для древнихъ языковъ (съ математикой) школа составляетъ единственный каналъ, между тѣмъ какъ всѣ другіе предметы располагаютъ, кромѣ нея, еще другими, гораздо болѣе широкими и дѣйствительными каналами. Возьмемъ хоть общіе журналы, абоненты которыхъ насчитываются десятками, а читатели — сот-

нями тысячъ: на великое множество популярныхъ статей по исторіи, географіи, литературѣ и т. д. найдемъ ли мы хоть одну о конструкціи временныхъ предложеній въ латинскомъ языкѣ, или о квадратныхъ уравненіяхъ? Итакъ, я не могу признать справедливости заявленія: такой-то предметъ составляетъ требованіе жизни — слѣдовательно, школа должна дать ему мѣсто въ своемъ преподаваніи (за счетъ, конечно, древнихъ языковъ); прежде чѣмъ дѣлать этотъ выводъ, должно изслѣдовать, правда ли, что жизнь, ставя свое требованіе, не располагаетъ и помимо школъ средствами къ его осуществленію — и врядъ ли гдѣ-либо окажется, что она этими средствами не располагаетъ.

Изъ остальныхъ предметовъ ни одинъ не находится въ столь невыгодномъ положеніи; и вотъ причина, почему всякій урокъ, отнятый у древнихъ языковъ, существенно понижалъ уровень знаній и умѣнія по этимъ послѣднимъ, не принося въ то же время никакой пользы тѣмъ предметамъ, въ пользу которыхъ онъ былъ отнятъ (выше, стр. 203). Оно и понятно: эти другіе предметы не были заключены въ узкія рамки школы, имѣя открытое сообщеніе съ внѣшкольной средой; прибавлять къ нимъ школьный урокъ—то же самое, что вливать лишнее ведро воды въ бассейнъ, имѣющій сообщеніе съ моремъ. Конечно въ каждомъ изъ этихъ предметовъ есть часть, остающаяся на попеченіи школы потому, что внѣшкольнымъ путемъ она усвоена быть не можетъ; сюда относится: въ новыхъ языкахъ — грамматическая часть, начиная съ ихъ отвратительнаго правописанія, въ географіи — ея номенклатура, въ исторіи—ея хронологія, въ физикѣ—ея математическая часть. Время, нужное для усвоенія всего этого, представляетъ собой минимумъ времени преподаванія, котораго можетъ требовать каждый изъ названныхъ предметовъ. Но именно только минимумъ; если мы не желаемъ, чтобы эти предметы убили въ ученикахъ охоту къ ихъ изученію, то мы должны, кромѣ указаннаго минимальнаго числа часовъ, дать имъ еще столько простору, чтобы они могли заинтересовать учащихся.

А разъ эта цѣль достигнута—остальное уже смѣло можетъ быть предоставлено самимъ ученикамъ, тѣмъ болѣе, что нѣко-

торые изъ означенныхъ предметовъ и по обстановкѣ своего преподаванія должны быть признаны нешкольными. Такова, напр., исторія, въ широкомъ значеніи слова. Если у насъ есть талантливый преподаватель исторіи — такихъ, какъ извѣстно, немного — то прямо грѣшно заставлять его читать 30 ученикамъ, тогда какъ онъ могъ бы читать 300 и болѣе слушателямъ. Исторія — лекціонный предметъ, а не классный; ея арена — общеобразовательные курсы; здѣсь она при наименьшей затратѣ силъ будетъ приносить наибольшіе плоды. Вотъ почему я, при всемъ своемъ уваженіи къ исторіи и ея образовательному значенію, въ то же время противъ увеличенія посвящаемаго ей школьнаго времени: она не нуждается въ этомъ каналѣ, имѣя въ своемъ распоряженіи другіе, гораздо болѣе обильные и благодарные. Я знаю по собственному опыту, что одно представленіе какого-нибудь „Ѳедора Іоанновича“ производитъ на учениковъ болѣе глубокое впечатлѣніе и даетъ имъ болѣе полное понятіе о русской старинѣ, чѣмъ могли бы сдѣлать 10 уроковъ самаго талантливаго преподавателя.

Въ особенности только-что сказанное относится къ русскому языку. Если представить себѣ, что дѣло идетъ о русскихъ мальчикахъ (не для инородцевъ же составляется программа русской школы), выросшихъ въ чисто-русскихъ семьяхъ, посѣщающихъ школу съ русскимъ учебнымъ языкомъ, въ которой каждый урокъ является въ то же время и урокомъ русскаго языка (уроки же древнихъ языковъ, согласно сказанному раньше — стр. 42 — и вдвойнѣ); о мальчикахъ слышащихъ русскую рѣчь весь день на яву и ночью во снѣ — то жалоба на „попранныя права русскаго языка“ покажется какимъ-то страннымъ недоразумѣніемъ, а требованіе, чтобы въ его пользу было отчислено еще 5—6 часовъ — похожимъ на затѣю того эксцентричнаго англичанина, который, поднявшись на Монбланъ, потребовалъ, чтобы ему подали заранѣе заготовленную передвижную лѣстницу и по ней взобрался еще на 8—10 ступенекъ.

Такова вторая группа — предметы въ одной своей части школьные, въ другой и большей — внѣшкольные. Третью группу составляютъ внѣшкольные предметы; къ ней должны быть причислены главнымъ образомъ два — естествознаніе и новѣйшая русская литература. Ограничиваюсь ими, такъ какъ именно

ихъ включеніе въ школьную программу требуется настойчивѣе всего.

Начну съ естествознанія (чтобы избѣгнуть недоразумѣній, замѣчу, что я понимаю подъ этимъ словомъ такъ называемую естественную исторію, а не физику, и т. д.). Тутъ соблазнъ особенно силенъ. Ревнители школьнаго преподаванія естественной исторіи не жалѣютъ громкихъ обѣщаній и по части содержанія и по части метода: они обѣщаютъ раскрыть намъ „книгу природы“, указываютъ на развитіе наблюдательности и т. д.; но стоитъ перейти отъ словъ къ дѣйствительности — и величавая гора рожаетъ жалкую мышь. Виновата въ этомъ, разумѣется, не гора, а ея, съ позволенія сказать, акушеры, которые не обнаруживаютъ въ отношеніи ея мудрой уступчивости Магомета, настаивая на томъ, чтобы не они шли къ ней, а она къ нимъ. „Книга природы“ раскрыта лѣтомъ и на дачѣ, а не зимой и въ городѣ; а такъ какъ школа дѣйствуетъ именно зимой и въ городѣ, то отсюда слѣдуетъ ясный и непреложный выводъ, что книгу природы должно читать не въ школѣ, а внѣ ея; а такъ какъ во внѣшкольное время ученики остаются на попеченіи семьи, то отсюда слѣдуетъ далѣе, что заботиться объ ихъ естественно-историческомъ образованіи должна не школа, а семья. Именно такъ: „семья должна“.

„Но это невозможно“. Я знаю по собственному опыту, что это возможно. „Вамъ легко говорить“, скажутъ мнѣ, „вы всѣ каникулы проводите со своими на дачѣ; а вы войдите въ положеніе тѣхъ отцовъ, которые проводятъ лѣто въ городѣ, лишь изрѣдка навѣщая своихъ“. Не знаю, много ли это легче мнѣ; у меня и лѣтомъ своего дѣла не мало. Но пусть будетъ правъ Руссо, сказавшій, что изо всѣхъ обязанностей послѣдняя — это обязанность быть отцомъ; оставимъ въ покоѣ отца и обратимся къ матери. Дачная мать семейства—это въ большинствѣ случаевъ женщина интеллигентная, бывшая институтка или гимназистка: что̀ дѣлаетъ она со своей интеллигентностью? Прежде всего остановимся на тѣхъ, которыя примѣняютъ ее наилучшимъ образомъ, посвящая ее образованію своихъ дѣтей; этотъ типъ существуетъ, къ счастью, и, быть можетъ, онъ даже распространеннѣе, чѣмъ это принято думать. У такой матери вы найдете среди ея дачныхъ книгъ и изданія Россмесслера,

Вагнера, или русскія—проф. Кайгородова; она и сама, по ихъ указанію, научится читать книгу природы, и дѣтей своихъ научить. Только бы этихъ книгъ было побольше и были онѣ извѣстнѣе! Тогда, быть можетъ, и многія изъ тѣхъ матерей, которыя нынѣ предпочитаютъ читать романы и встрѣчать поѣзда на станціи, предоставляя своимъ дѣтямъ шляться гдѣ угодно въ сомнительной компаніи—тогда, быть можетъ, и онѣ познали бы истинную прелесть дачной жизни. Этому могла бы содѣйствовать и школа, напутствуя своихъ питомцевъ полезными указаніями. Если бы для этой послѣдней цѣли было признано желательнымъ ввести въ нѣсколькихъ классахъ естественно-историческія бесѣды въ размѣрахъ одного недѣльнаго часа — я бы ничего противъ этого не имѣлъ; но я допустилъ бы ихъ исключительно какъ бесѣды съ чисто вспомогательнымъ, а не самостоятельнымъ значеніемъ.

Но этимъ наши средства не исчерпаны. Если оставить въ сторонѣ отправляющихся на лѣто въ имѣніе (объ этихъ счастливцахъ и заботиться нечего), то наша школьная молодежь проводитъ свои каникулы либо на дачѣ, либо въ городѣ. „На дачѣ“ —это значитъ тамъ, гдѣ кромѣ данной семьи имѣются и другія, тоже интеллигентныя, связанныя съ нашей общими интересами. Пока эта солидарность выражается въ устройствѣ дѣтскихъ и другихъ баловъ; но развѣ нельзя извлечь изъ нея болѣе полезные результаты? Вѣдь, въ большинствѣ случаевъ найдется же какой-нибудь студентъ-естественникъ или лѣсникъ; почему бы его не утилизировать для устройства общихъ прогулокъ по окрестностямъ?

Вотъ тутъ-то дѣйствительно представилось бы богатое поле для наблюденій и выводовъ изъ нихъ: тутъ природа предстала бы передъ молодежью не въ тѣхъ жалкихъ и мертвыхъ клочкахъ, въ которыхъ ее показываетъ школа, а во всей полнотѣ своей роскошной жизни. Вотъ съ крикомъ пролетѣла птица: чтó это за птица? По картинкамъ да по чучеламъ ея не узнаете: она, вѣдь, не окажетъ намъ любезности стать передъ нами во фронтъ. Нѣтъ, приходится узнавать ее по полету да по крику. И самый ея крикъ, что онъ означаетъ? опасность ли почуяла, или завидѣла добычу, или зоветъ самку, или даетъ птенцамъ знакъ о своемъ приближеніи? Вотъ, кто меня научитъ это распозна-

вать, тотъ дѣйствительно введетъ меня въ жизнь природы, раскроетъ передо мной ея книгу. — Мы расположились подъ ивой, но не надолго; ива, несмотря на ведро, „плюется“. Отчего она плюется? Кто изъ васъ найдетъ причину этого явленія? — Приходится переходить черезъ болото, избирая сравнительно наилучшій путь: кто его найдетъ? Есть такой цвѣтокъ, всегда растущій въ сравнительно сухихъ мѣстахъ; кто его укажетъ? — Мы изъ лиственнаго лѣса переходимъ въ хвойный; соотвѣтственно съ этимъ мѣняется и подножная растительность; кто опредѣлитъ характерныхъ ея представителей здѣсь и тамъ? — Вотъ странная сосна, корень которой начинается довольно высоко надъ землей; кто догадается, какимъ образомъ это произошло? — А вотъ мы приближаемся къ морю, начинаются пески: передъ нами — полная трагизма борьба между органическимъ и неорганическимъ міромъ, между дюной и лѣсомъ; кто разгадаетъ перипетіи этой борьбы? Кто укажетъ, гдѣ растительность сковываетъ своими зелеными и лиловыми цѣпями остановившуюся дюну, и гдѣ, наоборотъ, живая дюна побѣдоносно наступаетъ на ослабѣвшій лѣсъ? И т. д.

Что касается городской молодежи, то обществамъ школьныхъ колоній не трудно было бы распространить свою дѣятельность и на оставшихся въ городѣ учениковъ, устраивая для нихъ экскурсіи такого же рода, какъ и только что-намѣченная.

Вотъ средства, которыми мы располагаемъ для внѣшкольнаго обученія нашихъ дѣтей естествознанію. И когда я вспоминаю о нихъ — мнѣ просто обидно становится, и хочется спросить нашихъ естественниковъ, какъ имъ не совѣстно препираться съ нами изъ-за этихъ жалкихъ крохъ, этихъ школьныхъ уроковъ, которые намъ необходимы, такъ какъ у насъ ничего другого нѣтъ, между тѣмъ какъ въ ихъ распоряженіи имѣется этотъ богатѣйшій запасъ всего внѣшкольнаго времени, который они могли бы утилизировать съ величайшей пользой для дѣла и безъ малѣйшаго обремененія учащихся! И вотъ почему я заявляю: признавая высокое образовательное значеніе естествознанія, я вижу въ немъ одинъ изъ главныхъ факторовъ образованія нашей школьной молодежи; желая сохранить за нимъ эту роль, я (съ вышеприведенной оговоркой) противъ его включенія въ программу школьнаго преподаванія.

Перехожу теперь ко второму внѣшкольному предмету—къ новѣйшей русской словесности — причемъ замѣчу, что многое изъ того, что̀ я имѣю сказать по этому поводу, относится равнымъ образомъ и къ новѣйшей всеобщей и русской исторіи, о которыхъ я поэтому распространяться не буду.

Ея введенія въ школьную программу требуютъ очень настойчиво, — причемъ, какъ это бываетъ часто въ пылу спора, приводятъ въ доказательство соображенія, доказывающія какъ разъ противоположное. Наши великіе писатели, говорятъ намъ, пріобрѣли извѣстность даже за границей; какъ же можетъ пренебрегать ими наша школа? А заграница, переспрошу я, благодаря своей школѣ съ ними познакомилась? Нѣтъ; нѣмецъ, называющій нашихъ Turgenjeff и Tolstoj на ряду со своими національными поэтами, знаетъ ихъ по внѣшкольному чтенію; онъ читалъ ихъ къ тому же въ переводахъ, и притомъ въ такихъ, отъ которыхъ насъ зачастую коробитъ; а мы боимся, что наша молодежь, имѣющая возможность читать ихъ въ подлинникѣ, не воспользуется этой возможностью, если ее не станетъ къ этому принуждать школа?

Но это пустякъ; перехожу къ болѣе серьезнымъ соображеніямъ. Я вполнѣ понимаю тѣхъ преподавателей, которые требуютъ включенія новѣйшей русской словесности въ школьную программу: для даровитаго человѣка это дѣйствительно большая приманка. Я самъ имѣлъ случай ознакомиться съ одной очень талантливо составленной программой по этому предмету; слушая ее, я говорилъ себѣ: 1) что я самъ съ большимъ удовольствіемъ прослушалъ бы лекціи по этой программѣ, и 2) что я своему сыну никоимъ образомъ не позволилъ бы ихъ слушать. Но объ этомъ послѣ; повторяю, я вполнѣ понимаю преподавателей, стоящихъ за гимназическое преподаваніе новѣйшей литературы. Но когда я прочиталъ, нѣсколько лѣтъ назадъ, что на съѣздѣ какихъ-то техниковъ въ Москвѣ одинъ ораторъ выразилъ желаніе, чтобы школа знакомила учениковъ съ Тургеневымъ, Гончаровымъ, Толстымъ и т. д., и что собраніе горячо присоединилось къ этому желанію, то я сказалъ себѣ: „это — самоупраздненіе семьи“. Я не находилъ словъ, чтобы достойнымъ образомъ заклеймить интеллектуальную косность и трусость этихъ отцовъ семействъ, выдающихъ школѣ это

лучшее орудіе для умственнаго и нравственнаго воздѣйствія на своихъ дѣтей; желающихъ, чтобы ихъ дѣти даже этимъ не были обязаны имъ, своимъ отцамъ.

Новѣйшая русская литература во всѣхъ отношеніяхъ внѣшкольный предметъ. Во-первыхъ, это предметъ легкій и въ высшей степени самоинтересный — о чемъ распространяться, полагаю я, нечего. Во-вторыхъ, это предметъ какъ нельзя менѣе приспособленной къ школьной обстановкѣ; такъ какъ чтеніе подлинниковъ въ классѣ немыслимо, то все дѣло сведется, очевидно, къ лекціямъ преподавателя, причемъ ученики превратятся въ слушателей. Но въ-третьихъ это предметъ опасный — и притомъ, сугубо опасный: объ этомъ позволю себѣ сказать нѣсколько словъ.

Съ Пушкинымъ и Гоголемъ эволюція литературныхъ формъ, какъ таковыхъ, почти закончена; литература превращается въ арену соціально-политической борьбы. Это видно уже по партійнымъ кличкамъ: раньше мы имѣли классицизмъ, романтизмъ, сентиментализмъ, отнынѣ имѣемъ славянофиловъ, народниковъ, западниковъ и т. д. Итакъ, школа должна ввести учениковъ въ соціально-политическую борьбу 19 вѣка; не говорю пока объ ея конфликтѣ съ семьей, беру фактъ какъ таковой. Борьба эта не рѣшена и понынѣ, критеріевъ для сужденія о ней нѣтъ; все будетъ зависѣть, стало быть, отъ личныхъ взглядовъ преподавателя. „Оттого-то", говорятъ намъ, „школа и должна взять это орудіе въ свои руки, для того, чтобы ученикъ не подчинялся вліянію со стороны и не пошелъ по ложному и вредному пути". Оставляю въ сторонѣ вопросъ, насколько нравственно вводить въ курсъ наукъ предметъ, не поддающійся, за неимѣніемъ объективныхъ критеріевъ, научной обработкѣ; для меня важнѣе вотъ что̀. Вы требуете отъ преподавателя не просто преподаванія новѣйшей литературы, но и ея преподаванія въ извѣстномъ, ортодоксальномъ направленіи. Теперь одно изъ двухъ: или преподаватели подчинятся этому требованію, или они ему не подчинятся... Мнѣ кажется, мм. гг., намъ другъ передъ другомъ хитрить нечего: мы знаемъ и настроеніе нашей молодежи, и настроеніе коекого изъ нашихъ преподавателей. Если преподаватели подчинятся вашему требованію, то они потеряютъ кредитъ у моло-

дежи; если они ему не подчинятся, то... дальнѣйшее извѣстно (см. выше стр. 236 сл.).

Я не допускаю возраженія, что проводить вредныя тенденціи можно и на до-гоголевской литературѣ. Знаю самъ, что если кто страдаетъ такимъ болѣзненнымъ зудомъ, то онъ и исторію древняго Египта можетъ читать такъ, что Боже упаси. Но великая разница въ томъ, что тамъ объективное отношеніе къ дѣлу возможно, между тѣмъ, какъ здѣсь оно невозможно. Будь преподаватель даже самымъ ярымъ поклонникомъ Герцена—онъ можетъ, если онъ человѣкъ разсудительный, читать до-гоголевскую литературу такъ, что ни его совѣсть, ни его начальство не будутъ оскорблены; но заставляя его читать новѣйшую литературу, вы этимъ самымъ ставите его лицомъ къ лицу съ дилеммой: пожертвовать либо своей будущностью, либо своими убѣжденіями. А на это у васъ никакого права нѣтъ: это пріемъ инквизиціонный, безнравственный.

Серьезнѣе другое возраженіе. Что же, скажутъ мнѣ, по вашему, значитъ, школа должна отказаться отъ всякаго воздѣйствія на учениковъ въ сторону соціально-политическаго благоразумія? Мм. гг., я не менѣе васъ желаю, чтобы этотъ пагубный періодъ скитанія мысли для нашей молодежи наконецъ прекратился, и не менѣе васъ убѣжденъ, что школа можетъ этому содѣйствовать; но для этого ей слѣдуетъ помнить, что аксіома о прямой линіи, какъ о кратчайшемъ пути—правильна въ геометріи, а не въ педагогикѣ. Школа можетъ внушать своимъ питомцамъ духъ научности и этимъ предохранять ихъ отъ скороспѣлыхъ сужденій и отъ преклоненія передъ хлесткой фразой; но если она станетъ навязывать имъ готовыя убѣжденія, то она достигнетъ цѣли, противоположной той, къ которой она стремится. Религіозная апологетика уже теперь создаетъ атеистовъ: политико-соціальная апологетика будетъ на руку лишь нигилизму.

Все это, однако, лишь одна сторона опасности; вторая заключается въ неизбѣжныхъ конфликтахъ съ семьей. Когда въ германскомъ рейхстагѣ обсуждался вопросъ о школьномъ противодѣйствіи соціалистической агитаціи, извѣстный соціалистъ Бебель произнесъ рѣчь, произведшую глубокое впечатлѣ-

ніе на членовъ палаты. „Неужели вы думаете“, сказалъ онъ между прочимъ, „что ваша школа уравновѣситъ въ умѣ моего сына вліяніе его отца? Вѣдь я безъ всякаго труда въ пять минутъ вышибу изъ его головы весь тотъ вздоръ, который вы внушите ему въ теченіе всего вашего курса“. Я привелъ это слово, разумѣется, только вслѣдствіе той хорошей и правильной идеи, которую оно съ такой силой выражаетъ. Вполнѣ оставаясь на почвѣ ортодоксальности, можно, тѣмъ не менѣе, имѣть свои личные взгляды на корифеевъ русской литературы и на ихъ идеалы; эти взгляды—неотъемлемые элементы нравственнаго и умственнаго облика родителей, они естественно, въ силу семейной традиціи, сообщаются и дѣтямъ. Въ силу этой семейной традиціи мы, отцы, будемъ всячески укрѣплять въ глазахъ нашихъ дѣтей авторитетъ, скажемъ, Тургенева и будемъ предостерегать ихъ отъ увлеченія Достоевскимъ и Толстымъ — не потому, чтобы мы считали себя сколько-нибудь равноправными этимъ двумъ геніямъ, а потому, что мы, какъ естественные руководители нашихъ дѣтей, имѣемъ и право и обязанность направлять ихъ сужденіе, въ ожиданіи того времени, когда оно достаточно окрѣпнетъ. И какъ вы думаете, допустимъ ли мы, чтобы эта интимная связь между нами и нашими дѣтьми была разорвана постороннимъ человѣкомъ? Нѣтъ; конфликтъ произойдетъ неминуемо, и въ этомъ конфликтѣ пострадаетъ—ужъ, конечно, не нашъ авторитетъ. Но мнѣ не хотѣлось бы доводить дѣло до такого конфликта; и вотъ, поэтому, мой совѣтъ преподавателю: „М. г., я вижу въ васъ своего сотрудника и готовъ, поэтому, всячески васъ поддерживать; распоряжайтесь по вашему усмотрѣнію вашей областью, но воздерживайтесь отъ всякихъ посягательствъ на сферу моего законнаго воздѣйствія на умъ и сердце моихъ дѣтей!“

Нерѣдко приходится мнѣ развивать такія идеи въ спорѣ со сторонниками школьнаго преподаванія новѣйшей литературы; и почти всегда мнѣ отвѣчаютъ слѣдующимъ образомъ: все это прекрасно, но не забывайте, что семей, гдѣ бы дѣти испытывали такое нравственное и умственное воздѣйствіе со стороны своихъ родителей, у насъ очень немного; большинство же семей, изъ которыхъ состоитъ наше общество, не-

способно воспитывать своихъ дѣтей". Вообще я долженъ сознаться, что въ сужденіяхъ нашихъ противниковъ объ обществѣ и его педагогической роли оно представляется мнѣ какимъ-то двуликимъ Янусомъ, или вѣрнѣе—чтобы перейти съ римской миѳологіи на русскую—пресловутымъ Титомъ народной прибаутки. Когда его приглашаютъ молотить, т.-е. участвовать въ общемъ дѣлѣ воспитанія собственныхъ дѣтей — оно отговаривается разными недугами: у него и времени нѣтъ, и силъ нѣтъ, и умѣнія нѣтъ, и ничего нѣтъ. Но когда дали возможность разсуждать о школьномъ дѣлѣ — о, это другая статья: тутъ общество непогрѣшимо, и оно требуетъ слѣпой вѣры въ свою непогрѣшимость, полнаго подчиненія своему авторитету. Вы сами изволили слышать, мм. гг., гордое заявленіе: „не можетъ быть катастрофой та реформа, которой жаждетъ все общество". Вотъ она—большая ложка!

Гдѣ же истина? По своему обыкновенію — по серединѣ. Основываясь и на собственныхъ наблюденіяхъ, и на самой природѣ вещей, я отказываюсь вѣрить, чтобы въ нашемъ обществѣ дѣйствительно большинство семей было не въ состояніи воспитывать своихъ дѣтей, т.-е. проявлять ту способность, которой Господь Богъ надѣлилъ всякую скотину; съ другой стороны — особой заслуги въ этомъ еще нѣтъ. Отецъ, воспитывающій своихъ дѣтей — не болѣе, какъ хорошій рядовой въ культурной арміи, и права голоса по вопросамъ объ организаціи государственной школы я за нимъ еще не признаю — для этого требуются особыя познанія, имѣющіяся лишь у немногихъ (выше стр. 156 сл.). Но, конечно, за тѣми, кто сознается въ своей неспособности воспитывать своихъ дѣтей, я этого права и подавно не признаю; кто въ рядовые не годится, того въ генералы не производятъ.

Но великъ ли, малъ ли процентъ семей, исполняющихъ свою обязанность — во всякомъ случаѣ это очаги культуры, которые слѣдуетъ всячески беречь и уважать; грѣшно конфисковать въ пользу школы тотъ ихъ огонь, которымъ опи согрѣваютъ всю свою среду. А въ составъ этого огня входитъ главнымъ образомъ новѣйшая русская литература. Стоитъ вдуматься въ тотъ фактъ, что одна „Нива" распространила сочиненія Тургенева, Гончарова, Достоевскаго и др. въ десят-

кахъ тысячъ экземпляровъ; немного найдется теперь интеллигентныхъ семей, у которыхъ не стояли бы на полкѣ сочиненія этихъ писателей, и врядъ ли найдется одна, которая не принимала бы ихъ въ качествѣ хоть временныхъ гостей. Школа можетъ спокойно и съ легкимъ сердцемъ обратиться къ другимъ задачамъ: въ чемъ другомъ, а здѣсь ея содѣйствіе не требуется.

Зато вотъ чтò отъ нея требуется: „школа должна“ поставить крестъ на этой самой лжеаксіомѣ „школа должна“, этомъ плачевномъ продуктѣ самомнѣнія однихъ и лѣности другихъ; она должна призвать семью и общество къ дѣятельному сотрудничеству въ дѣлѣ воспитанія молодежи, ясно, путемъ patti chiari, ограничивая свою власть. Я представляю себѣ эти patti chiari въ конкретномъ видѣ; я желалъ бы, чтобы всякая семья, отдающая дѣтей въ школу, получила отъ нея книжку, въ которой была бы точно оговорена какъ та часть общей задачи, которую школа беретъ на себя, такъ и та, которая попрежнему остается на отвѣтственности семьи; тамъ же могли бы быть означены средства, которыми семья располагаетъ для выполненія того, чтò можно бы назвать „программой внѣшкольнаго образованія дѣтей“; эта программа, разумѣется, сообразовалась бы съ индивидуальностью учащагося и этимъ заодно было бы удовлетворено и то требованіе индивидуализаціи, которое, будучи обращено къ школѣ, представляетъ собой настоящую квадратуру круга. Падетъ и это нареканіе и много другихъ. Въ настоящее время общество относится къ школѣ, какъ лѣнивый хозяинъ къ своему батраку, котораго онъ заставляетъ дѣлать всю работу, самъ лежа весь день на палатяхъ—немудрено, что онъ будетъ сварливъ и привередливъ. Необходимо, чтобы эти ненормальныя и несправедливыя отношенія измѣнились; необходимо, чтобы общество, само участвуя въ воспитательной работѣ, видѣло въ школѣ не батрака, а сотрудника; результатомъ будетъ взаимное пониманіе, а оно—залогъ искренней и прочной дружбы.

2 февр. 1900.

ЭКСКУРСЪ СЕДЬМОЙ.

VINCE, SOL!

> Зачѣмъ такъ мягка, такъ пуглива, подруга моя? Зачѣмъ въ твоемъ сердцѣ столько отрицанія — столько отреченія? И зачѣмъ такъ мало рока въ твоемъ взорѣ?
> Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой......
>
> *Ницше.*

...Тотъ волшебникъ рѣчи, словами котораго я привѣтствовалъ тебя, мало тебя зналъ; нѣсколько отрывочныхъ сказаній, которыя ты въ вѣщемъ забытьи повѣдала міру на непонятномъ для него языкѣ—вотъ все, что до него дошло отъ тебя. Но онъ вперилъ въ тебя свой орлиный, всепроницающій взоръ — и его взоръ угасъ въ вѣщей глубинѣ твоей души. И онъ кликнулъ своимъ: Берегите ее! „Она—единственная, которая еще можетъ обѣщать".

Все на землѣ опредѣлилось; мы знаемъ, кто богатъ и кто бѣденъ; знаемъ, чѣмъ кто богатъ; знаемъ и того, кто, будучи нищимъ, богато живетъ, воровски черпая изъ чужихъ запасовъ. Но о тебѣ никто ничего не знаетъ: живой загадкой, живымъ залогомъ будущаго бродишь ты между людей.

Я вижу ликъ солнца на твоемъ ясномъ челѣ; но его окружили черныя тучи, и оно борется съ нимъ, отчаянно напрягая весь жаръ своихъ лучей; и я молюсь, чтобы разсѣялись черныя тучи, чтобы побѣдило солнце. Тогда только ты скажешь

то слово, котораго народы ждутъ отъ тебя—третье слово свободы, слово славянскаго возрожденья.

Молюсь — но зачѣмъ? Ты знаешь зачѣмъ; знаешь, что я люблю тебя — люблю загадочный блескъ твоихъ обѣщающихъ глазъ, люблю кроткую усмѣшку твоихъ сомкнутыхъ устъ.

Ты научила меня твоему языку, и я полюбилъ его—этотъ роскошный и тонкій, могучій и нѣжный языкъ. Мнѣ любо ощущать въ немъ порывы твоей страстной, самоотверженной души; любо мечтать подъ мѣрный рокотъ его чарующихъ волнъ.

Я много бывалъ въ чужихъ странахъ, среди чужихъ народовъ; я заставлялъ себя жить ихъ жизнью, заставлялъ ихъ повѣрять мнѣ самыя сокровенныя тайны своей души. И все, что я услышалъ и извѣдалъ, я принесъ тебѣ.

Я пробилъ себѣ путь къ матерямъ всего сущаго — въ ту туманную ихъ обитель, гдѣ великія тѣни прошлаго лелѣютъ дремлющіе зародыши будущаго. Я принесъ тебѣ ихъ скрижали; онѣ должны стать твоими, чтобы ты могла произнести обѣщанное слово рока—третье слово свободы, слово славянскаго возрожденья.

Я говорю тебѣ о нихъ на твоемъ языкѣ — но, увы! не твоимъ языкомъ. Ты удивленно смотришь на меня, и я рѣдко вижу искру узнаванія въ твоихъ глазахъ. „Странно“ отвѣчаешь ты; „такъ еще никто со мной не говорилъ“.

И кто-то шепчетъ тебѣ: „Не вѣрь ему! Зачѣмъ онъ здѣсь? Онъ для тебя—чужой“. Черная тѣнь мелькнула передъ тобой, и ты ее узнала; узнавъ ее, ты сказала: „этотъ шепотъ лжетъ“.

Да, этотъ черный шепотъ лжетъ. Наши предки когда-то рубились между собой, но мы, ихъ потомки, этой враждой не связаны. То была честная вражда, ясный булатный звонъ въ чистомъ полѣ; мы будемъ вспоминать о ней и съ ясной улыбкой смотрѣть въ глаза другъ другу. „Для того терпѣли вы бѣдствія“, скажемъ мы словами древняго баяна, „чтобы была пѣсня среди людей“. Эта пѣсня есть; мы будемъ внимать ей, склонясь другъ къ другу, и чѣмъ грознѣе ея напѣвы, тѣмъ нѣжнѣе будутъ пожатія нашихъ рукъ.

Ясный булатный звонъ—ясная улыбка весенней дружбы... нѣтъ, это не все. Есть другое—ближе, грустнѣе, тяжеле.

Помнишь? Васъ было двѣ сестры... О, не сверкай на меня

гнѣвной обидой твоихъ пугливыхъ, заплаканныхъ глазъ: я знаю вѣдь, то была не ты. Твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ устъ.

Такъ про васъ въ сказкѣ говорится: васъ было двѣ сестры, и вы вмѣстѣ пошли въ лѣсъ... по малину. Славянская сказка ее любитъ, этотъ кроткій даръ славянскихъ лѣсовъ: „Кто больше малины соберетъ, тотъ унаслѣдуетъ землю". Когда солнце стало садиться, его багровый лучъ освѣтилъ лишь одну; багровая капля повисла надъ ея черной бровью—это былъ не малиновый сокъ... Нѣтъ, нѣтъ, ею была не ты; твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ малиновыхъ устъ.

Когда солнце взошло, его блѣдный лучъ освѣтилъ могилу; черная кровь гнѣвно кипѣла и дымилась въ ея черной, рыхлой землѣ. И этотъ дымъ черной тучей заволакивалъ блѣдное небо холоднаго утра; солнце боролось съ ней, но черная туча побѣждала.

Нѣтъ, то была не ты: я знаю про тебя другую сказку. Верхомъ на конѣ, въ своихъ царственныхъ парчахъ слѣдовала ты въ свой новый стольный градъ; твоя черная прислужница шла за тобой. День былъ знойный, и полуденное солнце безпощадно палило, изсушая твое молодое тѣло. Тебя соблазнилъ родникъ, журчавшій у твоего пути; твоя черная прислужница помогла тебѣ сойти, а затѣмъ, сорвавъ парчевый нарядъ съ твоихъ плечъ, вскочила на твоего коня и велѣла тебѣ ей служить. И ты, царственная смиренница, послѣдовала за ней.

И каждый день, замученная раба, выходила ты за ворота своего стольнаго града, съ грустной улыбкой на твоихъ кроткихъ устахъ, со щемящей обидой въ твоемъ кроткомъ сердцѣ. Ты поднимала свой влажный взоръ къ холодному, облачному небу: „О солнце, пламя обличенія! когда же ты выплывешь изъ-за тучъ? Разсѣйтесь, черныя тучи; побѣди, солнце!"

Такой позналъ я тебя. Мы протянули руки другъ другу черезъ черную могилу; и могила покрылась зеленью, и гнѣвная кровь заснула, и ея черный дымъ разсѣялся въ голубыхъ мечтаніяхъ весенняго неба.

Такой позналъ и полюбилъ я тебя, славянка; и мнѣ больно, что не всѣ тебя знаютъ такой, не всѣ тебя любятъ. Другая

присвоила себѣ твое имя и твою власть,—ты ее знаешь, свою черную прислужницу? Багровая капля повисла надъ ея черной бровью; о солнце, пламя обличенія! ты знаешь, чья это кровь?

О ради Бога, не дозволяй ей приближаться къ могилѣ! Ея проклятая поступь нарушитъ голубой сонъ дремлющей крови; молодая зелень поблекнетъ, сожженная жаромъ вскипѣвшей струи. Опять черный дымъ поднимется къ небесамъ: тщетна будетъ борьба солнца съ его мракомъ — мракъ побѣдитъ, и багровое пламя мести сверкнетъ изъ-за черныхъ тучъ...

Иль ты не можешь ее оттолкнуть? Она тебѣ повелѣваетъ, а ты смиренно ей служишь, царственная раба?

Но зачѣмъ,—зачѣмъ?

Зачѣмъ такъ мягка, такъ пуглива, подруга моя?

* * *

Я знаю зачѣмъ.

Твои руки чисты, и нѣтъ злобы въ кроткой усмѣшкѣ твоихъ устъ; только бы они чаще смѣялись, эти кроткія уста! Но я вижу: твои губы вздрагиваютъ при каждой усмѣшкѣ, и эта дрожь говоритъ: „я виновата — я не должна смѣяться“. Кто же тебѣ сказалъ, что смѣяться грѣшно?

Смотри: могила покрылась зеленью, и расцвѣтшая липа льетъ тихую дрему на ея кровь. Божья пташка вьется надъ ней и поетъ долгую колыбельную пѣсню горю и злобѣ. Кто же тебѣ сказалъ, что смѣяться грѣшно?

А когда-то ты умѣла смѣяться. Ты, рѣзвясь, бросала свой звонкій смѣхъ въ голубое небо — и онъ, ниспадая, застывалъ въ веселыхъ переливахъ твоихъ удалыхъ пѣсенъ. Ты бросала его въ небо — и онъ застывалъ въ веселыхъ узорахъ твоихъ церквей и хоромъ. По этимъ пѣснямъ, по этимъ узорамъ народы узнали, чѣмъ былъ когда-то звонкій смѣхъ волшебницы-славянки; а тебѣ кто сказалъ, что смѣяться грѣшно?

Я знаю—это тебѣ *онъ* сказалъ; онъ, твой второй мучитель.

Я его вижу: онъ съ молоткомъ стоитъ у твоего окна, выслѣживая каждое движеніе твоего лица. Чуть затеплится лучъ радости въ твоихъ очахъ—стукъ, стукъ. Чуть заиграетъ легкая зыбь веселья на твоихъ устахъ—стукъ, стукъ. Это „стукъ, стукъ“ говоритъ: ты не должна смѣяться — смѣяться грѣшно.

Онъ—пасѣчникъ. Его пчелы летаютъ по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства, вездѣ, гдѣ растутъ блѣдные, ядовитые цвѣты горя и злобы. Онѣ собираютъ ихъ ядъ—всѣ ихъ яды, отъ бѣшенаго крика отчаянія до тихаго вздоха раздавленной надежды; всѣ ихъ яды онѣ несутъ тебѣ; въ улей страданій обратили онѣ твое сердце.

Онъ — душеводитель. Такъ нѣкогда Богородицу водили по мукамъ; она прошла всю обитель окаянныхъ, пережила всѣ ихъ мученія своей любящей душой; а когда ее привели обратно къ воротамъ скорбнаго града — передъ ней поблекъ ея голубой рай, и она захотѣла навѣки остаться среди замученныхъ. Такъ и онъ тебя водитъ по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства.

Онъ — вампиръ. Я видѣлъ его, какъ онъ черною ночью, склонясь надъ твоимъ бѣднымъ, дрожащимъ тѣломъ, нашептывалъ тебѣ свои внушенія, чтобы ты ненавидѣла радость, чтобъ не смѣялась никогда. Я видѣлъ его: страшно горѣли его красные глаза въ черномъ мракѣ ночи, освѣщая мучительныя судороги твоего бѣднаго тѣла; я тебя звалъ, но ты не слышала меня.

Онъ шепотомъ тебя спрашивалъ: „что̀ видишь ты?“ И ты отвѣчала ему влажнымъ, замученнымъ голосомъ: „Я вижу черную землю и черное небо: свинцовыя тучи заволокли солнце; только въ одномъ мѣстѣ вырывается черезъ густой покровъ его блѣдный, плачущій лучъ; но и онъ, не достигши земли, замираетъ въ черной мглѣ.

Онъ спрашивалъ тебя: „чего хочешь ты?“ И ты отвѣчала: „Хочу опять видѣть зеленую землю и голубое небо. Разсѣйтесь, черныя тучи; побѣди, солнце!“

Онъ наполовину прикрылъ своей красной рукой сомкнутые глаза твои и опять спросилъ: „что̀ видишь ты?“ Ты глухо застонала; наконецъ, твой стонъ сталъ словомъ и ты сказала: „Красный свѣтъ озарилъ черную землю; я вижу унылую мерзлую поляну; на ней лежитъ тысяча мертвыхъ, нагихъ тѣлъ. Нѣтъ! они не мертвыя: они ползаютъ, копошатся, жмутся другъ къ другу. Они всѣ посинѣли отъ стужи. Одни дышатъ себѣ на руки, чтобы ихъ согрѣть, но влага замерзаетъ на ихъ пальцахъ. Другіе хотятъ содрать ногтями поверхность земли,

чтобы укрыться подъ мерзлой корой; но ихъ ногти разбиваются объ ея ледъ, кровь сочится съ ихъ израненныхъ пальцевъ и замерзаетъ на нихъ. Они плачутъ отъ холода и отъ боли, но ихъ слезы замерзаютъ, не успѣвъ скатиться съ ихъ глазъ".

Онъ спросилъ тебя: „чего хочешь ты?" — и ты отвѣтила: „Ничего не хочу".

Онъ сказалъ: „Прикажи изрѣзать свой плащъ на тысячу лоскутовъ и дать имъ по лоскуту. Имъ ты этимъ не поможешь, но тебѣ будетъ легче: теперь ты терпишь тысячу стужъ, а тогда будешь терпѣть только одну". И ты глухо простонала въ отвѣтъ.

Онъ глубже надвинулъ тебѣ на глаза свою красную руку, совсѣмъ ихъ покрывая, и въ третій разъ тебя спросилъ: „что видишь ты?" И въ отвѣтъ ему послышался страшный, предсмертный хрипъ, въ которомъ я не узналъ тебя; и все-таки это была ты. И хрипъ сталъ словомъ и отвѣтилъ ему: „Земля разверзлась и открыла пропасть: въ пропасти, озаренное краснымъ пламенемъ, извивается чудовище. Въ немъ тысяча тѣлъ; нѣтъ! не тѣлъ, а головъ; нѣтъ! не головъ, а пастей. Ничего не вижу, кромѣ тысячи пастей; ничего не слышу, кромѣ ихъ протяжнаго, голоднаго воя. Онѣ вцѣпились зубами другъ въ друга, какъ бы желая другъ друга пожрать; кровь течетъ изъ ихъ ранъ, и ихъ языкъ жадно лижетъ эту кровь, не разбирая, чужая ли это или своя..."

Онъ спросилъ тебя: „чего хочешь ты?" — и ты отвѣтила: „хочу, чтобы угасъ этотъ блѣдный, плачущій лучъ, говорящій мнѣ, что есть гдѣ-то солнце. Сдвиньтесь, черныя тучи; навѣки побѣди, свинцовый мракъ!"

Онъ сказалъ: „Прикажи изрѣзать свое тѣло на тысячу кусковъ и дать имъ по куску. Имъ ты этимъ не поможешь, но тебѣ будетъ легче: теперь ты терпишь тысячу голодовъ, а тогда не будешь терпѣть ни одного". И страшный, предсмертный хрипъ былъ ему отвѣтомъ.

И долго, склонившись, висѣлъ онъ надъ тобою, озаряя краснымъ пламенемъ своего взора судороги твоего бѣднаго тѣла, нашептывая тебѣ свои внушенія, повѣряя тебѣ всѣ тайны и желанія своего злобнаго, мстительнаго сердца: чтобы ты ненавидѣла радость, чтобъ не смѣялась никогда. И страшно горѣли его красные глаза въ черномъ мракѣ ночи.

Одного только не повѣрилъ онъ тебѣ: что онъ — родной сынъ твоей черной прислужницы и ею приставленъ для того, чтобы ты обезсилѣла и опустилась и навѣки осталась закрѣпощенной ей.

Зачѣмъ ты вѣришь ему? Зачѣмъ даешь ему убивать своимъ молоткомъ всякую Божью пташку, посланную тебѣ солнцемъ и весной? Зачѣмъ даешь ему отравлять своимъ ядомъ твое молодое, могучее сердце? Зачѣмъ даешь ему наполнять видѣніями ужаса молодой, свѣжій сонъ твоихъ ночей? Зачѣмъ обѣщаешь ему отрекаться отъ радости и отрицать солнце?

Зачѣмъ ты вѣришь ему, что тупое, безплодное уныніе — твой долгъ передъ голодными и нагими?

Уныніе безплодно, зиждительна радость. Семью смѣхами создалъ Творецъ весь живой міръ. Только при седьмомъ смѣхѣ ему взгрустнулось, и онъ пролилъ слезу; тогда возникла человѣческая душа — твоя душа, царевна Несмѣяна.

Уныніе безплодно, зиждительна радость. О, если бъ ты могла, какъ въ былые дни, бросить свой звонкій смѣхъ въ голубое небо — онъ ниспалъ бы мягкой волной и прикрылъ бы тысячу нагихъ, продрогшихъ тѣлъ; онъ ниспалъ бы небесной манной и накормилъ бы тысячу голодныхъ ртовъ. И изъ тысячи устъ раздалось бы благодарственное слово: спасибо, волшебница! твоимъ смѣхомъ намъ жизнь красна.

Жизнь, еще разъ! Ради смѣха волшебницы-славянки—еще разъ, жизнь!

Подруга моя! Зачѣмъ ты этого не хочешь — не можешь?

Зачѣмъ въ твоемъ сердцѣ столько отрицанія — столько отреченія—подруга моя?

* * *

Какъ здѣсь все ровно кругомъ—какъ плоско, какъ низко! Необозримой гладью тянется равнина; единственное возвышеніе на ней — могила. Странно! За рубежомъ говорятъ, что смерть равняетъ людей; у насъ ихъ равняетъ жизнь, жизнь втаптываетъ ихъ въ ровную почву, и лишь смерть даетъ имъ въ утѣшеніе холмъ, именуемый могилой.

Горе тому, кто у насъ при жизни пожелаетъ возвыситься надъ равниной. Тысячи цѣпкихъ рукъ хватаютъ его, тысячи

завистливыхъ голосовъ кричатъ: „отдай! Отдай ту силу, которая возноситъ тебя: эту силу ты взялъ у насъ!“ — Безумцы! дайте же ему подняться, помогите ему. Онъ отдастъ вамъ сторицей, что́ онъ у васъ взялъ: чѣмъ выше взлетитъ водометъ, тѣмъ шире будетъ пространство, которое онъ своими брызгами оросить. — Но нѣтъ, я знаю васъ и вашу зависть: „наша равнина теперь просто равнина; она станетъ низменностью, когда ты вознесешься“.

Прости меня, я ученый; это ихъ чувство я называю „боязнью вертикали“. А вертикаль—это рокъ жизни; ты этого не знала? Зато одно ты знаешь теперь: отчего такъ мало жизни было въ твоей жизни. У насъ жизнь ползетъ по равнинѣ, и только смерть насыпаетъ намъ возвышеніе, именуемое могилой; эта могила—послѣдній вздохъ жизни по утраченной вертикали.

Ты стоишь на могилѣ: ты не забыла, что обѣщала сказать свое слово народамъ? Ты удивленно смотришь на меня: забыла!

Оставь могилу, съ нея ты того слова не скажешь. Пойдемъ туда: тамъ далеко, гдѣ равнина соприкасается съ моремъ, стоитъ одинокая гора. Правда, и эта гора лишь могила: равнина, умирая въ морѣ, насыпала себѣ ее въ утѣшеніе, ка́къ свой курганъ; она — ея предсмертный вздохъ по утраченной вертикали. Но что дѣлать! другихъ горъ у тебя нѣтъ.

Когда-то онѣ у тебя были. Ты помнишь, какимъ дружнымъ, могучимъ раскатомъ онѣ отвѣтили примчавшейся изъ-за моря грозѣ? Помнишь, какъ полились веселые водопады съ утесовъ Казбека и Чатыръ-дага? Ты удивленно смотришь на меня: „да развѣ это мои горы?“ Нѣтъ, теперь онѣ—не твои; онѣ вновь станутъ твоими, когда ты вспомнишь о своемъ обѣщанномъ словѣ.

Но эта—пока твоя; взойдемъ на нее. Видишь? Твой красный мучитель отсталъ отъ тебя. Онъ водилъ тебя по всѣмъ днамъ скорбныхъ долинъ твоего царства, но горъ онъ не любитъ: здѣсь нѣтъ тѣхъ блѣдныхъ цвѣтовъ, ядомъ которыхъ онъ кормилъ тебя. Другіе цвѣты здѣсь растутъ — теплые и яркіе, какъ это весеннее солнце, ласкающее насъ своими лучами; свѣжіе и бодрящіе, какъ этотъ вѣтерокъ, подувшій на насъ со студенаго моря.

Мы на вершинѣ; смотри, какая ширь кругомъ! Впереди насъ—голубой смѣхъ безпредѣльнаго моря; позади насъ — зеленый смѣхъ безпредѣльной равнины.

Взгляни пристальнѣе на эту вѣчно движущуюся, вѣчно безпокойную, голубую поверхность. Между волнами — синій мракъ; но каждая верхушка загорается, искрится, превращается на мгновеніе въ ослѣпительный огнеметъ. Волну тянетъ къ солнцу; смѣхъ волны—ея отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Взгляни пристальнѣе на ту навѣки застывшую, навѣки спокойную зеленую поверхность позади тебя. Когда ты смотрѣла на нее снизу, блѣдные и грязные стебли былинокъ и травъ пятнали свѣжую, сочную мураву: теперь ты смотришь на нее взоромъ солнца—и видишь однѣ зеленыя, озаренныя верхушки. Теперь ты познаешь, что смѣхъ муравы—ея отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Да, вертикаль—рокъ жизни: ты не забыла, что обѣщала сказать свое слово народамъ? Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ просвѣтленныхъ очахъ; вѣрь мнѣ, подруга моя, смѣхъ твоихъ глазъ—ихъ отвѣтъ на поцѣлуй солнца.

Ты бредила подъ гнетомъ красной руки твоего мучителя— и бредящіе внимали твоему бреду и повторяли его: „Слушайте всѣ! раздалось слово волшебницы-славянки“. Да, твой стонъ сталъ словомъ, и твой хрипъ сталъ словомъ; когда же твой смѣхъ станетъ словомъ?

Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ глазахъ — и потухъ; отчего онъ потухъ? Оттого ли, что черная туча стала заволакивать солнце? Не теряй надежды; молись со мною, чтобы эта туча разсѣялась, чтобы солнце побѣдило.

Тебя тянетъ обратно въ равнину,—въ пропасть? Зачѣмъ? Ты потупляешь взоръ, ты шепчешь мнѣ въ отвѣтъ одно слово: „отдать!“

Отдать? да что же ты отдашь теперь, когда у тебя ничего еще нѣтъ? Ты изрѣжешь на тысячу лоскутовъ свой плащъ, и не согрѣешь нагихъ; ты велишь изрѣзать на тысячу кусковъ свое тѣло, и не утолишь голодныхъ. Нѣтъ, не предавайся тщетнымъ мечтамъ: теперь тебѣ еще нечего отдавать.

Отдать? Ты отдашь, когда скажешь свое слово; сказать его—твой рокъ. Его ты съ равнины не скажешь; его ты ска-

жешь съ горы. Не покидай горы; равнина поглотитъ тебя. Ты развѣ не видишь, кто поджидаетъ тебя у подножія горы?

Огонь обѣщанія заигралъ въ твоихъ глазахъ — и потухъ. Подруга моя! Отчего такъ пугливъ поцѣлуй солнца въ твоихъ глазахъ?

Отчего такъ мало рока въ твоемъ взорѣ,подруга моя?

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта первая скрижаль—скрижаль Зевса.

Ты знаешь, кто такое Зевсъ? Это — тотъ богъ, которому служили на вершинахъ горъ. Это—та сила, которая тебя тянетъ на встрѣчу поцѣлую солнца. Это—духъ вертикали.

Ты помнишь? То было ночью. Была равнина и была влага; и влага стала возноситься надъ равниной. Но равнина ей крикнула: „отдай!“ она ухватилась за нее тысячью цѣпкихъ рукъ—и влага разостлалась сѣрымъ, свинцовымъ туманомъ по равнинѣ, и стала душить ея травы и цвѣты и живыя твари..... Ты хочешь отдать, подруга моя? хочешь лечь гнетущимъ туманомъ на твою родную землю?

Но вотъ сверкнуло въ горнихъ око Зевса, и влагу потянуло вверхъ, на встрѣчу его поцѣлую. Она собралась въ вышнихъ дождевой тучей; тогда грозный смѣхъ Зевса заигралъ на ней, тысячью живительныхъ струй полилась она обратно на свою родную равнину, освѣжая ея травы и цвѣты и живыя твари. Такъ она отдала ей то, что взяла у ней — но отдала весельемъ и жизнью, а не болѣзнью и смертью.

Спроси влагу, думала ли она объ отдачѣ, когда возносилась къ нему, къ возлюбленному своей души. Она скажетъ: „нѣтъ“. Она думала о немъ и о грозномъ веселіи его смѣха; а отдача совершилась сама собой, по предвѣчнымъ законамъ міра. Кто думаетъ объ отдачѣ, тотъ отъ тумана, а не отъ грозы.

Но ты боишься грозы. Тебѣ сердце щемитъ, когда огненная змѣя Зевса скользитъ по склонамъ тучи, когда все поднебесье весело содрогается отъ раскатовъ его смѣха; „молнія убиваетъ“, говоришь ты. Да, конечно; молнія убиваетъ. А туманъ — о нѣтъ, онъ не убиваетъ. Онъ только отнимаетъ у

насъ свѣтъ и веселіе и медленно, незамѣтно впитываетъ въ насъ ядъ своей гнетущей хвори, отъ котораго мы потомъ— сами умираемъ.

Молнія убиваетъ, да. И тотъ народъ, который поклонялся Зевсу на вершинахъ горъ, воздавалъ почести тѣмъ, кого убивала его молнія, видя въ нихъ его избранниковъ и святыхъ. И онъ обводилъ изгородью тѣ мѣста равнины, которыя были убиты молніей Зевса, называя ихъ „энелисіями“ и ублажая ихъ молитвами и приношеніями. А жертвы тумана—кого она заботитъ, эта безвѣстная проказа больной земли!

О ясная, могучая смерть! о ясная, святая скорбь! Жалокъ тотъ, у кого нѣтъ энелисія въ сердцѣ.... Глаза твои блеснули влагою, подруга моя; я вижу, духъ горы тебя проникъ — ты понимаешь меня.

Посмотри... нѣтъ, не смотри; съ горы не увидишь. Но припомни, какъ точно и тщательно они раздѣлили равнину на участочки, чтобы всѣмъ одинаково въ нихъ задыхаться. Горе вамъ, богатыри! карлики писали законы для васъ. Ничего, говорятъ они, вымирайте, коли не можете приспособиться; мы, карлики, приспособились. А будетъ тѣсно и намъ—предоставимъ поле карликамъ карликовъ, и такъ далѣе, пока милліономилліонная тля не заполонитъ земли. Да здравствуетъ равенство и приспособляемость! да здравствуетъ земной рай—царство всепобѣждающей, непреоборимой плѣсени.

А пока — уважайте участочки и раздѣляющія ихъ канавы: тотъ грѣшникъ, тотъ преступникъ, кто преступаетъ канаву.

Смотри, подруга моя: солнце клонится къ закату, и наши тѣни призрачными исполинами скользятъ по замечтавшейся равнинѣ. Какъ ты думаешь, сколько канавъ ежесекундно преступаютъ наши исполинскія тѣни? И они этого не чувствуютъ, и нѣтъ грѣха въ дѣяніяхъ нашихъ. Да, красиво и вѣрно говорятъ жители горъ: „на горѣ нѣтъ грѣха“.

У насъ, дѣтей Зевса, законъ одинъ—стремленіе къ нему, на встрѣчу его поцѣлую. И этотъ законъ — нашъ рокъ. Ты вѣдь знаешь: вертикаль—это рокъ жизни; ты не думаешь отрицать жизнь? Слѣдуй этому року — а отдача совершится сама собою, по предвѣчнымъ законамъ живой природы.

Понятна тебѣ скрижаль Зевса? Да, здѣсь она понятна; вѣдь Зевсъ—это тотъ, кому служили на вершинахъ горъ.

...Что слышу я? Ты и сама хотѣла бы принести ему благодарственную жертву—здѣсь же, на его горѣ? Но какъ это сдѣлать? Кругомъ все пусто; здѣсь нѣтъ ни тельца, ни барана... Ты смѣешься; да, я понялъ тебя. Принесемъ ему въ жертву—вампира.

Но гдѣ онъ, твой вампиръ? Онъ спрятался у подножія горы, поджидая тебя, а теперь... смотри, что за чудо! Поцѣлуй солнца коснулся его, и онъ заметался въ предсмертныхъ судорогахъ. Теперь только видно, какъ онъ весь гадокъ: какой-то отвратительный, краснымъ гноемъ налитый волдырь,—чудовищная красная мокрица съ крыльями нетопыря. Но солнце побѣдоносно довершаетъ свое дѣло: онъ кипитъ, дымится, все его тѣло краснымъ паромъ возносится въ вечерній воздухъ. Рѣзвыя нимфы нашей горы весело треплютъ и рвутъ на части его призрачную плоть; всѣ очертанія слились, теперь онъ—не болѣе какъ рядъ причудливыхъ красныхъ облачковъ, стремительно уносимыхъ въ море.

Въ добрый часъ! Оставаясь надъ равниной, онъ бы за ночь палъ ядовитой ржой на молодой хлѣбъ.

Жертвоприношеніе совершилось. Богъ принялъ его — ты слышишь веселый рокотъ удаляющейся тучи? Она повисла надъ сѣвернымъ небосклономъ, оставляя неприкосновеннымъ лучезарное око Зевса. Подруга моя! этотъ рокотъ предвѣщаетъ намъ тихую ночь и ясный, безоблачный день.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта вторая скрижаль—скрижаль Паллады.

Она—первородная дочь Зевса, духъ державнаго разума и движимой разумомъ воли; ей служили въ бѣломраморныхъ храмахъ, вѣнчавшихъ кремли свободныхъ и благоустроенныхъ городовъ

Теперь эти храмы въ развалинахъ; неразумная стихійная сила разбросала стройныя колонны и разбила строгую красоту ясныхъ фронтоновъ. Нѣкогда око Паллады сіяло въ нихъ; теперь оно померкло, и лишь одинокій путникъ любуется нѣмыми

остатками минувшаго величія и чуетъ близость богини въ ея поверженномъ твореньи.

Чтò было въ началѣ, то стало вновь; а знаешь ты, чтò было въ началѣ?

Въ началѣ была мгла и душа мглы—уродливая Горгона. Она жила въ сумрачной пещерѣ самой ядовитой долины первобытнаго міра. И у нея была своя скрижаль, и на скрижали стояли слова, которыя ты знаешь: „Науки храмъ, ея друзьямъ недостижимый вѣчно, открытъ тому, кто врагъ уму: онъ въ немъ царитъ безпечно“.

Отсюда, изъ этой сумрачной пещеры, выпускала она своихъ гадовъ распространять слова ея скрижали среди людей. И каждому давала она, въ придачу къ нимъ, особое наставленіе.

Первому она велѣла говорить: „Ѣшь, пей и размножайся, остальное — суета и спѣсь“. Второму: „кто не за тебя, тотъ противъ тебя“. Третьему: „кто противъ тебя, тотъ глупъ или подлъ“. Четвертому: „Простота—залогъ истины“. Пятому: „Не довѣряй тому, кто ясными доводами пытается переубѣдить тебя: знай заранѣе, что его доводы—красивая фальшь, и не выпускай крота твоего убѣжденія изъ его норы“. Шестому: „Во всякомъ дѣяніи ищи себялюбиваго побужденія“. Седьмому: „Истина открывается коллективной волѣ толпы, а не единоличному мышленію выдающихся мужей: vox populi—vox Dei“.

Таковы были гады, посылаемые Горгоной во всѣ углы вселенной; и люди внимали ихъ ученію и слѣдовали ему, и царство мглы распространялось по землѣ.

И мгла стала грозить небу и его свѣтиламъ. „Не торжествуй, солнце!“ говорила она, „вскорѣ твой блескъ померкнетъ, затуманенный моимъ дыханіемъ, и старшій изъ моихъ гадовъ поглотитъ твой сіяющій ликъ“.

Многіе отправлялись въ пещеру Горгоны, чтобы сразить ее и спасти царство свѣта; но никто не могъ вынести ея пустого, мертвеннаго взора. Кровь леденѣла у бойцовъ, и они застывали каменными глыбами у порога пещеры.

Но вотъ, ведомый Палладой, Солнце-богатырь переступилъ этотъ порогъ. Онъ отразилъ своимъ яснымъ щитомъ каменный взоръ чудовища и отсѣкъ ему его уродливую голову. И Паллада прикрѣпила голову Горгоны къ своей эгидѣ и окружила

ее тѣми семью гадами, которые распространяли ея науку по землѣ.

И когда мгла пошла походомъ противъ свѣта, стремясь поглотить небо съ его свѣтилами, и солнце уже стало меркнуть, окутанное ея ядовитымъ дыханіемъ — Паллада вышла ей навстрѣчу, высоко держа эгиду въ своей побѣдоносной рукѣ.

Страшно смотрѣлъ съ высоты блѣдный ликъ чудовища своимъ пустымъ, мертвеннымъ взоромъ: широкою щелью зіялъ подъ сплюснутымъ носомъ его безобразный ротъ, точно высмѣивая своей безсмысленной улыбкой безсмысленное послушаніе тѣхъ, кто принялъ его науку.

И мгла познала себя въ зіяющей пустотѣ этого мертваго лика; она выпустила небо изъ своихъ цѣпкихъ рукъ и скрылась, пораженная, въ ядовитыя пещеры и пропасти земли. Солнце побѣдило, и скрижаль Паллады возсіяла надъ міромъ.

Ты знаешь скрижаль Паллады—скрижаль державнаго разума? Да, подруга моя, теперь ты знаешь ее. Она открывается только тѣмъ, кто сразилъ Горгону, а ты ее сразила. Видишь, какъ рѣзвыя волны голубого моря треплютъ и заливаютъ красныя клочья ея тѣла?

Нѣтъ даровыхъ истинъ: только то—твое честное убѣжденіе, что ты честно продумала въ горнилѣ твоего сознанія. И только тотъ имѣетъ право согласиться съ тобой, кто закалилъ твою мысль въ огнѣ собственнаго разума.

Не все обозрѣваетъ огненный взоръ свѣтлоокой богини; есть область, надолго, быть можетъ, навсегда ей недоступная,— ее вѣдаетъ Деметра. Но того, что для тебя завоевала Паллада, ты не должна уступать Горгонѣ и ея гадамъ.

Посмотри на богиню: какъ весело пылаетъ ясная гроза ея очей, какъ весело смѣется ея ясный шлемъ, возвращая солнцу его поцѣлуй! Какъ она горитъ жаждой боя за державный разумъ и его права! И что это будетъ за веселый, славный бой— ясный булатный звонъ въ чистомъ полѣ!

„Ты долженъ признать самое горькое для тебя положеніе, разъ оно доказано; ты долженъ отказаться отъ самаго дорогого для тебя убѣжденія, разъ оно опровергнуто“ — вотъ завѣтъ Паллады ея бойцамъ. Ея око съ одинаковою любовью свѣ-

титъ и побѣдителямъ и побѣжденнымъ, если они соблюдаютъ этотъ завѣтъ, данный ею смертнымъ на всѣ времена.

А на груди ея—чешуйчатая эгида съ головой сраженнаго страшилища: пусть знаютъ смертные, кому они себя отдаютъ, отрицая свѣтлоокую богиню и ея завѣтъ, отвергая ясную грозу ея битвъ!

Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ рѣютъ привидѣнья; кто сторонится ока Паллады, надъ тѣмъ нависнетъ зіяющій взоръ Горгоны—тотъ взоръ, отъ котораго каменѣетъ плоть и леденѣетъ жизнь.

Хочешь ты, чтобы поля твоей равнины огласились яснымъ булатнымъ звономъ Палладиныхъ битвъ? Хочешь, чтобы ея бѣломраморные храмы вѣнчали кремли твоихъ городовъ?

Но кто-то шепчетъ тебѣ: „Не хоти. Зачѣмъ ей быть здѣсь? Она для тебя—чужая". Черная тѣнь мелькнула передъ тобой, и ты ее узнала; узнавъ ее, ты сказала: „этотъ черный шепотъ лжетъ".

Онъ лжетъ, да; но его ложь простительна. Эта черная тѣнь навѣки бы разсѣялась, если бы ее озарило око Паллады съ высоты ея бѣломраморнаго храма въ кремлѣ твоего стольнаго града.

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта третья скрижаль—скрижаль Геракла.

Онъ—сынъ Зевса и любимецъ своей сестры Паллады; но его мать была смертная, и долей смертнаго была его доля на нашей землѣ.

Ему улыбнулась Жизнь, когда онъ былъ въ колыбели, и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ свободенъ: надъ тобой не будетъ закона, кромѣ твоей силы и твоей воли". И малютка вздохнулъ ей въ отвѣтъ.

Она вторично улыбнулась и сказала ему: „Радуйся, дитя! Твой путь будетъ славенъ: твой отецъ Зевсъ пріобщитъ тебя къ сонму небожителей, и ты будешь вкушать вѣчное блаженство за его трапезой, рядомъ со златокудрой Гебой". И малютка взглянулъ на нее, и огонь ея взора потухъ во влагѣ его очей.

Она въ третій разъ улыбнулась и сказала ему: „Радуйся,

дитя! Твой путь будетъ свѣтелъ: я исполню всѣ желанія твоего сердца". И тутъ только малютка отвѣтилъ ей улыбкой.

Ставъ отрокомъ, онъ отправился въ путь. Онъ проходилъ мимо скалистой Немеи; пастухи окружили его и взмолились къ нему: „Сжалься надъ нами, герой! дикій левъ опустошаетъ наши стада". Вслѣдъ затѣмъ они разбѣжались: рычанье льва послышалось съ вершины ближайшей скалы. Гераклъ остался; немного спустя шкура косматаго звѣря уже свѣшивалась съ его плечъ.

Онъ прошелъ дальше: на зеленомъ лугу стояла Жизнь съ пучкомъ голубыхъ цвѣтовъ въ рукѣ. Она спросила его: „Неправда ли, ты думалъ о трапезѣ Зевса и ради нея совершилъ свой подвигъ, помогая слабымъ и обиженнымъ?" Онъ отвѣтилъ: „Я поборолъ льва, потому что онъ мнѣ встрѣтился на моемъ пути, и я чувствовалъ въ себѣ силу его побороть; мой трудъ былъ радостенъ и награды не ждетъ.

„А теперь ты мнѣ встрѣтилась на моемъ пути: дай же мнѣ одинъ изъ цвѣтовъ, которые у тебя въ рукѣ. Онъ тянетъ меня къ себѣ своимъ сладкимъ, веселящимъ запахомъ: если ты въ моемъ подвигѣ видишь заслугу, пусть твой цвѣтокъ мнѣ будетъ наградой за него".

Она сказала: „на что тебѣ этотъ цвѣтокъ? Мужайся и трудись; тебя ждетъ твое мѣсто за трапезой Зевса и ласка прекраснокудрой Гебы. А цвѣты мои не для тебя". И она, смѣясь, протянула ихъ проходившему мимо молодому пастуху; тотъ поигралъ ими и бросилъ ихъ въ протекавшій мимо ручей.

Онъ спросилъ: „Какъ же ты обѣщала исполнить каждое желаніе моего сердца?" Она отвѣтила: „Я не обѣщала исполнить это желаніе *теперь*".—„Будь благословенна!" сказалъ онъ и продолжалъ свой путь.

Минули годы; Гераклъ сталъ юношей. Онъ проходилъ мимо болотистой Лерны; крестьяне обступили его и взмолились къ нему: „Сжалься надъ нами, герой! Стоглавая гидра заняла единственный родникъ, дававшій намъ чистую, студеную воду". Вскорѣ затѣмъ изъ сосѣдней чащи послышалось шипѣніе гада. Гераклъ вышелъ ему навстрѣчу; послѣ долгой, упорной борьбы онъ отрѣзалъ и прижегъ головы чудовища и омочилъ свои стрѣлы въ его ядовитой крови.

Онъ прошелъ дальше; у родника его встрѣтила Жизнь съ вѣнкомъ изъ голубыхъ цвѣтовъ на русыхъ кудряхъ и съ золотой чашей въ правой рукѣ. Она сказала ему: „Я все время любовалась на тебя и на твой славный бой; ты, видно, живо представлялъ себѣ вѣчное блаженство, ждущее тебя по окончаніи твоего земного бытія?“ Онъ отвѣтилъ: „Я поборолъ гидру потому, что она мнѣ встрѣтилась на моемъ пути, и я чувствовалъ въ себѣ силу ее побороть; это былъ радостный трудъ. А если ты любовалась на мой подвигъ, то теперь награди меня“.

Она сказала: „Я затѣмъ и встрѣтила тебя, герой, чтобы тебя наградить. Я дамъ тебѣ цвѣтокъ изъ моего вѣнка; онъ— такой же, какъ и тѣ, которые нѣкогда такъ нравились тебѣ“. Онъ отвѣтилъ: „Его запахъ приторенъ, и его видъ не плѣняетъ болѣе моихъ глазъ; но меня тянетъ къ той чашѣ, что у тебя въ правой рукѣ. Какъ весело искрится ея золото въ лучахъ солнца! какъ весело играетъ ея свѣтлая, живительная влага! Дай мнѣ одинъ глотокъ, и я бодро буду продолжать свой путь“.

Она сказала: „На что тебѣ моя чаша? Трудись и сражайся: тебя ждетъ вѣчная награда на лучезарномъ Олимпѣ. А отъ чаши Жизни подальше: она не для тебя“. И она, смѣясь, протянула ее проходившему мимо крестьянину; тотъ, отпивъ нѣсколько капель, бросилъ остатокъ вмѣстѣ съ самой чашей въ глубь родника.

Онъ вздохнулъ и спросилъ: „Какъ же ты обѣщала исполнить каждое желаніе моего сердца?“ Она отвѣтила: „Ты пожелалъ имѣть мой цвѣтокъ, и я тебѣ его принесла; но объ этомъ желаніи я не обѣщала, что исполню его теперь“.—„Будь благословенна!“ сказалъ онъ и грустно пошелъ дальше.

Возмужавъ, онъ поборолъ дикую рать кентавровъ; и опять его встрѣтила Жизнь подъ сѣнью раскидистой яблони. Она предложила ему напиться изъ ея чаши; но ея блескъ уже не веселилъ утомленныхъ глазъ героя, и ея влага показалась ему прѣсной и вялой. А тѣхъ яблокъ, что алѣли на краю вѣтви, она ему не позволила сорвать.

На исходѣ цвѣтущихъ лѣтъ онъ поборолъ Кербера, свирѣпаго стража преисподней; выйдя на свѣтъ, онъ опять увидѣлъ

Жизнь, которая ждала его у подножія горы. Она улыбнулась и протянула ему три яблока; онъ равнодушно ихъ принялъ, равнодушно заложилъ руку за спину и въ грустномъ раздумьи опустилъ чело.

Поднявъ глаза, онъ встрѣтилъ ея загадочный, дѣтски веселый и дѣтски жестокій взоръ. Онъ сказалъ: „За что ты обманываешь меня? За каждый послѣдній мой подвигъ ты исполняла мое предпослѣднее, давно уже выдохшееся желаніе; ужели всегда такъ будетъ?“ — „Нѣтъ“, шепнула она, „есть одно желаніе, которое я исполню немедля, какъ послѣднее—чтобы ты не могъ сказать, что я исполнила не всѣ желанія твоего сердца“.

„Такъ вотъ оно“, сказалъ онъ, „я тебя хочу—тебя самоё; хочу, чтобы ты была моей — вотъ мое послѣднее желаніе, за которымъ уже не будетъ мѣста для другихъ!“ Съ этими словами онъ поднялъ руку по направленію къ ней. „Къ чему?“ спросила она съ дѣтскимъ удивленіемъ во взорѣ. „Къ чему, когда тебя ждетъ Геба у престола Зевса? А я сама къ тебѣ приду, когда ты будешь старцемъ, чтобы вѣнкомъ изъ розъ увѣнчать твою сѣдину“.

Онъ сказалъ: „Я давно тебя люблю, жестокая, люблю тебя любовью столь же безумной, какъ и ты сама. Красота Гебы меркнетъ передъ твоей, и я хочу тебя теперь же, а не тогда, когда крылья моего желанія, разбитыя, повиснутъ. Ты сама сказала, что нѣтъ надо мной закона, кромѣ моей силы и воли; покорись же моей силѣ и волѣ!“

Онъ опустилъ ей руку на плечо. Она быстро отшатнулась отъ него—и онъ почувствовалъ, какъ адское пламя окружило его тѣло. Точно весь ядъ гидры проникъ его плащъ и, впиваясь въ него самого, сталъ пожирать всѣ живые покровы его костей. Тщетно пытался онъ сбросить его: плащъ прилипъ къ его кожѣ, и онъ, отрывая его, раздиралъ свою собственную плоть. И всѣ страданія, перенесенныя имъ въ жизни, показались ему блаженствомъ въ сравненіи съ этой нестерпимой болью.

Онъ сказалъ ей: „Прекрати мою муку!“ Она грустно улыбнулась и отвѣтила: „Да, я ее прекращу; это и есть то твое желаніе, которое я могу исполнить немедля, какъ послѣднее“.

Она повела его на вершину горы; тамъ ореады воздвигли для него высокій костеръ. Опираясь на ея руку, онъ взошелъ на него. „Будь благословенна!“ шепнулъ онъ ей; и его шепотъ замеръ въ бурѣ пламени, охватившаго и костеръ и его.

Тщетно ждала Геба своего жениха; его душа низошла въ преисподнюю, вздыхая по оставленной Жизни. Тамъ ее встрѣтилъ, много спустя, странникъ Одиссей. „Зачѣмъ ты здѣсь?“ спросила она его, „или и тебя гонитъ та же доля, что и меня? Я былъ сыномъ властителя Зевса—и неустанный трудъ былъ мой удѣлъ...“

* * *

Смотри: новую скрижаль водружаю я надъ тобой. Эта четвертая скрижаль—скрижаль Деметры.

Деметра — старшая сестра Зевса, кроткая богиня тайнъ о синемъ покровѣ. Она—духъ сонной равнины; ей служили въ прохладныхъ рощахъ, въ синемъ сумракѣ густолиственныхъ тополей.

Ты видишь: солнце повисло надъ краемъ западнаго моря, и волны стыдливо зардѣлись, готовыя принять въ свой теремъ божественнаго жениха. А тамъ, съ востока, Деметра все шире и шире простираетъ свой синій покровъ надъ утомленной равниной. Ты слышишь шепотъ ея предвѣстника, вечерняго вѣтерка? Онъ шепчетъ ей: „Засни, утомленная; засни—до утра“.

Утро — начало міра, вечеръ — его конецъ. Все, что началось, должно кончиться: всякому міру предстоитъ его вечеръ. Зевсъ вздрогнулъ, постигши силу этого слова; онъ взглянулъ на сестру—и нашелъ успокоеніе въ синей тайнѣ ея кроткихъ очей. „Да“, сказала она, „придетъ время—и твой вечеръ наступитъ, и мой покровъ покроетъ и тебя. Ты заснешь, утомленный; заснешь—до утра.

„Вы раздѣлили между собою всѣ міры видимости и мысли; мнѣ остались лишь синія междумірія тайны.

„Ты помнишь? Была весна; твои птички весело пѣли надъ моей равниной, и твое лучезарное око мирно улыбалось невинному, зеленому смѣху ея травъ. Онѣ стремились вверхъ на встрѣчу твоему поцѣлую; но пришло лѣто—стремленіе стало, колосъ зацвѣлъ; пришла осень—налившійся колосъ уныло от-

вернулся отъ тебя и опустилъ голову въ мрачномъ раздумьи: что же теперь?

„Что теперь?“ рявкнула Горгона; теперь—конецъ, теперь—смерть! Горе вамъ, былинки и пташки: васъ ждетъ смерть! Горе вашимъ пѣснямъ, вашему смѣху: они застынутъ въ безмолвіи смерти! Горе вашему стремленію: его скуетъ смерть. А, вы не знали, для чего васъ вызвали изъ нѣдръ небытія? Такъ узнайте же: для того, чтобы вы медленно и полно вкусили горести смерти!“

„И она вышла изъ своей мрачной пещеры и показала равнинѣ свою уродливую голову съ ея пустымъ, зіяющимъ взоромъ. И равнина въ ужасѣ заколыхалась: спаси насъ, Зевсъ! спаси насъ, Паллада! мы всѣ васъ любили и къ вамъ стремились: не выдавайте насъ смерти!

„Но ты безучастно смотрѣлъ въ голубую даль, и твоя дочь грустно склонилась на свое копье. Гулъ отчаянія пронесся по пожелтѣвшей нивѣ: зерна выпали изъ своихъ колосьевъ: смерть торжествовала.

„Тогда я приблизилась къ бѣднымъ дѣтямъ моей равнины; я покрыла ихъ своимъ синимъ покровомъ и шепнула имъ: засните, утомленные; засните—до утра.

„Я поборола смерть. Я послала свою единственную дочь къ царю преисподней въ нѣдра земли; она принесла людямъ вѣсть, что смерти нѣтъ, что есть только синій сонъ утомленнымъ—сонъ до утра.

„Медленно, тяжелымъ шагомъ достигаетъ усталый путникъ вечерняго берега жизни. Онъ готовъ возроптать, чуя прикосновеніе леденящей руки; но я осѣняю его глаза своимъ покровомъ — и онъ засыпаетъ, съ кроткой улыбкой надежды на устахъ, склонивъ голову ко мнѣ на плечо. Я его бережно укладываю на мягкое дно своего челна; тихо скользитъ мой челнъ по синимъ тайнамъ рѣки междумірія. Рой духовъ безмолвнымъ полетомъ провожаетъ соннаго пловца, сплетая загадочные концы двухъ жизней, чередуя сновидѣнія воспоминаній со сновидѣніями чаяній; такъ доплываетъ онъ до утренняго берега жизни. Здѣсь солнце свѣтитъ и трава зеленѣетъ; очнувшійся путникъ стряхиваетъ съ себя тайны междумірія и бодро

стремится въ тотъ шумный градъ, гдѣ копье Паллады его привѣтствуетъ съ высоты бѣломраморнаго кремля.

„И люди познали благостыню моего синяго покрова; благодарные побѣдительницамъ смерти, они воздвигли мнѣ съ дочерью роскошный храмъ въ Элевсинѣ на озаренномъ пылающими свѣточами лугу. Здѣсь мы пѣстуемъ имъ святыя таинства; здѣсь золотая печать сковываетъ уста жрецовъ-Евмолпидовъ. Наше молчаніе — залогъ откровенія; горе тому, кто нарушитъ печать Элевсинскихъ таинствъ!

„И тысячи утомленныхъ стекаются въ Элевсинъ искать откровенія и отрады въ синемъ сумракѣ моихъ пещеръ, въ торжественныхъ хороводахъ моего озареннаго луга. Паллада мирно взираетъ на мои таинства, навѣки сокрытыя отъ ея огненнаго взора; она знаетъ, что ей меня не побороть—мѣдное остріе ея копья разбилось бы о мягкую, но несокрушимую ткань моего покрова.

„Мы не враги. Я охотно уступаю ей все, что горитъ огнемъ стремленія, все, въ чемъ кипитъ надежда и сила; она безъ зависти даетъ мнѣ затеплить синій огонекъ моей тайны для тѣхъ, для кого померкло лучезарное солнце счастья.

„И ты, о Зевсъ, не касайся своимъ перуномъ моего элевсинскаго храма! Пусть въ немъ во всѣ времена ищутъ отрады тѣ, у кого повисли крылья желаній, разбитыя бурей твоей жизни. Если ты разрушишь мой храмъ — воскреснетъ Горгона и ея гады, и всѣ разбитые жизнью усилятъ ея рать; мгла снова пойдетъ на солнце, и солнце не побѣдитъ.—Или ты не знаешь, что они сдѣлали съ моей страдалицей?

„Она была молода и счастлива, и они сказали ей: Ты должна отдать твои серьги, ожерелья и запястья, должна отдать твои шелка и парчи — этого требуетъ *онъ*. Грустная улыбка скользнула по ея устамъ; она отдала имъ все и сказала: да свершится воля *его*!

„Они сказали ей: ты должна отказаться отъ хороводовъ и вечеринокъ, должна сторониться друзей и подругъ, семьи и родныхъ: неустанный трудъ отъ зари до зари отнынѣ твой удѣлъ—этого требуетъ *онъ*. Слезы брызнули изъ ея очей; она положила себѣ на голову глиняный кувшинъ и покорно пошла за водой, говоря: да свершится воля *его*!

„Они сказали ей: ты должна отдать *ему* на закланіе своего единственнаго малютку, завѣтное дитя твоихъ надеждъ; этого требуетъ *онъ*. Румянецъ исчезъ съ ея щекъ, и ея очи потухли; она отдала имъ своего ребенка и шепнула помертвѣвшими устами: да свершится воля *его*!

„И день за днемъ, послѣ зари и передъ зарей, ходила она за водой къ роднику съ тяжелымъ кувшиномъ на головѣ, съ тяжелой думой въ сердцѣ; она работала за прялкой и кроснами, въ огородѣ и у очага; а вечеромъ, склонивъ усталый станъ надъ пустой колыбелью своего ребенка, она шептала: *Онъ* далъ, *онъ* и взялъ; да свершится воля *его*!

„Но вотъ однажды, у порога ея хижины, ее встрѣтила твоя свѣтлоокая дочь. Безумная! гнѣвно воскликнула она, что сдѣлала ты? Твоя жертва была напрасна: знай, *его*—нѣтъ. Они обманули тебя: есть Зевсъ, богъ радости, разума и любви, но *его*—нѣтъ.

„Она отвѣтила: зачѣмъ ты мнѣ это сказала? Они мнѣ оставили жизнь; ты меня убила. Да будетъ проклятъ безжалостный блескъ твоихъ очей, озарившій мою пустоту!

„Паллада исчезла. Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ снуютъ привидѣнія: изъ разверзшейся пещеры выползли, одинъ за другимъ, направляясь къ страдалицѣ, три гада. Одному имя было — Раскаяніе, другому — Отчаяніе, третьему — Уничтоженье. Ихъ глаза зловѣще горѣли багровымъ пламенемъ; они медленно приближались къ ней, и она уже чувствовала палящее дыханіе перваго изъ нихъ.

„Тогда я, оттолкнувъ гадовъ, къ ней подошла. Я осѣнила ее своимъ синимъ покровомъ — на нее повѣяло прохладой тайны съ рѣки междумірія, и счастливая улыбка впервые заиграла на ея блѣдныхъ устахъ. Я склонила ея голову себѣ на плечо и, покрывая ее, шепнула ей: засни, утомленная; засни—до утра“.

* * *

Смотри: солнце коснулось своимъ нижнемъ краемъ верхняго края моря; началась торжественная минута разлуки дня съ міромъ. И я водружаю надъ тобою новую скрижаль: эта пятая скрижаль—скрижаль Аполлона.

Оставимъ Деметру и синій покровъ ея тайнъ: онъ тебѣ будетъ нуженъ въ грядущемъ, но не теперь. Ты молода и прекрасна: мнѣ любо смотрѣть на твое свѣжее лицо, облитое румянцемъ заходящаго дня. Такъ нѣкогда Клитія, дѣва-цвѣтокъ, глядѣла вслѣдъ своему любимцу, догоравшему на огненномъ ложѣ волнъ; и лучъ ея взора угасалъ вмѣстѣ съ нимъ.

О, проникнись лучами угасающаго бога! въ нихъ для тебя новая, вѣчная наука. Только тотъ постигъ цѣнность жизни, кому понятна Клитія и ея гордая, ликующая смерть.

„Тебѣ, о мой возлюбленный!“ говорила она, „приношу я вольный даръ моей души, тобою вызванной къ бытію. Я была цвѣткомъ среди цвѣтковъ; одна лишь душа породы жила во мнѣ. Я не знала, что родилась вчера, не знала, что умру завтра; ровная струя подсознательной жизни уносила меня изъ вѣчности въ вѣчность.

„Да, тихо и ровно текла струя моего бытія. Величайшая радость лишь скользила по ней едва замѣтной зыбью, которую стирало слѣдующее мгновенье; величайшее горе отзывалось въ ней лишь едва слышнымъ стономъ, замиравшимъ въ первомъ вѣтеркѣ. Чѣмъ я была, и была ли я—всего этого я не знала.

„И вдругъ твой лучъ, о мой возлюбленный, коснулся меня; твой голосъ воззвалъ ко мнѣ: познай самоё себя! Я оглянулась на тѣхъ, что тѣснились кругомъ меня, и мнѣ стало ясно: все это была не я. Я посмотрѣла на себя: грань между мною и не мной опредѣлилась, душа личной жизни загорѣлась во мнѣ.

„Ты мнѣ сказалъ: Одумайся! еще есть время. Хочешь ты промѣнять вѣчность подсознательнаго бытія на минуту личной жизни? Я оглянулась назадъ: тихо и ровно текла струя, выбросившая меня на берегъ сознанія; мнѣ стало страшно этой безмолвной вѣчности, и я отвѣтила: да!

„Ты мнѣ сказалъ: Одумайся! еще есть время. До сихъ поръ ни радость тебя не окрыляла, ни горе не бороздило твоего сердца; хочешь ты отвѣдать восторгъ упоеній, окупаемый жгучею болью, мучительными содроганіями души? Я оглянулась назадъ: тихо и ровно текла струя вѣчности, покинутая мною; мнѣ стало страшно ея невозмутимой глади, и я отвѣтила: да!

„Ты мнѣ сказалъ: Теперь ты моя, и вотъ тебѣ мой вто-

рой наказъ: познавъ себя, будь тѣмъ, что ты есть! Я робко спросила тебя: о милый мой! имѣю ли я право быть тѣмъ, что я есть? Посмотри, сколько сотенъ и тысячъ тѣснятся кругомъ меня: если всѣ захотятъ быть тѣмъ, что они есть—какъ намъ ужиться другъ съ другомъ?

„Ты улыбнулся мнѣ въ отвѣтъ: мое слово, сказалъ ты, не для нихъ, мои лучи не проникаютъ въ глубину полусознательнаго бытія: ты уже была моей избранницей, когда я возжегъ въ тебѣ душу личной жизни. Не заглушай же ее въ себѣ: будь тѣмъ, что ты есть, познавъ себя!

„Это значитъ: будь художницей собственной жизни, собственнаго я; мой законъ — законъ гармоніи, законъ красоты: только то хорошо, что даетъ съ твоимъ я хорошее, ясное созвучье. Ты сама отнынѣ себѣ мѣрило: дѣлай все, что къ тебѣ идетъ, и другіе покорятся красотѣ и гармоніи твоего я.

„И не думай, что мое слово зоветъ тебя на стезю преступленія. Преступленіе несовмѣстимо съ тобой, потому что ты—избранница моя. И мое слово—только для тебя, моей избранницы, а не для тѣхъ сотенъ и тысячъ, что тѣснятся кругомъ тебя. Онѣ его не услышатъ; а если и услышатъ — пусть попытаются: вслѣдъ за ихъ преступленіемъ волна раскаянія опять погрузитъ ихъ въ ту струю, изъ которой имъ никогда не слѣдовало выходить. Тебѣ многое дозволено, чего другимъ нельзя.

„Такъ говорилъ ты мнѣ; и я сознала себя избранницей твоей. О, какъ горѣлъ твой лучъ въ моемъ сердцѣ! какъ чувствовала я свою отвѣтственность за то святое пламя красоты, которое ты во мнѣ возжегъ!

„О милый мой! Та личная жизнь, на стезю которой ты призвалъ меня, предстала предо мною въ двойномъ, причудливомъ свѣтѣ. Я часто спрашивала себя: да я ли еще я? Или я—сосудъ избранія, и чужая воля живетъ и волитъ во мнѣ? И я поняла, что въ этомъ отрѣшеніи отъ себя состоитъ высшее осуществленіе личной жизни.

„И для меня стало долгомъ все то, что во мнѣ волила эта воля. Въ началѣ они пытались навязывать мнѣ законы своей нравственности: они называли ее обязательною для всѣхъ, а, стало быть, и для меня. Я смѣялась надъ ихъ назойливостью, и они

прокляли меня; я смѣялась надъ ихъ проклятіями, и они покорились мнѣ.

„Глупцы проклинали меня; безумцы мнѣ подражали. Имъ было любо слѣдовать за мною по бѣлой тесьмѣ, перекинутой черезъ пропасть; но тесьма не выносила тѣхъ, кого не окрыляла твоя воля, въ комъ не горѣло пламя твоей красоты,—и они обрушивались въ вѣчный мракъ. А сотни и тысячи ликовали о ихъ паденіи и возглашали, смѣясь: смотрите всѣ! нравственный законъ торжествуетъ.

„И мнѣ стало страшно лишь одного: какъ бы раньше меня не потухло это святое пламя въ моей груди. Я кормила его всѣмъ, чѣмъ оно хотѣло—и радостями, и горемъ. Сотни и тысячи гнѣвно взывали ко мнѣ: что дѣлаешь ты? Сторонись радости: она окупается горемъ. Сторонись горя: оно сокращаетъ жизнь. А я говорила: я сторонюсь лишь покоя—онъ отрицаетъ жизнь... Ко мнѣ, красота радости! ко мнѣ, красота горя! Было бы чѣмъ помянуть жизнь—тамъ, на томъ свѣтѣ!

„И жизнь моя была свѣтла, какъ свѣтелъ путь твоей колесницы на небесной тверди. Про меня пѣлъ влюбленный юноша въ лѣтнюю ночь, повѣряя своей милой тайну своихъ пламенныхъ желаній; про меня баяла старушка за зимнимъ огнемъ, воскрешая предъ внучатами память минувшей весны, а предъ собою — память отцвѣтшей жизни. Я стала Царь-дѣвицей нашихъ пѣсенъ и сказокъ.

„И ты, мой возлюбленный, былъ ко мнѣ милостивъ до конца. Меня освѣжалъ твой первый лучъ, еще влажный отъ ночного дыханія студенаго моря; меня ласкалъ твой послѣдній, прощальный взоръ, готовый потухнуть въ вечерней волнѣ. Твой огонь неугасимо горѣлъ въ моей груди; еще теперь онъ тлѣетъ, и я знаю: его послѣдняя, предсмертная вспышка унесетъ мою душу.

„Прости, мой лучезарный другъ! Еще мгновеніе—и надъ тобой сомкнется синяя пучина моря, а надо мной—синій покровъ богини тайнъ. Я съ благодарностью возвращаю тебѣ сладкій даръ жизни, безъ сожалѣнія о радостяхъ, которыми ты ее надѣлилъ, и безъ упрека за горе, которое ты заставилъ меня испытать. Будь благословенъ, мой другъ—будь благословенъ и прости!“

Такъ говорила дѣва-цвѣтокъ, Клитія, невѣста Аполлона; угасающій лучъ солнца принялъ ея послѣдній поцѣлуй. И тебя, подруга моя, ласкаетъ прощальный взоръ заходящаго бога; но ты молода и свѣжа, и жизненный путь едва начатъ тобою.

Хочешь, чтобы этотъ путь былъ свѣтелъ, такъ же свѣтелъ, какъ и бѣлая тесьма ея благословенной жизни? Хочешь стать Царь-дѣвицей нашихъ пѣсенъ и сказокъ?

Подумай: пока про тебя баютъ другую сказку, и она еще не прожита. Посмотри на западъ: о солнце, пламя обличенія! Ты знаешь, что это за сказка? Черная тѣнь мелькнула передъ тобою: хочешь ты, чтобы это было ея послѣднее появленье?

Какъ весело играетъ вечерній вѣтеръ твоими русыми кудрями; какъ ярко горятъ они, развѣваясь, въ багровыхъ лучахъ заходящаго солнца! Да, свѣтлый богъ, прощаясь, благословляетъ тебя на твой жизненный путь.

Подруга моя! хочешь ты быть достойной благословенія бога? Смотри: весь огненный шаръ уже погрузился, только верхній его край еще виднѣется надъ верхнимъ краемъ волнъ. Пока тебя еще ласкаетъ его прощальный лучъ, стряхни ярмо робости, кликни ему: да, хочу!

* * *

Солнце зашло: посмотри, какими чудными переливами алѣетъ надъ рубежомъ волнъ его огненное дыханіе! Скоро и оно угаснетъ; небо темнѣетъ, на его южномъ склонѣ золотой Гесперъ затеплилъ свою тихую лампаду. Гесперъ, сопрестольникъ Афродиты—такъ называлъ его народъ-избранникъ боговъ.

Да, подруга моя; золотой лучъ любви запылалъ надъ нами на синемъ покровѣ ночного неба. И я водружаю надъ тобою новую скрижаль: эта шестая скрижаль—скрижаль Афродиты и ея таинствъ.

Ей служили когда-то на цвѣтистыхъ лугахъ подъ прозрачной сѣнью миртовыхъ бесѣдокъ. Тутъ ея прислужницы, теплой весенней порой, созывали ея юныхъ поклонниковъ на веселый всенощный праздникъ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ — завтра люби!“ это было давно — теплой весенней порой жизни нашей породы.

Подулъ самумъ съ востока, и поблекли цвѣты луга Афро-

диты; пали наземь, изсушенныя зноемъ, зеленыя вѣтви ея миртовыхъ бесѣдокъ. Начался мартирологъ любви.

Другіе были изгнаны; ее взяли въ плѣнъ. Ее проклинали съ амвоновъ, ее распинали и жгли на городскихъ площадяхъ; ее волочили по домамъ разврата, гдѣ отверженцы жизни изрыгали предъ ней пьяную грязь своихъ блудныхъ похотей; ее облекали въ отвратительное рубище и привязывали къ позорному столбу, восклицая: смотрите всѣ! вотъ она, — ваша прославленная любовь!

Она все выносила въ горделивомъ спокойствіи и говорила своимъ мучителямъ: на васъ мой позоръ и на дѣтей вашихъ! Я — вѣчно чиста и прекрасна; но дряблѣетъ станъ и сохнетъ рука у того, кто посягаетъ на Зевсову дочь Афродиту.

Она все вынесла; но она стала другой, чѣмъ была нѣкогда среди миртовыхъ бесѣдокъ своего цвѣтистаго луга. И тѣ, кто къ ней приближается теперь, рѣдко видятъ улыбку ласки на ея божественныхъ устахъ, рѣдко слышатъ ея упоительный зовъ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ—завтра люби!“

„А, ты хочешь любви; но кто тебѣ сказалъ, что ты имѣешь право любить?

„Ты молодъ и силенъ; возьми этотъ камень, брось его вверхъ,—туда, вслѣдъ улетающей птицѣ. Смотри, какъ онъ понесся къ облакамъ! какъ онъ стремительно летитъ, точно не предчувствуя близкаго паденія! Вотъ онъ остановился: здѣсь раздѣлъ между восходящей и нисходящей вѣтвью его полета; но пока я говорю, онъ успѣлъ упасть и тяжело грохнуться о землю.

„А ты, мой другъ, что собой представляешь,—восходящую или нисходящую вѣтвь жизни? Замѣть: я дочь Зевса, духа вертикали; я только тѣмъ улыбаюсь, въ комъ вижу порывъ восходящей жизни.

„Ты обидѣлся: я молодъ и силенъ, говоришь ты. О другъ мой! а увѣренъ ли ты, что не былъ старцемъ еще въ колыбели?

„Твой дѣдъ былъ прекрасенъ и могучъ; въ немъ жилъ порывъ восхожденія, который бы его вознесъ къ облакамъ. Но онъ его заглушилъ въ пьяной грязи своихъ блудныхъ похотей;

онъ былъ раздѣломъ между восходящей и нисходящей вѣтвью вашей породы.

„Я—та, что «на жужжащемъ станкѣ времени ткетъ живую ризу божества». Я сплетаю лучшія единицы и изъ нихъ вывожу вѣчную нить породы. Какое мнѣ дѣло до тебя? Тебя я отвергла. Ты былъ старцемъ еще въ колыбели; не для тебя—любовь. Иди — умри бездѣтнымъ, во избѣжаніе худшаго зла: не сына, проклятіе родишь ты себѣ.

„И тебя также, о второй мой другъ, я съ болью въ сердцѣ отвергла. Твой отецъ былъ первымъ среди мудрецовъ; но ради науки онъ забылъ все въ мірѣ и сталъ раздѣломъ обѣихъ вѣтвей вашей породы. Тебѣ онъ передалъ свой пытливый умъ, свою беззавѣтную преданность разуму. Свѣтъ Паллады сіяетъ на твоемъ челѣ, огонь Паллады горитъ въ твоихъ впалыхъ глазахъ; служи ей и впредь—она окружитъ тебя почетомъ и славой, но мои розы не для тебя.

„И ты тоже, о мой третій другъ, оставь мою свиту. Ваша порода давно уже нисходитъ; въ тебѣ она дала свой послѣдній отпрыскъ, нѣжный и мягкій, съ печатью неземной доброты на твоихъ тонкихъ, грустныхъ устахъ. Служи Деметрѣ; она сдѣлаетъ тебя богомъ для людей и ласково тебя осѣнитъ своимъ синимъ покровомъ, когда мятежные сны о веснѣ вашей породы придутъ тревожить осеннюю дрему твоего сердца.

„Гдѣ вы, могучіе и смѣлые,—гдѣ вы, избранники мои? Я ищу васъ глазами среди этихъ сыновъ равнины — и едва нахожу немногихъ между многими. О дряблое племя! Недаромъ вы въ теченіе вѣковъ жгли и распинали Зевсову дочь Афродиту и топтали въ грязь ея божественные дары!

„Но я слышу, вы ропщете. Знаю: вы раздѣлили свою равнину на мелкіе участки, объявивъ преступникомъ того, кто преступитъ ваши межи и канавки. Вы и любовь размежевали: одного для одной, одну для одного, чтобы хватило на всѣхъ—вотъ ваша высшая справедливость. Такъ вы, не спрашиваясь меня, подѣлили мои дары!

„Вы меня распинали и жгли: я смотрѣла на хитрую сѣть вашихъ межей и канавокъ, и дикій хохотъ пробивался черезъ боль моихъ мученій. О безумцы, безумцы! Не спросясь меня, дѣлить мои дары!

„Мое проклятіе поражало васъ въ вашихъ дѣтяхъ, и вы не хотѣли опомниться. Вы удивлялись росткамъ уродства, слабоумія и преступности на столь старательно размежеванныхъ вами участкахъ; вы строили для нихъ больницы, убѣжища и тюрьмы и тщетно старались исцѣлить и обезвредить то, что слѣдовало предупредить.

„Что дѣлали ваши врачи? Отчего они не учили васъ предупреждать нисхожденіе породъ? Но нѣтъ: они учили васъ сохранять въ живыхъ ваши отверженныя мною отродья и робко повторяли вашъ девизъ: одну для одного, чтобы хватило на всѣхъ.

„Неправда, неправда! ни одной для одного, если онъ отверженъ мною; вотъ вамъ мое слово! А мое слово—рокъ; тотъ рокъ, что «хотящихъ ведетъ, а нехотящихъ волочитъ».

„А, вы остолбенѣли. Вижу, вы поняли, что̀ я сказала, и еще лучше поняли то, чего я не сказала. И сотни рукъ угрожаютъ мнѣ: сгинь, дьяволица! О да, я васъ знаю; мой мартирологъ еще не конченъ. Ваши костры горѣли когда-то для еретиковъ вѣры; они горятъ и понынѣ для еретиковъ любви.

„И все же вы мнѣ сноснѣе тѣхъ другихъ сотенъ и тысячъ, что мнѣ радостно рукоплещутъ теперь, понявъ по-своему смыслъ моего молчанья. Какъ мнѣ противны ихъ гадкія улыбки, какъ противно любострастное морганіе ихъ слизкихъ, блудливыхъ глазъ! Подите прочь! какое мнѣ дѣло до васъ и вашихъ грязныхъ похотей?

„И какое вамъ дѣло до меня? Моя любовь—любовь красоты; моя красота — красота здоровья и силы, красота восходящей жизни. Я сплетаю своихъ избранниковъ алой тесьмой зиждительной любви.

„Зачѣмъ забыли вы слово моей пророчицы, вдохновенной Діотимы? «Любовь есть жажда рожденія въ красотѣ». А если это такъ, то что же такое красота?

„Знаете вы, что̀ говоритъ жгучій взоръ страсти моего избранника, покоящійся на его милой? Онъ самъ этого не знаетъ, но этотъ взоръ говоритъ: ты—та, которой суждено родить мнѣ завѣтное дитя моихъ надеждъ!

„И знаете вы смыслъ ея дѣвичьяго румянца, отвѣчающаго

на взоръ его страсти? Онъ ей самой непонятенъ, но этотъ румянецъ говоритъ: ты — тотъ, отъ котораго мнѣ суждено родить завѣтное дитя моихъ надеждъ!

„Какое вамъ дѣло до всего этого? Гдѣ нѣтъ боговъ, тамъ снуютъ привидѣнія. Ваша любовь—послѣднее издыханіе пораженной жизни, послѣдній чадъ догорающей свѣчи, послѣдній грошъ промотавшагося дармоѣда; ваша красота—чахлый пустоцвѣтъ, уродство отверженья. Подите прочь! — А вы, проклинающіе меня, выслушайте дьяволицу и запомните ея слова.

„Я сплетаю избранныя единицы и вывожу изъ нихъ вѣчную нить породы; но эти единицы я беру отовсюду. Слышите? Отовсюду, гдѣ мнѣ вздумается. И я смѣюсь, когда моя могучая поступь сметаетъ сотни вашихъ межей, засыпаетъ сотни вашихъ канавокъ. И тщетны будутъ ваши кары моимъ избранникамъ: въ своихъ дѣтяхъ найдутъ они оправданіе свое.

„Ройте, мѣрьте; старайтесь, не спросясь меня, дѣлить между собою мои дары по близорукимъ разсчетамъ вашей справедливости; въ своихъ дѣтяхъ найдете вы осужденіе свое. Ройте, мѣрьте; отъ моего слова вы все-таки не уйдете; мое слово — тотъ рокъ, что хотящихъ ведетъ, а нехотящихъ волочитъ".

Такъ говорила своимъ хулителямъ и отверженцамъ дочь Зевса; такъ рокоталъ ея голосъ изъ-за тучи гнѣва, нависшей надъ ея черными бровями... Ты удивлена, подруга моя? Тебѣ не вѣрится, чтобы это была она—кроткая богиня нѣги, вѣчно улыбающаяся владычица любовныхъ чаръ?

Я пересказалъ тебѣ ея грозное слово своимъ хулителямъ и отверженцамъ; но могу ли я пересказать тебѣ то, что отъ нея слышатъ ея избранники? Взгляни на ея предвѣстницу, золотую звѣзду на южномъ небосклонѣ; пусть ея тихое, кроткое сіяніе озаритъ твою душу. Она явственно шепчетъ тебѣ: „завтра люби, кто любви не позналъ; а кто ее знаетъ—завтра люби!"

* * *

Синій покровъ молчаливой богини сомкнулся надъ нами; тысячью глазъ смотритъ на насъ Тайна съ нетлѣнныхъ высотъ синяго неба. Меня смущаетъ ея строгій, повелительный взоръ; я знаю, что долженъ водрузить надъ тобою еще одну новую

скрижаль; эта седьмая и послѣдняя скрижаль — скрижаль Діониса.

Мое сердце горитъ при его имени, имени любимца моей души; смутное чувство, сладкое и страшное, вскипаетъ съ его глубины и тщетно ищетъ образа, чтобы воплотиться въ немъ. И все же мы не должны упускать этой минуты: теперь Діонисъ намъ ближе, чѣмъ когда-либо раньше. Онъ—духъ примиренія неба и земли; ему служили на святыхъ полянахъ горъ, подъ сверкающимъ покровомъ Тайны въ тихую весеннюю ночь.

Служили—ты знаешь, кто? Служила она, красавица юга, вожделѣнная дочь голубыхъ морей; но еще раньше служили ему—сыны нашей земли. Онъ — наше родное божество; онъ къ намъ вернулся изъ купели голубыхъ морей, и мы его не узнали въ его сіяющей, божественной красотѣ. Но онъ взглянулъ на насъ глубокимъ взоромъ своихъ томныхъ очей—и чувство признанія, сладкое и страшное, наполнило наше сердце.

О могучій взоръ! Онъ манитъ мою душу изъ предѣловъ видимости въ невѣдомое, несказанное и несомнѣнное; онъ будитъ тайну сущаго бытія, дремлющую въ вѣщей глубинѣ моего сердца. Онъ разрываетъ покровъ сознанія, сдерживающій мое я въ его ясно очерченныхъ границахъ; я чувствую, какъ оно расплывается, возсоединяется съ великою Сутью, отъ которой оно отдѣлилось для кратковременной личной жизни.

Нѣтъ болѣе пространства и его границъ; нѣтъ болѣе времени и его предѣловъ. Все, что когда-либо было сладкаго въ моей жизни, всѣ чаянія будущаго счастія, весь восторгъ гордыхъ обѣщаній, собранный молодой жизнью моей породы и таящійся въ заповѣдныхъ нѣдрахъ моего естества — все это зашевелилось, пробужденное взоромъ Діониса. О упоительное мгновеніе, полное блаженства вѣчной цѣпи вѣковъ!

Подруга моя! ты хочешь, чтобы я повѣдалъ тебѣ тайны Діониса? Дай мнѣ руку: пусть мѣрный волнобой моей крови сообщится тебѣ; тогда ты безъ словъ поймешь то, что я хотѣлъ бы тебѣ сказать.

Смотри какъ повелительно, тысячью своихъ страстныхъ очей, смотритъ на нашу гору небесная твердь. „Да проснись же, гора!“ говоритъ она ей: „тотъ навѣки заснулъ, кто не проснется теперь“.

Теплый ночной вѣтерокъ подулъ съ моря, насыщенный тайной сущаго бытія. Какъ расширяется моя грудь, вдыхая его благовонія! какъ сладко теряется образъ сознанія въ его опьяняющей нѣгѣ! Да, этотъ вѣтерокъ—дыханіе Діониса; онъ явственно шепчетъ мнѣ: „Да растворись же душа! тотъ навѣки окоченѣлъ, кто не растворится теперь“.

Ты здѣсь еще, подруга моя? Я чувствую жаръ твоей руки, вижу смѣющійся блескъ твоихъ очей черезъ прозрачную дымку мерцающей ночи. Но со мной ли душа твоя, или во мнѣ — я не знаю. Да, я вижу и нашу гору: огромнымъ призракомъ выступаетъ она изъ тумана пропасти, въ которой потонули и равнина и море. Но на ней ли я, или надъ ней — я не знаю.

Сильнѣе подулъ теплый вѣтеръ съ моря, полный нѣги Діониса; мощнѣе звучитъ его страстный призывъ: „Да колыхнись же, гора! тотъ навѣки застылъ, кто не колыхнется теперь“.

Теперь, теперь.... почему теперь? О да, мы забыли: сегодня — первая ночь мая, ночь свадьбы неба и земли; сегодня — праздникъ Діониса, примирителя неба и земли. Насъ осѣнила ночь чудесъ, поднимающая завѣсу бытія для избранниковъ Діониса.

Во всѣ времена тянуло ихъ въ эту ночь къ святымъ полянамъ нетлѣнныхъ горъ для службы Діонису; мать-Земля, въ восторгѣ весенняго упоенія, отступалась отъ своихъ правъ на нихъ; свободные отъ ея тяги, они блаженно рѣяли въ пространствахъ подлуннаго міра, обнимаясь съ ночными вѣтрами, летучей свитой Діониса. На утро они возвращались къ своимъ очагамъ, съ загадочной улыбкой знанія на сомкнутыхъ устахъ. Слѣпая чернь ихъ сжигала изъ зависти къ ихъ знанію; но всѣ мученія казни не могли пересилить блаженства той ночи чудесъ, и они умирали съ блескомъ Діониса въ своихъ вѣщихъ очахъ.....

Смотри! гора колыхнулась.... или это заволновался туманъ, окутавшій ея призрачныя очертанія? Что за странный туманъ! смотри, какъ онъ тянется къ намъ изъ глубины пропасти, въ которой потонула равнина, какъ онъ ползетъ, точно исполинскій змѣй... или это подлинный змѣй? Смотри, какъ

горятъ его багровые глаза, какъ сверкаетъ его серебристая чешуя... Нѣтъ! это огни Діониса озарили святую поляну на склонѣ горы. Это его избранники, со свѣточами въ рукахъ, приближаются къ намъ, справить священныя оргіи въ его честь.

Чу! Ты слышишь ихъ пѣснь? Точно вся радость возрожденной земли стала звукомъ и разливается, ликуя, во влажной теплотѣ ночного эѳира. — Ты видишь ихъ? Что за красота! Точно вся юность возрожденной земли стала образомъ и воплотилась въ этомъ сонмѣ избранниковъ и избранницъ Діониса.

Ты здѣсь еще, подруга моя? Я чувствую жаръ твоихъ пылающихъ щекъ, я вижу сіяніе на твоихъ русыхъ кудряхъ... Откуда это сіяніе? Или это Сѣверный Вѣнецъ, свадебный даръ Аріадны, оставилъ сверкающую твердь и спустился къ тебѣ, чтобы увѣнчать твое юное чело? Да и та ли ты, что была прежде? Нѣтъ! Царственнымъ величіемъ дышатъ твои сверхземныя черты. Теперь только стала ты той, которой тебѣ суждено было быть: слава тебѣ, невѣста Діониса!

Ближе и ближе къ намъ тянется свита благословеннаго бога. Гора проснулась; тысячью свѣточей отвѣчаетъ она на огненный привѣтъ небесной тверди.

Громче и громче раздаются ликованія діонисовой пѣсни подъ глухой шумъ тимпановъ и звонкіе переливы флейтъ. Скоро они будутъ здѣсь; скоро вся гора закружится въ бѣшеной пляскѣ діонисовыхъ хороводовъ.

Ночь чудесъ наступила. Я умолкаю; пусть самъ Діонисъ доскажетъ тебѣ свою скрижаль......

* * *

Ночь чудесъ прошла. Мы опять на равнинѣ. Сквозь предразсвѣтный туманъ видны очертанія хижинъ; здѣсь отдыхаетъ, въ ожиданіи скораго пробужденія, вѣковой трудъ равнины и ея сыновъ.

Какъ мы спустились? Не знаю. Такъ, какъ спускается влага собравшейся въ вышнихъ тучи. Тебя давно тянуло къ равнинѣ; помнишь? Ты хотѣла отдать, когда тебѣ нечего было отдавать.

Теперь ты богата: ты не забыла науки горы? Теперь ты можешь, ты должна отдать.

Востокъ зардѣлся алой зарей; нашъ сіяющій другъ посылаетъ впередъ свое огненное дыханіе возвѣстить о своемъ приближеньи. Еще часъ — и царственное свѣтило побѣдоносно взойдетъ надъ землей; прерванное дѣло жизни начнется вновь.

Равнина ждетъ; и всѣ горы и долы кругомъ ждутъ вмѣстѣ съ ней. Ты не забыла, что обѣщала утолить ихъ вѣковую жажду? Еще часъ выжидающей дремоты; а затѣмъ—

А затѣмъ — твое слово, моя царица; третье слово вожделѣнной свободы—слово славянскаго возрожденья!

6 марта 1905 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Древній міръ и мы.

СТРАН.

ЭКСКУРСЫ.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Изъ жизни идей. Научно-популярныя статьи. [*Томъ первый*]. С.-Петербургъ, 1905. 359 стр. Цѣна 1 р. 25 к.

Содержаніе: I. Идея нравственнаго оправданія.—II. Ифигенія.—III. Воскресшіе поэты.—IV. Антигона.—V. Первое свѣтопреставленіе.—VI. Про нечистую силу.—VII. Античный міръ въ поэзіи А. Н. Майкова.—VIII. Парламентаризмъ въ римской республикѣ.—IX. Новый памятникъ древне-римскаго быта.—X. Остракологія.—XI. Рабочая пѣсенка.—XII. Нитцше и античность.—XIII. Происхожденіе комедіи.—XIV. Гейдельбергъ.—XV. Золотой вѣкъ.

Цѣна 1 р. 50 к.

Изданіе помѣщается въ книжномъ складѣ типографіи М. М. Стасюлевича
(С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 л., д. 28).